

Сергей
ЕСЕНИН



ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ОДНОМ
ТОМЕ



Издательство
АЛЬФА-КНИГА

Сергей
ЕСЕНИН



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ОДНОМ ТОМЕ


ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
В ОДНОМ ТОМЕ



Сергей
ЕСЕНИН



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ОДНОМ ТОМЕ



Издательство
АЛЬФА-КНИГА
Москва
2010

УДК 821.161.1
ББК 84.(2Рос-Рус)6-5
Е81



Серия основана в 2007 году

Есенин С. А.

Е81 Полное собрание сочинений в одном томе.— М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2010. — 719 с.: ил. — (Полное собрание в одном томе).

ISBN 978-5-9922-0443-8

Настоящее полное собрание сочинений Сергея Александровича Есенина (1895 — 1925) в одном томе включает все произведения поэта — стихотворения, поэмы, прозу, драматургию, коллективные произведения, варианты автобиографии.

УДК 821.161.1
ББК 84.(2Рос-Рус)6-5

ISBN 978-5-9922-0443-8

СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Вот уж вечер. Роса
Блестит на крапиве.
Я стою у дороги,
Прислонившись к иве.

От луны свет большой
Прямо на нашу крышу.
Где-то песнь соловья
Вдалеке я слышу.

Хорошо и тепло,
Как зимой у печки.
И березы стоят,
Как большие свечки.

И вдали за рекой,
Видно, за опушкой,
Сонный сторож стучит
Мертвой колотушкой.

1910

* * *

Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.

1910

* * *

Поет зима — аукает,
Мохнатый лес баюкает
Стозвоном сосняка.

Кругом с тоской глубокою
Плывут в страну далекую
Седые облака.

А по двору метелица
Ковром шелковым стелется,
Но больно холодна.
Воробышки игривые,
Как детки сиротливые,
Прижались у окна.

Озябли пташки малые,
Голодные, усталые,
И жмутся поплотней.
А вьюга с ревом бешеным
Стучит по ставням свешенным
И злится все сильней.

И дремлют пташки нежные
Под эти вихри снежные
У мерзлого окна.
И снится им прекрасная,
В улыбках солнца ясная
Красавица весна.

1910

* * *

Под венком лесной ромашки
Я строгал, чинил челны,
Уронил кольцо милашки
В струи пенистой волны.

Лиходейная разлука,
Как коварная свекровь.
Унесла колечко щука,
С ним — милашкину любовь.

Не нашлось мое колечко,
Я пошел с тоски на луг,
Мне вдогон смеялась речка:
«У милашки новый друг».

Не пойду я к хороводу:
Там смеются надо мной,
Повенчаюсь в непогоду
С перезвонною волной.

1911

* * *

Темна ноченька, не спится,
Выйду к речке на лужок.
Распоясала зарница
В пенных струях поясок.

На бугре береза-свечка
В лунных перьях серебра.
Выходи, мое сердечко,
Слушать песни гусляра!

Залюбуюсь, загляжусь ли
На девичью красоту,
А пойду плясать под гусли,
Так сорву твою фату.

В терем темный, в лес зеленый,
На шелковы купыри,
Уведу тебя под склоны
Вплоть до маковой зари.

1911

* * *

Хороша была Танюша, краше не было в селе,
Красной рюшкою по белу сарафан на подоле.
У оврага за плетнями ходит Таня ввечеру.
Месяц в облачном тумане водит с тучами игру.

Вышел парень, поклонился кучерявой головой:
«Ты прощай ли, моя радость, я женюся на другой».
Побледнела, словно саван, схолодела, как роса.
Душегубкою-змеею развилась ее коса.

«Ой ты, парень синеглазый, не в обиду я скажу,
Я пришла тебе сказаться: за другого выхожу».

Не заутренние звоны, а венчальный переклик,
Скачет свадьба на телегах, верховые прячут лик.

Не кукушки загрустили — плачет Танина родня,
На виске у Тани рана от лихого кистеня.
Алым венчиком кровинки запеклися на челе,
Хороша была Танюша, краше не было в селе.

1911

* * *

За горами, за желтыми дóлами
Протянулась тропа деревень.
Вижу лес и вечернее полымя,
И обвитый крапивой плетень.

Там с утра над церковными главами
Голубеет небесный песок,
И звенит придорожными травами
От озер водяной ветерок.

Не за песни весны над равниною
Дорога мне зеленая ширь —
Полюбил я тоской журавлиною
На высокой горе монастырь.

Каждый вечер, как синь затуманится,
Как повиснет заря на мосту,
Ты идешь, моя бедная странница,
Поклониться любви и кресту.

Кроток дух монастырского жителя,
Жадно слушаешь ты ектенью,
Помолись перед ликом Спасителя
За погибшую душу мою.

1916

* * *

Опять раскинулся узорно
Над белым полем багрянец,
И заливается задорно
Нижегородский бубенец.

Под затуманенною дымкой
Ты кажешь девичью красу,
И треплет ветер под косынкой
Рыжеволосую косу.

Дуга, раскалываясь, пляшет,
То выныряя, то пропав,
Не заворожит, не обмашет
Твой разукрашенный рукав.

Уже давно мне стала сниться
Полей малиновая ширь,
Тебе — высокая светлица,
А мне — далекий монастырь.

Там синь и полымя воздушней
И легкодымней пелена.
Я буду ласковый послушник,
А ты — разгульная жена.

И знаю я, мы оба станем
Грустить в упругой тишине:
Я по тебе — в глухом тумане,
А ты заплачешь обо мне.

Но и познав, я не приемлю
Ни тихих ласк, ни глубины.
Глаза, увидевшие землю,
В иную землю влюблены.

1916

* * *

Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха.
Выходи встречать к околице, красотка, жениха.

Васильками сердце светится, горит в нем бирюза.
Я играю на тальяночке про синие глаза.

То не зори в струях озера свой выткали узор,
Твой платок, шитьем украшенный, мелькнул за косогор.

Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха.
Пусть послушает красавица прибаски жениха.

1912

ПОДРАЖАНЬЕ ПЕСНЕ

Ты поила коня из горстей в поводу,
Отражаясь, березы ломались в пруду.

Я смотрел из окошка на синий платок,
Кудри черные змейно трепал ветерок.

Мне хотелось в мерцании пенистых струй
С алых губ твоих с болью сорвать поцелуй.

Но с лукавой улыбкой, брызнув на меня,
Унеслася ты вскачь, удилами звеня.

В пряже солнечных дней время выткало нить...
Мимо окон тебя понесли хоронить.

И под плач панихид, под кадильный канон,
Все мне чудился тихий раскованный звон.

1910

* * *

Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари.

Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.
Только мне не плачется — на душе светло.

Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог,
Сядем в копны свежие под соседний стог.

Зацелую допьяна, изомну, как цвет,
Хмельному от радости пересуду нет.

Ты сама под ласками сбросишь шелк фаты,
Унесу я пьяную до утра в кусты.

И пускай со звонами плачут глухари.
Есть тоска веселая в алостях зари.

1910

* * *

Матушка в купальницу по лесу ходила,
Босая с подтыками по росе бродила.

Травы ворожбиные ноги ей кололи,
Плакала родимая в купырях от боли.

Не дознамо печени судорга схватила,
Охнула кормилица, тут и породила.

Родился я с песнями в травном одеяле.
Зори меня вешние в радугу свивали.

Вырос я до зрелости, внук купальской ночи,
Сутемень колдовная счастье мне пророчит.

Только не по совести счастье наготове,
Выбираю удалью и глаза и брови.

Как снежинка белая, в просини я таю
Да к судьбе-разлучнице след свой заметаю.

1912

* * *

Зашумели над затоном тростники.
Плачет девушка-царевна у реки.

Погадала красна девица в семик.
Расплела волна венок из повилик.

Ах, не выйти в жены девушке весной,
Запугал ее приметами лесной:

На березке пообъедена кора, —
Выживают мыши девушку с двора.

Бьются кони, грозно машут головой, —
Ой, не любит черны косы домовой.

Запах ладана от рощи ели льют,
Звонки ветры панихидную поют.

Ходит девушка по бережку грустна,
Ткет ей саван нежнопенная волна.

1914

* * *

Троицыно утро, утренний канон,
В роще по березкам белый перезвон.

Тянется деревня с праздничного сна,
В благовесте ветра хмельная весна.

На резных окошках ленты и кусты.
Я пойду к обедне плакать на цветы.

Пойте в чаще, птахи, я вам подпою,
Похороним вместе молодость мою.

Троицыно утро, утренний канон.
В роще по березкам белый перезвон.

1914

* * *

Туча кружево в роще связала,
Закурился пахучий туман.
Еду грязной дорогой с вокзала
Вдалеке от родимых полян.

Лес застыл без печали и шума,
Виснет темь, как платок, за сосной.
Сердце гложет плакучая дума...
Ой, не весел ты, край мой родной.

Пригорюнились девушки-ели,
И поет мой ямщик наумяк:
«Я умру на тюремной постели,
Похоронят меня кое-как».

1915

* * *

Дымом половодье
Зализало ил.
Желтые поводья
Месяц уронил.

Еду на баркасе,
Тычусь в берега.
Церквами у прясел
Рыжие стога.

Заунывным карком
В тишину болот
Черная глухарка
К всенощной зовет.

Роща синим мраком
Кроет голытьбу...
Помолюсь украдкой
За твою судьбу.

1910

* * *

Сыплет черемуха снегом,
Зелень в цвету и росе.
В поле, склоняясь к побегам,
Ходят грачи в полосе.

Никнут шелковые травы,
Пахнет смолистой сосной.
Ой вы, луга и дубравы, —
Я одурманен весной.

Радугой тайные вести
Светятся в душу мою.
Думаю я о невесте,
Только о ней лишь пою.

Сыпь ты, черемуха, снегом,
Пойте вы, птахи, в лесу.
По полю зыбистым бегом
Пеной я цвет разнесу.

1910

* * *

На плетнях висят баранки,
Хлебной брагой льет теплынь.

Солнца струганые дранки
Загораживают синь.

Балаганы, пни и колья,
Карусельный пересвист.
От вихлистого приволья
Гнутся травы, мнется лист.

Дробь копыт и хрип торговок,
Пьяный пах медовых сот.
Берегись, коли не ловок:
Вихорь пылью разметет.

За лещужною сурьмою —
Бабий крик, как поутру.
Не твоя ли шаль с каймою
Зеленеет на ветру?

Ой, удал и многосказен
Лад веселый на пыжну.
Запевай, как Стенька Разин
Утопил свою княжну.

Ты ли, Русь, тропой-дорогой
Разметала ал наряд?
Не суди молитвой строгой
Напоенный сердцем взгляд.

1915

КАЛИКИ

Проходили калики деревнями,
Выпивали под окнами квасу,
У церквей пред затворами древними
Поклонялись Пречистому Спасу.

Пробиралися странники по полю,
Пели стих о сладчайшем Исусе.
Мимо клячи с поклажею топали,
Подпевали горластые гуси.

Ковыляли убогие по стаду,
Говорили страдальные речи:

«Все единому служим мы Господу,
Возлагая вериги на плечи».

Вынимали калики поспешливо
Для коров сбереженные крохи.
И кричали пастушки насмешливо:
«Девки, в пляску. Идут скоморохи».

1910

* * *

Задымился вечер, дремлет кот на брусе.
Кто-то помолился: «Господи Исусе».

Полыхают зори, курятся туманы,
Над резным окошком занавес багряный.

Вьются паутины с золотой повети.
Где-то мышь скребется в затворенной клети...

У лесной поляны — в свяслах копны хлеба,
Ели, словно копья, уперлися в небо.

Закадили дымом под росою рощи...
В сердце почивают тишина и мощи.

1912

* * *

Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных.
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных.

По меже на переметке
Резеда и риза кашки.
И вызванивают в четки
Ивы, кроткие монашки.

Курит облаком болото,
Гарь в небесном коромысле.
С тихой тайной для кого-то
Затаил я в сердце мысли.

Все встречаю, все приемлю,
Рад и счастлив душу вынуть.
Я пришел на эту землю,
Чтоб скорей ее покинуть.

1914

* * *

Пойду в скуфье смиренным иноком
Иль белобрысым босяком
Туда, где льется по равнинам
Березовое молоко.

Хочу концы земли измерить,
Доверясь призрачной звезде,
И в счастье ближнего поверить
В звенящей рожью борозде.

Рассвет рукой прохлады росной
Сшибает яблоки зари.
Сгребая сено на покосах,
Поют мне песни косари.

Глядя за кольца лычных прясел,
Я говорю с самим собой:
Счастлив, кто жизнь свою украсил
Бродяжной палкой и сумой.

Счастлив, кто в радости убогой,
Живя без друга и врага,
Пройдет проселочной дорогой,
Молясь на копны и стога.

<1914—1922>

* * *

Шел Господь пытать людей в любови,
Выходил он нищим на кулижку.
Старый дед на пне сухом в дуброве
Жамкал деснами зачерствелую пышку.

Увидал дед нищего дорогой,
На тропинке, с клюшкою железной,

И подумал: «Вишь, какой убогой, —
Знать, от голода качается, болезный».

Подошел Господь, скрывая скорбь и муку:
Видно, мол, сердца их не разбудишь...
И сказал старик, протягивая руку:
«На, пожуй... маленько крепче будешь».

1914

ОСЕНЬ

Р. В. Иванову

Тихо в чаще можжевеля по обрыву.
Осень, рыжая кобыла, чешет гриву.

Над речным покровом берегов
Слышен синий лязг ее подков.

Схимник-ветер шагом осторожным
Мнет листву по выступам дорожным

И целует на рябиновом кусту
Язвы красные незримому Христу.

1914

* * *

Не ветры осыпают пущи,
Не листопад златит холмы.
С голубизны незримой кущи
Струятся звездные псалмы.

Я вижу — в просиничном плате,
На легкокрылых облаках,
Идет возлюбленная Мати
С Пречистым Сыном на руках.

Она несет для мира снова
Распять воскресшего Христа:
«Ходи, мой сын, живи без крова,
Зорюй и полднюй у куста».

И в каждом страннике убогом
Я вызнавать пойду с тоской,
Не Помазуемый ли Богом
Стучит берестяной клюкой.

И может быть, пройду я мимо
И не замечу в тайный час,
Что в елях — крылья херувима,
А под пеньком — голодный Спас.

1914

В ХАТЕ

Пахнет рыхлыми драченами,
У порога в дежке квас,
Над печурками точеными
Тараканы лезут в паз.

Вьется сажа над заслонкою,
В печке нитки попелиц,
А на лавке за солонкою —
Шелуха сырых яиц.

Мать с ухватами не сладится,
Нагибается низко,
Старый кот к махотке крадется
На парное молоко.

Квохчут куры беспокойные
Над оглоблями сохи,
На дворе обедню стройную
Запевают петухи.

А в окне на сени скатые,
От пугливой шумоты,
Из углов щенки кудлатые
Заползают в хомуты.

1914

* * *

По селу тропинкой кривенькой
В летний вечер голубой

Рекрута ходили с ливенкой
Разухабистой гурьбой.

Распевали про любимые
Да последние деньки:
«Ты прощай, село родимое,
Темна роща и пеньки».

Зори пенились и таяли.
Все кричали, пяча грудь:
«До рекрутства горе маяли,
А теперь пора гульнуть».

Размахнув кудрями русыми,
В пляс пускались весело.
Девки брякали им бусами,
Зазывали за село.

Выходили парни бравые
За гуменные плетни.
А девчоночки лукавые
Убегали, — догони!

Над зелеными пригорками
Развевалися платки.
По полям бредя с кошелками,
Улыбались старики.

По кустам, в траве над лыками,
Под пугливый возглас сов,
Им смеялась роща зыками
С переливом голосов.

По селу тропинкой кривенькой,
Ободравшись о пеньки,
Рекрута играли в ливенку
Про остальние деньки.

1914

* * *

Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты — в ризах образа...

Не видать конца и края —
Только синь сосет глаза.

Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.

Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.

Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

1914

* * *

Я пастух, мои палаты —
Межи зыбистых полей.
По горам зеленым — скаты
С гарком гулких дупелей.

Вяжут кружево над лесом
В желтой пене облака.
В тихой дреме под навесом
Слышу шепот сосняка.

Светят зелено в сутёмы
Под росою тополя.
Я — пастух; мои хоромы —
В мягкой зелени поля.

Говорят со мной коровы
На кивливом языке.

Духовитые дубровы
Кличут ветками к реке.

Позабыв людское горе,
Сплю на вырублях сучья.
Я молюсь на алы зори,
Причащаюсь у ручья.

1914

* * *

Сторона ль моя, сторонка,
Горевая полоса.
Только лес, да посолонка,
Да заречная коса...

Чахнет старая церквушка,
В облака закинув крест.
И забольная кукушка
Не летит с печальных мест.

По тебе ль, моей сторонке,
В половодье каждый год
С подожочка и котомки
Богомольный льется пот.

Лица пыльны, загорелы,
Веки выглодала даль,
И впилась в худое тело
Спаса кроткого печаль.

1914

* * *

Сохнет стаявшая глина,
На сугорьях гниль опенок.
Пляшет ветер по равнинам,
Рыжий ласковый осленок.

Пахнет вербой и смолою,
Синь то дремлет, то вздыхает.
У лесного аналоя
Воробей псалтырь читает.

Прошлогодний лист в овраге
Средь кустов, как ворох меди.
Кто-то в солнечной сермяге
На осленке рыжем едет.

Прядь волос нежней кудели,
Но лицо его туманно.
Никнут сосны, никнут ели
И кричат ему: «Осанна!»

1914

* * *

Чую радуницу Божью —
Не напрасно я живу,
Поклоняюсь придорожью,
Припадаю на траву.

Между сосен, между елок,
Меж берез кудрявых бус,
Под венком, в кольце иголок,
Мне мерещится Исус.

Он зовет меня в дубровы,
Как во царствие небес,
И горит в парче лиловой
Облаками крытый лес.

Голубиный дух от Бога,
Словно огненный язык,
Завладел моей дорогой,
Заглушил мой слабый крик.

Льется пламя в бездну зренья,
В сердце радость детских снов.
Я поверил от рожденья
В Богородицын покров.

1914

* * *

По дороге идут богомолки,
Под ногами полынь да комли.

Раздвигая щипульные колки,
На канавах звенят костыли.

Топчут лапти по полю кукольни,
Где-то ржанье и храп табуна,
И зовет их с большой колокольни
Гулкий звон, словно зык чугуна.

Отряхают старухи дулейки,
Вяжут девки косницы до пят.
Из подворья с высокой келейки
На платки их монахи глядят.

На вратах монастырские знаки:
«Упокою грядущих ко мне»,
А в саду разбрехались собаки,
Словно чуя воров на гумне.

Лижут сумерки золото солнца,
В дальних рощах аукает звон...
По тени от ветлы-веретенца
Богомолки идут на канон.

1914

* * *

Край ты мой заброшенный,
Край ты мой, пустырь.
Сенокос некошеный,
Лес да монастырь.

Избы забоченились,
А и всех-то пять.
Крыши их запенились
В заревую гать.

Под соломой-ризою
Выструги стропил,
Ветер плесень сизую
Солнцем окропил.

В окна бьют без промаха
Вороны крылом,
Как метель, черемуха
Машет рукавом.

Уж не сказ ли в прутнике
Жисть твоя и быль,
Что под вечер путнику
Нашептал ковыль?

1914

* * *

Заглушила засуха засевки,
Сохнет рожь и не всходят овсы.
На молебен с хоругвями девки
Потащились в комлях полосы.

Собрались прихожане у чащи,
Лихоманную грусть затая.
Загузынил дьячишко лядащий:
«Спаси, Господи, люди твоя».

Открывались небесные двери,
Дьякон бавкнул из кряжистых сил:
«Еще молимся, братья, о вере,
Чтобы Бог нам поля оросил».

Заливались веселые птахи,
Крапал брызгами поп из горстей,
Стрекотуньи-сороки, как свахи,
Накликали дождливых гостей.

Зыбко пенились зори за рощей,
Как холстины ползли облака,
И туманно по быльнице тощей
Меж кустов ворковала река.

Скинув шапки, молясь и вздыхая,
Говорили промеж мужики:
«Колосилась-то ярь неплохая,
Да сгубили сухие деньки».

На коне — черной тучице в санках —
Билось пламя-шлея... синь и дрожь.
И кричали парнишки в еланках:
«Дождик, дождик, полей нашу рожь!»

1914

* * *

Черная, потом пропахшая выть!
Как мне тебя не ласкать, не любить.

Выйду на озеро в синюю гать,
К сердцу вечерняя льнет благодать.

Серым веретьем стоят шалаши,
Глухо баюкают хлюпь камыши.

Красный костер окровил таганы,
В хворосте белые веки луны.

Тихо, на корточках, в пятнах зари,
Слушают сказ старика косари.

Где-то вдали на кукане реки
Дремную песню поют рыбаки.

Оловом светится лужная голь...
Грустная песня, ты — русская боль.

1914

* * *

Топи да болота,
Синий плат небес.
Хвойной позолотой
Взвенивает лес.

Тенькает синица
Меж лесных кудрей,
Темным елям снится
Гомон косарей.

По лугу со скрипом
Тянется обоз —
Суховатой липой
Пахнет от колес.

Слухают ракиты
Посвист ветряной...
Край ты мой забытый,
Край ты мой родной.

1914

* * *

За темной прядью перелесиц,
В неколебимой синеве,
Ягненочек кудрявый — месяц
Гуляет в голубой траве.

В затихшем озере с осокой
Бодаются его рога,
И кажется с тропы далекой —
Вода качает берега.

А степь под пологом зеленым
Кадит черемуховый дым
И за долинами по склонам
Свивает полымя над ним.

О сторона ковыльной пущи,
Ты сердцу ровностью близка,
Но и в твоей таится гуще
Солончаковая тоска.

И ты, как я, в печальной требе,
Забыв, кто друг тебе и враг,
О розовом тоскуешь небе
И голубиных облаках.

Но и тебе из синей шири
Пугливо кажет темнота
И кандалы твоей Сибири,
И горб Уральского хребта.

<1916>

* * *

В том краю, где желтая крапива
И сухой плетень,
Приютились к вербам сиротливо
Избы деревень.

Там в полях, за синей гущей лога,
В зелени озер,
Пролегла песчаная дорога
До сибирских гор.

Затерялась Русь в Мордве и Чуди,
    Нипочем ей страх.
И идут по той дороге люди,
    Люди в кандалах.

Все они убийцы или воры,
    Как судил им рок.
Полюбил я грустные их взоры
    С впадинами щек.

Много зла от радости в убийцах,
    Их сердца просты.
Но кривятся в почернелых лицах
    Голубые рты.

Я одну мечту, скрывая, нежу,
    Что я сердцем чист.
Но и я кого-нибудь зарежу
    Под осенний свист.

И меня по ветряному свею,
    По тому ль песку,
Поведут с веревкою на шее
    Полюбить тоску.

И когда с улыбкой мимоходом
    Распрямлю я грудь,
Языком залижет непогода
    Прожитой мой путь.

1915

* * *

Я снова здесь, в семье родной,
Мой край, задумчивый и нежный!
Кудрявый сумрак за горой
Рукою машет белоснежной.

Седины пасмурного дня
Плывут всклокоченные мимо,
И грусть вечерняя меня
Волнует непреодолимо.

Над куполом церковных глав
Тень от зари упала ниже.
О други игрищ и забав,
Уж я вас больше не увижу!

В забвенье канули года,
Вослед и вы ушли куда-то.
И лишь по-прежнему вода
Шумит за мельницей крылатой.

И часто я в вечерней мгле,
Под звон надломленной осоки,
Молюсь дымящейся земле
О невозвратных и далеких.

Июнь 1916

* * *

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.

С алым соком ягоды на коже,
Нежная, красивая, была
На закат ты розовый похожа
И, как снег, лучиста и светла.

Зерна глаз твоих осыпались, завяли,
Имя тонкое растаяло, как звук.
Но остался в складках смятой шали
Запах меда от невинных рук.

В тихий час, когда заря на крыше,
Как котенок, моет лапкой рот,
Говор кроткий о тебе я слышу
Водяных поющих с ветром сот.

Пусть порой мне шепчет синий вечер,
Что была ты песня и мечта,
Все ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи —
К светлой тайне приложил уста.

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.

<1916>

* * *

О красном вечере задумалась дорога,
Кусты рябин туманней глубины.
Изба-старуха челюстью порога
Жует пахучий мякиш тишины.

Осенний холод ласково и кротко
Крадется мглой к овсяному двору;
Сквозь синь стекла желтоволосый отрок
Лучит глаза на галочью игру.

Обняв трубу, сверкает по повети
Зола зеленая из розовой печи.
Кого-то нет, и тонкогубый ветер
О ком-то шепчет, сгинувшем в ночи.

Кому-то пятками уже не мять по рощам
Щербленый лист и золото травы.
Тягучий вздох, ныряя звоном тощим,
Целует клюв нахохленной совы.

Все гуще хмарь, в хлеву покой и дрема,
Дорога белая узорит скользкий ров...
И нежно охает ячменная солома,
Свисая с губ кивающих коров.

<1916>

* * *

Нощь и поле, и крик петухов...
С златной тучки глядит Саваоф.
Хлесткий ветер в равнинную синь
Катит яблоки с тощих осин.

Вот она, невеселая рябь
С журавлиной тоской сентября!

Смолкшим колоколом над прудом
Опрокинулся отчий дом.

Здесь все так же, как было тогда,
Те же реки и те же стада.
Только ивы над красным бугром
Обветшалым трясут подолом.

Кто-то сгиб, кто-то канул во тьму,
Уж кому-то не петь на холму.
Мирно грезит родимый очаг
О погибших во мраке плечах.

Тихо, тихо в божничном углу,
Месяц месит кутью на полу...
Но тревожит лишь помином тишь
Из запечья пугливая мышь.

<1916—1922>

* * *

О край дождей и непогоды,
Кочующая тишина,
Ковригой хлебною под сводом
Надломлена твоя луна!

За перепаханною нивой
Малиновая лебеда.
На ветке облака, как слива,
Златится спелая звезда.

Опять дорогой верстовою,
Наперекор твоей беде,
Бреду и чую яровое
По голубеющей воде.

Клубит и пляшет дым болотный...
Но и в кошме певучей тьмы
Неизреченностью животной
Напоены твои холмы.

<1916—1917>

ГОЛУБЕНЬ

В прозрачном холоде заголубели долы,
Отчетлив стук подкованных копыт,

Трава поблекшая в расстеленные полы
Сбирает медь с обветренных ракит.

С пустых лощин ползет дугою тощей
Сырой туман, курчаво свившись в мох,
И вечер, свесившись над речкою, полощет
Водою белой пальцы синих ног.

*

Осенним холодом расцвечены надежды,
Бредет мой конь, как тихая судьба,
И ловит край махающей одежды
Его чуть мокрая буланая губа.

В дорогу дальнюю, ни к битве, ни к покою,
Влекут меня незримые следы,
Погаснет день, мелькнув пятой златою,
И в короб лет улягутся труды.

*

Сыпучей ржавчиной краснеют по дороге
Холмы плешивые и слегшийся песок,
И пляшет сумрак в галочьей тревоге,
Согнув луну в пастушеский рожок.

Молочный дым качает ветром села,
Но ветра нет, есть только легкий звон.
И дремлет Русь в тоске своей веселой,
Вцепивши руки в желтый крутосклон.

*

Манит ночлег, недалеко до хаты,
Укропом вялым пахнет огород.
На грядки серые капусты волноватой
Рожок луны по капле масло льет.

Тянусь к теплу, вдыхаю мягкость хлеба
И с хруптом мысленно кусаю огурцы,
За ровной гладью вздрогнувшее небо
Выводит облако из стойла под уздцы.

*

Ночлег, ночлег, мне издавна знакома
Твоя попутная разымчивость в крови,
Хозяйка спит, а свежая солома
Примята ляжками вдовеющей любви.

Уже светает, краской тараканьей
Обведена божница по углу,
Но мелкий дождь своей молитвой ранней
Еще стучит по мутному стеклу.

*

Опять передо мною голубое поле,
Качают лужи солнца рдяный лик.
Иные в сердце радости и боли,
И новый говор липнет на язык.

Водою зыбкой стынет синь во взорах,
Бредет мой конь, откинув удила,
И горстью смуглою листвы последний ворох
Кидает ветер вслед из подола.

<1916>

* * *

Колокольчик среброзвонный,
Ты поешь? Иль сердцу снится?
Свет от розовой иконы
На златых моих ресницах.

Пусть не я тот нежный отрок
В голубином крыльев плеске,
Сон мой радостен и кроток
О нездешнем перелеске.

Мне не нужен вздох могилы,
Слову с тайной не обняться.
Научи, чтоб можно было
Никогда не просыпаться.

<1917>

* * *

Запели тесаные дроги,
Бегут равнины и кусты.
Опять часовни на дороге
И поминальные кресты.

Опять я теплой грустью болен
От овсяного ветерка,
И на известку колоколен
Невольно крестится рука.

О Русь, малиновое поле
И синь, упавшая в реку,
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску.

Холодной скорби не измерить,
Ты на туманном берегу.
Но не любить тебя, не верить —
Я научиться не могу.

И не отдам я эти цепи,
И не расстанусь с долгим сном,
Когда звенят родные степи
Молитвословным ковылем.

<1916>

* * *

Не напрасно дули ветры,
Не напрасно шла гроза.
Кто-то тайный тихим светом
Напоил мои глаза.

С чьей-то ласковости вешней
Отгрустил я в синей мгле
О прекрасной, но нездешней,
Неразгаданной земле.

Не гнетет немая млечность,
Не тревожит звездный страх.
Полюбил я мир и вечность,
Как родительский очаг.

Все в них благостно и свято,
Все тревожное светло.
Плещет рдяный мак заката
На озерное стекло.

И невольно в море хлеба
Рвется образ с языка:
Отелившееся небо
Лижет красного телка.

<1917>

КОРОВА

Дряхлая, выпали зубы,
Свиток годов на рогах.
Бил ее выгонщик грубый
На перегонных полях.

Сердце не ласково к шуму,
Мыши скребут в уголке.
Думает грустную думу
О белоногом телке.

Не дали матери сына,
Первая радость не прок.
И на колу под осиной
Шкуру трепал ветерок.

Скоро на гречневом свее,
С той же сыновней судьбой,
Свяжут ей петлю на шее
И поведут на убой.

Жалобно, грустно и тоще
В землю вопьются рога...
Снится ей белая роща
И травяные луга.

1915

* * *

Под красным вязом крыльцо и двор,
Луна над крышей как злат бугор.

На синих окнах накапан лик:
Бредет по туче седой Старик.

Он смуглой горстью меж тихих древ
Бросает звезды — озимый сев.

Взрастает нива, и зерна душ
Со звоном неба спадают в глушь.

Я помню время, оно, как звук,
Стучало клювом в древесный сук.

Я был во злаке, но костный ум
Уж верил в поле и водный шум.

В меже под елью, где облак-тын,
Мне снились реки златых долин.

И слышал дух мой про край холмов,
Где есть рожденье в посеве слов.

<1917>

ТАБУН

В холмах зеленых табуны коней
Сдувают ноздрями златой налет со дней.

С бугра высокого в синеющий залив
Упала смоль качающихся грив.

Дрожат их головы над тихою водой,
И ловит месяц их серебряной уздой.

Храпя в испуге на свою же тень,
Зазастить гривами они ждут новый день.

*

Весенний день звенит над конским ухом
С приветливым желаньем к первым мухам.

Но к вечеру уж кони над лугами
Брыкаются и хлопают ушами.

Все резче звон, прилипший на копытах,
То тонет в воздухе, то виснет на ракитах.

И лишь волна потянется к звезде,
Мелькают мухи пеплом по воде.

*

Погасло солнце. Тихо на лужке.
Пастух играет песню на рожке.

Уставясь лбами, слушает табун,
Что им поет вихрастый гамаюн.

А эхо резвое, скользнув по их губам,
Уносит думы их к неведомым лугам.

Любя твой день и ночи темноту,
Тебе, о родина, сложил я песню ту.

1915

ПРОПАВШИЙ МЕСЯЦ

Облак, как мышь,
подбежал и взмахнул
В небо огромным хвостом.
Словно яйцо,
расколовшись, скользнул
Месяц за дальним холмом.

Солнышко утром в колодезь озер
Глянуло —
месяца нет...
Свесило ноги оно на бугор,
Кликнуло —
месяца нет.

Клич тот услышал с реки рыболов,
Вздумал старик подшутить.
Отраженье от солнышка
с утренних вод
Стал он руками ловить.

Выловил.
Крепко скрутил бечевой,
Уши коленом примял.
Вылез и тихо на луч золотой
Солнечных век
привязал.

Солнышко к Богу глаза подняло
И сказало:
«Тяжек мой труд!»
И вдруг солнышку
что-то веки свело,
Оглянулося — месяц как тут.

Как белка на ветке, у солнца в глазах
Запрыгала радость...
Но вдруг...
Луч оборвался,
и по скользким холмам
Отраженье скатилось в луг.

Солнышко испугалось...
А старый дед,
Смеясь, грохотал, как гром.
И голубем синим
вечерний свет
Махал ему в рот крылом.

<1917?>

* * *

О товарищах веселых,
О полях посеребренных
Загрустила, словно голубь,
Радость лет уединенных.

Ловит память тонким клювом
Первый снег и первопуток.
В санках озера над лугом
Запоздалый окрик уток.

Под окном от скользких елей
Тень протягивает руки,

Тихих вод парагуш квелый
Курит люльку на излуке.

Легким дымом к дальним пожням
Шлет поклон день ласк и вишен.
Запах трав от бабьей кожи
На губах моих я слышу.

Мир вам, рощи, луг и липы,
Литии медовый ладан!
Все приявшему с улыбкой
Ничего от вас не надо.

1916

* * *

Весна на радость не похожа,
И не от солнца желт песок.
Твоя обветренная кожа
Лучила гречневый пушок.

У голубого водопоя
На шишкоперой лебеде
Мы поклялись, что будем двое
И не расстанемся нигде.

Кадила темь, и вечер тощий
Свивался в огненной резьбе,
Я проводил тебя до рощи,
К твоей родительской избе.

И долго, долго в дреме зыбкой
Я оторвать не мог лица,
Когда ты с ласковой улыбкой
Махал мне шапкою с крыльца.

1916

* * *

Алый мрак в небесной черни
Начертил пожаром грань.
Я пришел к твоей вечерне,
Полевая глухомань.

Нелегка моя кошница,
Но глаза синее дня.
Знаю, мать-земля черница,
Все мы тесная родня.

Разошлись мы в даль и шири
Под лазоревым крылом.
Но сзовет нас из псалтыри
Заревой заре псалом.

И придем мы по равнинам
К правде сошьего креста
Светом книги Голубиной
Напоить свои уста.

<1915>

* * *

Прощай, родная пуща,
Прости, златой родник.
Плывут и рвутся тучи
О солнечный сошник.

Сияй ты, день погожий,
А я хочу грустить.
За голенищем ножик
Мне больше не носить.

Под брюхом жеребенка
В глухую ночь не спать
И радостию звонкой
Лесов не оглашать.

И не избегнуть бури,
Не миновать утрат,
Чтоб прозвенеть в лазури
Кольцом незримых врат.

1916

* * *

Покраснела рябина,
Посинела вода.

Месяц, всадник унылый,
Уронил повода.

Снова выплыл из рощи
Синим лебедем мрак.
Чудотворные мощи
Он принес на крылах.

Край ты, край мой родимый,
Вечный пахарь и вой,
Словно Вóльга под ивой,
Ты поник головой.

Встань, пришло исцеленье,
Навестил тебя Спас.
Лебединое пенье
Нежит радугу глаз.

Дня закатного жертва
Искупила весь грех.
Новой свежестью ветра
Пахнет зреющий снег.

Но незримые дрожди
Все теплей и теплей...
Помяну тебя в дождик
Я, Есенин Сергей.

1916

* * *

Твой глас незримый, как дым в избе.
Смиренным сердцем молюсь тебе.

Овсяным ликом питаю дух,
Помощник жизни и тихий друг.

Рудою солнца посеян свет,
Для вечной правды названья нет.

Считает время песок мечты,
Но новых зерен прибавил ты.

В незримых пашнях растут слова,
Смешалась с думой ковыль-трава.

На крепких сгибах воздетых рук
Возводит церкви строитель звук.

Есть радость в душах — топтать твой цвет,
На первом снеге свой видеть след.

Но краше кротость и стихший пыл
Склонивших веки пред звоном крыл.

1916

* * *

В лунном кружеве украдкой
Ловит призраки долина.
На божнице за лампадкой
Улыбнулась Магдалина.

Кто-то дерзкий, непокорный
Позавидовал улыбке.
Вспучил бельма вечер черный,
И луна — как в белой зыбке.

Разыгралась тройка-вьюга,
Брызжет пот, холодный, тёрпкий,
И плакучая лещуга
Лезет к ветру на закорки.

Смерть в потемках точит бритву...
Вон уж плачет Магдалина.
Помяни мою молитву
Тот, кто ходит по долинам.

<1915>

* * *

Там, где вечно дремлет тайна,
Есть нездешние поля.
Только гость я, гость случайный
На горах твоих, земля.

Широки леса и воды,
Крепок взмах воздушных крыл.
Но века твои и годы
Затуманил бег светил.

Не тобой я поцелован,
Не с тобой мой связан рок.
Новый путь мне уготован
От захода на восток.

Суждено мне изначально
Возлететь в немую тьму.
Ничего я в час прощальный
Не оставлю никому.

Но за мир твой, с выси звездной,
В тот покой, где спит гроза,
В две луны зажгу над бездной
Незакатные глаза.

<1917>

* * *

Тучи с ожерёба
Ржут, как сто кобыл,
Плещет надо мною
Пламя красных крыл.

Небо словно вымя,
Звезды как сосцы.
Пухнет Божье имя
В животе овцы.

Верю: завтра рано,
Чуть забрезжит свет,
Новый под туманом
Вспыхнет Назарет.

Новое восславят
Рождество поля,
И, как пес, пролает
За горой заря.

Только знаю: будет
Страшный вопль и крик,
Отрекутся люди
Славить новый лик.

Скрежетом булата
Вздыбят пасть земли...
И со щек заката
Спрыгнут скулы-дни.

Побегут, как лани,
В степь иных сторон,
Где вздымает длани
Новый Симеон.

<1917>

ЛИСИЦА

А. М. Ремизову

На раздробленной ноге приковыляла,
У норы свернулася в кольцо.
Тонкой прошвой кровь отмежевала
На снегу дремучее лицо.

Ей все бластился в колючем дыме выстрел,
Колыхалася в глазах лесная топь.
Из кустов косматый ветер взбыстрил
И рассыпал звонистую дробь.

Как желна, над нею мгла металась,
Мокрый вечер липок был и ал.
Голова тревожно подымалась,
И язык на ране застывал.

Желтый хвост упал в метель пожаром,
На губах — как прелая морковь...
Пахло инеем и глиняным угаром,
А в ощур сочилась тихо кровь.

<1915>

* * *

О Русь, взмахни крылами,
Поставь иную крепь!

С иными именами
Встает иная степь.

По голубой долине,
Меж телок и коров,
Идет в златой ряднине
Твой Алексей Кольцов.

В руках — краюха хлеба,
Уста — вишневый сок.
И вызвездило небо
Пастушеский рожок.

За ним, с снегов и ветра,
Из монастырских врат,
Идет одетый светом
Его середний брат.

От Вытегры до Шуи
Он избраздил весь край
И выбрал кличку — Клюев,
Смиренный Миколай.

Монашьи мудр и ласков,
Он весь в резьбе молвы,
И тихо сходит пасха
С бескудрой головы.

А там, за взгорьем смолым,
Иду, тропу тая,
Кудрявый и веселый,
Такой разбойный я.

Долга, крута дорога,
Несчетны склоны гор;
Но даже с тайной Бога
Веду я тайно спор.

Сшибаю камнем месяц
И на немую дрожь
Бросаю, в небо свесясь,
Из голенища нож.

За мной незримым роем
Идет кольцо других,

И далеко по селам
Звенит их бойкий стих.

Из трав мы вяжем книги,
Слова трясем с двух пол.
И сродник наш, Чапыгин,
Певуч, как снег и дол.

Сокройся, сгинь ты, племя
Смердящих снов и дум!
На каменное темя
Несем мы звездный шум.

Довольно гнить и ноять,
И славить взлетом гнусь —
Уж смыла, стерла деготь
Воспрянувшая Русь.

Уж повела крылами
Ее немая крепь!
С иными именами
Встает иная степь.

1917

* * *

Гляну в поле, гляну в небо,
И в полях и в небе рай.
Снова тонет в копнах хлеба
Незапаханный мой край.

Снова в рощах непасеных
Неизбывные стада,
И струится с гор зеленых
Златоструйная вода.

О, я верю — знать, за муки
Над пропащим мужиком
Кто-то ласковые руки
Проливает молоком.

15 августа 1917

* * *

То не тучи бродят за овином
И не холод.

Замесила Божья Матерь сыну
Колоб.

Всякой снадобью она поила жито
В масле.
Испекла и положила тихо
В ясли.

Заигрался в радости младенец,
Пал в дрему,
Уронил он колоб золоченый
На солому.

Покатился колоб за ворота
Рожью.
Замутили слезы душу голубую
Божью.

Говорила Божья Матерь сыну
Советы:
«Ты не плачь, мой лебеденочек,
Не сетуй.

На земле все люди человеки,
Чада.
Хоть одну им малую забаву
Надо.

Жутко им меж темных
Перелесиц,
Назвала я этот колоб —
Месяц».

1916

* * *

Разбуди меня завтра рано,
О моя терпеливая мать!
Я пойду за дорожным курганом
Дорогого гостя встречать.

Я сегодня увидел в пуще
След широких колес на лугу.

Треплет ветер под облачной кущей
Золотую его дугу.

На рассвете он завтра промчится,
Шапку-месяц пригнув под кустом,
И игриво взмахнет кобылица
Над равниною красным хвостом.

Разбуди меня завтра рано,
Засвети в нашей горнице свет.
Говорят, что я скоро стану
Знаменитый русский поэт.

Воспою я тебя и гостя,
Нашу печь, петуха и кров...
И на песни мои прольется
Молоко твоих рыжих коров.

1917

* * *

Где ты, где ты, отчий дом,
Гревший спину под бугром?
Синий, синий мой цветок,
Неприхоженный песок.
Где ты, где ты, отчий дом?

За рекой поет петух.
Там стада стерег пастух,
И светились из воды
Три далекие звезды.
За рекой поет петух.

Время — мельница с крылом
Опускает за селом
Месяц маятником в рожь
Лить часов незримый дождь.
Время — мельница с крылом.

Этот дождик с сонмом стрел
В тучах дом мой завертел,
Синий подкосил цветок,
Золотой примял песок.
Этот дождик с сонмом стрел.

1917

* * *

О Матерь Божья,
Спади звездой
На бездорожье,
В овраг глухой.

Пролей, как масло,
Власа луны
В мужичьи ясли
Моей страны.

Срок ночи долог.
В них спит твой сын.
Спусти, как полог,
Зарю на синь.

Окинь улыбкой
Мирскую весь
И солнце зыбкой
К кустам привесь.

И да взыграет
В ней, славя день,
Земного рая
Святой младень.

1917

* * *

О пашни, пашни, пашни,
Коломенская грусть.
На сердце день вчерашний,
А в сердце светит Русь.

Как птицы свищут версты
Из-под копыт коня.
И брызжет солнце горстью
Свой дождик на меня.

О край разливов грозных
И тихих вешних сил,
Здесь по заре и звездам
Я школу проходил.

И мыслил и читал я
По библии ветров,
И пас со мной Исайя
Моих златых коров.

1917

* * *

Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.

Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примечталось,
Что совсем, совсем немного
Ждать зимы седой осталось.

Ах, и сам я в чаще звонкой
Увидал вчера в тумане:
Рыжий месяц жеребенком
Запрягался в наши сани.

1917

* * *

Л. И. Кашиной

Зеленая прическа,
Девическая грудь.
О тонкая березка,
Что загляделась в пруд?

Что шепчет тебе ветер?
О чем звенит песок?
Иль хочешь в косы-ветви
Ты лунный гребешок?

Открой, открой мне тайну
Твоих древесных дум,
Я полюбил — печальный
Твой предосенний шум.

И мне в ответ березка:
«О любопытный друг,
Сегодня ночью звездной
Здесь слезы лил пастух.

Луна стелила тени,
Сияли зеленя.
За голые колени
Он обнимал меня.

И так, вдохнувши глубко,
Сказал под звон ветвей:
“Прощай, моя голубка,
До новых журавлей”».

15 августа 1918

* * *

Я по первому снегу бреду.
В сердце ландыши вспыхнувших сил.
Вечер синею свечкой звезду
Над дорогой моей засветил.

Я не знаю — то свет или мрак?
В чаще ветер поет иль петух?
Может, вместо зимы на полях,
Это лебеди сели на луг.

Хороша ты, о белая гладь!
Греет кровь мою легкий мороз.
Так и хочется к телу прижать
Обнаженные груди берез.

О лесная, дремучая муть!
О веселье оснеженных нив!
Так и хочется руки сомкнуть
Над древесными бедрами ив.

1917

* * *

Серебристая дорога,
Ты зовешь меня куда?

Свечкой чисточетверговой
Над тобой горит звезда.

Грусть ты или радость теплишь?
Иль к безумью правишь бег?
Помоги мне сердцем вешним
Долюбить твой жесткий снег.

Дай ты мне зарю на дровни,
Ветку вербы на узду.
Может быть, к вратам Господним
Сам себя я приведу.

1917

* * *

Отвори мне, страж заоблачный,
Голубые двери дня.
Белый ангел этой полночью
Моего увел коня.

Богу лишнего не надобно,
Конь мой — мощь моя и крепь.
Слышу я, как ржет он жалобно,
Закусив златую цепь.

Вижу, как он бьется, мечется,
Теребя тугой аркан,
И летит с него, как с месяца,
Шерсть буланая в туман.

1917

* * *

О верю, верю, счастье есть!
Еще и солнце не погасло.
Заря молитвенником красным
Пророчит благостную весть.
О верю, верю, счастье есть.

Звени, звени, златая Русь,
Волнуйся, неуемный ветер!

Блажен, кто радостью отметил
Твою пастушескую грусть.
Звени, звени, златая Русь.

Люблю я ропот буйных вод
И на волне звезды сиянье.
Благословенное страданье,
Благословляющий народ.
Люблю я ропот буйных вод.

1917

* * *

Песни, песни, о чем вы кричите?
Иль вам нечего больше дать?
Голубого покоя нити
Я учусь в мои кудри вплетать.

Я хочу быть тихим и строгим.
Я молчанью у звезды учусь.
Хорошо ивняком при дороге
Сторожить задремавшую Русь.

Хорошо в эту лунную осень
Бродить по траве одному
И сбирать на дороге колосья
В обнищалую душу-суму.

Но равнинная синь не лечит.
Песни, песни, иль вас не стряхнуть?..
Золотистой метелкой вечер
Расчищает мой ровный путь.

И так радостен мне над пущей
Замирающий в ветре крик:
«Будь же холоден ты, живущий,
Как осеннее золото лип».

1917

* * *

Вот оно, глупое счастье
С белыми окнами в сад!

По пруду лебедем красным
Плавает тихий закат.

Здравствуй, златое затишье
С тенью березы в воде!
Галочья стая на крыше
Служит вечерню звезде.

Где-то за садом, несмело,
Там, где калина цветет,
Нежная девушка в белом
Нежную песню поет.

Стелется синею рясой
С поля ночной холодок...
Глупое, милое счастье,
Свежая розовость щек!

1918

* * *

Проплясал, проплакал дождь весенний,
Замерла гроза.
Скучно мне с тобой, Сергей Есенин,
Подымать глаза...

Скучно слушать под небесным древом
Взмах незримых крыл:
Не разбудишь ты своим напевом
Дедовских могил!

Привязало, осаднило слово
Даль твоих времен.
Не в ветрах, а, знать, в томах тяжелых
Прозвенит твой сон.

Кто-то сядет, кто-то выгнет плечи,
Вытянет персты.
Близок твой кому-то красный вечер,
Да не нужен ты.

Всколыхнет от Брюсова и Блока,
Встормошит других.

Но все так же день взойдет с востока,
Так же вспыхнет миг.

Не изменят лик земли напевы,
Не стряхнут листа...
Навсегда твои пригвождены ко древу
Красные уста.

Навсегда простер глухие длани
Звездный твой Пилат.
Или, Или, лама савахфани, —
Отпусти в закат.

<1917>

* * *

О муза, друг мой гибкий,
Ревнивица моя.
Опять под дождик сыпкий
Мы вышли на поля.

Опять весенним гулом
Приветствует нас дол,
Младенцем завернула
Заря луну в подол.

Теперь бы песню ветра
И нежное баю
За то, что ты окрепла,
За то, что праздник светлый
Влила ты в грудь мою.

Теперь бы брызнуть в небо
Вишневым соком стих
За отческую щедрость
Наставников твоих.

О мед воспоминаний!
О звон далеких лип!
Звездой нам пел в тумане
Разумниковский лик.

Тогда в веселом шуме
Игривых дум и сил

Апостол нежный Клюев
Нас на руках носил.

Теперь мы стали зрелей
И весом тяжелей...
Но не заглушит трелью
Тот праздник соловей.

И этот дождик шалый
Его не смоет в нас,
Чтоб звон твоей лампады
Под ветром не погас.

1917

* * *

Мариенгофу

Я последний поэт деревни,
Скромен в песнях дощатый мост.
За прощальной стою обедней
Кадящих листвой берез.

Догорит золотистым пламенем
Из телесного воска свеча,
И луны часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час.

На тропу голубого поля
Скоро выйдет железный гость,
Злак овсяный, зарею пролитый,
Соберет его черная горсть.

Не живые, чужие ладони,
Этим песням при вас не жить!
Только будут колосья-кони
О хозяине старом тужить.

Будет ветер сосать их ржанье,
Панихидный справляя пляс.
Скоро, скоро часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час!

<*1920*>

* * *

Душа грустит о небесах,
Она не здешних нив жилица.
Люблю, когда на деревах
Огонь зеленый шевелится.

То сучья золотых стволов,
Как свечи, теплятся пред тайной,
И расцветают звезды слов
На их листве первоначальной.

Понятен мне земли глагол,
Но не стряхну я муку эту,
Как отразивший в водах дол
Вдруг в небе ставшую комету.

Так кони не стряхнут хвостами
В хребты их пьющую луну...
О, если б прорасти глазами,
Как эти листья, в глубину.

1919

* * *

Устал я жить в родном краю
В тоске по гречневым просторам.
Покину хижину мою,
Уйду бродягою и вором.

Пойду по белым кудрям дня
Искать убогое жилище.
И друг любимый на меня
Наточит нож за голенище.

Весной и солнцем на лугу
Обвита желтая дорога,
И та, чье имя берегу,
Меня прогонит от порога.

И вновь вернуся в отчий дом,
Чужою радостью утешусь,
В зеленый вечер под окном
На рукаве своем повешусь.

Седые вербы у плетня
Нежнее головы наклонят.
И необмытого меня
Под лай собачий похоронят.

А месяц будет плыть и плыть,
Роняя весла по озерам...
И Русь все так же будет жить,
Плясать и плакать у забора.

<1916>

* * *

О Боже, Боже, эта глубь —
Твой голубой живот.
Златое солнышко, как пуп,
Глядит в Каспийский рот.

Крючками звезд свивая в нить
Лучи, ты ловишь нас
И вершами бросаешь дни
В зрачки озерных глаз.

Но в малый вентерь рыбаря
Не заплывает сом.
Не втащит неводом заря
Меня в твой тихий дом.

Сойди на землю без порток,
Взбурли всю хлябь и водь,
Смолой кипящею восток
Пролей на нашу плоть.

Да опалят уста огня
Людскую страсть и стыд.
Взнеси, как голубя, меня
В твой в синих рощах скит.

1919

* * *

Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь.

В три звезды березняк над прудом
Теплит матери старой грусть.

Золотою лягушкой луна
Распласталась на тихой воде.
Словно яблонный цвет, седина
У отца пролилась в бороде.

Я не скоро, не скоро вернусь.
Долго петь и звенеть пурге.
Стережет голубую Русь
Старый клен на одной ноге,

И я знаю, есть радость в нем
Тем, кто листьев целует дождь,
Оттого что тот старый клен
Головой на меня похож.

1918

* * *

Хорошо под осеннюю свежесть
Душу-яблоню ветром стряхать
И смотреть, как над речкою режет
Воду синюю солнца соха.

Хорошо выбивать из тела
Накаляющий песни гвоздь
И в одежде празднично белой
Ждать, когда постучится гость.

Я учусь, я учусь моим сердцем
Цвет черемух в глазах беречь,
Только в скупости чувства греются,
Когда ребра ломает течь.

Молча ухает звездная звонница,
Что ни лист, то свеча заре.
Никого не впущу я в горницу,
Никому не открою дверь.

1918

ПЕСНЬ О СОБАКЕ

Утром в ржаном закуте,
Где златятся рогожи в ряд,

Семерых ощенила сука,
Рыжих семерых щенят.

До вечера она их ласкала,
Причесывая языком,
И струился снежок подталый
Под теплым ее животом.

А вечером, когда куры
Обсиживают шесток,
Вышел хозяин хмурый,
Семерых всех поклал в мешок.

По сугробам она бежала,
Поспевая за ним бежать...
И так долго, долго дрожала
Воды незамерзшей гладь.

А когда чуть плелась обратно,
Слизывая пот с боков,
Показался ей месяц над хатой
Одним из ее щенков.

В синюю высь звонко
Глядела она, скуля,
А месяц скользил тонкий
И скрылся за холм в полях.

И глухо, как от подачки,
Когда бросят ей камень в смех,
Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег.

1915

* * *

Закружилась листва золотая.
В розоватой воде на пруду
Словно бабочек легкая стая
С замираньем летит на звезду.

Я сегодня влюблен в этот вечер,
Близок сердцу желтеющий дол.

Отрок-ветер по самые плечи
Заголил на березке подол.

И в душе и в долине прохлада,
Синий сумрак как стадо овец.
За калиткою смолкшего сада
Прозвенит и замрет бубенец.

Я еще никогда бережливо
Так не слушал разумную плоть.
Хорошо бы, как ветками ива,
Опрокинуться в розовость вод.

Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено жевать...
Где ты, где, моя тихая радость —
Все любя, ничего не желать?

1918

* * *

Клюеву

Теперь любовь моя не та.
Ах, знаю я, ты тужишь, тужишь
О том, что лунная метла
Стихов не расплескала лужи.

Грустя и радуясь звезде,
Спадающей тебе на брови,
Ты сердце выпеснил избе,
Но в сердце дома не построил.

И тот, кого ты ждал в ночи,
Прошел, как прежде, мимо крова.
О друг, кому ж твои ключи
Ты золотил поющим словом?

Тебе о солнце не пропеть,
В окошко не увидеть рая.
Так мельница, крылом махая,
С земли не может улететь.

1918

* * *

По-осеннему кычет сова
Над раздольем дорожной рани.
Облетает моя голова,
Куст волос золотистый вянет.

Полевое, степное «ку-гу»,
Здравствуй, мать голубая осина!
Скоро месяц, купаясь в снегу,
Сядет в редкие кудри сына.

Скоро мне без листвы холодеть,
Звоном звезд насыпая уши.
Без меня будут юноши петь,
Не меня будут старцы слушать.

Новый с поля придет поэт,
В новом лес огласится свисте.
По-осеннему сыплет ветр,
По-осеннему шепчут листья.

1920

ПЕСНЬ О ХЛЕБЕ

Вот она, суровая жестокость,
Где весь смысл страдания людей.
Режет серп тяжелые колосья,
Как под горло режут лебедей.

Наше поле издавна знакомо
С августовской дрожью поутру.
Перевязана в снопы солома,
Каждый сноп лежит, как желтый труп.

На телегах, как на катафалках,
Их везут в могильный склеп — овин.
Словно дьякон, на кобылу гаркнув,
Чтит возница погребальный чин.

А потом их бережно, без злости,
Головами стелют по земле
И цепами маленькие кости
Выбивают из худых телес.

Никому и в голову не встанет,
Что солома — это тоже плоть.
Людоедке-мельнице — зубами
В рот суют те кости обмолоть.

И из мелева заквашивая тесто,
Выпекают груды вкусных яств...
Вот тогда-то входит яд белесый
В жбан желудка яйца злобы класть.

Все побои ржи в припек окрасив,
Грубость жнущих сжав в духмяный сок,
Он вкушающим соломенное мясо
Отравляет жернова кишок.

И свистят по всей стране, как осень,
Шарлатан, убийца и злодей...
Оттого что режет серп колосья,
Как под горло режут лебедей.

1921

ХУЛИГАН

Дождик мокрыми метлами чистит
Ивняковый помет по лугам.
Плюйся, ветер, охапками листьев,
Я такой же, как ты, хулиган.

Я люблю, когда синие чащи,
Как с тяжелой походкой волы,
Животами, листвой хрипящими,
По коленкам марают стволы.

Вот оно, мое стадо рыжее!
Кто ж воспеть его лучше мог?
Вижу, вижу, как сумерки лижут
Следы человечьих ног.

Русь моя! Деревянная Русь!
Я один твой певец и глашатай.
Звериных стихов моих грусть
Я кормил резедой и мятой.

Взбрезжи, полночь, луны кувшин
Зачерпнуть молока берез!
Словно хочет кого придушить
Руками крестов погост!

Бродит черная жуть по холмам,
Злобу вора струит в наш сад.
Только сам я разбойник и хам
И по крови степной конокрад.

Кто видал, как в ночи кипит
Кипяченых черемух рать?
Мне бы в ночь в голубой степи
Где-нибудь с кистенем стоять.

Ах, увял головы моей куст,
Засосал меня песенный плен.
Осужден я на каторге чувств
Вертеть жернова поэм.

Но не бойся, безумный ветр,
Плюй спокойно листвой по лугам.
Не сотрет меня кличка «поэт»,
Я и в песнях, как ты, хулиган.

1919

* * *

Все живое особой метой
Отмечается с ранних пор.
Если не был бы я поэтом,
То, наверно, был мошенник и вор.

Худощавый и низкорослый,
Средь мальчишек всегда герой,
Часто, часто с разбитым носом
Приходил я к себе домой.

И навстречу испуганной маме
Я цедил сквозь кровавый рот:
«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет».

И теперь вот, когда простыла
Этих дней кипятковая вязь,
Беспокойная, дерзкая сила
На поэмы мои пролилась.

Золотая, словесная груда,
И над каждой строкой без конца
Отражается прежняя удаль
Забияки и сорванца.

Как тогда, я отважный и гордый,
Только новью мой брызжет шаг...
Если раньше мне били в морду,
То теперь вся в крови душа.

И уже говорю я не маме,
А в чужой и хохочущий сброд:
«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет».

Февраль 1922

* * *

Мир таинственный, мир мой древний,
Ты, как ветер, затих и присел.
Вот сдавили за шею деревню
Каменные руки шоссе.

Так испуганно в снежную выбель
Заметалась звенящая жуть...
Здравствуй ты, моя черная гибель,
Я навстречу к тебе выхожу!

Город, город, ты в схватке жестокой
Окрестил нас как падаль и мразь.
Стынет поле в тоске волоокой,
Телеграфными столбами давясь.

Жилист мускул у дьявольской выи
И легка ей чугунная гать.
Ну да что же! Ведь нам не впервые
И расшатываться и пропадать.

Пусть для сердца тягуче колко,
Это песня звериных прав!..
...Так охотники травят волка,
Зажимая в тиски облав.

Зверь припал... и из пасмурных недр
Кто-то спустит сейчас курки...
Вдруг прыжок... и двуногого недруга
Раздирают на части клыки.

О, привет тебе, зверь мой любимый!
Ты не даром даешься ножу!
Как и ты, я, отвсюду гонимый,
Средь железных врагов прохожу.

Как и ты, я всегда наготове,
И хоть слышу победный рожок,
Но отпробует вражеской крови
Мой последний, смертельный прыжок.

И пускай я на рыхлую выбель
Упаду и зароюсь в снегу...
Все же песню отмщенья за гибель
Пропоют мне на том берегу.

1921

* * *

Сторона ль ты моя, сторона!
Дождевое, осеннее олово.
В черной луже продрогший фонарь
Отражает безгубую голову.

Нет, уж лучше мне не смотреть,
Чтобы вдруг не увидеть хужего.
Я на всю эту ржавую мреть
Буду щурить глаза и суживать.

Так немного теплей и безбольней.
Посмотри: меж скелетов домов,
Словно мельник, несет колокольня
Медные мешки колоколов.

Если голоден ты — будешь сытым,
Коль несчастен — то весел и рад.
Только лишь не гляди открыто,
Мой земной неизвестный брат.

Как подумал я — так и сделал,
Но увы! Все одно и то ж!
Видно, слишком привыкло тело
Ощущать эту стужу и дрожь.

Ну, да что же! Ведь много прочих,
Не один я в миру живой!
А фонарь то мигнет, то захохочет
Безгубой своей головой.

Только сердце под ветхой одеждой
Шепчет мне, посетившему твердь:
«Друг мой, друг мой, прозревшие вежды
Закрывает одна лишь смерть».

1921

* * *

Не ругайтесь! Такое дело!
Не торговец я на слова.
Запрокинулась и отяжелела
Золотая моя голова.

Нет любви ни к деревне, ни к городу,
Как же смог я ее донести?
Брошу все. Отпущу себе бороду
И бродягой пойду по Руси.

Позабуду поэмы и книги,
Перекину за плечи суму,
Оттого что в полях забулдыге
Ветер больше поет, чем кому.

Провоняю я редькой и луком
И, тревожа вечернюю гладь,
Буду громко сморкаться в руку
И во всем дурака валять.

И не нужно мне лучшей удачи,
Лишь забыться и слушать пургу,
Оттого что без этих чудачеств
Я прожить на земле не могу.

1922

* * *

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий! ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст.
О моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств.

Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя! иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь...
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.

1921

* * *

Я обманывать себя не стану,
Залегла забота в сердце мглистом.
Отчего прослыл я шарлатаном?
Отчего прослыл я скандалистом?

Не злодей я и не грабил лесом,
Не расстреливал несчастных по темницам.

Я всего лишь уличный повеса,
Улыбающийся встречным лицам.

Я московский, озорной гуляка.
По всему тверскому околотку
В переулках каждая собака
Знает мою легкую походку.

Каждая задрипанная лошадь
Головой кивает мне навстречу.
Для зверей приятель я хороший,
Каждый стих мой душу зверя лечит.

Я хожу в цилиндре не для женщин.
В глупой страсти сердце жить не в силе.
В нем удобней, грусть свою уменьшив,
Золото овса давать кобыле.

Средь людей я дружбы не имею.
Я иному покорился царству.
Каждому здесь кобелю на шею
Я готов отдать мой лучший галстук.

И теперь уж я болеть не стану.
Прояснилась омуть в сердце мглистом.
Оттого прослыл я шарлатаном,
Оттого прослыл я скандалистом.

1922

* * *

Да! Теперь решено. Без возврата
Я покинул родные поля.
Уж не будут листвою крылатой
Надо мною звенеть тополя.

Низкий дом без меня ссутулится,
Старый пес мой давно издох.
На московских изогнутых улицах
Умереть, знать, судил мне Бог.

Я люблю этот город вязевый,
Пусть обрюзг он и пусть одрях.

Золотая дремотная Азия
Опочила на куполах.

А когда ночью светит месяц,
Когда светит... черт знает как!
Я иду, головою свесясь,
Переулком в знакомый кабак.

Шум и гам в этом логове жутком,
Но всю ночь, напролёт, до зари,
Я читаю стихи проституткам
И с бандитами жарю спирт.

Сердце бьется все чаще и чаще,
И уж я говорю невпопад:
— Я такой же, как вы, пропащий,
Мне теперь не уйти назад.

Низкий дом без меня ссутулится,
Старый пес мой давно издох.
На московских изогнутых улицах
Умереть, знать, судил мне Бог.

1922

* * *

Снова пьют здесь, дерутся и плачут
Под гармоники желтую грусть.
Проклинают свои неудачи,
Вспоминают московскую Русь.

И я сам, опустясь головою,
Заливаю глаза вином,
Чтоб не видеть в лицо роковое,
Чтоб подумать хоть миг об ином.

Что-то всеми навек утрачено.
Май мой синий! Июнь голубой!
Не с того ль так чадит мертвячиной
Над пропащею этой гульбой.

Ах, сегодня так весело россам,
Самогонного спирта — река.

Гармонист с провалившимся носом
Им про Волгу поет и про Чека.

Что-то злое во взорах безумных,
Непокорное в громких речах.
Жалко им тех дурашливых, юных,
Что сгубили свою жизнь сгоряча.

Жалко им, что октябрь суровый
Обманул их в своей пурге.
И уж удалью точится новой
Крепко спрятанный нож в сапоге.

Где ж вы те, что ушли далече?
Ярко ль светят вам наши лучи?
Гармонист спиртом сифилис лечит,
Что в киргизских степях получил.

Нет! таких не подмять, не рассеять!
Бесшабашность им гнилью дана.
Ты, Рассея моя... Рас...сея...
Азиатская сторона!

<1922>

* * *

Сыпь, гармоника! Скука... Скука...
Гармонист пальцы льет волной.
Пей со мною, паршивая сука,
Пей со мной.

Излюбили тебя, измызгали,
Невтерпеж!
Что ж ты смотришь так синими брызгами,
Иль в морду хошь?

В огород бы тебя, на чучело,
Пугать ворон.
До печенок меня замучила
Со всех сторон.

Сыпь, гармоника! Сыпь, моя частая!
Пей, выдра! Пей!

Мне бы лучше вон ту, сисястую,
Она глупей.

Я средь женщин тебя не первую,
Немало вас,
Но с такой вот, как ты, со стервою
Лишь в первый раз.

Чем больнее, тем звонче,
То здесь, то там.
Я с собой не покончу,
Иди к чертям.

К вашей своре собачьей
Пора простыть.
Дорогая... я плачу...
Прости... прости...

<1923>

* * *

Пой же, пой. На проклятой гитаре
Пальцы пляшут твои в полукруг.
Захлебнуться бы в этом угаре,
Мой последний, единственный друг.

Не гляди на ее запястья
И с плечей ее льющийся шелк.
Я искал в этой женщине счастья,
А нечаянно гибель нашел.

Я не знал, что любовь — зараза,
Я не знал, что любовь — чума.
Подошла и прищуренным глазом
Хулигана свела с ума.

Пой, мой друг. Навевай мне снова
Нашу прежнюю буйную рань.
Пусть целует она другова,
Молодая, красивая дрянь.

Ах, постой. Я ее не ругаю.
Ах, постой. Я ее не кляну.

Дай тебе про себя я сыграю
Под басовую эту струну.

Льется дней моих розовый купол.
В сердце снов золотых сума.
Много девушек я перещупал,
Много женщин в углах прижимал.

Да! есть горькая правда земли,
Подсмотрел я ребяческим оком:
Лижут в очередь кобели
Истекающую суку соком.

Так чего ж мне ее ревновать.
Так чего ж мне болеть такому.
Наша жизнь — простыня да кровать.
Наша жизнь — поцелуй да в омут.

Пой же, пой! В роковом размахе
Этих рук роковая беда.
Только знаешь, пошли их на хер...
Не умру я, мой друг, никогда.

<1923>

* * *

Эта улица мне знакома,
И знаком этот низенький дом.
Проводов голубая солома
Опрокинулась над окном.

Были годы тяжелых бедствий,
Годы буйных, безумных сил.
Вспомнил я деревенское детство,
Вспомнил я деревенскую синь.

Не искал я ни славы, ни покоя,
Я с тщетой этой славы знаком.
А сейчас, как глаза закрою,
Вижу только родительский дом.

Вижу сад в голубых накрапах,
Тихо август прилег ко плетню.

Держат липы в зеленых лапах
Птичий гомон и щебетню.

Я любил этот дом деревянный,
В бревнах теплилась грозная морщь,
Наша печь как-то дико и странно
Завывала в дождливую ночь.

Голос громкий и всхлипень зычный,
Как о ком-то погибшем, живом.
Что он видел, верблюд кирпичный,
В завывании дождевом?

Видно, видел он дальние страны,
Сон другой и цветущей поры,
Золотые пески Афганистана
И стеклянную хмарь Бухары.

Ах, и я эти страны знаю.
Сам немалый прошел там путь.
Только ближе к родимому краю
Мне б хотелось теперь повернуть.

Но угасла та нежная дрема,
Все истлело в дыму голубом.
Мир тебе — полевая солома,
Мир тебе — деревянный дом!

1923

* * *

Годы молодые с забубенной славой,
Отравил я сам вас горькою отравой.

Я не знаю: мой конец близок ли, далек ли.
Были синие глаза, да теперь поблекли.

Где ты, радость? Темь и жуть, грустно и обидно.
В поле, что ли? В кабаке? Ничего не видно.

Руки вытяну и вот — слушаю на ощупь:
Едем... кони... сани... снег... проезжаем рощу.

«Эй, ямщик, неси вовсю! Чай, рожден не слабым!
Душу вытрясти не жаль по таким ухабам».

А ямщик в ответ одно: «По такой метели
Очень страшно, чтоб в пути лошади вспотели».

«Ты, ямщик, я вижу, трус. Это не с руки нам!»
Взял я кнут и ну стегать по лошажьим спинам.

Бью, а кони, как метель, снег разносят в хлопья.
Вдруг толчок... и из саней прямо на сугроб я.

Встал и вижу: что за черт — вместо бойкой тройки...
Забинтованный лежу на больничной койке.

И заместо лошадей по дороге тряской
Бью я жесткую кровать мокрою повязкой.

На лице часов в усы закрутились стрелки.
Наклонились надо мной сонные сиделки.

Наклонились и хрипят: «Эх ты, златоглавый,
Отравил ты сам себя горькою отравой.

Мы не знаем: твой конец близок ли, далек ли.
Синие твои глаза в кабаках промокли».

1924

ПИСЬМО МАТЕРИ

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.

Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.

Ничего, родная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.

Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.

Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.

Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось, —
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.

И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.

Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

<1924>

* * *

Я усталым таким еще не был.
В эту серую морозь и слизь
Мне приснилось рязанское небо
И моя непутевая жизнь.

Много женщин меня любило,
Да и сам я любил не одну,
Не от этого ль темная сила
Приучила меня к вину.

Бесконечные пьяные ночи
И в разгуле тоска не впервь!
Не с того ли глаза мне точит,
Словно синие листья червь?

Не больна мне ничья измена,
И не радует легкость побед, —
Тех волос золотое сено
Превращается в серый цвет.

Превращаются в пепел и воды,
Когда цедит осенняя муть.
Мне не жаль вас, прошедшие годы, —
Ничего не хочу вернуть.

Я устал себя мучить без цели,
И с улыбкою странной лица
Полюбил я носить в легком теле
Тихий свет и покой мертвеца...

И теперь даже стало не тяжко
Ковылять из притона в притон,
Как в смирительную рубашку,
Мы природу берем в бетон.

И во мне, вот по тем же законам,
Умиряется бешеный пыл.
Но и все ж отношусь я с поклоном
К тем полям, что когда-то любил.

В те края, где я рос под кленом,
Где резвился на желтой траве, —
Шлю привет воробьям, и воронам,
И рыдающей в ночь сове.

Я кричу им в весенние дали:
«Птицы милые, в синюю дрожь
Передайте, что я отскандалил, —
Пусть хоть ветер теперь начинает
Под микитки дубасить рожь».

<1923>

* * *

Этой грусти теперь не рассыпать
Звонким смехом далеких лет.

Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет.

Для меня было все тогда новым,
Много в сердце теснилось чувств,
А теперь даже нежное слово
Горьким плодом срывается с уст.

И знакомые взору просторы
Уж не так под луной хороши.
Буераки... пеньки... косогоры
Обпечалили русскую ширь.

Нездоровое, хилое, низкое,
Водянистая, серая гладь.
Это все мне родное и близкое,
От чего так легко зарыдать.

Покосившаяся избенка,
Плач овцы, и вдали на ветру
Машет тощим хвостом лошаденка,
Заглядевшись в неласковый пруд.

Это все, что зовем мы родиной,
Это все, отчего на ней
Пьют и плачут в одно с непогодиной,
Дожидаясь улыбчивых дней.

Потому никому не рассыпать
Эту грусть смехом ранних лет.
Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет.

1924

* * *

Мне осталась одна забава:
Пальцы в рот и веселый свист.
Прокатилась дурная слава,
Что похабник я и скандалист.

Ах! какая смешная потеря!
Много в жизни смешных потерь.

Стыдно мне, что я в Бога верил.
Горько мне, что не верю теперь.

Золотые, далекие дали!
Все сжигает житейская мреть.
И похабничал я и скандалил
Для того, чтобы ярче гореть.

Дар поэта — ласкать и карябать,
Роковая на нем печать.
Розу белую с черною жабой
Я хотел на земле повенчать.

Пусть не сладились, пусть не сбылись
Эти помыслы розовых дней.
Но коль черти в душе гнездились —
Значит, ангелы жили в ней.

Вот за это веселие мути,
Отправляясь с ней в край иной,
Я хочу при последней минуте
Попросить тех, кто будет со мной, —

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.

1923

* * *

Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.

Был я весь как запущенный сад,
Был на женщин и зелие падкий.
Разонравилось пить и плясать
И терять свою жизнь без оглядки.

Мне бы только смотреть на тебя,
Видеть глаз златокарий омут,

И чтоб, прошлое не любя,
Ты уйти не смогла к другому.

Поступь нежная, легкий стан,
Если б знала ты сердцем упорным,
Как умеет любить хулиган,
Как умеет он быть покорным.

Я б навеки забыл кабаки
И стихи бы писать забросил,
Только б тонко касаться руки
И волос твоих цветом в осень.

Я б навеки пошел за тобой
Хоть в свои, хоть в чужие дали...
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.

1923

* * *

Ты такая ж простая, как все,
Как сто тысяч других в России.
Знаешь ты одинокий рассвет,
Знаешь холод осени синий.

По-смешному я сердцем влип,
Я по-глупому мысли занял.
Твой иконный и строгий лик
По часовням висел в рязанях.

Я на эти иконы плевал,
Чтил я грубость и крик в повесе,
А теперь вдруг растут слова
Самых нежных и кротких песен.

Не хочу я лететь в зенит,
Слишком многое телу надо.
Что ж так имя твое звенит,
Словно августовская прохлада?

Я не нищий, ни жалок, ни мал
И умею расслышать за пылом:

С детства нравиться я понимал
Кобелям да степным кобылам.

Потому и себя не сберег
Для тебя, для нее и для этой.
Невеселого счастья залог —
Сумасшедшее сердце поэта.

Потому и грущу, осев,
Словно в листья, в глаза косые...
Ты такая ж простая, как все,
Как сто тысяч других в России.

1923

* * *

Пускай ты выпита другим,
Но мне осталось, мне осталось
Твоих волос стеклянный дым
И глаз осенняя усталость.

О, возраст осени! Он мне
Дороже юности и лета.
Ты стала нравиться вдвойне
Воображению поэта.

Я сердцем никогда не лгу
И потому на голос чванства
Бестрепетно сказать могу,
Что я прощаюсь с хулиганством.

Пора расстаться с озорной
И непокорною отвагой.
Уж сердце напилось иной,
Кровь отрезвляющею брагой.

И мне в окошко постучал
Сентябрь багряной веткой ивы,
Чтоб я готов был и встречал
Его приход неприхотливый.

Теперь со многим я мирюсь
Без принужденья, без утраты.
Иною кажется мне Русь,
Иными кладбища и хаты.

Прозрачно я смотрю вокруг
И вижу, там ли, здесь ли, где-то ль,
Что ты одна, сестра и друг,
Могла быть спутницей поэта.

Что я одной тебе бы мог,
Воспитываясь в постоянстве,
Пропеть о сумерках дорог
И уходящем хулиганстве.

1923

* * *

Дорогая, сядем рядом,
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу.

Это золото осенье,
Эта прядь волос белесых —
Все явилось, как спасенье
Беспокойного повесы.

Я давно мой край оставил,
Где цветут луга и чащи.
В городской и горькой славе
Я хотел прожить пропащим.

Я хотел, чтоб сердце глуше
Вспоминало сад и лето,
Где под музыку лягушек
Я растил себя поэтом.

Там теперь такая ж осень...
Клен и липы, в окна комнат
Ветки лапами забросив,
Ищут тех, которых помнят.

Их давно уж нет на свете.
Месяц на простом погосте
На крестах лучами метит,
Что и мы придем к ним в гости,

Что и мы, отжив тревоги,
Перейдем под эти кущи.
Все волнистые дороги
Только радость льют живущим.

Дорогая, сядь же рядом,
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу.

9 октября 1923

* * *

Мне грустно на тебя смотреть,
Какая боль, какая жалость!
Знать, только ивовая медь
Нам в сентябре с тобой осталась.

Чужие губы разнесли
Твое тепло и трепет тела.
Как будто дождик моросит
С души, немного омертвелой.

Ну что ж! Я не боюсь его.
Иная радость мне открылась.
Ведь не осталось ничего,
Как только желтый тлен и сырость.

Ведь и себя я не сберег
Для тихой жизни, для улыбок.
Так мало пройдено дорог,
Так много сделано ошибок.

Смешная жизнь, смешной разлад.
Так было и так будет после.
Как кладбище, усеян сад
В берез изглоданные кости.

Вот так же отцветем и мы
И отшумим, как гости сада...
Коль нет цветов среди зимы,
Так и грустить о них не надо.

1923

* * *

Ты прохладой меня не мучай
И не спрашивай, сколько мне лет.
Одержимый тяжелой падучей,
Я душой стал, как желтый скелет.

Было время, когда из предместья
Я мечтал по-мальчишески — в дым,
Что я буду богат и известен
И что всеми я буду любим.

Да! Богат я, богат с излишком.
Был цилиндр, а теперь его нет.
Лишь осталась одна манишка
С модной парой избитых штиблет.

И известность моя не хуже,
От Москвы по парижскую рвань
Мое имя наводит ужас,
Как заборная, громкая брань.

И любовь, не забавное ль дело?
Ты целуешь, а губы как жесть.
Знаю, чувство мое перезрело,
А твое не сумеет расцвесть.

Мне пока горевать еще рано,
Ну, а если есть грусть — не беда!
Золотей твоих кос по курганам
Молодая шумит лебеда.

Я хотел бы опять в ту местность,
Чтоб под шум молодой лебеды
Утонуть навсегда в неизвестность
И мечтать по-мальчишески — в дым.

Но мечтать о другом, о новом,
Непонятном земле и траве,
Что не выразить сердцу словом
И не знает назвать человек.

1923

* * *

Вечер черные брови насопил.
Чьи-то кони стоят у двора.
Не вчера ли я молодость пропил?
Разлюбил ли тебя не вчера?

Не храпи, запоздалая тройка!
Наша жизнь пронеслась без следа.
Может, завтра больничная койка
Упокоит меня навсегда.

Может, завтра совсем по-другому
Я уйду, исцеленный навек,
Слушать песни дождей и черемух,
Чем здоровый живет человек.

Позабуду я мрачные силы,
Что терзали меня, губя.
Облик ласковый! Облик милый!
Лишь одну не забуду тебя.

Пусть я буду любить другую,
Но и с нею, с любимой, с другой,
Расскажу про тебя, дорогую,
Что когда-то я звал дорогой.

Расскажу, как текла былая
Наша жизнь, что былой не была...
Голова ль ты моя удалая,
До чего ж ты меня довела?

1923

* * *

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.

Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть моей тоски.

Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую водь!

Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.

Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

Знаю я, что не цветут там чащи,
Не звенит лебяжьей шеей рожь.
Оттого пред сонмом уходящих
Я всегда испытываю дрожь.

Знаю я, что в той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле...
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.

1924

ПУШКИНУ

Мечтая о могучем даре
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,
Стою и говорю с собой.

Блондинистый, почти белесый,
В легендах ставший как туман,
О Александр! Ты был повеса,
Как я сегодня хулиган.

Но эти милые забавы
Не затемнили образ твой,
И в бронзе выкованной славы
Трясешь ты гордой головой.

А я стою, как пред причастьем,
И говорю в ответ тебе:
Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.

Но, обреченный на гоненье,
Еще я долго буду петь...
Чтоб и мое степное пенье
Сумело бронзой прозвенеть.

26 мая 1924

* * *

Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда, —
Слишком были такими недавними
Отзвучавшие в сумрак года.

До сегодня еще мне снится
Наше поле, луга и лес,
Принакрытые сереньким ситцем
Этих северных бедных небес.

Восхищаться уж я не умею
И пропасть не хотел бы в глуши,
Но, наверно, навеки имею
Нежность грустную русской души.

Полюбил я седых журавлей
С их курлыканьем в тощие дали,
Потому что в просторах полей
Они сытных хлебов не видали.

Только видели березь да цветь,
Да ракитник кривой и безлистый,
Да разбойные слышали свисты,
От которых легко умереть.

Как бы я и хотел не любить,
Все равно не могу научиться,
И под этим дешевеньким ситцем
Ты мила мне, родимая выть.

Потому так и днями недавними
Уж не юные веют года.
Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда.

<1924>

СУКИН СЫН

Снова выплыли годы из мрака
И шумят, как ромашковый луг.
Мне припомнилась нынче собака,
Что была моей юности друг.

Нынче — юность моя отшумела,
Как подгнивший под окнами клен,
Но припомнил я девушку в белом,
Для которой был пес почтальон.

Не у всякого есть свой близкий,
Но она мне как песня была,
Потому что мои записки
Из ошейника пса не брала.

Никогда она их не читала,
И мой почерк ей был незнаком,
Но о чем-то подолгу мечтала
У калины за желтым прудом.

Я страдал... Я хотел ответа...
Не дождался... уехал... И вот
Через годы... известным поэтом
Снова здесь, у родимых ворот.

Та собака давно околела,
Но в ту ж масть, что с отливом в синь,
С лаем ливисто ошалелым
Меня встрел молодой ее сын.

Мать честная! И как же схожи!
Снова выплыла боль души.
С этой болью я будто моложе,
И хоть снова записки пиши.

Рад послушать я песню былую,
Но не лай ты! Не лай! Не лай!
Хочешь, пес, я тебя поцелую
За пробуженный в сердце май?

Поцелую, прижмусь к тебе телом
И как друга введу тебя в дом...
Да, мне нравилась девушка в белом,
Но теперь я люблю в голубом.

31 июля 1924

* * *

Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник —
Пройдет, зайдет и вновь оставит дом.
О всех ушедших грезит конопляннник
С широким месяцем над голубым прудом.

Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветер в даль,
Я полон дум о юности веселой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.

Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.

Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадет трава.
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром разметая,
Сгребет их все в один ненужный ком...
Скажите так... что роща золотая
Отговорила милым языком.

1924

* * *

Синий май. Заревая теплынь.
Не прозвякнет кольцо у калитки.
Липким запахом веет полынь.
Спит черемуха в белой накидке.

В деревянные крылья окна
Вместе с рамами в тонкие шторы
Вяжет взбалмошная луна
На полу кружевные узоры.

Наша горница хоть и мала,
Но чиста. Я с собой на досуге...
В этот вечер вся жизнь мне мила,
Как приятная память о друге.

Сад полышет, как пенный пожар,
И луна, напрягая все силы,
Хочет так, чтобы каждый дрожал
От щемящего слова «милый».

Только я в эту цветь, в эту гладь,
Под тальянку веселого мая,
Ничего не могу пожелать,
Все, как есть, без конца принимая.

Принимаю — приди и явись,
Все явись, в чем есть боль и отрада...
Мир тебе, отшумевшая жизнь.
Мир тебе, голубая прохлада.

1925

СОБАКЕ КАЧАЛОВА

Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду.
Дай, Джим, на счастье лапу мне.

Пожалуйста, голубчик, не лижись.
Пойми со мной хоть самое простое.

Ведь ты не знаешь, что такое жизнь,
Не знаешь ты, что жить на свете стоит.

Хозяин твой и мил и знаменит,
И у него гостей бывает в доме много,
И каждый, улыбаясь, норовит
Тебя по шерсти бархатной потрогать.

Ты по-собачьи дьявольски красив,
С такою милою доверчивой приятцей.
И, никого ни капли не спросив,
Как пьяный друг, ты лезешь целоваться.

Мой милый Джим, среди твоих гостей
Так много всяких и невсяких было.
Но та, что всех безмолвней и грустней,
Сюда случайно вдруг не заходила?

Она придет, даю тебе поруку.
И без меня, в ее уставясь взгляд,
Ты за меня лизни ей нежно руку
За все, в чем был и не был виноват.

1925

* * *

Несказанное, синее, нежное...
Тих мой край после бурь, после гроз,
И душа моя — поле безбрежное —
Дышит запахом меда и роз.

Я утих. Годы сделали дело,
Но того, что прошло, не кляну.
Словно тройка коней оголтелая
Прокатилась во всю страну.

Напылили кругом. Накопытили.
И пропали под дьявольский свист.
А теперь вот в лесной обители
Даже слышно, как падает лист.

Колокольчик ли, дальнее эхо ли, —
Все спокойно впивает грудь.

Стой, душа! Мы с тобой проехали
Через бурный положенный путь.

Разберемся во всем, что видели,
Что случилось, что сталось в стране,
И простим, где нас горько обидели
По чужой и по нашей вине.

Принимаю, что было и не было,
Только жаль на тридцатом году —
Слишком мало я в юности требовал,
Забываясь в кабацком чаду.

Но ведь дуб молодой, не разжелудясь,
Так же гнется, как в поле трава...
Эх ты, молодость, буйная молодость,
Золотая сорвиголова!

1925

ПЕСНЯ

Есть одна хорошая песня у соловушки —
Песня панихидная по моей головушке.

Цвела — забубенная, росла — ножевая,
А теперь вдруг свесилась, словно неживая.

Думы мои, думы! Боль в висках и темени.
Промотал я молодость без поры, без времени.

Как случилось-сталось, сам не понимаю.
Ночью жесткую подушку к сердцу прижимаю.

Лейся, песня звонкая, вылей трель унылую.
В темноте мне кажется — обнимаю милую.

За окном гармоника и сиянье месяца.
Только знаю — милая никогда не встретится.

Эх, любовь-калинушка, кровь — заря вишневая,
Как гитара старая и как песня новая.

С теми же улыбками, радостью и муками,
Что певалось дедами, то поется внуками.

Пейте, пойте в юности, бейте в жизнь без промаха —
Все равно любимая отцветет черемухой.

Я отцвел, не знаю где. В пьянстве, что ли? В славе ли?
В молодости нравился, а теперь оставили.

Потому хорошая песня у соловушки,
Песня панихидная по моей головушке.

Цвела — забубенная, была — ножевая,
А теперь вдруг свесилась, словно неживая.

1925

* * *

Заря окликает другую,
Дымится овсяная гладь...
Я вспомнил тебя, дорогую,
Моя одряхлевшая мать.

Как прежде ходя на пригорок,
Костыль свой сжимая в руке,
Ты смотришь на лунный опорок,
Плывущий по сонной реке.

И думаешь горько, я знаю,
С тревогой и грустью большой,
Что сын твой по отчему краю
Совсем не болеет душой.

Потом ты идешь до погоста
И, в камень уставясь в упор,
Вздыхаешь так нежно и просто
За братьев моих и сестер.

Пускай мы росли ножевые,
А сестры росли, как май,
Ты все же глаза живые
Печально не подымай.

Довольно скорбеть! Довольно!
И время тебе подсмотреть,
Что яблоне тоже больно
Терять своих листьев медь.

Ведь радость бывает редко,
Как вешняя звень поутру,
И мне — чем сгнивать на ветках —
Уж лучше сгореть на ветру.

<1925>

* * *

Ну, целуй меня, целуй,
Хоть до крови, хоть до боли.
Не в ладу с холодной волей
Кипяток сердечных струй.

Опрокинутая кружка
Средь веселых не для нас.
Понимай, моя подружка,
На земле живут лишь раз!

Оглядись спокойным взором,
Посмотри: во мгле сырой
Месяц, словно желтый ворон,
Кружит, вьется над землей.

Ну, целуй же! Так хочу я.
Песню тлен пропел и мне.
Видно, смерть мою почуял
Тот, кто вьется в вышине.

Увядающая сила!
Умирать так умирать!
До кончины губы милой
Я хотел бы целовать.

Чтоб все время в синих дремах,
Не стыдясь и не тая,
В нежном шелесте черемух
Раздавалось: «Я твоя».

И чтоб свет над полной кружкой
Легкой пеной не погас —
Пей и пой, моя подружка:
На земле живут лишь раз!

1925

* * *

Прощай, Баку! Тебя я не увижу.
Теперь в душе печаль, теперь в душе испуг.
И сердце под рукой теперь больней и ближе,
И чувствую сильней простое слово: друг.

Прощай, Баку! Синь тюркская, прощай!
Хладеет кровь, ослабевают силы.
Но донесу, как счастье, до могилы
И волны Каспия, и балаханский май.

Прощай, Баку! Прощай, как песнь простая!
В последний раз я друга обниму...
Чтоб голова его, как роза золотая,
Кивала нежно мне в сиреневом дыму.

Май 1925

* * *

Вижу сон. Дорога черная.
Белый конь. Стопа упорная.
И на этом на коне
Едет милая ко мне.
Едет, едет милая,
Только не любимая.

Эх, береза русская!
Путь-дорога узкая.
Эту милую как сон
Лишь для той, в кого влюблен,
Удержи ты ветками,
Как руками меткими.

Светит месяц. Синь и сонь.
Хорошо копытит конь.
Свет такой таинственный,
Словно для Единственной —
Той, в которой тот же свет
И которой в мире нет.

Хулиган я, хулиган.
От стихов дурак и пьян.

Но и все ж за эту прыть,
Чтобы сердцем не остыть,
За березовую Русь
С нелюбимой помирюсь.

2 июля 1925

* * *

Спит ковыль. Равнина дорогая,
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою теплынь.

Знать, у всех у нас такая участь.
И, пожалуй, всякого спроси —
Радуясь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живется на Руси.

Свет луны таинственный и длинный,
Плачут вербы, шепчут тополя.
Но никто под окрик журавлиный
Не разлюбит отчие поля.

И теперь, когда вот новым светом
И моей коснулась жизнь судьбы,
Все равно остался я поэтом
Золотой бревёнчатой избы.

По ночам, прижавшись к изголовью,
Вижу я, как сильного врага,
Как чужая юность брызжет новью
На мои поляны и луга.

Но и все же, новью той теснимый,
Я могу прочувственно пропеть:
Дайте мне на родине любимой,
Все любя, спокойно умереть!

Июль 1925

* * *

Не вернусь я в отчий дом,
Вечно странствующий странник.

Об ушедшем над прудом
Пусть тоскует коноплянник.

Пусть неровные луга
Обо мне поют крапивой, —
Брызжет полночью дуга,
Колокольчик говорливый.

Высоко стоит луна,
Даже шапки не докинуть.
Песне тайна не дана,
Где ей жить и где погинуть.

Но на склоне наших лет
В отчий дом ведут дороги.
Повезут глухие дроги
Полутруп, полускелет.

Ведь недаром с давних пор
Поговорка есть в народе:
Даже пес в хозяйский двор
Издыхать всегда приходит.

Ворочусь я в отчий дом,
Жил и нé жил бедный странник...
. . . .
В синий вечер над прудом
Прослезится коноплянник.

<1925>

* * *

Над окошком месяц. Под окошком ветер.
Облетевший тополь серебрист и светел.

Дальний плач тальянки, голос одинокий —
И такой родимый, и такой далекий.

Плачет и смеется песня лиховая.
Где ты, моя липа? Липа вековая?

Я и сам когда-то в праздник спозаранку
Выходил к любимой, развернув тальянку.

А теперь я милой ничего не значу.
Под чужую песню и смеюсь и плачу.

Август 1925

* * *

Каждый труд благослови, удача!
Рыбаку — чтоб с рыбой невода,
Пахарю — чтоб плуг его и кляча
Доставали хлеба на года.

Воду пьют из кружек и стаканов,
Из кувшинок также можно пить,
Там, где омут розовых туманов
Не устанет берег золотить.

Хорошо лежать в траве зеленой
И, впиваясь в призрачную гладь,
Чей-то взгляд, ревнивый и влюбленный,
На себе, уставшем, вспоминать.

Коростели свищут... коростели.
Потому так и светлы всегда
Те, что в жизни сердцем опростели
Под веселой ношею труда.

Только я забыл, что я крестьянин,
И теперь рассказываю сам,
Соглядатай праздный, я ль не странен
Дорогим мне пашням и лесам.

Словно жаль кому-то и кого-то,
Словно кто-то к родине отвык,
И с того, поднявшись над болотом,
В душу плачут чибис и кулик.

12 июля 1925

* * *

Видно, так заведено навеки —
К тридцати годам перебесясь,
Все сильней, прожженные калеки,
С жизнью мы удерживаем связь.

Милая, мне скоро стукнет тридцать,
И земля милей мне с каждым днем.
Оттого и сердцу стало сниться,
Что горю я розовым огнем.

Коль гореть, так уж гореть сгорая,
И недаром в липовую цветь
Вынул я кольцо у попугая —
Знак того, что вместе нам сгореть.

То кольцо надела мне цыганка.
Сняв с руки, я дал его тебе,
И теперь, когда грустит шарманка,
Не могу не думать, не робеть.

В голове болотный бродит омут,
И на сердце изморозь и мгла:
Может быть, кому-нибудь другому
Ты его со смехом отдала?

Может быть, целуясь до рассвета,
Он тебя расспрашивает сам,
Как смешного глупого поэта
Привела ты к чувственным стихам.

Ну и что ж! Пройдет и эта рана.
Только горько видеть жизни край.
В первый раз такого хулигана
Обманул проклятый попугай.

14 июля 1925

* * *

Листья падают, листья падают.
Стонет ветер,
Протяжен и глух.
Кто же сердце порадует?
Кто его успокоит, мой друг?

С отягченными веками
Я смотрю и смотрю на луну.
Вот опять петухи кукарекнули
В обосененную тишину.

Предрассветное. Синее. Раннее.
И летающих звезд благодать.
Загадать бы какое желание,
Да не знаю, чего пожелать.

Что желать под житейскою ношею,
Проклиная удел свой и дом?
Я хотел бы теперь хорошую
Видеть девушку под окном.

Чтоб с глазами она васильковыми
Только мне —
Не кому-нибудь —
И словами и чувствами новыми
Успокоила сердце и грудь.

Чтоб под этою белою лунностью,
Принимая счастливый удел,
Я над песней не таял, не млел
И с чужою веселою юностью
О своей никогда не жалел.

Август 1925

* * *

Гори, звезда моя, не падай.
Роняй холодные лучи.
Ведь за кладбищенской оградой
Живое сердце не стучит.

Ты светишь августом и рожью
И наполняешь тишь полей
Такой рыдалистою дрожью
Неотлетевших журавлей.

И, голову вздымая выше,
Не то за рощей — за холмом
Я снова чью-то песню слышу
Про отчий край и отчий дом.

И золотеющая осень,
В березах убавляя сок,
За всех, кого любил и бросил,
Листвою плачет на песок.

Я знаю, знаю. Скоро, скоро
Ни по моей, ни чьей вине
Под низким траурным забором
Лежать придется так же мне.

Погаснет ласковое пламя,
И сердце превратится в прах.
Друзья поставят серый камень
С веселой надписью в стихах.

Но, погребальной грусти внемля,
Я для себя сложил бы так:
Любил он родину и землю,
Как любит пьяница кабак.

17 августа 1925

* * *

Жизнь — обман с чарующей тоскою,
Оттого так и сильна она,
Что своею грубою рукою
Роковые пишет письмена.

Я всегда, когда глаза закрою,
Говорю: «Лишь сердце потревожь,
Жизнь — обман, но и она порою
Украшает радостями ложь».

Обратись лицом к седому небу,
По луне гадая о судьбе,
Успокойся, смертный, и не требуй
Правды той, что не нужна тебе.

Хорошо в черемуховой вьюге
Думать так, что эта жизнь — стезя.
Пусть обманут легкие подруги,
Пусть изменят легкие друзья.

Пусть меня ласкают нежным словом,
Пусть острее бритвы злой язык.
Я живу давно на все готовым,
Ко всему безжалостно привык.

Холодят мне душу эти выси,
Нет тепла от звездного огня.
Те, кого любил я, отреклися,
Кем я жил — забыли про меня.

Но и все ж, теснимый и гонимый,
Я, смотря с улыбкой на зарю,
На земле, мне близкой и любимой,
Эту жизнь за все благодарю.

17 августа 1925

* * *

Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело!
Вспомнить, что ли, юность, ту, что пролетела?
Не шуми, осина, не пыли, дорога.
Пусть несется песня к милой до порога.

Пусть она услышит, пусть она поплачет,
Ей чужая юность ничего не значит.
Ну а если значит — проживет не мучась.
Где ты, моя радость? Где ты, моя участь?

Лейся, песня, пуще, лейся, песня, звяньше.
Все равно не будет то, что было раньше.
За былую силу, гордость и осанку
Только и осталась песня под тальянку.

8 сентября 1925

* * *

Сестре Шуре

Я красивых таких не видел,
Только, знаешь, в душе затаю
Не в плохой, а в хорошей обиде —
Повторяешь ты юность мою.

Ты мое васильковое слово,
Я навеки люблю тебя.
Как живет теперь наша корова,
Грусть соломенную теребя?

Запоешь ты, а мне любимо,
Исцеляй меня детским сном.
Отгорела ли наша рябина,
Осыпаясь под белым окном?

Что поет теперь мать за куделью?
Я навеки покинул село,
Только знаю — багряной метелью
Нам листвы на крыльцо намело.

Знаю то, что о нас с тобой вместе
Вместо ласки и вместо слез
У ворот, как о сгибшей невесте,
Тихо воет покинутый пес.

Но и все ж возвращаться не надо,
Потому и достался не в срок,
Как любовь, как печаль и отрада,
Твой красивый рязанский платок.

13 сентября 1925

* * *

Сестре Шуре

Ах, как много на свете кошек,
Нам с тобой их не счесть никогда.
Сердцу снится душистый горошек,
И звенит голубая звезда.

Наяву ли, в бреду иль спросонок,
Только помню с далекого дня —
На лежанке мурлыкал котенок,
Безразлично смотря на меня.

Я еще тогда был ребенок,
Но под бабкину песню вскок
Он бросался, как юный тигренок,
На оброненный ею клубок.

Все прошло. Потерял я бабку,
А еще через несколько лет
Из кота того сделали шапку,
А ее износил наш дед.

13 сентября 1925

* * *

Сестре Шуре

Ты запой мне ту песню, что прежде
Напевала нам старая мать,
Не жалея о сгибшей надежде,
Я сумею тебе подпевать.

Я ведь знаю, и мне знакомо,
Потому и волнуй и тревожь,
Будто я из родимого дома
Слышу в голосе нежную дрожь.

Ты мне пой, ну а я с такою,
Вот с такою же песней, как ты,
Лишь немного глаза прикрою,
Вижу вновь дорогие черты.

Ты мне пой, ведь моя отрада —
Что вовек я любил не один
И калитку осеннего сада,
И опавшие листья с рябин.

Ты мне пой, ну а я припомню
И не буду забывчиво хмур:
Так приятно и так легко мне
Видеть мать и тоскующих кур.

Я навек за туманы и росы
Полюбил у березки стан,
И ее золотистые косы,
И холщовый ее сарафан.

Потому так и сердцу не жестко—
Мне за песнею и за вином
Показалась ты той березкой,
Что стоит под родимым окном.

13 сентября 1925

* * *

Сестре Шуре

В этом мире я только прохожий,
Ты махни мне веселой рукой.

У осеннего месяца тоже
Свет ласкающий, тихий такой.

В первый раз я от месяца греюсь,
В первый раз от прохлады согрет,
И опять и живу и надеюсь
На любовь, которой уж нет.

Это сделала наша равнинность,
Посоленная белью песка,
И измятая чья-то невинность,
И кому-то родная тоска.

Потому и навеки не скрою,
Что любить не отдельно, не врозь,
Нам одною любовью с тобою
Эту родину привелось.

13 сентября 1925

ПЕРСИДСКИЕ МОТИВЫ

* * *

Улеглась моя былая рана,
Пьяный бред не гложет сердце мне.
Синими цветами Тегерана
Я лечу их нынче в чайхане.

Сам чайханщик с круглыми плечами,
Чтобы славилась пред русским чайхана,
Угощает меня красным чаем
Вместо крепкой водки и вина.

Угощай, хозяин, да не очень.
Много роз цветет в твоем саду.
Незадаром мне мигнули очи,
Приоткинув черную чадру.

Мы в России девушек весенних
На цепи не держим, как собак,
Поцелуям учимся без денег,
Без кинжальных хитростей и драк.

Ну а этой за движенья стана,
Что лицом похожа на зарю,
Подарю я шаль из Хороссана
И ковер ширазский подарю.

Наливай, хозяин, крепче чаю,
Я тебе вовеки не солгу.
За себя я нынче отвечаю,
За тебя ответить не могу.

И на дверь ты взглядывай не очень,
Все равно калитка есть в саду...
Незадаром мне мигнули очи,
Приоткинув черную чадру.

1924

* * *

Я спросил сегодня у менялы,
Что дает за полтумана по рублю,
Как сказать мне для прекрасной Лалы
По-персидски нежное «люблю»?

Я спросил сегодня у менялы
Легче ветра, тише Ванских струй,
Как назвать мне для прекрасной Лалы
Слово ласковое «поцелуй»?

И еще спросил я у менялы,
В сердце робость глубже притая,
Как сказать мне для прекрасной Лалы,
Как сказать ей, что она «моя»?

И ответил мне меняла кратко:
О любви в словах не говорят,
О любви вздыхают лишь украдкой,
Да глаза, как яхонты, горят.

Поцелуй названья не имеет.
Поцелуй не надпись на гробах.
Красной розой поцелуи веют,
Лепестками тая на губах.

От любви не требуют поруки,
С нею знают радость и беду.
«Ты моя» сказать лишь могут руки,
Что срывали черную чадру.

1924

* * *

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Потому что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
Потому что я с севера, что ли?

Я готов рассказать тебе поле,
Эти волосы взял я у ржи,
Если хочешь, на палец вяжи —
Я нисколько не чувствую боли.
Я готов рассказать тебе поле.

Про волнистую рожь при луне
По кудрям ты моим догадайся.
Дорогая, шути, улыбайся,
Не буди только память во мне
Про волнистую рожь при луне.

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,
Может, думает обо мне...
Шаганэ ты моя, Шаганэ!

1924

* * *

Ты сказала, что Саади
Целовал лишь только в грудь.

Подожди ты, Бога ради,
Обучусь когда-нибудь!

Ты пропела: «За Ефратом
Розы лучше смертных дев».
Если был бы я богатым,
То другой сложил напев.

Я б порезал розы эти,
Ведь одна отрада мне —
Чтобы не было на свете
Лучше милой Шаганэ.

И не мучь меня заветом,
У меня заветов нет.
Коль родился я поэтом,
То целуюсь, как поэт.

19 декабря 1924

* * *

Никогда я не был на Босфоре,
Ты меня не спрашивай о нем.
Я в твоих глазах увидел море,
Полыхающее голубым огнем.

Не ходил в Багдад я с караваном,
Не возил я шелк туда и хну.
Наклонись своим красивым станом,
На коленях дай мне отдохнуть.

Или снова, сколько ни проси я,
Для тебя навеки дела нет,
Что в далеком имени — Россия —
Я известный, признанный поэт.

У меня в душе звенит тальянка,
При луне собачий слышу лай.
Разве ты не хочешь, персиянка,
Увидать далекий, синий край?

Я сюда приехал не от скуки —
Ты меня, незримая, звала.

И меня твои лебяжьи руки
Обвивали, словно два крыла.

Я давно ищу в судьбе покоя,
И хоть прошлой жизни не кляну,
Расскажи мне что-нибудь такое
Про твою веселую страну.

Заглуши в душе тоску тальянки,
Напои дыханьем свежих чар,
Чтобы я о дальней северянке
Не вздыхал, не думал, не скучал.

И хотя я не был на Босфоре —
Я тебе придумаю о нем.
Все равно — глаза твои, как море,
Голубым колышутся огнем.

21 декабря 1924

* * *

Свет вечерний шафранного края,
Тихо розы бегут по полям.
Спой мне песню, моя дорогая,
Ту, которую пел Хаям.
Тихо розы бегут по полям.

Лунным светом Шираз осиянен,
Кружит звезд мотыльковый рой.
Мне не нравится, что персияне
Держат женщин и дев под чадрой.
Лунным светом Шираз осиянен.

Иль они от тепла застыли,
Закрывая телесную медь?
Или, чтобы их больше любили,
Не желают лицом загореть,
Закрывая телесную медь?

Дорогая, с чадрой не дружись,
Заучи эту заповедь вкратце,
Ведь и так коротка наша жизнь,
Мало счастьем дано любоваться.
Заучи эту заповедь вкратце.

Даже все некрасивое в роке
Осеняет своя благодать.
Потому и прекрасные щеки
Перед миром грешно закрывать,
Коль дала их природа-мать.

Тихо розы бегут по полям.
Сердцу снится страна другая.
Я спою тебе сам, дорогая,
То, что сроду не пел Хаям...
Тихо розы бегут по полям.

1924

* * *

Воздух прозрачный и синий,
Выйду в цветочные чащи.
Путник, в лазурь уходящий,
Ты не дойдешь до пустыни.
Воздух прозрачный и синий.

Лугом пройдешь, как садом,
Садом в цветенье диком,
Ты не удержишься взглядом,
Чтоб не припасть к гвоздикам.
Лугом пройдешь, как садом.

Шепот ли, шорох иль шелесть —
Нежность, как песни Саади.
Вмиг отразится во взгляде
Месяца желтая прелесть,
Нежность, как песни Саади.

Голос раздастся пери,
Тихий, как флейта Гассана.
В крепких объятиях стана
Нет ни тревог, ни потери,
Только лишь флейта Гассана.

Вот он, удел желанный
Всех, кто в пути устали.
Ветер благоуханный
Пью я сухими устами,
Ветер благоуханный.

<1925>

* * *

Золото холодное луны,
Запах олеандра и левкоя.
Хорошо бродить среди покоя
Голубой и ласковой страны.

Далеко-далече там Багдад,
Где жила и пела Шахразада.
Но теперь ей ничего не надо.
Отзвенел давно звеневший сад.

Призраки далекие земли
Поросли кладбищенской травою.
Ты же, путник, мертвым не внемли,
Не склоняйся к плитам головою.

Оглянись, как хорошо кругом:
Губы к розам так и тянет, тянет.
Помирись лишь в сердце со врагом —
И тебя блаженством ошафранит.

Жить — так жить, любить — так уж влюбляться.
В лунном золоте целуйся и гуляй,
Если ж хочешь мертвым поклоняться,
То живых тем сном не отравляй.

Это пела даже Шахразада, —
Так вторично скажет листьев медь.
Тех, которым ничего не надо,
Только можно в мире пожалеть.

<1925>

* * *

В Хороссане есть такие двери,
Где обсыпан розами порог.
Там живет задумчивая пери.
В Хороссане есть такие двери,
Но открыть те двери я не мог.

У меня в руках довольно силы,
В волосах есть золото и медь.

Голос пери нежный и красивый.
У меня в руках довольно силы,
Но дверей не смог я отпереть.

Ни к чему в любви моей отвага.
И зачем? Кому мне песни петь? —
Если стала неревнивой Шага,
Коль дверей не смог я отпереть,
Ни к чему в любви моей отвага.

Мне пора обратно ехать в Русь.
Персия! Тебя ли покидаю?
Навсегда ль с тобою расстаюсь
Из любви к родимому мне краю?
Мне пора обратно ехать в Русь.

До свиданья, пери, до свиданья,
Пусть не смог я двери отпереть,
Ты дала красивое страданье,
Про тебя на родине мне петь.
До свиданья, пери, до свиданья.

Март 1925

* * *

Голубая родина Фирдуси,
Ты не можешь, памятью простыв,
Позабыть о ласковом урусе
И глазах задумчиво простых.
Голубая родина Фирдуси.

Хороша ты, Персия, я знаю,
Розы, как светильники, горят
И опять мне о далеком крае
Свежестью упругой говорят.
Хороша ты, Персия, я знаю.

Я сегодня пью в последний раз
Ароматы, что хмельны, как брага.
И твой голос, дорогая Шага,
В этот трудный расставанья час
Слушаю в последний раз.

Но тебя я разве позабуду?
И в моей скитальческой судьбе
Близкому и дальнему мне люду
Буду говорить я о тебе,
И тебя навеки не забуду.

Я твоих несчастий не боюсь,
Но на всякий случай твой угрюмый
Оставляю песенку про Русь:
Запевая, обо мне подумай,
И тебе я в песне отзовусь...

Март 1925

* * *

Быть поэтом — это значит то же,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие души.

Быть поэтом — значит петь раздольно,
Чтобы было для тебя известней.
Соловей поет — ему не больно,
У него одна и та же песня.

Канарейка с голоса чужого —
Жалкая, смешная побрякушка.
Миру нужно песенное слово
Петь по-свойски, даже как лягушка.

Магомет перехитрил в Коране,
Запрещая крепкие напитки.
Потому поэт не перестанет
Пить вино, когда идет на пытки.

И когда поэт идет к любимой,
А любимая с другим лежит на ложе,
Влагою живительной хранимый,
Он ей в сердце не запустит ножик.

Но, горя ревнивою отвагой,
Будет вслух насвистывать до дома:
«Ну и что ж! помру себе бродягой.
На земле и это нам знакомо».

Август 1925

* * *

Руки милой — пара лебедей —
В золоте волос моих ныряют.
Все на этом свете из людей
Песнь любви поют и повторяют.

Пел и я когда-то далеко
И теперь пою про то же снова,
Потому и дышит глубоко
Нежностью пропитанное слово.

Если душу вылюбить до дна,
Сердце станет глыбой золотою.
Только тегеранская луна
Не согреет песни теплотою.

Я не знаю, как мне жизнь прожить:
Догореть ли в ласках милой Шаги
Иль под старость трепетно тужить
О прошедшей песенной отваге?

У всего своя походка есть:
Что приятно уху, что — для глаза.
Еслч перс слагает плохо песнь,
Значит, он вовек не из Шираза.

Про меня же и за эти песни
Говорите так среди людей:
Он бы пел нежнее и чудесней,
Да сгубила пара лебедей.

Август 1925

* * *

«Отчего луна так светит тускло
На сады и стены Хороссана?
Словно я хожу равниной русской
Под шуршащим пологом тумана», —

Так спросил я, дорогая Лала,
У молчащих ночью кипарисов,
Но их рать ни слова не сказала,
К небу гордо головы завысив.

«Отчего луна так светит грустно?» —
У цветов спросил я в тихой чаще,
И цветы сказали: «Ты почувствуй
По печали розы шелестящей».

Лепестками роза расплескалась,
Лепестками тайно мне сказала:
«Шаганэ твоя с другим ласкалась,
Шаганэ другого целовала.

Говорила: “Русский не заметит...”
Сердцу — песнь, а песне — жизнь и тело...
Оттого луна так тускло светит,
Оттого печально побледнела».

Слишком много виделось измены,
Слез и мук, кто ждал их, кто не хочет.
. . . .
Но и все ж вовек благословенны
На земле сиреневые ночи.

Август 1925

* * *

Глупое сердце, не бейся.
Все мы обмануты счастьем,
Нищий лишь просит участья...
Глупое сердце, не бейся.

Месяца желтые чары
Льют по каштанам в пролесь.
Лале склонясь на шальвары,
Я под чадрою укроюсь.
Глупое сердце, не бейся.

Все мы порою, как дети,
Часто смеемся и плачем.
Выпали нам на свете
Радости и неудачи.
Глупое сердце, не бейся.

Многие видел я страны,
Счастья искал повсюду.

Только удел желанный
Больше искать не буду.
Глупое сердце, не бейся.

Жизнь не совсем обманула.
Новой нальемся силой.
Сердце, ты хоть бы заснуло
Здесь, на коленях у милой.
Жизнь не совсем обманула.

Может, и нас отметит
Рок, что течет лавиной,
И на любовь ответит
Песнею соловьиной.
Глупое сердце, не бейся.

Август 1925

* * *

Голубая да веселая страна.
Честь моя за песню продана.
Ветер с моря, тише дуй и вей —
Слышишь, розу кличет соловей?

Слышишь, роза клонится и гнется —
Эта песня в сердце отзовется.
Ветер с моря, тише дуй и вей —
Слышишь, розу кличет соловей?

Ты ребенок, в этом спора нет,
Да и я ведь разве не поэт?
Ветер с моря, тише дуй и вей —
Слышишь, розу кличет соловей?

Дорогая Гелия, прости.
Много роз бывает на пути,
Много роз склоняется и гнется,
Но одна лишь сердцем улыбнется.

Улыбнемся вместе, ты и я,
За такие милые края.
Ветер с моря, тише дуй и вей —
Слышишь, розу кличет соловей?

Голубая да веселая страна.
Пусть вся жизнь моя за песню продана,
Но за Гелию в тенях ветвей
Обнимает розу соловей.

1925

---

* * *

Эх вы, сани! А кони, кони!
Видно, черт их на землю принес.
В залихватском степном разгоне
Колокольчик хохочет до слез.

Ни луны, ни собачьего лая
В далеке, в стороне, в пустыре.
Поддержись, моя жизнь удалая,
Я еще не навек постарел.

Пой, ямщик, вперекор этой ночи,
Хочешь, сам я тебе подпою
Про лукавые девичьи очи,
Про веселую юность мою.

Эх, бывало, заломишь шапку,
Да заложишь в оглобли коня,
Да приляжешь на сена охапку, —
Вспоминай лишь, как звали меня.

И откуда бралась осанка,
А в полуночную тишину
Разговорчивая тальянка
Уговаривала не одну.

Все прошло. Поредел мой волос.
Конь издох, опустел наш двор.
Потеряла тальянка голос,
Разучившись вести разговор.

Но и все же душа не остыла,
Так приятны мне снег и мороз,
Потому что над всем, что было,
Колокольчик хохочет до слез.

19 сентября 1925

* * *

Снежная замять дробится и колется,
Сверху озябшая светит луна.
Снова я вижу родную околицу,
Через метель огонек у окна.

Все мы бездомники, много ли нужно нам.
То, что далось мне, про то и пою.
Вот я опять за родительским ужином,
Снова я вижу старушку мою.

Смотрит, а очи слезятся, слезятся,
Тихо, безмолвно, как будто без мук.
Хочет за чайную чашку взяться —
Чайная чашка скользит из рук.

Милая, добрая, старая, нежная,
С думами грустными ты не дружись,
Слушай, под эту гармонику снежную
Я расскажу про свою тебе жизнь.

Много я видел и много я странствовал,
Много любил я и много страдал,
И оттого хулиганил и пьянствовал,
Что лучше тебя никого не видал.

Вот и опять у лежанки я греюсь,
Сбросил ботинки, пиджак свой раздел.
Снова я ожил и снова надеюсь
Так же, как в детстве, на лучший удел.

А за окном под метельные всхлипы,
В диком и шумном метельном чаду,
Кажется мне — осыпаются липы,
Белые липы в нашем саду.

20 сентября 1925

* * *

Слышишь — мчатся сани, слышишь — сани мчатся.
Хорошо с любимой в поле затеряться.

Ветерок веселый робок и застенчив,
По равнине голой катится бубенчик.

Эх вы, сани, сани! Конь ты мой буланый!
Где-то на поляне клен танцует пьяный.

Мы к нему подъедем, спросим — что такое?
И станцуем вместе под тальянку трое.

3 октября 1925

* * *

Голубая кофта. Синие глаза.
Никакой я правды милой не сказал.

Милая спросила: «Крутит ли метель?
Затопить бы печку, постелить постель».

Я ответил милой: «Нынче с высоты
Кто-то осыпает белые цветы.

Затопи ты печку, постели постель,
У меня на сердце без тебя метель».

3 октября 1925

* * *

Снежная замять крутит бойко,
По полю мчится чужая тройка.

Мчится на тройке чужая младость.
Где мое счастье? Где моя радость?

Все укатилось под вихрем бойким
Вот на такой же бешеной тройке.

4/5 октября 1925

* * *

Вечером синим, вечером лунным
Был я когда-то красивым и юным.

Неудержимо, неповторимо
Все пролетело... далече... мимо...

Сердце остыло, и выцвели очи...
Синее счастье! Лунные ночи!

4/5 октября 1925

* * *

Не криви улыбку, руки теребя, —
Я люблю другую, только не тебя.

Ты сама ведь знаешь, знаешь хорошо —
Не тебя я вижу, не к тебе пришел.

Проходил я мимо, сердцу все равно —
Просто захотелось заглянуть в окно.

4/5 октября 1925

* * *

Сочинитель бедный, это ты ли
Сочиняешь песни о луне?
Уж давно глаза мои остыли
На любви, на картах и вине.

Ах, луна влезает через раму,
Свет такой, хоть выколи глаза...
Ставил я на пиковую даму,
А сыграл бубнового туза.

4/5 октября 1925

* * *

Синий туман. Снеговое раздолье,
Тонкий лимонный лунный свет.
Сердцу приятно с тихою болью
Что-нибудь вспомнить из ранних лет.

Снег у крыльца, как песок зыбучий.
Вот при такой же луне без слов,

Шапку из кошки на лоб нахлобучив,
Тайно покинул я отчий кров.

Снова вернулся я в край родимый.
Кто меня помнит? Кто позабыл?
Грустно стою я, как странник гонимый,
Старый хозяин своей избы.

Молча я комкаю новую шапку,
Не по душе мне соболий мех.
Вспомнил я дедушку, вспомнил я бабку,
Вспомнил кладбищенский рыхлый снег.

Все успокоились, все там будем,
Как в этой жизни радей не радей, —
Вот почему так тянусь я к людям,
Вот почему так люблю людей.

Вот отчего я чуть-чуть не заплакал
И, улыбаясь, душой погас, —
Эту избу на крыльце с собакой
Словно я вижу в последний раз.

24 сентября 1925

* * *

Свищет ветер, серебряный ветер,
В шелковом шелесте снежного шума.
В первый раз я в себе заметил,
Так я еще никогда не думал.

Пусть на окошках гнилая сырость,
Я не жалею, и я не печален.
Мне все равно эта жизнь полюбилась,
Так полюбилась, как будто вначале.

Взглянет ли женщина с тихой улыбкой —
Я уж взволнован. Какие плечи!
Тройка ль проскачет дорогой зыбкой —
Я уже в ней и скачу далече.

О, мое счастье и все удачи!
Счастье людское землей любимо.

Тот, кто хоть раз на земле заплачет, —
Значит, удача промчалась мимо.

Жить нужно легче, жить нужно проще,
Все принимая, что есть на свете.
Вот почему, обалдев, над рощей
Свищет ветер, серебряный ветер.

14 октября 1925

* * *

Мелколесье. Степь и дали.
Свет луны во все концы.
Вот опять вдруг зарыдали
Разливные бубенцы.

Неприглядная дорога,
Да любимая навек,
По которой ездил много
Всякий русский человек.

Эх вы, сани! Что за сани!
Звоны мерзлые осин.
У меня отец крестьянин,
Ну а я крестьянский сын.

Наплевать мне на известность
И на то, что я поэт.
Эту чахленькую местность
Не видал я много лет.

Тот, кто видел хоть однажды
Этот край и эту гладь,
Тот почти березке каждой
Ножку рад поцеловать.

Как же мне не прослезиться,
Если с венкой в стынь и звень
Будет рядом веселиться
Юность русских деревень.

Эх, гармошка, смерть-отрава,
Знать, с того под этот вой

Не одна лихая слава
Пропадала трын-травой.

21/22 октября 1925

* * *

Цветы мне говорят — прощай,
Головками склоняясь ниже,
Что я навеки не увижу
Ее лицо и отчий край.

Любимая, ну что ж! Ну что ж!
Я видел их и видел землю,
И эту гробовую дрожь
Как ласку новую приемлю.

И потому, что я постиг
Всю жизнь, пройдя с улыбкой мимо, —
Я говорю на каждый миг,
Что все на свете повторимо.

Не все ль равно — придет другой,
Печаль ушедшего не сгложет,
Оставленной и дорогой
Пришедший лучше песню сложит.

И, песне внемля в тишине,
Любимая с другим любимым,
Быть может, вспомнит обо мне
Как о цветке неповторимом.

27 октября 1925

МАЛЕНЬКИЕ ПОЭМЫ

МАРФА ПОСАДНИЦА

1

Не сестра месяца из темного болота
В жемчуге кокошник в небо запрокинула, —
Ой, как выходила Марфа за ворота,
Письменище черное из дулейки вынула.

Раскололся зыками колокол на вече,
Замахали кружевом полотнища зорние;
Услыхали ангелы голос человечий,
Отворили наскоро окна-ставни горние.

Возговóрит Марфа голосом серебряно:
«Ой ли, внуки Васькины, правнуки Микулы!
Грамотой московскою извольно повелено
Выгомонить вольницы бражные загулы!»

Заходила буйница выхвали старинной,
Бороды, как молнии, выпячили грозно:
«Что нам Московия — как поставник блинный!
Там бояр-те жены хлыстают загозно!»

Марфа на крылечко праву ножку кинула,
Левой помахала каблучком сафьяновым.
«Быть так, — кротко молвила, черны брови сдвинула, —
Не ручьи — брызгатели выцветням росяновым...»

2

Не чернец беседует с Господом в затворе —
Царь московский антихриста вызывает:
«Ой, Виельзевуле, горе мое, горе,
Новгород мне вольный ног не лобызает!»

Вылез из запечья сатана гадюкой,
В пучеглазых бельмах исчаведье ада.

«Побожися душу выдать мне порукой,
Иначе не будет с Новгородом слада!»

Вынул он бумаги — облака клок,
Дал ему перо — от молнии стрелу.
Чиркнул царь кинжалищем локоток,
Расчеркнулся и зажал руку в полу.

Зарычит антихрист зёмным гудом:
«А и сроку тебе, царь, даю четыреста лет!
Как пойдет на Москву заморский Иуда,
Тут тебе с Новгородом и сладу нет!»

«А откуль гроза, когда ветер шумит?» —
Задает ему царь хитрóй спрос.
Говорит сатана зыком черных згит:
«Этот ответ с собой ветер унес...»

3

На соборах Кремля колокола заплакали,
Собирались стрельцы из дальных слобод;
Кони ржали, сабли звякали,
Глас приказный чинно слухал народ.

Закраснели хоругви, образа засверкали,
Царь пожаловал бочку с вином.
Бабы подолами слезы утирали, —
Кто-то воротится невредим в дом?

Пошли стрельцы, запылили пó полю:
«Берегись ты теперь, гордый Новоград!»
Пики тенькали, кони топали, —
Никто не пожалел и не обернулся назад.

Возговóрит царь жене своей:
«А и будет пир на красной браге!
Послал я сватать неучтивых семей,
Всем подушки голов расстелю в овраге».

«Государь ты мой, — шомонит жена, —
Моему ль уму судить суд тебе!..
Тебе власть дана, тебе воля дана,
Ты челом лишь бьешь одноей судьбе...»

4

В зарукавнике Марфа Богу молилась,
Рукавом горючи слезы утирала;
За окошко она наклонилась,
Голубей к себе на колени сзывала.

«Уж вы, голуби, слуги Боговы,
Солетайте-ко в райский терем,
Вертайтесь в земное логово,
Стучитесь к новоградским дверям!»

Приносили голуби от Бога письмо,
Золотыми письменами рубленное;
Села Марфа за расшитою тесьмой:
«Уж ты, счастье ль мое загубленное!»

И писал Господь своей верной рабе:
«Не гони метлой тучу вихристу;
Как московский царь на кровавой гульбе
Продал душу свою антихристу...»

5

А и минуло теперь четыреста лет.
Не пора ли нам, ребята, взяться за ум,
Исполнить святой Марфин завет:
Заглушить удалью московский шум?

А пойдемте, бойцы, ловить кречетов,
Отошлем дикомытя с потребою царю:
Чтобы дал нам царь ответ в сечи той,
Чтоб не застил он новоградскую зарю.

Ты шуми, певунный Волохов, шуми,
Разбуди Садко с Буслаем на-торгаш!
Выше, выше, вихорь, тучи подыми!
Ой ты, Новгород, родимый наш!

Как по быльнице тропинка пролегла;
А пойдемте стольный Киев звать!
Ой ли вы, с Кремля колокола,
А пора небось и честь вам знать!

Пропоем мы Богу с ветрами тропарь,
Вспеним белую попончу,
Загудит наш с веча колокол, как встарь,
Тут я, ребята, и покончу.

Сентябрь 1914

МИКОЛА

1

В шапке облачного скола,
В лапоточках, словно тень,
Ходит милостник Микола
Мимо сел и деревень.

На плечах его котомка,
Стягловица в две тесьмы,
Он идет, поет негромко
Иорданские псалмы.

Злые скорби, злое горе
Даль холодная впила;
Загораются, как зори,
В синем небе купола.

Наклонивши лик свой кроткий,
Дремлет ряд плакучих ив,
И, как шелковые четки,
Веток бисерный извив.

Ходит ласковый угодник,
Пот елейный льет с лица:
«Ой ты, лес мой, хороводник,
Прибаюкай пришлеца».

2

Заневестилася кругом
Роща елей и берез.
По кустам зеленым лугом
Льнут охлопья синих рос.

Тучка тенью расколола
Зеленистый косогор...
Умывается Микола
Белой пеной из озер.

Под березкою-невестой,
За сухим посошником,
Утирается берестой,
Словно мягким рушником.

И идет стопой неспешной
По селеньям, пустырям:
«Я, жилец страны нездешной,
Прохожу к монастырям».

Высоко стоит злотравье,
Спорынья кадит туман:
«Помолюсь схожу за здравье
Православных христиан».

3

Ходит странник по дорогам,
Где зовут его в беде,
И с земли гуторит с Богом
В белой туче-бороде.

Говорит Господь с престола,
Приоткрыв окно за рай:
«О мой верный раб, Микола,
Обойди ты русский край.

Защити там в черных бедах
Скорбью вытерзанный люд.
Помолись с ним о победах
И за нищий их уют».

Ходит странник по трактирам,
Говорит, завидя сход:
«Я пришел к вам, братья, с миром —
Исцелить печаль забот.

Ваши души к подорожью
Тянет с посохом сума.

Собирайте милость Божью
Спелой рожью в закрома».

4

Горек запах черной гари,
Осень рощи подожгла.
Собирает странник тварей,
Кормит просом с подола.

«Ой, прощайте, белы птахи,
Прячьтесь, звери, в терему,
Темный бор, — щекочут свахи, —
Сватай девицу-зиму.

Всем есть место, всем есть логов,
Открывай, земля, им грудь!
Я — слуга давнишний богов,
В Божий терем правлю путь».

Звонкий мрамор белых лестниц
Протянулся в райский сад;
Словно космища кудесниц,
Звезды в яблонях висят.

На престоле светит зорче
В алых ризах кроткий Спас.
«Миколае-чудотворче,
Помолись ему за нас».

5

Кроют зори райский терем,
У окошка Божья Мать
Голубей сзывает к дверям
Рожь зернистую клевать.

«Клюйте, ангельские птицы:
Колос — жизненный полет».
Ароматней медуницы
Пахнет жней веселых пот.

Кружевами лес украшен,
Ели словно купина.

По лощинам черных пашен —
Пряжа выснежного льна.

Засучивши с рожью полы,
Пахаря трясут лузгу,
В честь угодника Миколы
Сеют рожью на снегу.

И, как по траве окосья
В вечереющий покос,
На снегу звенят колосья
Под косницами берез.

1915

РУСЬ

1

Потонула деревня в ухабинах,
Заслонили избенки леса.
Только видно на кочках и впадинах,
Как синеют кругом небеса.

Воют в сумерки долгие, зимние,
Волки грозные с тощих полей.
По дворам в погорающем инее
Над застрехами храп лошадей.

Как совиные глазки за ветками,
Смотрят в шали пурги огоньки.
И стоят за дубровными сетками,
Словно нечисть лесная, пеньки.

Запугала нас сила нечистая,
Что ни прорубь — везде колдуны.
В злую заморозь в сумерки мглистые
На березках висят галуны.

2

Но люблю тебя, родина кроткая!
А за что — разгадать не могу.

Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу.

Я люблю над покосной стоянкою
Слушать вечером гуд комаров.
А как гаркнут ребята тальянкою,
Выйдут девки плясать у костров.

Загорятся, как черна смородина,
Угли-очи в подковах бровей.
Ой ты, Русь моя, милая родина,
Сладкий отдых в шелку купырей.

3

Понакаркали черные вороны
Грозным бедам широкий простор.
Крутит вихорь леса во все стороны,
Машет саваном пена с озер.

Грянул гром, чашка неба расколота,
Тучи рваные кутают лес.
На подвесках из легкого золота
Закачались лампадки небес.

Повестили под окнами сотские
Ополченцам идти на войну.
Загыгыкали бабы слободские,
Плач прорезал кругом тишину.

Собиралися мирные пахари
Без печали, без жалоб и слез,
Клали в сумочки пышки на сахаре
И пихали на кряжистый воз.

По селу до высокой околицы
Провожал их огулом народ.
Вот где, Русь, твои добрые молодцы,
Вся опора в годину невзгод.

4

Затомилась деревня невесточкой —
Как-то милые в дальнем краю?

Отчего не уведомят весточкой, —
Не погибли ли в жарком бою?

В роще чудились запахи ладана,
В ветре бластились стуки костей.
И пришли к ним нежданно-негаданно
С дальней волости груды вестей.

Сберегли по ним пахари памятку,
С потом вывели всем по письму.
Подхватили тут ро́дные грамотку,
За ветловую сели тесьму.

Собралися над четницей Лушею
Допытаться любимых речей.
И на корточках плакали, слушая,
На успехи родных силачей.

5

Ах, поля мои, борозды милые,
Хороши вы в печали своей!
Я люблю эти хижины хилые
С поджиданьем седых матерей.

Припаду к лапоточкам берестяным,
Мир вам, грабли, коса и соха!
Я гадаю по взорам невестиным
На войне о судьбе жениха.

Помирился я с мыслями слабыми,
Хоть бы стать мне кустом у воды.
Я хочу верить в лучшее с бабами,
Тепля свечку вечерней звезды.

Разгадал я их думы несметные,
Не спугнет их ни гром и ни тьма.
За сохою под песни заветные
Не причудится смерть и тюрьма.

Они верили в эти каракули,
Выводимые с тяжким трудом,
И от счастья и радости плакали,
Как в засуху над первым дождем.

А за думой разлуки с родимыми
В мягких травах, под бусами рос,
Им мерещился в далях за дымами
Над лугами веселый покос.

Ой ты, Русь, моя родина кроткая,
Лишь к тебе я любовь берегу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу.

1914

УС

Не белы снега по-над Доном
Заметали степь синим звоном.
Под крутой горой, что ль под тыном,
Расставалась мать с верным сыном.

«Ты прощай, мой сын, прощай, чадо,
Знать, пришла пора, ехать надо!
Захирел наш дол по-над Доном,
Под пятой Москвы, под полоном».

То не водный звон за путиной —
Бьет копытом конь под осиной.
Под краснёву дремь, под сугредок
Отвечал ей сын напоследок:

«Ты не стой, не плачь на дорогу,
Зажигай свечу, молись Богу.
Соберу я Дон, вскручу вихорь,
Полоню царя, сниму лихо».

Не река в бугор била пеной —
Вынимал он нож с-под колена,
Отрезал с губы ус чернявый,
Говорил слова над дубравой:

«Уж ты, мать моя, голубица,
Сбереги ты ус на божнице;
Окропи его красным звоном,
Положи его под икону!»

Гикал-ухал он под туманом,
Подымалась пыль за курганом.
А она в ответ, как не рада:
«Уж ты сын ли мой, мое чадо!»

*

На крутой горе, под Калугой,
Повенчался Ус с синей вьюгой.

Лежит он на снегу под елью,
С весела-разгула, с похмелья.

Перед ним всё знать да бояры,
В руках золотые чары.

«Не гнушайся ты, Ус, не злобуй,
Подымись, хоть пригубь, попробуй!

Нацедили мы вин красносоких
Из грудей из твоих из высоких.

Как пьяна с них твоя супруга,
Белокосая девица-вьюга!»

Молчит Ус, не кинет взгляда, —
Ничего ему от земли не надо.

О другой он земле гадает,
О других небесах вздыхает...

*

Заждалася сына дряхлая вдовица,
День и ночь горюя, сидя под божницей.
Вот прошло-проплыло уж второе лето,
Снова снег на поле, а его все нету.

Подошла, взглянула в мутное окошко...
«Не одна ты в поле катишься, дорожка!»
Свищет сокол-ветер, бредит тихим Доном.
«Хорошо б прижаться к золотым иконам...»

Села и прижалась, смотрит кротко-кротко...
«На кого ж похож ты, светлоглазый отрок?..

А! — сверкнули слезы над увядшим усом. —
Это ты, о сын мой, смотришь Иисусом!»

Радостью светит она из угла.
Песню запела и гребень взяла.

Лик ее старческий ласков и строг.
Встанет, присядет за печь, на порог.

Вечер морозный, как волк, темно-бур...
Кличет цыплят и нахохленных кур:

«Цыпушки-цыпы, свет-петушок!..»
Крепок в руке роговой гребешок.

Стала, уставилась лбом в темноту,
Чешет волосья младенцу Христу.

1914

ПЕВУЩИЙ ЗОВ

Радуйтесь!
Земля предстала
Новой купели!
Догорели
Синие метели,
И змея потеряла
Жало.

О Родина,
Мое русское поле,
И вы, сыновья ее,
Остановившие
На частоколе
Луну и солнце, —
Хвалите Бога!

В мужичьих яслях
Родилось пламя
К миру всего мира!
Новый Назарет
Перед вами.
Уже славят пастыри

Его утро.
Свет за горами...

Сгинь, ты, áнглийское юдо,
Расплещися по морям!
Наше северное чудо
Не постичь твоим сынам!

Не познать тебе Фавора,
Не расслышать тайный зов!
Отуманенного взора
На устах твоих покров.

Все упрямей, все напрасней
Ловит рот твой темноту.
Нет, не дашь ты правды в яслях
Твоему сказать Христу!

Но знайте,
Спящие глубоко:
Она загорелась,
Звезда Востока!
Не погасить ее Ироду
Кровью младенцев...

«Пляши, Саломея, пляши!»
Твои ноги легки и крылаты.
Целуй ты уста без души, —
Но близок твой час расплаты!

Уже встал Иоанн,
Изможденный от ран,
Поднял с земли
Отрубленную голову,
И снова гремят
Его уста,
Снова грозят
Содому:
«Опомнитесь!»

Люди, братья мои люди,
Где вы? Отзовитесь!
Ты не нужен мне, бесстрашный,
Кровожадный витязь.

Не хочу твоей победы,
Дани мне не надо!
Все мы — яблони и вишни
Голубого сада.

Все мы — гроздья винограда
Золотого лета,
До кончины всем нам хватит
И тепла и света!

Кто-то мудрый, несказанный,
Всё себе подобя,
Всех живущих греет песней,
Мертвых — сном во гробе.

Кто-то учит нас и просит
Постигать и мерить.
Не губить пришли мы в мире,
А любить и верить!

Апрель 1917
Петроград

ТОВАРИЩ

Он был сыном простого рабочего,
И повесть о нем очень короткая.
Только и было в нем, что волосы, как ночь,
Да глаза голубые, кроткие.

Отец его с утра до вечера
Гнул спину, чтоб прокормить крошку;
Но ему делать было нечего,
И были у него товарищи: Христос да кошка.

Кошка была старая, глухая,
Ни мышей, ни мух не слышала,
А Христос сидел на руках у Матери
И смотрел с иконы на голубей под крышею.

Жил Мартин, и никто о нем не ведал.
Грустно стучали дни, словно дождь по железу.
И только иногда за скудным обедом
Учил его отец распевать марсельезу.

«Вырастешь, — говорил он, — поймешь...
Разгадаешь, отчего мы так нищи!»
И глухо дрожал его щербатый нож
Над черствой горбушкой насущной пищи.

Но вот под тесовым
Окном —
Два ветра взмахнули
Крылом;

То с вешнею полымью
Вод
Взметнулся российский
Народ...

Ревут валы,
Поет гроза!
Из синей мглы
Горят глаза.

За взмахом взмах,
Над трупом труп;
Ломает страх
Свой крепкий зуб.

Все взлет и взлет,
Все крик и крик!
В бездонный рот
Бежит родник...

И вот кому-то пробил
Последний, грустный час...
Но верьте, он не сро́бел
Пред силой вражьих глаз!

Душа его, как прежде,
Бесстрашна и крепка,
И тянется к надежде
Бескровная рука.

Он незадаром прожил,
Недаром мял цветы;
Но не на вас похожи
Угасшие мечты...

Нечаянно, негаданно
С родимого крыльца
Донесся до Мартина
Последний крик отца.

С потухшими глазами,
С пугливой синью губ,
Упал он на колени,
Обняв холодный труп.

Но вот приподнял брови,
Протер рукой глаза,
Вбежал обратно в хату
И стал под образа.

«Исус, Исус, ты слышишь?
Ты видишь? Я один.
Тебя зовет и кличет
Товарищ твой Мартин!

Отец лежит убитый,
Но он не пал, как трус.
Я слышу, он зовет нас,
О верный мой Исус.

Зовет он нас на помощь,
Где бьется русский люд,
Велит стоять за волю,
За равенство и труд!..»

И, ласково приемля
Речей невинных звук,
Сошел Исус на землю
С неколебимых рук.

Идут рука с рукою,
А ночь черна, черна!..
И пыжится бедою
Седая тишина.

Мечты цветут надеждой
Про вечный, вольный рок.
Обоим нежит вежды
Февральский ветерок.

Но вдруг огни сверкнули...
Залаял медный груз.
И пал, сраженный пулей,
Младенец Иисус.

Слушайте:
Больше нет воскресенья!
Тело Его предали погребенью:
Он лежит
На Марсовом
Поле.

А там, где осталась Мать,
Где Ему не бывать
Боле,
Сидит у окошка
Старая кошка,
Ловит лапой луну...

Ползает Мартин по полу:
«Соколы вы мои, соколы,
В плену вы,
В плену!»
Голос его все глуше, глуше,
Кто-то давит его, кто-то душит,
Палит огнем.

Но спокойно звенит
За окном,
То погаснув, то вспыхнув
Снова,
Железное
Слово:
«Рре-эс-пуу-ублика!»

Март 1917
Петроград

ОТЧАРЬ

1

Тучи — как озера,
Месяц — рыжий гусь.
Пляшет перед взором
Буйственная Русь.

Дрогнул лес зеленый,
Закипел родник.
Здравствуй, обновленный
Отчарь мой, мужик!

Голубые воды —
Твой покой и свет,
Гибельной свободы
В этом мире нет.

Пой, зови и требуй
Скрытые брега;
Не сорвется с неба
Звездная дуга!

Не обронит вечер
Красного ведра;
Мóгутные плечи —
Что гранит-гора.

2

Под облачным древом
Верхом на луне
Февральской метелью
Ревешь ты во мне.

Небесные дщери
Куделят кремник;
Учил тебя вере
Седой огневик.

Он дал тебе пику,
Грозовый ятаг
И силой Аники
Отметил твой шаг.

Заря — как волчиха
С осклабленным ртом;
Но гонишь ты лихо
Двуперстным крестом.

Протянешь ли руку
Иль склонишь ты лик,
Кладешь ей краюху
На желтый язык.

И чуется зверю
Под радугой слов:
Алмазные двери
И звездный покров.

3

О чудотворец!
Широкоскулый и красноротый,
Приявший в корузлые руки
Младенца нежного, —
Укачай мою душу
На пальцах ног своих!

Я сын твой,
Выросший, как ветла,
При дороге,
Научился смотреть в тебя,
Как в озеро.
Ты несказанен и мудр.

По сединам твоим
Узнаю, что был снег
На полях
И поёмах.
По глазам голубым
Славлю
Красное
Лето.

4

Ах, сегодня весна, —
Ты взыграл, как поток!
Гладит волны челнок,
И поет тишина.

Слышен волховский звон
И Буслаев разгул,
Закружились под гул
Волга, Каспий и Дон.

Синегубый Урал
Выставляет клыки,

Но кадят Соловки
В его синий оскал.

Всех зовешь ты на пир,
Тепля клич, как свечу,
Прижимаешь к плечу
Нецелованный мир.

Свят и мирен твой дар,
Синь и песня в речах,
И горит на плечах
Необъемлемый шар!..

5

Закинь его в небо,
Поставь на столпы!
Там лунного хлеба
Златятся снопы.

Там голод и жажда
В корнях не поют,
Но зреет однаждный
Свет ангельских юрт.

Там с вызвоном блюда
Прохлада куста,
И рыжий Иуда
Целует Христа.

Но звон поцелуя
Деньгой не гремит,
И цепь Акатуя —
Тропа перед скит.

Там дряхлое время,
Бродя по лугам,
Все русское племя
Сзывает к столам.

И, славя отвагу
И гордый твой дух,
Сычёною брагой
Обносит их круг.

19—20 июня 1917
Константиново

ОКТОИХ

Гласом моим пожру Тя, Господи.
Ц. О.

1

О родина, счастливый
И неисходный час!
Нет лучше, нет красивей
Твоих коровьих глаз.

Тебе, твоим туманам
И овцам на полях,
Несу, как сноп овсяный,
Я солнце на руках.

Святись преполовеньем
И Рождеством святись,
Чтоб жаждущие бденья
Извечьем напились.

Плечьми трясем мы небо,
Руками зыбим мрак
И в тощий колос хлеба
Вдыхаем звездный злак.

О Русь, о степь и ветры,
И ты, мой отчий дом!
На золотой повети
Гнездится вешний гром.

Овсом мы кормим бурю,
Молитвой поим дол,
И пашню голубую
Нам пашет разум-вол.

И ни единый камень,
Через пращу и лук,
Не подобьет над нами
Подъятье Божьих рук.

2

«О Дево
Мария! —
Поют небеса. —
На нивы златые
Пролей волоса.

Омой наши лица
Рукою земли.
С-за гор вереницей
Плывут корабли.

В них души усопших
И память веков.
О горе, кто ропщет,
Не снявши оков!

Кричащему в мраке
И бьющему лбом
Под тайные знаки
Мы врат не сомкнем.

Но сгибни, кто вышел
И узрел лишь миг!
Мы облачной крышей
Придавим слепых».

3

О Боже, Боже,
Ты ль
Качаешь землю в снах?
Созвездий светит пыль
На наших волосах.

Шумит небесный кедр
Через туман и ров,
И на долину бед
Спадают шишки слов.

Поют они о днях
Иных земель и вод,
Где на тугих ветвях
Кусал их лунный рот.

И шепчут про кусты
Непроходимых рощ,
Где пляшет, сняв порты,
Златоколенный дождь.

4

Осанна в вышних!
Холмы поют про рай.
И в том раю я вижу
Тебя, мой отчий край.

Под Маврикийским дубом
Сидит мой рыжий дед,
И светит его шуба
Горохом частых звезд.

И та кошачья шапка,
Что в праздник он носил,
Глядит, как месяц, зябко
На снег родных могил.

С холмов кричу я деду:
«О отче, отзовись...»
Но тихо дремлют кедры,
Обвесив сучья вниз.

Не долетает голос
В его далекий брег...
Но чу! Звенит, как колос,
С земли растущий снег:

«Восстань, прозри и вижди!
Неосказуем рок.
Кто всё живит и зиждет —
Тот знает час и срок.

Вострубят Божьи клики
Огнем и бурей труб,
И облак желтоклыкий
Прокусит млечный пуп.

И вывалится чрево
Испепелить бразды...
Но тот, кто мыслил Девой,
Взойдет в корабль звезды».

Август 1917

ПРИШЕСТВИЕ

А. Белому

1

Господи, я верую!..
Но введи в свой рай
Дождевыми стрелами
Мой пронзенный край.

За горой нехоженой,
В синеве долин,
Снова мне, о Боже мой,
Предстает твой сын.

По тебе молюся я
Из мужичьих мест;
Из прозревшей Руссии
Он несет свой крест.

Но пред тайной острова
Безначальных слов
Нет за ним апостолов,
Нет учеников.

2

О Русь, Приснодева,
Поправшая смерть!
Из звездного чрева
Сошла ты на твердь.

На яслях овечьих
Осынила дол
За то, что в предтечах
Был пахарь и вол.

Воззри же на нивы,
На сжатый овес, —
Под снежною ивой
Упал твой Христос!

Опять Его вои
Стегают плетьми
И бьют головою
О выступы тьмы...

3

Но к вихрю бездны
Он нем и глух.
С шеста созвездья
Поет петух.

О други, где вы?
Уж близок срок.
Темно ты, чрево,
И крест высок.

Вот гор воитель
Ощупал мглу.
Христа рачитель
Сидит в углу.

«Я видел: с Ним он
Нам сеял мрак!»
«Нет, я не Симон...
Простой рыбак».

Вздохнула плесень,
И снег потух...
То третью песню
Пропел петух.

4

Ей, Господи,
Царю мой!
Дьяволы на руках
Укачали землю.

Снова пришествию Его
Поднят крест.
Снова раздирается небо.

Тишина полей и разума
Точит копья.

Лестница к саду твоему
Без приступок.
Как взойду, как поднимусь по ней
С кровью на отцах и братьях?

Тянет меня земля,
Оцепили пески.
На реках твоих
Сохну.

5

Симоне Пётр...
Где ты? Приди.
Вздрогнули вётлы:
«Там, впереди!»

Симоне Пётр...
Где ты? Зову!
Шепчется кто-то:
«Кричи в синеву!»

Крикнул — и громко
Вздыбился мрак.
Вышел с котомкой
Рыжий рыбак.

«Друг... Ты откуда?»
«Шел за тобой...»
«Кто ты?» — «Иуда!» —
Шамкнул прибой.

Рухнули гнезда
Облачных риз.
Ласточки-звезды
Канули вниз.

6

О Саваофе!
Покровом твоим рек и озер
Прикрой сына!

Под ивой бьют Его вои
И голгофят снега твои.
О ланиту дождей
Преломи
Лезвие заката...

Трубами вьюг
Возвести языки...

Но не в суд или во осуждение.

7

Явись над Елеоном
И правде наших мест!
Горстьми златых затонов
Мы окропим твой крест.

Холмы поют о чуде,
Про рай звенит песок.
О верю, верю — будет
Телиться твой восток!

В моря овса и гречи
Он кинет нам телка...
Но долог срок до встречи,
А гибель так близка!

Уйми ты ржанье бури
И топ громов уйми!
Пролей ведро лазури
На ветхое деньми!

И дай дочерпать волю
Медве́дицей и сном,
Чтоб вытекшей душою
Удобрить чернозем...

Октябрь 1917

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Разумнику Иванову

1

Облаки лают,
Ревет златозубая высь...
Пою и взываю:
Господи, отелись!

Перед воротами в рай
Я стучусь:
Звездами спеленай
Телицу Русь.

За тучи тянется моя рука,
Бурею шумит песнь,
Небесного молока
Даждь мне днесь.

Грозно гремит твой гром,
Чудится плеск крыл.
Новый Содом
Сжигает Егудиил.

Но твердо, не глядя назад,
По ниве вод
Новый из красных врат
Выходит Лот.

2

Не потому ль в березовых
Кустах поет сверчок
О том, как ликом розовым
Окапал рожь восток;

О том, как Богородица,
Накинув синий плат,
У облачной околицы
Скликает в рай телят.

С утра над осенницею
Я слышу зов трубы.
Теленькает синицею
Он про глагол судьбы.

«О веруй, небо вспенится,
Как лай, сверкнет волна.
Над рощею ощенится
Златым щенком луна.

Иной травой и чащею
Отенит мир вода.

Малиновкой журчащею
Слетит в кусты звезда.

И выползет из колоса,
Как рой, пшеничный злак,
Чтобы пчелиным голосом
Озлатонивить мрак...»

3

Ей, россияне!
Ловцы вселенной,
Неводом зари зачерпнувшие небо, —
Трубите в трубы.

Под плугом бури
Ревет земля..
Рушит скалы златоклыкий
Омеж.

Новый сеятель
Бредет по полям,
Новые зерна
Бросает в борозды.

Светлый гость в колымаге к вам
Едет.
По тучам бежит
Кобылица.

Шлея на кобыле —
Синь.
Бубенцы на шлее —
Звезды.

4

Стихни, ветер,
Не лай, водяное стекло.
С небес через красные сети
Дождит молоко.

Мудростью пухнет слово,
Вязью колося поля,

Над тучами, как корова,
Хвост задрала заря.

Вижу тебя из окошка,
Зиждитель щедрый,
Ризою над землею
Свесивший небеса.

Ныне
Солнце, как кошка,
С небесной вербы
Лапкою золотою
Трогает мои волоса.

5

Зреет час преображенья,
Он сойдет, наш светлый гость,
Из распятого терпенья
Вынуть выржавленный гвоздь.

От утра и от полудня
Под поющий в небе гром,
Словно ведра, наши будни
Он наполнит молоком.

И от вечера до ночи,
Незакатный славя край,
Будет звездами пророчить
Среброзлачный урожай.

А когда над Волгой месяц
Склонит лик испить воды, —
Он, в ладью златую свесясь,
Уплывет в свои сады.

И из лона голубого,
Широко взмахнув веслом,
Как яйцо, нам сбросит слово
С проклевавшимся птенцом.

Ноябрь 1917

ИОРДАНСКАЯ ГОЛУБИЦА

1

Земля моя, златая!
Осенний светлый храм!
Гусей крикливых стая
Несется к облакам.

То душ преображенных
Несчислимая рать,
С озер поднявшись сонных,
Летит в небесный сад.

А впереди их лебедь.
В глазах, как роща, грусть.
Не ты ль так плачешь в небе,
Отчалившая Русь?

Лети, лети, не бейся,
Всему есть час и брег.
Ветра стекают в песню,
А песня канет в век.

2

Небо — как колокол,
Месяц — язык,
Мать моя родина,
Я — большевик.

Ради вселенского
Братства людей
Радуюсь песней я
Смерти твоей.

Крепкий и сильный,
На гибель твою,
В колокол синий
Я месяцем бью.

Братья-миряне,
Вам моя песнь.
Слышу в тумане я
Светлую весть.

3

Вот она, вот голубица,
Севшая ветру на длань,
Снова зарею клубится
Мой луговой Иордань.

Славлю тебя, голубая,
Звездами вбитая высь.
Снова до отчего рая
Руки мои поднялись.

Вижу вас, злачные нивы,
С стадом буланых коней.
С дудкой пастушеской в ивах
Бродит апостол Андрей.

И, полная боли и гнева,
Там, на окрайне села,
Мати Пречистая Дева
Розгой стегает осла.

4

Братья мои, люди, люди!
Все мы, все когда-нибудь
В тех благих селеньях будем,
Где протоптан Млечный Путь.

Не жалейте же ушедших,
Уходящих каждый час, —
Там на ландышах расцветших
Лучше, чем в полях у нас.

Страж любви — судьба-мздоимец
Счастье пестует не век.
Кто сегодня был любимец —
Завтра нищий человек.

5

О новый, новый, новый,
Прорезавший тучи день!

Отроком солнцеголовым
Сядь ты ко мне под плетень.

Дай мне твои волосья
Гребнем луны расчесать.
Этим обычаем — гостя
Мы научились встречать.

Древняя тень Маврикии
Родственна нашим холмам,
Дождиком в нивы златые
Нас посетил Авраам.

Сядь ты ко мне на крылечко,
Тихо склонись ко плечу.
Синюю звездочку свечкой
Я пред тобой засвечу.

Буду тебе я молиться,
Славить твою Иордань...
Вот она, вот голубица,
Севшая ветру на длань.

20—23 июня 1918
Константиново

ИНОНИЯ

Пророку Иеремии

1

Не устрашуся гибели,
Ни копий, ни стрел дождей, —
Так говорит по Библии
Пророк Есенин Сергей.
Время мое приспело,
Не страшен мне лязг кнута.
Тело, Христово тело,
Выплевываю изо рта.
Не хочу восприять спасения
Через муки его и крест:
Я иное постиг учение
Прободающих вечность звезд.

Я иное узрел пришествие —
Где не пляшет над правдой смерть.
Как овцу от поганой шерсти, я
Остригу голубую твердь.
Подыму свои руки к месяцу,
Раскушу его, как орех.
Не хочу я небес без лестницы,
Не хочу, чтобы падал снег.
Не хочу, чтоб умело хмуриться

На озерах зари лицо.
Я сегодня снесся, как курица,
Золотым словесным яйцом.
Я сегодня рукой упругою
Готов повернуть весь мир...
Грозовой расплескались вьюгою
От плечей моих восемь крыл.

2

Лай колоколов над Русью грозный —
Это плачут стены Кремля.
Ныне на пики звездные
Вздыбливаю тебя, земля!
Протянусь до незримого города,
Млечный прокушу покров.
Даже Богу я выщиплю бороду
Оскалом моих зубов.
Ухвачу его за гриву белую
И скажу ему голосом вьюг:
Я иным тебя, Господи, сделаю,
Чтобы зрел мой словесный луг!

Проклинаю я дыхание Китежа
И все лощины его дорог.
Я хочу, чтоб на бездонном вытяже
Мы воздвигли себе чертог.
Языком вылижу на иконах я
Лики мучеников и святых.
Обещаю вам град Инонию,
Где живет Божество живых!

Плачь и рыдай, Московия!
Новый пришел Индикоплов.

Все молитвы в твоем часослове я
Проклюю моим клювом слов.
Уведу твой народ от упования,
Дам ему веру и мощь,
Чтобы плугом он в зори ранние
Распахивал с солнцем нощь.
Чтобы поле его словесное
Выращало ульями злак,
Чтобы зерна под крышей небесною
Озлащали, как пчелы, мрак.

Проклинаю тебя я, Радонеж,
Твои пятки и все следы!
Ты огня золотого залежи
Разрыхлял киркою воды.
Стая туч твоих, по-волчьи лающих,
Словно стая злющих волков,
Всех зовущих и всех дерзающих
Прободала копьем клыков.
Твое солнце когтистыми лапами
Прокогтялось в душу, как нож.
На реках вавилонских мы плакали,
И кровавый мочил нас дождь.
Ныне ж бури воловьим голосом
Я кричу, сняв с Христа штаны:
Мойте руки свои и волосы
Из лоханки второй луны.

Говорю вам — вы все погибнете,
Всех задушит вас веры мох.
По-иному над нашей выгибью
Вспух незримой коровой Бог.
И напрасно в пещеры селятся
Те, кому ненавистен рев.
Все равно — он иным отелится
Солнцем в наш русский кров.
Все равно — он спалит телением,
Что ковало реке брега.
Разгвоздят мировое кипение
Золотые его рога.
Новый сойдет Олипий
Начертать его новый лик.
Говорю вам — весь воздух выпью
И кометой вытяну язык.

До Египта раскорячу ноги,
Раскую с вас подковы мук...
В оба полюса снежнорогие
Вопьюся клещами рук.
Коленом придавлю экватор
И, под бури и вихря плач,
Пополам нашу землю-матерь
Разломлю, как златой калач.
И в провал, отененный бездною,
Чтобы мир весь слышал тот треск,
Я главу свою власозвездную
Просуну, как солнечный блеск.
И четыре солнца из облачья,
Как четыре бочки с горы,
Золотые рассыпав обручи,
Скатясь, всколыхнут миры.

3

И тебе говорю, Америка,
Отколотая половина земли, —
Страшись по морям безверия
Железные пускать корабли!
Не отягивай чугунной радугой
Нив и гранитом — рек.
Только водью свободной Ладоги
Просверлит бытие человек!
Не вбивай руками синими
В пустошь потолок небес:
Не построить шляпками гвоздиными
Сияние далеких звезд.
Не залить огневого брожения
Лавой стальной руды.
Нового вознесения
Я оставлю на земле следы.
Пятками с облаков свесюсь,
Прокопытю тучи, как лось;
Колесами солнце и месяц
Надену на земную ось.
Говорю тебе — не пой молебствия
Проволочным твоим лучам.
Не осветят они пришествия,
Бегущего овцой по горам!

Сыщется в тебе стрелок еще
Пустить в его грудь стрелу.
Словно полымя, с белой шерсти его
Брызнет теплая кровь во мглу.
Звездами золотые копытца
Скатятся, взбороздив нощь.
И опять замелькает спицами
Над чулком ее черным дождь.
Возгремлю я тогда колесами
Солнца и луны, как гром;
Как пожар, размечу волосья
И лицо закрою крылом.
За уши встряхну я горы,
Копьями вытяну ковыль.
Все тыны твои, все заборы
Горстью смету, как пыль.

И вспашу я черные щеки
Нив твоих новой сохой;
Золотой пролетит сорокой
Урожай над твоей страной.
Новый он сбросит жителям
Крыл колосистых звон.
И, как жерди златые, вытянет
Солнце лучи на дол.
Новые вырастут сосны
На ладонях твоих полей.
И, как белки, желтые вёсны
Будут прыгать по сучьям дней.
Синие забрезжат реки,

Просверлив все преграды глыб.
И заря, опуская веки,
Будет звездных ловить в них рыб.
Говорю тебе — будет время,
Отплещут уста громов;
Прободят голубое темя
Колосья твоих хлебов.
И над миром с незримой лестницы,
Оглашая поля и луг,
Проклевавшись из сердца месяца,
Кукарекнув, взлетит петух.

4

По тучам иду, как по ниве, я,
Свесясь головою вниз.
Слышу плеск голубого ливня
И светил тонкоклювых свист.
В синих отражаюсь затонах
Далеких моих озер.
Вижу тебя, Инония,
С золотыми шапками гор.
Вижу нивы твои и хаты,
На крылечке старушку мать;
Пальцами луч заката
Старается она поймать.
Прищемит его у окошка,
Схватит на своем горбе, —
А солнышко, словно кошка,
Тянет клубок к себе.

И тихо под шепот речки,
Прибрежному эху в подол,
Каплями незримой свечки
Капает песня с гор:

«Слава в вышних Богу
И на земле мир!
Месяц синим рогом
Тучи прободил.
Кто-то вывел гуся
Из яйца звезды —
Светлого Исуса
Проклевать следы.
Кто-то с новой верой,
Без креста и мук,
Натянул на небе
Радугу, как лук.
Радуйся, Сионе,
Проливай свой свет!
Новый в небосклоне
Вызрел Назарет.
Новый на кобыле
Едет к миру Спас.
Наша вера — в силе.
Наша правда — в нас!»

Январь 1918

НЕБЕСНЫЙ БАРАБАНЩИК

Л. Н. Старку

1

Гей вы, рабы, рабы!
Брюхом к земле прилипли вы.
Нынче луну с воды
Лошади выпили.

Листьями звезды льются
В реки на наших полях.
Да здравствует революция
На земле и на небесах!

Души бросаем бомбами,
Сеем пурговый свист.
Что нам слюна иконная
В наши ворота в высь?

Нам ли страшны полководцы
Белого стада горилл?
Взвихренной конницей рвется
К новому берегу мир.

2

Если это солнце
В заговоре с ними, —
Мы его всей ратью
На штыках подымем.

Если этот месяц
Друг их черной силы, —
Мы его с лазури
Камнями в затылок.

Разметем все тучи,
Все дороги взмесим.
Бубенцом мы землю
К радуге привесим.

Ты звени, звени нам,
Мать земля сырая,
О полях и рощах
Голубого края.

3

Солдаты, солдаты, солдаты —
Сверкающий бич над смерчом.
Кто хочет свободы и братства,
Тому умирать нипочем.

Смыкайтесь же тесной стеною,
Кому ненавистен туман,
Тот солнце корявой рукою
Сорвет на златой барабан.

Сорвет и пойдет по дорогам
Лить зов над озерами сил —
На тени церквей и острогов,
На белое стадо горилл.

В том зове калмык и татарин
Почуют свой чаемый град,
И черное небо хвостами,
Хвостами коров вспламенят.

4

Верьте, победа за нами!
Новый берег недалек.
Волны белыми когтями
Золотой скребут песок.

Скоро, скоро вал последний
Миллионом брызнет лун.
Сердце — свечка за обедней
Пасхе массы и коммун.

Ратью смуглой, ратью дружной
Мы идем сплотить весь мир.
Мы идем, и пылью вьюжной
Тает облако горилл.

Мы идем, а там, за чащей,
Сквозь белесость и туман
Наш небесный барабанщик
Лупит в солнце-барабан.

1918

ПАНТОКРАТОР

1

Славь, мой стих, кто ревет и бесится,
Кто хоронит тоску в плече —
Лошадиную морду месяца
Схватить за узду лучей.

Тысчи лет те же звезды славятся,
Тем же медом струится плоть.
Не молиться тебе, а лаяться
Научил ты меня, Господь.

За седины твои кудрявые,
За копейки с златых осин
Я кричу тебе: «К черту старое!» —
Непокорный разбойный сын.

И за эти щедроты теплые,
Что сочишь ты дождями в муть,
О, какими, какими метлами
Это солнце с небес стряхнуть?

2

Там, за млечными холмами,
Средь небесных тополей,
Опрокинулся над нами
Среброструйный Водолей.

Он Медведицей с лазури,
Как из бочки черпаком.
В небо вспрыгнувшая буря
Села месяцу верхом.

В вихре снится сонм умерших,
Молоко дымящий сад.
Вижу, дед мой тянет вершей
Солнце с полдня на закат.

Отче, отче, ты ли внука
Услыхал в сей скорбный срок?
Знать, недаром в сердце мукал
Издыхающий телок.

3

Кружися, кружися, кружися,
Чекань твоих дней серебро!
Я понял, что солнце из выси —
В колодезь златое ведро.

С земли на незримую сушу
Отчалить и мне суждено.
Я сам положу мою душу
На это горящее дно.

Но знаю — другими очами
Умершие чуют живых.
О, дай нам с земными ключами
Предстать у ворот золотых.

Дай с нашей овсяною волей
Засовы чугунные сбить,
С разбега по ровному полю
Заре на закорки вскочить.

4

Сойди, явись нам, красный конь!
Впрягись в земли оглобли.
Нам горьким стало молоко
Под этой ветхой кровлей.

Пролей, пролей нам над водой
Твое глухое ржанье
И колокольчиком-звездой
Холодное сиянье.

Мы радугу тебе — дугой,
Полярный круг — на сбрую.
О, вывези наш шар земной
На колею иную.

Хвостом земле ты прицепись,
С зари отчалься гривой.
За эти тучи, эту высь
Скачи к стране счастливой.

И пусть они, те, кто во мгле
Нас пьют лампадой в небе,
Увидят со своих полей,
Что мы к ним в гости едем.

Февраль 1919

КОБЫЛЬИ КОРАБЛИ

1

Если волк на звезду завыл,
Значит, небо тучами изглодано.
Рваные животы кобыл,
Черные паруса воронов.

Не просунет когтей лазурь
Из пургового кашля-смрада;
Облетает под ржанье бурь
Черепов златохвойный сад.

Слышите ль? Слышите звонкий стук?
Это грабли зари по пущам.
Веслами отрубленных рук
Вы гребетесь в страну грядущего.

Плывите, плывите в высь!
Лейте с радуги крик вороний!
Скоро белое дерево сронит
Головы моей желтый лист.

2

Поле, поле, кого ты зовешь?
Или снится мне сон веселый —
Синей конницей скачет рожь,
Обгоняя леса и села?

Нет, не рожь! Скачет пó полю стужа,
Окна выбиты, настежь двери.
Даже солнце мерзнет, как лужа,
Которую напрудил мерин.

Кто это? Русь моя, кто ты? Кто?
Чей черпак в снегов твоих накипь?
На дорогах голодным ртом
Сосут край зари собаки.

Им не нужно бежать в «туда»,
Здесь, с людьми бы теплей ужиться.
Бог ребенка волчице дал,
Человек съел дитя волчицы.

3

О, кого же, кого же петь
В этом бешеном зареве трупов?
Посмотрите: у женщин третий
Вылупляется глаз из пупа.

Вон он! Вылез, глядит луной,
Не увидит ли помясистей кости.
Видно, в смех над самим собой
Пел я песнь о чудесной гостье.

Где же ты? Где еще одиннадцать,
Что светильники сисек жгут?
Если хочешь, поэт, жениться,
Так женись на овце в хлеву.

Причащайся соломой и шерстью,
Тепли песней словесный воск.
Злой октябрь осыпает перстни
С коричневых рук берез.

4

Звери, звери, приидите ко мне
В чашки рук моих злобу выплакать!
Не пора ль перестать луне
В небесах облака лакать?

Сестры-суки и братья-кобели,
Я, как вы, у людей в загоне.
Не нужны мне кобыл корабли
И паруса вороньи.

Если голод с разрушенных стен
Вцепится в мои волоса, —
Половину ноги моей сам съем,
Половину отдам вам высасывать.

Никуда не пойду с людьми,
Лучше вместе издохнуть с вами,
Чем с любимой поднять земли
В сумасшедшего ближнего камень.

5

Буду петь, буду петь, буду петь!
Не обижу ни козы, ни зайца.
Если можно о чем скорбеть,
Значит, можно чему улыбаться.

Все мы яблоко радости носим,
И разбойный нам близок свист.
Срежет мудрый садовник-осень
Головы моей желтый лист.

В сад зари лишь одна стезя,
Сгложет рощи октябрьский ветр.
Все познать, ничего не взять
Пришел в этот мир поэт.

Он пришел целовать коров,
Слушать сердцем овсяный хруст.
Глубже, глубже, серпы стихов!
Сыпь черемухой, солнце-куст!

Сентябрь 1919

СОРОКОУСТ

А. Мариенгофу

1

Трубит, трубит погибельный рог!
Как же быть, как же быть теперь нам
На измызганных ляжках дорог?
Вы, любители песенных блох,
Не хотите ль пососать у мерина?

Полно кротостью мордищ праздниться,
Любо ль, не любо ль, знай бери.
Хорошо, когда сумерки дразнятся
И всыпают вам в толстые задницы
Окровавленный веник зари.

Скоро заморозь известью выбелит
Тот поселок и эти луга.
Никуда вам не скрыться от гибели,
Никуда не уйти от врага.

Вот он, вот он с железным брюхом,
Тянет к глоткам равнин пятерню,
Водит старая мельница ухом,
Навострив мукомольный нюх.
И дворовый молчальник бык,
Что весь мозг свой на телок пролил,
Вытирая о прясло язык,
Почуял беду над полем.

2

Ах, не с того ли за селом
Так плачет жалостно гармоника:
Таля-ля-ля, тили-ли-гом
Висит над белым подоконником.
И желтый ветер осенницы
Не потому ль, синь рябью тронув,
Как будто бы с коней скребницей,
Очесывает листья с кленов.
Идет, идет он, страшный вестник,
Пятой громоздкой чащи ломит.
И все сильней тоскуют песни
Под лягушиный писк в соломе.
О, электрический восход,
Ремней и труб глухая хватка,
Се изб древенчатый живот
Трясет стальная лихорадка!

3

Видели ли вы,
Как бежит по степям,

В туманах озерных кроясь,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунных поезд?

А за ним
По большой траве,
Как на празднике отчаянных гонок,
Тонкие ноги закидывая к голове,
Скачет красногривый жеребенок?

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?
Неужель он не знает, что в полях бессиянных
Той поры не вернет его бег,
Когда пару красивых степных россиянок
Отдавал за коня печенег?
По-иному судьба на торгах перекрасила
Наш разбуженный скрежетом плес,
И за тысчи пудов конской кожи и мяса
Покупают теперь паровоз.

4

Черт бы взял тебя, скверный гость!
Наша песня с тобой не сживется.
Жаль, что в детстве тебя не пришлось
Утопить, как ведро в колодце.
Хорошо им стоять и смотреть,
Красить рты в жестяных поцелуях, —
Только мне, как псаломщику, петь
Над родимой страной «аллилуйя».
Оттого-то в сентябрьскую склень
На сухой и холодный суглинок,
Головой размозжась о плетень,
Облилась кровью ягод рябина.
Оттого-то вросла тужиль
В переборы тальянки звонкой.
И соломой пропахший мужик
Захлебнулся лихой самогонкой.

Август 1920

ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА

Не каждый умеет петь,
Не каждому дано яблоком
Падать к чужим ногам.
Сие есть самая великая исповедь,
Которой исповедуется хулиган.

Я нарочно иду нечесаным,
С головой, как керосиновая лампа, на плечах.
Ваших душ безлиственную осень
Мне нравится в потемках освещать.
Мне нравится, когда каменья брани
Летят в меня, как град рыгающей грозы.
Я только крепче жму тогда руками
Моих волос качнувшийся пузырь.

Так хорошо тогда мне вспоминать
Заросший пруд и хриплый звон ольхи,
Что где-то у меня живут отец и мать,
Которым наплевать на все мои стихи,

Которым дорог я, как поле и как плоть,
Как дождик, что весной взрыхляет зеленя.
Они бы вилами пришли вас заколоть
За каждый крик ваш, брошенный в меня.

Бедные, бедные крестьяне!
Вы, наверно, стали некрасивыми,
Так же боитесь Бога и болотных недр.
О, если б вы понимали,
Что сын ваш в России
Самый лучший поэт!

Вы ль за жизнь его сердцем не индевели,
Когда босые ноги он в лужах осенних макал?
А теперь он ходит в цилиндре
И лакированных башмаках.

Но живет в нем задор прежней вправки
Деревенского озорника.
Каждой корове с вывески мясной лавки
Он кланяется издалека.
И, встречаясь с извозчиками на площади,
Вспоминая запах навоза с родных полей,

Он готов нести хвост каждой лошади,
Как венчального платья шлейф.

Я люблю родину.
Я очень люблю родину!
Хоть есть в ней грусти ивовая ржавь.
Приятны мне свиней испачканные морды
И в тишине ночной звенящий голос жаб.
Я нежно болен вспоминаньем детства,
Апрельских вечеров мне снится хмарь и сырь.
Как будто бы на корточки погреться
Присел наш клен перед костром зари.
О, сколько я на нем яиц из гнезд вороньих,
Карабкаясь по сучьям, воровал!
Все тот же ль он теперь, с верхушкою зеленой?
По-прежнему ль крепка его кора?

А ты, любимый,
Верный пегий пес?!
От старости ты стал визглив и слеп
И бродишь по двору, влача обвисший хвост,
Забыв чутьем, где двери и где хлев.
О, как мне дороги все те проказы,
Когда, у матери стянув краюху хлеба,
Кусали мы с тобой ее по разу,
Ни капельки друг другом не погребав.

Я все такой же.
Сердцем я все такой же.
Как васильки во ржи, цветут в лице глаза.
Стеля стихов злаченые рогожи,
Мне хочется вам нежное сказать.

Спокойной ночи!
Всем вам спокойной ночи!
Отзвенела по траве сумерок зари коса...
Мне сегодня хочется очень
Из окошка луну обоссать.

Синий свет, свет такой синий!
В эту синь даже умереть не жаль.
Ну так что ж, что кажусь я циником,
Прицепившим к заднице фонарь!
Старый, добрый, заезженный Пегас,
Мне ль нужна твоя мягкая рысь?

Я пришел, как суровый мастер,
Воспеть и прославить крыс.
Башка моя, словно август,
Льется бурливых волос вином.

Я хочу быть желтым парусом
В ту страну, куда мы плывем.

Ноябрь 1920

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Я посетил родимые места,
Ту сельщину,
Где жил мальчишкой,
Где каланчой с березовою вышкой
Взметнулась колокольня без креста.

Как много изменилось там,
В их бедном неприглядном быте.
Какое множество открытий
За мною следовало по пятам.

Отцовский дом
Не мог я распознать;
Приметный клен уж под окном не машет,
И на крылечке не сидит уж мать,
Кормя цыплят крупитчатою кашей.

Стара, должно быть, стала...
Да, стара.
Я с грустью озираюсь на окрестность:
Какая незнакомая мне местность:

Одна, как прежняя, белеется гора,
Да у горы
Высокий серый камень.
Здесь кладбище!
Подгнившие кресты,
Как будто в рукопашной мертвецы,
Застыли с распростертыми руками.

По тропке, опершись на подожок,
Идет старик, сметая пыль с бурьяна.

«Прохожий!
Укажи, дружок,
Где тут живет Есенина Татьяна?»

«Татьяна... Гм...
Да вон за той избой.
А ты ей что?
Сродни?
Аль, может, сын пропащий?»

«Да, сын.
Но что, старик, с тобой?
Скажи мне,
Отчего ты так глядишь скорбяще?»

«Добро, мой внук,
Добро, что не узнал ты деда!..»
«Ах, дедушка, ужели это ты?»

И полилась печальная беседа
Слезами теплыми на пыльные цветы.
. . . .

«Тебе, пожалуй, скоро будет тридцать...
А мне уж девяносто...
Скоро в гроб.
Давно пора бы было воротиться», —
Он говорит, а сам все морщит лоб.

«Да!.. Время!..
Ты не коммунист?»
«Нет!..»
«А сестры стали комсомолки.
Такая гадость! Просто удавись!
Вчера иконы выбросили с полки,
На церкви комиссар снял крест.
Теперь и Богу негде помолиться.
Уж я хожу украдкой нынче в лес,
Молюсь осинам...
Может, пригодится...
Пойдем домой —
Ты все увидишь сам».

И мы идем, топча межой кукольни.
Я улыбаюсь пашням и лесам,

А дед с тоской глядит на колокольню.
. . . .
. . . .

«Здорово, мать! Здорово!» —
И я опять тяну к глазам платок.
Тут разрыдаться может и корова,
Глядя на этот бедный уголок.

На стенке календарный Ленин.
Здесь жизнь сестер,
Сестер, а не моя, —
Но все ж готов упасть я на колени,
Увидев вас, любимые края.

Пришли соседи...
Женщина с ребенком.
Уже никто меня не узнает.
По-байроновски наша собачонка
Меня встречала с лаем у ворот.

Ах, милый край!
Не тот ты стал,
Не тот.
Да уж и я, конечно, стал не прежний.
Чем мать и дед грустней и безнадежней,
Тем веселей сестры смеется рот.

Конечно, мне и Ленин не икона,
Я знаю мир...
Люблю мою семью...
Но отчего-то все-таки с поклоном
Сажусь на деревянную скамью.

«Ну, говори, сестра!»

И вот сестра разводит,
Раскрыв, как Библию, пузатый «Капитал».
О Марксе,
Энгельсе...
Ни при какой погоде
Я этих книг, конечно, не читал.

И мне смешно,
Как шустрая девчонка

Меня во всем за шиворот берет...
. . . .
. . . .
По-байроновски наша собачонка
Меня встречала с лаем у ворот.

1 июня 1924

РУСЬ СОВЕТСКАЯ

А. Сахарову

Тот ураган прошел. Нас мало уцелело.
На перекличке дружбы многих нет.
Я вновь вернулся в край осиротелый,
В котором не был восемь лет.

Кого позвать мне? С кем мне поделиться
Той грустной радостью, что я остался жив?
Здесь даже мельница — бревенчатая птица
С крылом единственным — стоит, глаза смежив.

Я никому здесь не знаком,
А те, что помнили, давно забыли.
И там, где был когда-то отчий дом,
Теперь лежит зола да слой дорожной пыли.

А жизнь кипит.
Вокруг меня снуют
И старые и молодые лица.
Но некому мне шляпой поклониться,
Ни в чьих глазах не нахожу приют.

И в голове моей проходят роем думы:
Что родина?
Ужели это сны?
Ведь я почти для всех здесь пилигрим угрюмый
Бог весть с какой далекой стороны.

И это я!
Я, гражданин села,
Которое лишь тем и будет знаменито,
Что здесь когда-то баба родила
Российского скандального пиита.

Но голос мысли сердцу говорит:
«Опомнись! Чем же ты обижен?
Ведь это только новый свет горит
Другого поколения у хижин.

Уже ты стал немного отцветать,
Другие юноши поют другие песни.
Они, пожалуй, будут интересней —
Уж не село, а вся земля им мать».

Ах, родина, какой я стал смешной!
На щеки впалые летит сухой румянец.
Язык сограждан стал мне как чужой,
В своей стране я словно иностранец.

Вот вижу я:
Воскресные сельчане
У волости, как в церковь, собрались.
Корявыми немытыми речами
Они свою обсуживают «жись».

Уж вечер. Жидкой позолотой
Закат обрызгал серые поля.
И ноги босые, как телки под ворота,
Уткнули по канавам тополя.

Хромой красноармеец с ликом сонным,
В воспоминаниях морщиня лоб,
Рассказывает важно о Буденном,
О том, как красные отбили Перекоп.

«Уж мы его — и этак и раз-этак, —
Буржуя энтого... которого... в Крыму...»
И клены морщатся ушами длинных веток,
И бабы охают в немую полутьму.

С горы идет крестьянский комсомол,
И под гармонику, наяривая рьяно,
Поют агитки Бедного Демьяна,
Веселым криком оглашая дол.

Вот так страна!
Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?
Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.

Ну что ж!
Прости, родной приют.
Чем сослужил тебе — и тем уж я доволен.
Пускай меня сегодня не поют —
Я пел тогда, когда был край мой болен.

Приемлю все,
Как есть все принимаю.
Готов идти по выбитым следам,
Отдам всю душу октябрю и маю,
Но только лиры милой не отдам.

Я не отдам ее в чужие руки, —
Ни матери, ни другу, ни жене.
Лишь только мне она свои вверяла звуки
И песни нежные лишь только пела мне.

Цветите, юные, и здоровейте телом!
У вас иная жизнь. У вас другой напев.
А я пойду один к неведомым пределам,
Душой бунтующей навеки присмирев.

Но и тогда,
Когда на всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть, —
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».

1924

РУСЬ БЕСПРИЮТНАЯ

Товарищи, сегодня в горе я,
Проснулась боль
В угасшем скандалисте!
Мне вспомнилась
Печальная история —
История об Оливере Твисте.

Мы все по-разному
Судьбой своей оплаканы.

Кто крепость знал,
Кому Сибирь знакома.
Знать, потому теперь
Попы и дьяконы
О здравьи молятся
Всех членов Совнаркома.

И потому крестьянин
С водки штофа,
Рассказывая сродникам своим,
Глядит на Маркса,
Как на Саваофа,
Пуская Ленину
В глаза табачный дым.

Ирония судьбы!
Мы все остро́щены.
Над старым твердо
Вставлен крепкий кол.
Но все ж у нас
Монашеские общины
С «аминем» ставят
Каждый протокол.

И говорят,
Забыв о днях опасных:
«Уж как мы их...
Не в пух, а прямо в прах...
Пятнадцать штук я сам
Зарезал красных,
Да столько ж каждый,
Всякий наш монах».

Россия-мать!
Прости меня,
Прости!
Но эту дикость, подлую и злую,
Я на своем недлительном пути
Не приголублю
И не поцелую.

У них жилища есть,
У них есть хлеб,
Они с молитвами
И благостны и сыты.

Но есть на этой
Горестной земле,
Что всеми добрыми
И злыми позабыты.

Мальчишки лет семи-восьми
Снуют средь штатов без призора,
Бестелыми корявыми костьми
Они нам знак
Тяжелого укора.

Товарищи, сегодня в горе я,
Проснулась боль в угасшем скандалисте.
Мне вспомнилась
Печальная история —
История об Оливере Твисте.

Я тоже рос
Несчастный и худой,
Средь жидких,
Тягостных рассветов.
Но если б встали все
Мальчишки чередой,
То были б тысячи
Прекраснейших поэтов.

В них Пушкин,
Лермонтов,
Кольцов,
И наш Некрасов в них,
В них я,
В них даже Троцкий,
Ленин и Бухарин.
Не потому ль мой грустью
Веет стих,
Глядя на их
Невымытые хари.

Я знаю будущее...
Это их...
Их календарь...
И вся земная слава.
Не потому ль
Мой горький, буйный стих
Для всех других —
Как смертная отрава.

Я только им пою,
Ночующим в котлах,
Пою для них,
Кто спит порой в сортире.
О, пусть они
Хотя б прочтут в стихах,
Что есть за них
Обиженные в мире.

1924

РУСЬ УХОДЯЩАЯ

Мы многое еще не сознаем,
Питомцы ленинской победы,
И песни новые
По-старому поем,
Как нас учили бабушки и деды.

Друзья! Друзья!
Какой раскол в стране,
Какая грусть в кипении веселом!
Знать, оттого так хочется и мне,
Задрав штаны,
Бежать за комсомолом.

Я уходящих в грусти не виню,
Ну, где же старикам
За юношами гнаться?
Они несжатой рожью на корню
Остались догнивать и осыпаться.

И я, я сам —
Не молодой, не старый,
Для времени навозом обречен.
Не потому ль кабацкий звон гитары
Мне навевает сладкий сон?

Гитара милая,
Звени, звени!
Сыграй, цыганка, что-нибудь такое,
Чтоб я забыл отравленные дни,
Не знавшие ни ласки, ни покоя.

Советскую я власть виню,
И потому я на нее в обиде,
Что юность светлую мою
В борьбе других я не увидел.

Что видел я?
Я видел только бой
Да вместо песен
Слышал канонаду.
Не потому ли с желтой головой
Я по планете бегал до упаду?

Но все ж я счастлив.
В сонме бурь
Неповторимые я вынес впечатленья.
Вихрь нарядил мою судьбу
В золототканое цветенье.

Я человек не новый!
Что скрывать?
Остался в прошлом я одной ногою,
Стремясь догнать стальную рать,
Скольжу и падаю другою.

Но есть иные люди.
Те
Еще несчастней и забытей,
Они, как отрубь в решете,
Средь непонятных им событий.

Я знаю их
И подсмотрел:
Глаза печальнее коровьих.
Средь человечьих мирных дел,
Как пруд, заплесневела кровь их.

Кто бросит камень в этот пруд?
Не троньте!
Будет запах смрада.
Они в самих себе умрут,
Истлеют падью листопада.

А есть другие люди,
Те, что верят,
Что тянут в будущее робкий взгляд.
Почесывая зад и перед,
Они о новой жизни говорят.

Я слушаю. Я в памяти смотрю,
О чем крестьянская судачит оголь:
«С Советской властью жить нам по нутрю...
Теперь бы ситцу... Да гвоздей немного...»

Как мало надо этим брадачам,
Чья жизнь в сплошном
Картофеле и хлебе.
Чего же я ругаюсь по ночам
На неудачный горький жребий?

Я тем завидую,
Кто жизнь провел в бою,
Кто защищал великую идею.
А я, сгубивший молодость свою,
Воспоминаний даже не имею.

Какой скандал!
Какой большой скандал!
Я очутился в узком промежутке.
Ведь я мог дать
Не то, что дал,
Что мне давалось ради шутки.

Гитара милая,
Звени, звени!
Сыграй, цыганка, что-нибудь такое,
Чтоб я забыл отравленные дни,
Не знавшие ни ласки, ни покоя.

Я знаю, грусть не утопить в вине,
Не вылечить души
Пустыней и отколом.
Знать, оттого так хочется и мне,
Задрав штаны,
Бежать за комсомолом.

2 ноября 1924

НА КАВКАЗЕ

Издревле русский наш Парнас
Тянуло к незнакомым странам,
И больше всех лишь ты, Кавказ,
Звенел загадочным туманом.

Здесь Пушкин в чувственном огне
Слагал душой своей опальной:
«Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной».

И Лермонтов, тоску леча,
Нам рассказал про Азамата,
Как он за лошадь Казбича
Давал сестру заместо злата.

За грусть и жёлчь в своем лице
Кипенья желтых рек достоин,
Он, как поэт и офицер,
Был пулей друга успокоен.

И Грибоедов здесь зарыт,
Как наша дань персидской хмари,
В подножии большой горы
Он спит под плач зурны и тари.

А ныне я в твою безгладь
Пришел, не ведая причины:
Родной ли прах здесь обрыдать
Иль подсмотреть свой час кончины!

Мне все равно! Я полон дум
О них, ушедших и великих.
Их исцелял гортанный шум
Твоих долин и речек диких.

Они бежали от врагов
И от друзей сюда бежали,
Чтоб только слышать звон шагов
Да видеть с гор глухие дали.

И я от тех же зол и бед
Бежал, навек простясь с богемой,
Зане созрел во мне поэт
С большой эпическою темой.

Мне мил стихов российский жар.
Есть Маяковский, есть и кроме,
Но он, их главный штабс-маляр,
Поет о пробках в Моссельпроме.

И Клюев, ладожский дьячок,
Его стихи как телогрейка,
Но я их вслух вчера прочел,
И в клетке сдохла канарейка.

Других уж нечего считать,
Они под хладным солнцем зреют,
Бумаги даже замарать
И то, как надо, не умеют.

Прости, Кавказ, что я о них
Тебе промолвил ненароком,
Ты научи мой русский стих
Кизиловым струиться соком,

Чтоб, воротясь опять в Москву,
Я мог прекраснейшей поэмой
Забыть ненужную тоску
И не дружить вовек с богемой.

И чтоб одно в моей стране
Я мог твердить в свой час прощальный:
«Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной».

Сентябрь 1924
Тифлис

ПОЭТАМ ГРУЗИИ

Писали раньше
Ямбом и октавой.
Классическая форма
Умерла.
Но ныне, в век наш
Величавый,
Я вновь ей вздернул
Удила.

Земля далекая!
Чужая сторона!
Грузинские кремнистые дороги.
Вино янтарное
В глаза струит луна,

В глаза глубокие,
Как голубые роги.

Поэты Грузии!
Я ныне вспомнил вас.
Приятный вечер вам,
Хороший, добрый час!

Товарищи по чувствам,
По перу,
Словесных рек кипение
И шорох,
Я вас люблю,
Как шумную Куру,
Люблю в пирах и в разговорах.

Я — северный ваш друг
И брат!
Поэты — все единой крови.
И сам я тоже азиат
В поступках, в помыслах
И слове.

И потому в чужой
Стране
Вы близки
И приятны мне.

Века всё смелют,
Дни пройдут,
Людская речь
В один язык сольется.
Историк, сочиняя труд,
Над нашей рознью улыбнется.

Он скажет:
В пропасти времен
Есть изысканья и приметы...
Дралися сонмища племен,
Зато не ссорились поэты.

Свидетельствует
Вещий знак:
Поэт поэту
Есть кунак.

Самодержавный
Русский гнет
Сжимал все лучшее за горло,
Его мы кончили —
И вот
Свобода крылья распростерла.

И каждый в племени своем,
Своим мотивом и наречьем,
Мы всяк
По-своему поем,
Поддавшись чувствам
Человечьим...

Свершился дивный
Рок судьбы:
Уже мы больше
Не рабы.

Поэты Грузии,
Я ныне вспомнил вас,
Приятный вечер вам,
Хороший, добрый час!..

Товарищи по чувствам,
По перу,

Словесных рек кипение
И шорох,
Я вас люблю,
Как шумную Куру,
Люблю в пирах и в разговорах.

1924

БАЛЛАДА О ДВАДЦАТИ ШЕСТИ

С любовью —
прекрасному художнику Г. Якулову

Пой песню, поэт,
Пой.
Ситец неба такой
Голубой.

Море тоже рокочет
Песнь.
Их было
26.
26 их было,
26.
Их могилы пескам
Не занесть.
Не забудет никто
Их расстрел

На 207-ой
Версте.
Там за морем гуляет
Туман.
Видишь, встал из песка
Шаумян.
Над пустыней костлявый
Стук.
Вон еще 50
Рук
Вылезают, стирая
Плесень.
26 их было,
26.
Кто с прострелом в груди,
Кто в боку,
Говорят:
«Нам пора в Баку —
Мы посмотрим,
Пока есть туман,
Как живет
Азербайджан».

Ночь, как дыню,
Катит луну.
Море в берег
Струит волну.

Вот в такую же ночь
И туман
Расстрелял их
Отряд англичан.

Коммунизм —
Знамя всех свобод.
Ураганом вскипел
Народ.
На империю встали
В ряд
И крестьянин
И пролетарьят.
Там, в России,
Дворянский бич
Был наш строгий отец
Ильич.
А на Востоке
Здесь
Их было
26.

Все помнят, конечно,
Тот,
18-ый, несчастный
Год.
Тогда буржуа
Всех стран

Обстреливали
Азербайджан.

Тяжел был Коммуне
Удар.
Не вынес сей край
И пал,
Но жутче всем было
Весть
Услышать
Про 26.

В пески, что как плавленый
Воск,
Свезли их
За Красноводск,
И кто саблей,
Кто пулей в бок —
Всех сложили на желтый
Песок.

26 их было,
26.
Их могилы пескам
Не занесть.
Не забудет никто
Их расстрел
На 207-ой
Версте.

Там за морем гуляет
Туман.
Видишь, встал из песка
Шаумян.
Над пустыней костлявый
Стук.
Вон еще 50
Рук
Вылезают, стирая
Плеснь.
26 их было,
26.

Ночь как будто сегодня
Бледней.
Над Баку
26 теней.
Теней этих
26.
О них наша боль
И песнь.

То не ветер шумит,
Не туман.
Слышишь, как говорит
Шаумян:

«Джапаридзе!
Иль я ослеп?
Посмотри:
У рабочих хлеб.
Нефть как черная
Кровь земли.
Паровозы кругом...

Корабли...
И во все корабли,
В поезда
Вбита красная наша
Звезда».

Джапаридзе в ответ:
«Да, есть.
Это очень приятная
Весть.
Значит, крепко рабочий
Класс
Держит в цепких руках
Кавказ.

Ночь, как дыню,
Катит луну.
Море в берег
Струит волну.
Вот в такую же ночь
И туман
Расстрелял нас
Отряд англичан».

Коммунизм —
Знамя всех свобод.
Ураганом вскипел
Народ.
На империю встали
В ряд
И крестьянин
И пролетарьят.
Там, в России,
Дворянский бич
Был наш строгий отец
Ильич.
А на Востоке,
Здесь,
26 их было,
26.

Свет небес все синей
И синей.

Молкнет говор
Дорогих теней.
Кто в висок прострелен,
А кто в грудь.
К Ахч-Куйме
Их обратный путь...

Пой, поэт, песню,
Пой,
Ситец неба такой

Голубой.
Море тоже рокочет
Песнь —
26 их было,
26.

Сентябрь 1924
Баку

ПИСЬМО К ЖЕНЩИНЕ

Вы помните,
Вы всё, конечно, помните,
Как я стоял,
Приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне.

Вы говорили:
Нам пора расстаться,
Что вас измучила
Моя шальная жизнь,
Что вам пора за дело приниматься,
А мой удел —
Катиться дальше, вниз.

Любимая!
Меня вы не любили.
Не знали вы, что в сонмище людском
Я был, как лошадь загнанная в мыле,
Пришпоренная смелым ездоком.

Не знали вы,
Что я в сплошном дыму,
В разворочённом бурей быте

С того и мучаюсь, что не пойму —
Куда несет нас рок событий.

Лицом к лицу
Лица не увидать.
Большое видится на расстояньи.
Когда кипит морская гладь,
Корабль в плачевном состояньи.

Земля — корабль!
Но кто-то вдруг
За новой жизнью, новой славой
В прямую гущу бурь и вьюг
Ее направил величаво.

Ну кто ж из нас на палубе большой
Не падал, не блевал и не ругался?
Их мало, с опытной душой,
Кто крепким в качке оставался.

Тогда и я
Под дикий шум,
Незрело знающий работу,
Спустился в корабельный трюм,
Чтоб не смотреть людскую рвоту.

Тот трюм был —
Русским кабаком.

И я склонился над стаканом,
Чтоб, не страдая ни о ком,
Себя сгубить
В угаре пьяном.

Любимая!
Я мучил вас,
У вас была тоска
В глазах усталых:
Что я пред вами напоказ
Себя растрачивал в скандалах.

Но вы не знали,
Что в сплошном дыму,
В разворочённом бурей быте
С того и мучаюсь,

Что не пойму,
Куда несет нас рок событий...
. . . .
Теперь года прошли,
Я в возрасте ином.
И чувствую и мыслю по-иному.
И говорю за праздничным вином:
Хвала и слава рулевому!

Сегодня я
В ударе нежных чувств.
Я вспомнил вашу грустную усталость.
И вот теперь
Я сообщить вам мчусь,
Каков я был
И что со мною сталось!

Любимая!
Сказать приятно мне:
Я избежал паденья с кручи.
Теперь в советской стороне
Я самый яростный попутчик.

Я стал не тем,
Кем был тогда.
Не мучил бы я вас,
Как это было раньше.
За знамя вольности
И светлого труда
Готов идти хоть до Ламанша.

Простите мне...
Я знаю: вы не та —
Живете вы
С серьезным, умным мужем;
Что не нужна вам наша маета,
И сам я вам
Ни капельки не нужен.

Живите так,
Как вас ведет звезда,
Под кущей обновленной сени.
С приветствием,
Вас помнящий всегда
Знакомый ваш
Сергей Есенин.

1924

ПИСЬМО ОТ МАТЕРИ

Чего же мне
Еще теперь придумать,
О чем теперь
Еще мне написать?
Передо мной
На столике угрюмом
Лежит письмо,
Что мне прислала мать.

Она мне пишет:
«Если можешь ты,
То приезжай, голубчик,
К нам на святки.
Купи мне шаль,
Отцу купи порты,
У нас в дому
Большие недостатки.

Мне страх не нравится,
Что ты поэт,
Что ты сдружился
С славою плохою.
Гораздо лучше б
С малых лет
Ходил ты в поле за сохою.

Стара я стала
И совсем плоха,
Но если б дома
Был ты изначала,
То у меня
Была б теперь сноха
И на ноге
Внучонка я качала.

Но ты детей
По свету растерял,
Свою жену
Легко отдал другому,
И без семьи, без дружбы,
Без причал
Ты с головой
Ушел в кабацкий омут.

Любимый сын мой,
Что с тобой?
Ты был так кроток,
Был ты так смиренен.
И говорили все наперебой:
Какой счастливый
Александр Есенин!

В тебе надежды наши
Не сбылись,
И на душе
С того больней и горьше,
Что у отца
Была напрасной мысль,
Чтоб за стихи
Ты денег брал побольше.

Хоть сколько б ты
Ни брал,
Ты не пошлешь их в дом,
И потому так горько
Речи льются,
Что знаю я
На опыте твоем:
Поэтам деньги не даются.

Мне страх не нравится,
Что ты поэт,
Что ты сдружился
С славою плохою.
Гораздо лучше б
С малых лет
Ходил ты в поле за сохою.

Теперь сплошная грусть,
Живем мы, как во тьме.
У нас нет лошади.
Но если б был ты в доме,
То было б все,
И при твоем уме —
Пост председателя
В волисполкоме.

Тогда б жилось смелей,
Никто б нас не тянул,

И ты б не знал
Ненужную усталость.
Я б заставляла
Прясть
Твою жену,
А ты как сын
Покоил нашу старость».

Я комкаю письмо,
Я погружаюсь в жуть.
Ужель нет выхода
В моем пути заветном?
Но все, что думаю,
Я после расскажу.
Я расскажу
В письме ответном...

1924

ОТВЕТ

Старушка милая,
Живи, как ты живешь.
Я нежно чувствую
Твою любовь и память.
Но только ты
Ни капли не поймешь —
Чем я живу
И чем я в мире занят.

Теперь у вас зима,
И лунными ночами,
Я знаю, ты
Помыслишь не одна,
Как будто кто
Черемуху качает
И осыпает
Снегом у окна.

Родимая!
Ну как заснуть в метель?
В трубе так жалобно
И так протяжно стонет.

Захочешь лечь,
Но видишь не постель,
А узкий гроб
И — что тебя хоронят.

Как будто тысяча
Гнусавейших дьячков,
Поет она плакидой —
Сволочь-вьюга!
И снег ложится
Вроде пятачков,
И нет за гробом
Ни жены, ни друга!

Я более всего
Весну люблю.
Люблю разлив
Стремительным потоком,
Где каждой щепке,
Словно кораблю,
Такой простор,
Что не окинешь оком.

Но ту весну,
Которую люблю,
Я революцией великой
Называю!
И лишь о ней
Страдаю и скорблю,
Ее одну
Я жду и призываю!

Но эта пакость —
Хладная планета!
Ее и в триста солнц
Пока не растопить!
Вот потому
С больной душой поэта
Пошел скандалить я,
Озорничать и пить.

Но время будет,
Милая, родная!
Она придет, желанная пора!
Недаром мы

Присели у орудий:
Тот сел у пушки,
Этот — у пера.

Забудь про деньги ты,
Забудь про все.
Какая гибель?!
Ты ли это, ты ли?
Ведь не корова я,
Не лошадь, не осел,
Чтобы меня
Из стойла выводили!

Я выйду сам,
Когда настанет срок,
Когда пальнуть
Придется по планете.
И, воротясь,
Тебе куплю платок,
Ну, а отцу
Куплю я штуки эти.

Пока ж — идет метель.
И тысячей дьячков
Поет она плакидой —
Сволочь-вьюга.
И снег ложится
Вроде пятачков,
И нет за гробом
Ни жены, ни друга.

1924

СТАНСЫ

Посвящается П. Чагину

Я о своем таланте
Много знаю.
Стихи — не очень трудные дела.
Но более всего
Любовь к родному краю
Меня томила,
Мучила и жгла.

Стишок писнуть,
Пожалуй, всякий может
О девушке, о звездах, о луне...
Но мне другое чувство
Сердце гложет,
Другие думы
Давят череп мне.

Хочу я быть певцом
И гражданином,
Чтоб каждому,
Как гордость и пример,
Был настоящим,
А не сводным сыном
В великих штатах СССР.

Я из Москвы надолго убежал:
С милицией я ладить
Не в сноровке,
За всякий мой пивной скандал
Они меня держали
В тигулевке.

Благодарю за дружбу граждан сих,
Но очень жестко
Спать там на скамейке
И пьяным голосом
Читать какой-то стих
О клеточной судьбе
Несчастной канарейки.

Я вам не кенар!
Я поэт!
И не чета каким-то там Демьянам.
Пускай бываю иногда я пьяным,
Зато в глазах моих
Прозрений дивных свет.

Я вижу все.
И ясно понимаю,
Что эра новая —
Не фунт изюму нам,
Что имя Ленина
Шумит, как ветр по краю,
Давая мыслям ход,
Как мельничным крылам.

Вертитесь, милые!
Для вас обещан прок.
Я вам племянник,
Вы же мне все дяди.
Давай, Сергей,
За Маркса тихо сядем,
Понюхаем премудрость
Скучных строк.

Дни, как ручьи, бегут
В туманную реку.
Мелькают города,
Как буквы по бумаге.
Недавно был в Москве,
А нынче вот в Баку.
В стихию промыслов
Нас посвящает Чагин.

«Смотри, — он говорит, —
Не лучше ли церквей
Вот эти вышки
Черных нефть-фонтанов.
Довольно с нас мистических туманов.
Воспой, поэт,
Что крепче и живей».

Нефть на воде,
Как одеяло перса,
И вечер по небу
Рассыпал звездный куль.
Но я готов поклясться
Чистым сердцем,
Что фонари
Прекрасней звезд в Баку.

Я полон дум об индустрийной мощи,
Я слышу голос человечьих сил.
Довольно с нас
Небесных всех светил,
Нам на земле
Устроить это проще.

И, самого себя
По шее гладя,
Я говорю:

«Настал наш срок,
Давай, Сергей,
За Маркса тихо сядем,
Чтоб разгадать
Премудрость скучных строк».

1924

ПИСЬМО ДЕДУ

Покинул я
Родимое жилище.
Голубчик! Дедушка!
Я вновь к тебе пишу.
У вас под окнами
Теперь метели свищут,
И в дымовой трубе
Протяжный вой и шум,

Как будто сто чертей
Залезло на чердак.
А ты всю ночь не спишь
И дрыгаешь ногою.
И хочется тебе,
Накинув свой пиджак,
Пойти туда,
Избить всех кочергою.

Наивность милая
Нетронутой души!
Недаром прадед
За овса три меры
Тебя к дьячку водил
В заброшенной глуши
Учить: «Достойно есть»
И с «Отче» «Символ веры».

Хорошего коня пасут.
Отборный корм
Ему любви порука.
И, самого себя
Призвав на суд,
Тому же са́мому
Ты обучать стал внука.

Но внук учебы этой
Не постиг.
И, к горечи твоей,
Ушел в страну чужую.
По-твоему, теперь
Бродягою брожу я,
Слагая в помыслах
Ненужный глупый стих.

Ты говоришь,
Что у тебя украли,
Что я дурак,
А город — плут и мот.

Но только, дедушка,
Едва ли так, едва ли,
Плохую лошадь
Вор не уведет.

Плохую лошадь
Со двора не сгонишь,
Но тот, кто хочет
Знать другую гладь,
Тот скажет:
Чтоб не сгнить в затоне,
Страну родную
Нужно покидать.

Вот я и кинул.
Я в стране далекой.
Весна.
Здесь розы больше кулака.
И я твоей
Судьбине одинокой
Привет их теплый
Шлю издалека.

Теперь метель
Вовсю свистит в Рязани.
А у тебя
Меня увидеть зуд.
Но ты ведь знаешь —
Никакие сани
Тебя сюда
Ко мне не довезут.

Я знаю —
Ты б приехал к розам,
К теплу.
Да только вот беда:
Твое проклятье
Силе паровоза
Тебя навек
Не сдвинет никуда.

А если я помру?
Ты слышишь, дедушка?
Помру я?
Ты сядешь или нет в вагон,
Чтобы присутствовать
На свадьбе похорон
И спеть в последнюю
Печаль мне «аллилуйя»?

Тогда садись, старик.
Садись без слез,
Доверься ты
Стальной кобыле.
Ах, что за лошадь,
Что за лошадь паровоз!
Ее, наверное,
В Германии купили.

Чугунный рот ее
Привык к огню,
И дым над ней, как грива, —
Черен, густ и четок.
Такую б гриву
Нашему коню,
То сколько б вышло
Разных швабр и щеток!

Я знаю —
Время даже камень крошит.
И ты, старик,
Когда-нибудь поймешь,
Что, даже лучшую
Впрягая в сани лошадь,
В далекий край
Лишь кости привезешь.

Поймешь и то,
Что я ушел недаром
Туда, где бег
Быстрее, чем полет.
В стране, объятой вьюгой
И пожаром,
Плохую лошадь
Вор не уведет.

Декабрь 1924
Батум

ЛЕНИН

Отрывок из поэмы «Гуляй-поле»

Еще закон не отвердел,
Страна шумит, как непогода.
Хлестнула дерзко за предел
Нас отравившая свобода.

Россия! Сердцу милый край,
Душа сжимается от боли,
Уж сколько лет не слышит поле
Петушье пенье, песий лай.

Уж сколько лет наш тихий быт
Утратил мирные глаголы.
Как оспой, ямами копыт
Изрыты пастбища и долы.

Немолчный топот, громкий стон,
Визжат тачанки и телеги.
Ужель я сплю и вижу сон,
Что с копьями со всех сторон
Нас окружают печенеги?

Не сон, не сон, я вижу въявь,
Ничем не усыпленным взглядом,
Как, лошадей пуская вплавь,
Отряды скачут за отрядом.
Куда они? И где война?
Степная водь не внемлет слову.
Не знаю, светит ли луна?
Иль всадник обронил подкову?
Все спуталось...

Но понял взор:
Страну родную в край из края,
Огнем и саблями сверкая,
Междуусобный рвет раздор.

. . . .

Россия —
Страшный, чудный звон.
В деревьях березь, в цветь — подснежник.
Откуда закатился он,
Тебя встревоживший мятежник?
Суровый гений! Он меня
Влечет не по своей фигуре.
Он не садился на коня
И не летел навстречу буре.
Сплеча голов он не рубил,
Не обращал в побег пехоту.
Одно в убийстве он любил —
Перепелиную охоту.

Для нас условен стал герой,
Мы любим тех, что в черных масках,
А он с сопливой детворой
Зимой катался на салазках.
И не носил он тех волос,
Что льют успех на женщин томных.
Он с лысиною, как поднос,
Глядел скромней из самых скромных.
Застенчивый, простой и милый,
Он вроде сфинкса предо мной.
Я не пойму, какою силой
Сумел потрясть он шар земной?
Но он потряс...

Шуми и вей!
Крути свирепей, непогода.
Смывай с несчастного народа
Позор острогов и церквей.

. . . .

Была пора жестоких лет,
Нас пестовали злые лапы.
На поприще крестьянских бед
Цвели имперские сатрапы.

. . . .

Монархия! Зловещий смрад!
Веками шли пиры за пиром.

И продал власть аристократ
Промышленникам и банкирам.
Народ стонал, и в эту жуть
Страна ждала кого-нибудь...
И он пришел.

. . . .

Он мощным словом
Повел нас всех к истокам новым.
Он нам сказал: «Чтоб кончить муки,
Берите всё в рабочьи руки.
Для вас спасенья больше нет —
Как ваша власть и ваш Совет»...

. . . .

И мы пошли под визг метели,
Куда глаза его глядели:
Пошли туда, где видел он
Освобожденье всех племен...

. . . .

И вот он умер...
Плач досаден.
Не славят музы голос бед.
Из медно лающих громадин
Салют последний даден, даден.
Того, кто спас нас, больше нет.
Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.

Для них не скажешь:
Ленин умер.
Их смерть к тоске не привела.

. . . .

Еще суровей и угрюмей
Они творят его дела...

1924

МЕТЕЛЬ

Прядите, дни, свою былую пряжу,
Живой души не перестроить ввек.
Нет!
Никогда с собой я не полажу,
Себе, любимому,
Чужой я человек.

Хочу читать, а книга выпадает,
Долит зевота,
Так и клонит в сон...
А за окном
Протяжный ветр рыдает,
Как будто чуя
Близость похорон.

Облезлый клен
Своей верхушкой черной
Гнусавит хрипло
В небо о былом.
Какой он клен?
Он просто столб позорный —
На нем бы вешать
Иль отдать на слом.

И первого
Меня повесить нужно,
Скрестив мне руки за спиной,
За то, что песней
Хриплой и недужной
Мешал я спать
Стране родной.

Я не люблю
Распевы петуха
И говорю,
Что если был бы в силе,
То всем бы петухам
Я выдрал потроха,
Чтобы они
Ночьми не голосили.

Но я забыл,
Что сам я петухом
Орал вовсю
Перед рассветом края,
Отцовские заветы попирая,
Волнуясь сердцем
И стихом.

Визжит метель,
Как будто бы кабан,
Которого зарезать собрались.
Холодный,

Ледяной туман,
Не разберешь,
Где даль,
Где близь...

Луну, наверное,
Собаки съели —
Ее давно
На небе не видать.
Выдергивая нитку из кудели,
С веретеном
Ведет беседу мать.

Оглохший кот
Внимает той беседе,
С лежанки свесив
Важную главу.
Недаром говорят
Пугливые соседи,
Что он похож
На черную сову.

Глаза смежаются,
И как я их прищурю,
То вижу въявь
Из сказочной поры:
Кот лапой мне
Показывает дулю,
А мать — как ведьма
С киевской горы.

Не знаю, болен я
Или не болен,
Но только мысли
Бродят невпопад.
В ушах могильный
Стук лопат
С рыданьем дальних
Колоколен.

Себя усопшего
В гробу я вижу.
Под аллилуйные
Стенания дьячка
Я веки мертвому себе
Спускаю ниже,

Кладя на них
Два медных пятачка.

На эти деньги,
С мертвых глаз,
Могильщику теплее станет, —
Меня зарыв,
Он тот же час
Себя сивухой остаканит.

И скажет громко:
«Вот чудак!
Он в жизни
Буйствовал немало...
Но одолеть не мог никак
Пяти страниц
Из «Капитала».

Декабрь 1924

ВЕСНА

Припадок кончен.
Грусть в опале.
Приемлю жизнь, как первый сон.
Вчера прочел я в «Капитале»,
Что для поэтов —
Свой закон.

Метель теперь
Хоть чертом вой,
Стучись утопленником голым,
Я с отрезвевшей головой
Товарищ бодрым и веселым.

Гнилых нам нечего жалеть,
Да и меня жалеть не нужно,
Коль мог покорно умереть
Я в этой завирухе вьюжной.

Тинь-тинь, синица!
Добрый день!
Не бойся!

Я тебя не трону.
И коль угодно,
На плетень
Садись по птичьему закону.

Закон вращенья в мире есть,
Он — отношенье
Средь живущих.
Коль ты с людьми единой кущи,
Имеешь право
Лечь и сесть.

Привет тебе,
Мой бедный клен!
Прости, что я тебя обидел.
Твоя одежда в рваном виде,
Но будешь
Новой наделен.

Без ордера тебе апрель
Зеленую отпустит шапку,
И тихо
В нежную охапку
Тебя обнимет повитель.

И выйдет девушка к тебе,
Водой окатит из колодца,
Чтобы в суровом октябре
Ты мог с метелями бороться.

А ночью
Выплывет луна.
Ее не слопали собаки:
Она была лишь не видна
Из-за людской
Кровавой драки.

Но драка кончилась...
И вот —
Она своим лимонным светом
Деревьям, в зелень разодетым,
Сиянье звучное
Польет.

Так пей же, грудь моя,
Весну!
Волнуйся новыми
Стихами!
Я нынче, отходя ко сну,
Не поругаюсь
С петухами.

Земля, земля!
Ты не металл.
Металл ведь
Не пускает почку.
Достаточно попасть
На строчку
И вдруг —
Понятен «Капитал».

Декабрь 1924

ПИСЬМО К СЕСТРЕ

О Дельвиге писал наш Александр,
О черепе выласкивал он
Строки.
Такой прекрасный и такой далекий,
Но все же близкий,
Как цветущий сад!

Привет, сестра!
Привет, привет!
Крестьянин я иль не крестьянин?!
Ну как теперь ухаживает дед
За вишнями у нас, в Рязани?

Ах, эти вишни!
Ты их не забыла?
И сколько было у отца хлопот,
Чтоб наша тощая
И рыжая кобыла
Выдергивала плугом корнеплод.

Отцу картофель нужен.
Нам был нужен сад.
И сад губили,
Да, губили, душка!
Об этом знает мокрая подушка
Немножко... Семь...
Иль восемь лет назад.

Я помню праздник,
Звонкий праздник мая.
Цвела черемуха,
Цвела сирень.
И, каждую березку обнимая,

Я был пьяней,
Чем синий день.

Березки!
Девушки-березки!
Их не любить лишь может тот,
Кто даже в ласковом подростке
Предугадать не может плод.

Сестра! Сестра!
Друзей так в жизни мало!
Как и на всех,
На мне лежит печать...
Коль сердце нежное твое
Устало,
Заставь его забыть и замолчать.

Ты Сашу знаешь.
Саша был хороший.
И Лермонтов
Был Саше по плечу.
Но болен я...
Сиреневой порошей
Теперь лишь только
Душу излечу.

Мне жаль тебя.
Останешься одна,
А я готов дойти
Хоть до дуэли.
«Блажен, кто не допил до дна»[1]
И не дослушал глас свирели.

Но сад наш!..
Сад...
Ведь и по нем весной
Пройдут твои
Заласканные дети.
О!
Пусть они
Помянут невпопад,
Что жили...
Чудаки на свете.

<1925>

---

[1] Слова Пушкина. *(Прим. С. Есенина).*

МОЙ ПУТЬ

Жизнь входит в берега.
Села давнишний житель,
Я вспоминаю то,
Что видел я в краю.
Стихи мои,
Спокойно расскажите
Про жизнь мою.

Изба крестьянская.
Хомутный запах дегтя,
Божница старая,
Лампады кроткий свет.
Как хорошо,
Что я сберег те
Все ощущенья детских лет.

Под окнами
Костер метели белой.
Мне девять лет.
Лежанка, бабка, кот...
И бабка что-то грустное,
Степное пела,
Порой зевая
И крестя свой рот.

Метель ревела.
Под оконцем
Как будто бы плясали мертвецы.
Тогда империя
Вела войну с японцем,
И всем далекие
Мерещились кресты.

Тогда не знал я
Черных дел России.
Не знал, зачем
И почему война.
Рязанские поля,
Где мужики косили,
Где сеяли свой хлеб,
Была моя страна.

Я помню только то,
Что мужики роптали,

Бранились в черта,
В Бога и в царя.
Но им в ответ
Лишь улыбались дали
Да наша жидкая
Лимонная заря.

Тогда впервые
С рифмой я схлестнулся.
От сонма чувств
Вскружилась голова.
И я сказал:
Коль этот зуд проснулся,
Всю душу выплещу в слова.

Года далекие,
Теперь вы как в тумане.
И помню, дед мне
С грустью говорил:
«Пустое дело...
Ну, а если тянет —
Пиши про рожь,
Но больше про кобыл».

Тогда в мозгу,
Влеченьем к музе сжатом,
Текли мечтанья
В тайной тишине,
Что буду я
Известным и богатым
И будет памятник
Стоять в Рязани мне.

В пятнадцать лет
Взлюбил я до печенок
И сладко думал,
Лишь уединюсь,
Что я на этой
Лучшей из девчонок,
Достигнув возраста, женюсь.
. . . .

Года текли.
Года меняют лица —
Другой на них
Ложится свет.

Мечтатель сельский —
Я в столице
Стал первоклассннейший поэт.

И, заболев
Писательскою скукой,
Пошел скитаться я
Средь разных стран,
Не веря встречам,
Не томясь разлукой,
Считая мир весь за обман.

Тогда я понял,
Что такое Русь.
Я понял, что такое слава.
И потому мне
В душу грусть
Вошла, как горькая отрава.
На кой мне черт,
Что я поэт!..

И без меня в достатке дряни.
Пускай я сдохну,
Только......
Нет,
Не ставьте памятник в Рязани!
Россия... Царщина...
Тоска...
И снисходительность дворянства.
Ну что ж!
Так принимай, Москва,
Отчаянное хулиганство.

Посмотрим —
Кто кого возьмет!
И вот в стихах моих
Забила
В салонный вылощенный
Сброд
Мочой рязанская кобыла.

Не нравится?
Да, вы правы —
Привычка к Лориган
И к розам...
Но этот хлеб,

Что жрете вы, —
Ведь мы его того-с...
Навозом...
. . . .

Еще прошли года.
В годах такое было,
О чем в словах
Всего не рассказать:
На смену царщине
С величественной силой
Рабочая предстала рать.

Устав таскаться
По чужим пределам,
Вернулся я
В родимый дом.
Зеленокосая,
В юбчонке белой
Стоит береза над прудом.

Уж и береза!
Чудная... А груди...
Таких грудей
У женщин не найдешь.
С полей обрызганные солнцем
Люди
Везут навстречу мне
В телегах рожь.

Им не узнать меня,
Я им прохожий.
Но вот проходит
Баба, не взглянув.
Какой-то ток
Невыразимой дрожи
Я чувствую во всю спину.

Ужель она?
Ужели не узнала?
Ну и пускай,
Пускай себе пройдет...
И без меня ей
Горечи немало —
Недаром лег
Страдальчески так рот.

По вечерам,
Надвинув ниже кепи,
Чтобы не выдать
Холода очей, —
Хожу смотреть я
Скошенные степи
И слушать,
Как звенит ручей.

Ну что же?
Молодость прошла!
Пора приняться мне
За дело,
Чтоб озорливая душа
Уже по-зрелому запела.

И пусть иная жизнь села
Меня наполнит
Новой силой,
Как раньше
К славе привела
Родная русская кобыла.

<1925>

СКАЗКА О ПАСТУШОНКЕ ПЕТЕ, ЕГО КОМИССАРСТВЕ И КОРОВЬЕМ ЦАРСТВЕ

Пастушонку Пете
Трудно жить на свете:
Тонкой хворостиной
Управлять скотиной.

Если бы корова
Понимала слово,
То жилось бы Пете
Лучше нет на свете.

Но коровы в спуске
На траве у леса
Говори по-русски —
Смыслят ни бельмеса.

Им бы лишь мычалось
Да трава качалась.

Трудно жить на свете
Пастушонку Пете.

*

Хорошо весною
Думать под сосною,
Улыбаясь в дреме,
О родимом доме.

Май всё хорошеет,
Ели всё игольчей;
На коровьей шее
Плачет колокольчик.

Плачет и смеется
На цветы и травы,
Голос раздается
Звоном средь дубравы.

Пете-пастушонку
Голоса не новы,
Он найдет сторонку,
Где звенят коровы.
Соберет всех в кучу,
На село отгонит,
Не получит взбучу —
Чести не уронит.

Любо хворостиной
Управлять скотиной.
В ночь у перелесиц
Спи и плюй на месяц.

*

Ну, а если лето —
Песня плохо спета.
Слишком много дела —
В поле рожь поспела.

Ах, уж не с того ли
Дни похорошели,
Все колосья в поле,
Как лебяжьи шеи.

Но беда на свете
Каждый час готова,
Зазевался Петя —
В рожь зайдет корова.

А мужик как взглянет,
Разведет ручищей
Да как в спину втянет
Прямо кнутовищей.

Тяжко хворостиной
Управлять скотиной.

*

Вот приходит осень
С цепью кленов голых,
Что шумит, как восемь
Чертенят веселых.

Мокрый лист с осины
И дорожных ивок
Так и хлещет в спину,
В спину и в загривок.

Елка ли, кусток ли,
Только вплоть до кожи
Сапоги промокли,
Одежонка тоже.

Некому открыться,
Весь как есть пропащий.
Вспуганная птица
Улетает в чащу.

И дрожишь полсутки
То душой, то телом.
Рассказать бы утке —
Утка улетела.

Рассказать дубровам —
У дубровы опадь.
Рассказать коровам —
Им бы только лопать.

Нет, никто на свете
На обмокшем спуске
Пастушонка Петю
Не поймет по-русски.

Трудно хворостиной
Управлять скотиной.

*

Мыслит Петя с жаром:
То ли дело в мире
Жил он комиссаром
На своей квартире.

Знал бы все он сроки,
Был бы всех речистей,
Собирал оброки
Да дороги чистил.

А по вязкой грязи,
По осенней тряске
Ездил в каждом разе
В волостной коляске.

И приснился Пете
Страшный сон на свете.

*

Все доступно в мире.
Петя комиссаром
На своей квартире
С толстым самоваром.

Чай пьет на террасе,
Ездит в тарантасе,
Лучше нет на свете
Жизни, чем у Пети.

Но всегда недаром
Служат комиссаром.
Нужно знать все сроки,
Чтоб сбирать оброки.

Чай, конечно, сладок,
А с вареньем дважды,
Но блюсти порядок
Может, да не каждый.

Нужно знать законы,
Ну, а где же Пете?
Он еще иконы
Держит в волсовете.

А вокруг совета
В дождь и непогоду
С самого рассвета
Уймища народу.

Наш народ ведь голый,
Что ни день, то с требой.
То построй им школу,
То давай им хлеба.

Кто им наморочил?
Кто им накудахтал?
Отчего-то очень
Стал им нужен трактор.

Ну, а где же Пете?
Он ведь пас скотину,
Понимал на свете
Только хворостину.

А народ суровый,
В ропоте и гаме
Хуже, чем коровы,
Хуже и упрямей.

С эдаким товаром
Дрянь быть комиссаром.

Взяли раз Петрушу
За живот, за душу,
Бросили в коляску
Да как дали таску...
. . . .
Тут проснулся Петя...

*

Сладко жить на свете!

Встал, а день что надо,
Солнечный, звенящий,
Легкая прохлада
Овевает чащи.

Петя с кротким словом
Говорит коровам:
«Не хочу и даром
Быть я комиссаром».

А над ним береза,
Веткой утираясь,
Говорит сквозь слезы,
Тихо улыбаясь:

«Тяжело на свете
Быть для всех примером.
Будь ты лучше, Петя,
Раньше пионером».

*

Малышам в острастку,
В мокрый день осенний,
Написал ту сказку
Я — Сергей Есенин.

7/8 октября 1925

ПЕСНЬ О ЕВПАТИИ КОЛОВРАТЕ

За поёмами Улыбыша
Кружат облачные вентери.
Закурилася ковыльница
Подкопытною танагою.

Ой, не зымь лузга-заманница
Запоршила переточины, —
Подымались злы татаровья
На зарайскую сторонушку.

Не ждала Рязань, не чуяла
А и той разбойной допоти,
Под фатой варяжьей засынькой
Коротала ночку темную.

Не совиный ух защурился,
И не волчья пасть оскалилась, —
То Батый с холма Чурилкова
Показал орде на зарево.

Как взглянули звезды-ласточки,
Загадали думу-полымя:
Чтой-то Русь захолынулася,
Аль не слышит лязгу бранного?

Щебетнули звезды месяцу:
«Ой ты, желтое ягнятище!
Ты не мни траву небесную,
Перестань бодаться с тучами.

Подыми-ка глазы-уголья
На рязанскую сторонушку
Да позарься в кутомарине,
Что там движется-колышется?»

Как взглянул тут месяц с привязи,
А ин жвачка зубы вытерпла,
Поперхнулся с перепужины
И на землю кровью кашлянул.

Ой, текут кровя сугорами,
Стонут пасишные пажити,
Разыгрались злы татаровья,
Кровь полониками черпают.

Впереди сам хан на выпячи
На коне сидит улыбисто
И жует, слюнявя бороду,
Кус подохлой кобылятины.

Говорит он псиным голосом:
«Ой ли, титники братанове,
Не пора ль нам с пира-пображни
Настремнить коней в Московию?»

*

От Ольшан до Швивой Заводи
Знают песни про Евпатия.
Их поют от белой вызнати
До холопного сермяжника.

Хоть и много песен сложено,
Да ни слову не уважено,
Не сочесть похвал той удали,
Не ославить смелой доблести.

Вились кудри у Евпатия,
В три ряда на плечи падали.
За гленищем ножик сеченый
Подпирал колено белое.

Как держал он кузню-крыницу,
Лошадей ковал да бражничал,
Да пешнёвые угорины
Двумя пальцами вытягивал.

Много лонешнего смолота
В закромах его затулено.
Не один рукав молодушек,
Утираясь, продырявился.

Да не любы, вишь, удалому
Эти всхлипы серых журушек,
А мила ему зазнобушка,
Что ль рязанская сторонушка.

*

Ой, не совы плачут полночью, —
За Коломной бабы хныкают,
В хомутах и наколодниках
Повели мужей татаровья.

Свищут потные погонщики,
Подгоняют полонянников,
По пыжну путю-дороженьке
Ставят вехами головушки.

Сходилися боярове,
Суд рядили, споры ладили,

Как смутить им силу вражию,
Соблюсти им Русь кондовую.

Снаряжали побегушника,
Уручали светлой грамотой:
«Ты беги, зови детинушку,
На усуду свет Евпатия».

Ой, не колоб в поле катится
На позыв колдуньи с Шехмина, —
Проскакал ездок на Пилево,
Да назад опять ворочает.

На полях рязанских светится
Березняк при блеске месяца,
Освещая путь-дороженьку
От Ольшан до Швивой Заводи.

Прискакал ездок к Евпатию,
Вынул вязевую грамоту:
«Ой ты, лазушновый баторе,
Выручай ты Русь от лихости!»

*

У Палаги-шинкачерихи
На меду вино развожено,
Кумачовые кумашницы
Рушниками занавешаны.

Сходилися товарищи
Свет хороброго Евпатия,
Над сивухой думы думали,
Запивали думы брагою.

Говорил Евпатий бражникам:
«Ой ли, други закадычные,
Вы не пейте зелена вина,
Не губите сметку русскую.

Зелено вино — мыслям пагуба,
Телесам оно — что коса траве,
Налетят на вас злые вороги
И развеют вас по соломинке!»

*

Не заря течет за Коломною,
Не пожар стоит над путиною —
Бьются соколы-дружинники,
Налетая на татаровье.

Всколыхнулось сердце Батыя:
Что случилось там, приключилося?
Не рязанцы ль встали мертвые
На побоище кроволитное?

А рязанцам стать —
Только спьяну спать;
Не в бою бы быть,
А в снопах лежать.

Скачет хан на бела батыря,
С губ бежит слюна капучая.
И не меч Евпатий вытянул,
А свеча в руках затеплилась.

Не березки-белоличушки
Из-под гоноби подрублены —
Полегли соколья-дружники
Под татарскими насечками.

Возговóрит лютый ханище:
«Ой ли, черти-куралесники,
Отешите череп батыря
Что ль на чашу на сивушную».

Уж он пьет не пьет, курвяжится,
Оглянётся да понюхает:
«А всего ты, сила русская,
На тыновье загодилася».

1912, <1925>

ПОЭМЫ

ПУГАЧЕВ

Анатолию Мариенгофу

I

ПОЯВЛЕНИЕ ПУГАЧЕВА В ЯИЦКОМ ГОРОДКЕ

Пугачев

Ох, как устал и как болит нога...
Ржет дорога в жуткое пространство.
Ты ли, ты ли, разбойный Чаган,
Приют дикарей и оборванцев?
Мне нравится степей твоих медь
И пропахшая солью почва.
Луна, как желтый медведь,
В мокрой траве ворочается.

Наконец-то я здесь, здесь!
Рать врагов цепью волн распалась,
Не удалось им на осиновый шест
Водрузить головы моей парус.

Яик, Яик, ты меня звал
Стоном придавленной черни.

Пучились в сердце жабьи глаза
Грустящей в закат деревни.
Только знаю я, что эти избы —
Деревянные колокола,
Голос их ветер хмарью съел.

О, помоги же, степная мгла,
Грозно свершить мой замысел.

Сторож

Кто ты, странник? Что бродишь долом?
Что тревожишь ты ночи гладь?

Отчего, словно яблоко тяжелое,
Виснет с шеи твоя голова?

Пугачев

В солончаковое ваше место
Я пришел из далеких стран —
Посмотреть на золото телесное,
На родное золото славян.
Слушай, отче! Расскажи мне нежно,
Как живет здесь мудрый наш мужик?
Так же ль он в полях своих прилежно
Цедит молоко соломенное ржи?
Так же ль здесь, сломав зари застенок,
Гонится овес на водопой рысцой,
И на грядках, от капусты пенных,
Челноки ныряют огурцов?

Так же ль мирен труд домохозяек,
Слышен прялки ровный разговор?

Сторож

Нет, прохожий! С этой жизнью Яик
Раздружился с самых давних пор.

С первых дней, как оборвались вожжи,
С первых дней, как умер третий Петр,
Над капустой, над овсом, над рожью
Мы задаром проливаем пот.

Нашу рыбу, соль и рынок,
Чем сей край богат и рьян,
Отдала Екатерина
Под надзор своих дворян.

И теперь по всем окраинам
Стонет Русь от цепких лапищ.
Воском жалоб сердце Каина
К состраданью не окапишь.

Всех связали, всех вневолили,
С голоду хоть жри железо.
И течет заря над полем
С горла неба перерезанного.

Пугачев

Невеселое ваше житье!
Но скажи мне, скажи,
Неужель в народе нет суровой хватки
Вытащить из сапогов ножи
И всадить их в барские лопатки?

Сторож

Видел ли ты,
Как коса в лугу скачет,
Ртом железным перекусывая ноги трав?
Оттого, что стоит трава на корячках,
Под себя коренья подобрав.
И никуда ей, траве, не скрыться
От горячих зубов косы.
Потому что не может она, как птица,
Оторваться от земли в синь.
Так и мы! Вросли ногами крови в избы,
Что нам первый ряд подкошенной травы?
Только лишь до нас не добрались бы,
Только нам бы,
Только б нашей
Не скосили, как ромашке, головы.
Но теперь как будто пробудились,
И березами заплаканный наш тракт
Окружает, как туман от сырости,
Имя мертвого Петра.

Пугачев

Как Петра? Что ты сказал, старик?
. . . .
Иль это взвыли в небе облака?

Сторож

Я говорю, что скоро грозный крик,
Который избы словно жаб влакал,
Сильней громов раскатится над нами.
Уже мятеж вздымает паруса!
Нам нужен тот, кто б первый бросил камень.

П у г а ч е в

Какая мысль!

С т о р о ж

О чем вздыхаешь ты?

П у г а ч е в

Я положил себе зарок молчать до срока.
. . . .
Клещи рассвета в небесах
Из пасти темноты
Выдергивают звезды, словно зубы,
А мне еще нигде вздремнуть не удалось.

С т о р о ж

Я мог бы предложить тебе
Тюфяк свой грубый,
Но у меня в дому всего одна кровать,
И четверо на ней спит ребятишек.

П у г а ч е в

Благодарю! Я в этом граде гость.

Дадут приют мне под любою крышей.
Прощай, старик!

С т о р о ж

Храни тебя Господь!

. . . .
. . . .
Русь, Русь! И сколько их таких,
Как в решето просеивающих плоть,
Из края в край в твоих просторах шляется?
    Чей голос их зовет,
Вложив светильником им посох в пальцы?
Идут они, идут! Зеленый славя гул,
        Купая тело в ветре и в пыли,
Как будто кто сослал их всех на каторгу
Вертеть ногами
Сей шар земли.

Но что я вижу?
Колокол луны скатился ниже,
Он, словно яблоко увянувшее, мал.
Благовест лучей его стал глух.

Уж на нашесте громко заиграл
В куриную гармонику петух.

II

БЕГСТВО КАЛМЫКОВ

Первый голос

Послушайте, послушайте, послушайте,
Вам не снился тележный свист?
Нынче ночью на заре жидкой
Тридцать тысяч калмыцких кибиток
От Самары проползло на Иргис.
От российской чиновничьей неволи,
Оттого, что, как куропаток, их щипали
На наших лугах,
Потянулись они в свою Монголию
Стадом деревянных черепах.

Второй голос

Только мы, только мы лишь медлим,
Словно страшен нам захлестнувший нас шквал,
Оттого-то шлет нам каждую неделю
Приказы свои Москва.
Оттого-то, куда бы ни шел ты,
Видишь, как под усмирителей меч
Прыгают кошками желтыми
Казацкие головы с плеч.

Кирпичников

Внимание! Внимание! Внимание!
Не будьте ж трусливы, как овцы,
Сюда едут на страшное дело вас сманивать
Траубенберг и Тамбовцев.

Казаки

К черту! К черту предателей!

. . . .

Тамбовцев

Сми-ирно-о!
Сотники казачьих отрядов,
Готовьтесь в поход!
Нынче ночью, как дикие звери,
Калмыки всем скопом орд
Изменили Российской империи
И угнали с собой весь скот.
Потопленную лодку месяца
Чаган выплескивает на берег дня.
Кто любит свое отечество,
Тот должен слушать меня.
Нет, мы не можем, мы не можем, мы не можем
Допустить сей ущерб стране.
Россия лишилась мяса и кожи,
Россия лишилась лучших коней.
Так бросимтесь же в погоню
На эту монгольскую мразь,
Пока она всеми ладонями
Китаю не предалась.

Кирпичников

Стой, атаман, довольно
Об ветер язык чесать.
За Россию нам, конешно, больно,
Оттого, что нам Россия — мать.
Но мы ничуть, мы ничуть не испугались,
Что кто-то покинул наши поля,
И калмык нам не желтый заяц,
В которого можно, как в пищу, стрелять.
Он ушел, этот смуглый монголец,
Дай же Бог ему добрый путь.
Хорошо, что от наших околиц
Он без боли сумел повернуть.

Траубенберг

Что это значит?

Кирпичников

Это значит то,
Что, если б
Наши избы были на колесах,
Мы впрягли бы в них своих коней
И гужом с солончаковых плесов
Потянулись в золото степей.
Наши б кони, длинно выгнув шеи,
Стадом черных лебедей
По во́дам ржи
Понесли нас, буйно хорошея,
В новый край, чтоб новой жизнью жить.

Казаки

Замучили! Загрызли, прохвосты!

Тамбовцев

Казаки! Вы целовали крест!
Вы клялись...

Кирпичников

Мы клялись, мы клялись Екатерине
Быть оплотом степных границ,
Защищать эти пастбища синие
От налета разбойных птиц.
Но скажите, скажите, скажите,
Разве эти птицы не вы?
Наших пашен суровых житель
Не найдет, где прикрыть головы.

Траубенберг

Это измена!..
Связать его! Связать!

Кирпичников

Казаки, час настал!
Приветствую тебя, мятеж свирепый!
Что не могли в словах сказать уста,
Пусть пулями расскажут пистолеты.
(Стреляет.)

Траубенберг падает мертвым. Конвойные разбегаются. Казаки хватают лошадь Тамбовцева под уздцы и стаскивают его на землю.

Голоса

Смерть! Смерть тирану!

Тамбовцев

О господи! Ну что я сделал?

Первый голос

Мучил, злодей, три года,
Три года, как коршун белый,
Ни проезда не давал, ни прохода.

Второй голос

Откушай похлебки метелицы.
Отгулял, отстегал и отхвастал.

Третий голос

Чéрта ли с ним канителиться?

Четвертый голос

Повесить его — и баста!

Кирпичников

Пусть знает, пусть слышит Москва —
На расправы ее мы взбыстрим.
Это только лишь первый раскат,
Это только лишь первый выстрел.

Пусть помнит Екатерина,
Что если Россия — пруд,
То черными лягушками в тину
Пушки мечут стальную икру.
Пусть носится над страной,
Что казак не ветла на прогоне
И в луны мешок травяной
Он башку незадаром сронит.

III

ОСЕННЕЙ НОЧЬЮ

Караваев

Тысячу чертей, тысячу ведьм и тысячу дьяволов!
Экий дождь! Экий скверный дождь!
Скверный, скверный!
Словно вонючая моча волов
Льется с туч на поля и деревни.
Скверный дождь!
Экий скверный дождь!

Как скелеты тощих журавлей,
Стоят ощипанные вербы,
Плавя ребер медь.
Уж золотые яйца листьев на земле
Им деревянным брюхом не согреть,
Не вывести птенцов — зеленых вербенят,
По горлу их скользнул сентябрь, как нож,
И кости крыл ломает на щебняк
Осенний дождь.
Холодный, скверный дождь.

О, осень, осень!
Голые кусты,
Как оборванцы, мокнут у дорог.
В такую непогодь собаки, сжав хвосты,
Боятся головы просунуть за порог,
А тут вот стой, хоть сгинь,
Но тьму глазами ешь,
Чтоб не пробрался вражеский лазутчик.
Проклятый дождь!
Расправу за мятеж
Напоминают мне рыгающие тучи.
Скорей бы, скорей в побег, в побег
От этих кровью выдоенных стран.
С объятьями нас принимает всех
С Екатериною воюющий султан.
Уже стекается придушенная чернь
С озиркой, словно полевые мыши.
О солнце-колокол, твое тили-ли-день,
Быть может, здесь мы больше не услышим!

Но что там? Кажется, шаги?
Шаги... Шаги...
Эй, кто идет? Кто там идет?

Пугачев

Свой... свой...

Караваев

Кто свой?

Пугачев

Я, Емельян.

Караваев

А, Емельян, Емельян, Емельян.
Что нового в этом мире, Емельян?
Как тебе нравится этот дождь?

Пугачев

Этот дождь на счастье Богом дан,
Нам на руку, чтоб он хлестал всю ночь.

Караваев

Да-да! Я тоже так думаю, Емельян.
Славный дождь! Замечательный дождь!

Пугачев

Нынче вечером, в темноте скрываясь,
Я правительственные посты осмотрел.
Все часовые попрятались, как зайцы,
Боясь замочить шинели.
Знаешь? Эта ночь, если только мы выступим,
Не кровью, а зарею окрасила б наши ножи,
Всех бы солдат без единого выстрела
В сонном Яике мы могли уложить...

Завтра ж к утру будет ясная погода,
Сивым табуном проскачет хмарь.
Слушай, ведь я из простого рода
И сердцем такой же степной дикарь!

Я умею, на сутки и версты не трогаясь,
Слушать бег ветра и твари шаг,
Оттого, что в груди у меня, как в берлоге,
Ворочается звереньшем теплым душа.

Мне нравится запах травы, холодом подожженной,
И сентябрьского листолета протяжный свист.
Знаешь ли ты, что осенью медвежонок
Смотрит на луну,
Как на вьющийся в ветре лист?
По луне его учит мать
Мудрости своей звериной,
Чтобы смог он, дурашливый, знать
И призванье свое и имя.
. . . .
Я значенье мое разгадал...

Караваев

Тебе ж недаром верят?

Пугачев

Долгие, долгие тяжкие года
Я учил в себе разуму зверя...
Знаешь? Люди ведь все со звериной душой, —
Тот медведь, тот лиса, та волчица, —
А жизнь — это лес большой,
Где заря красным всадником мчится.
Нужно крепкие, крепкие иметь клыки.

Караваев

Да-да! Я тоже так думаю, Емельян...
И если б они у нас были,
То московские полки
Нас не бросали, как рыб, в Чаган.
Они б побоялись нас жать
И карать так легко и просто
За то, что в чаду мятежа
Убили мы двух прохвостов.

Пугачев

Бедные, бедные мятежники,
Вы цвели и шумели, как рожь.

Ваши головы колосьями нежными
Раскачивал июльский дождь.
Вы улыбались тварям...
. . . .
Послушай, да ведь это ж позор,
Чтоб мы этим поганым харям
Не смогли отомстить до сих пор?

Разве это когда прощается,
Чтоб с престола какая-то блядь
Протягивала солдат, как пальцы,
Непокорную чернь умерщвлять!
Нет, не могу, не могу!
К черту султана с туретчиной,
Только на радость врагу
Этот побег опрометчивый.
Нужно остаться здесь!
Нужно остаться, остаться,
Чтобы вскипела месть
Золотою пургой акаций,
Чтоб пролились ножи
Железными струями люто!

Слушай! Бросай сторожить,
Беги и буди весь хутор.

IV

ПРОИСШЕСТВИЕ НА ТАЛОВОМ УМЁТЕ

Оболяев

Что случилось? Что случилось? Что случилось?

Пугачев

Ничего страшного. Ничего страшного. Ничего страшного.
Там на улице жолклая сырость
Гонит туман, как стада барашковые.

Мокрою цаплей по лужам полей бороздя,
Ветер заставил все живое,
Как жаб по их гнездам, скрыться,
И только порою,
Привязанная к нитке дождя,

Черным крестом в воздухе
Проболтнется шальная птица.
Это осень, как старый оборванный монах,
Пророчит кому-то о погибели веще.

. . . .

Послушайте, для наших благ
Я придумал кой-что похлеще.

Караваев

Да-да! Мы придумали кой-что похлеще.

Пугачев

Знаете ли вы,
Что по черни ныряет весть,
Как по гребням волн лодка с парусом низким?
По-звериному любит мужик наш на корточки сесть
И сосать эту весть, как коровьи большие сиськи.

От песков Джигильды до Алатыря
Эта весть о том,
Что какой-то жестокий поводырь
Мертвую тень императора
Ведет на российскую ширь.

Эта тень с веревкой на шее безмясой,
Отвалившуюся челюсть теребя,
Скрипящими ногами приплясывая,
Идет отомстить за себя,
Идет отомстить Екатерине,
Подымая руку, как желтый кол,
За то, что она с сообщниками своими,
Разбив белый кувшин
Головы его,
Взошла на престол.

Оболяев

Это только веселая басня!
Ты, конечно, не за этим пришел,
Чтоб рассказать ее нам?

Пугачев

Напрасно, напрасно, напрасно
Ты так думаешь, брат Степан.

Караваев

Да-да! По-моему, тоже напрасно.

Пугачев

Разве важно, разве важно, разве важно,
Что мертвые не встают из могил?

Но зато кой-где почву безвлажную
Этот слух словно плугом взрыл.
Уже слышится благовест бунтов,
Рев крестьян оглашает зенит,
И кустов деревянный табун
Безлиственной ковкой звенит.
Что ей Петр? — Злой и дикой ораве? —
Только камень желанного случая,
Чтобы колья погромные правили
Над теми, кто грабил и мучил.
Каждый платит за лепту лептою,
Месть щенками кровавыми щенится.
Кто же скажет, что это свирепствуют
Бродяги и отщепенцы?
Это буйствуют россияне!
Я ж хочу научить их под хохот сабль
Обтянуть тот зловещий скелет парусами
И пустить его по безводным степям,
Как корабль.
А за ним
По курганам синим
Мы живых голов двинем бурливый флот.
. . . .
. . . .
Послушайте! Для всех отныне
Я — император Петр!

Казаки

Как император?

Оболяев

Он с ума сошел!

Пугачев

Ха-ха-ха!
Вас испугал могильщик,

Который, череп разложив как горшок,
Варит из медных монет щи,
Чтоб похлебать в черный срок.
Я стращать мертвецом вас не стану,
Но должны ж вы, должны понять,
Что этим кладбищенским планом
Мы подымем монгольскую рать!
Нам мало того простолюдства,
Которое в нашем краю,
Пусть калмык и башкирец бьются
За бараньи костры средь юрт!

Зарубин

Это верно, это верно, это верно!
Кой нам черт умышлять побег?
Лучше здесь всем им головы скверные
Обломать, как колеса с телег.
Будем крыть их ножами и матом,
Кто без сабли — так бей кирпичом!

Да здравствует наш император,
Емельян Иванович Пугачев!

Пугачев

Нет, нет, я для всех теперь
Не Емельян, а Петр...

Караваев

Да-да, не Емельян, а Петр...

Пугачев

Братья, братья, ведь каждый зверь
Любит шкуру свою и имя...
Тяжко, тяжко моей голове
Опушать себя чуждым инеем.
Трудно сердцу светильником мести
Освещать корявые чащи.
Знайте, в мертвое имя влезть —
То же, что в гроб смердящий.

Больно, больно мне быть Петром,
Когда кровь и душа Емельянова.

Человек в этом мире не бревенчатый дом,
Не всегда перестроишь наново...
Но... к черту все это, к черту!
Прочь жалость телячьих нег!

Нынче ночью в половине четвертого
Мы устроить должны набег.

V

УРАЛЬСКИЙ КАТОРЖНИК

Хлопуша

Сумасшедшая, бешеная кровавая муть!
Что ты? Смерть? Иль исцеленье калекам?
Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека.
Я три дня и три ночи искал ваш умёт,
Тучи с севера сыпались каменной грудой.
Слава ему! Пусть он даже не Петр,
Чернь его любит за буйство и удаль.
Я три дня и три ночи блуждал по тропам,
В солонце рыл глазами удачу,
Ветер волосы мои, как солому, трепал
И цепами дождя обмолачивал.
Но озлобленное сердце никогда не заблудится,
Эту голову с шеи сшибить нелегко.
Оренбургская заря красношерстной верблюдицей
Рассветное роняла мне в рот молоко.
И холодное корявое вымя сквозь тьму
Прижимал я, как хлеб, к истощенным векам.
Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека.

Зарубин

Кто ты? Кто? Мы не знаем тебя!
Что тебе нужно в нашем лагере,
Отчего глаза твои,
Как два цепных кобеля,
Беспокойно ворочаются в соленой влаге?
Что пришел ты ему сообщить?
Злое ль, доброе ль светится из пасти вспурга?
Прорубились ли в Азию бунтовщики?
Иль, как зайцы, бегут от Оренбурга?

Хлопуша

Где он? Где? Неужель его нет?
Тяжелее, чем камни, я нес мою душу.
Ах, давно, знать, забыли в этой стране
Про отчаянного негодяя и жулика Хлопушу.
Смейся, человек!
В ваш хмурый стан
Посылаются замечательные разведчики.
Был я каторжник и арестант,
Был убийца и фальшивомонетчик.

Но всегда ведь, всегда ведь, рано ли, поздно ли,
Расставляет расплата капканы терний.
Заковали в колодки и вырвали ноздри
Сыну крестьянина Тверской губернии.
Десять лет —
Понимаешь ли ты, десять лет? —
То острожничал я, то бродяжил.
Это теплое мясо носил скелет
На общипку, как пух лебяжий.

Чёрта ль с того, что хотелось мне жить?
Что жестокостью сердце устало хмуриться?
Ах, дорогой мой,
Для помещика мужик —
Все равно что овца, что курица.
Ежедневно молясь на зари желтый гроб,
Кандалы я сосал голубыми руками...
Вдруг... три ночи назад... губернатор Рейнсдорп,
Как сорвавшийся лист,
Взлетел ко мне в камеру...
«Слушай, каторжник!
(Так он сказал.)
Лишь тебе одному поверю я.
Там в ковыльных просторах ревет гроза,
От которой дрожит вся империя,
Там какой-то пройдоха, мошенник и вор
Вздумал вздыбить Россию ордой грабителей,
И дворянские головы сечет топор —
Как березовые купола
В лесной обители.
Ты, конечно, сумеешь всадить в него нож?
(Так он сказал, так он сказал мне.)
Вот за эту услугу ты свободу найдешь
И в карманах зазвякает серебро, а не камни».

Уж три ночи, три ночи, пробираясь сквозь тьму,
Я ищу его лагерь, и спросить мне некого.
Проведите ж, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека!

Зарубин

Странный гость.

Подуров

Подозрительный гость.

Зарубин

Как мы можем тебе довериться?

Подуров

Их немало, немало, за червонцев горсть
Готовых пронзить его сердце.

Хлопуша

Ха-ха-ха!
Это очень неглупо,
Вы надежный и крепкий щит.
Только весь я до самого пупа —
Местью вскормленный бунтовщик.
Каплет гноем смола прогорклая
Из разодранных ребер изб.
Завтра ж ночью я выбегу волком
Человеческое мясо грызть.
Все равно ведь, все равно ведь, все равно ведь
Не сожрешь — так сожрут тебя ж.
Нужно вечно держать наготове
Эти руки для драки и краж.
Верьте мне!
Я пришел к вам как друг.
Сердце радо в пурге расколоться,
Оттого, что без Хлопуши
Вам не взять Оренбург
Даже с сотней лихих полководцев.

Зарубин

Так открой нам, открой, открой
Тот план, что в тебе хоронится.

Подуров

Мы сейчас же, сейчас же пошлем тебя в бой
Командиром над нашей конницей.

Хлопуша

Нет!
Хлопуша не станет биться.
У Хлопуши другая мысль.
Он хотел бы, чтоб гневные лица
Вместе с злобой умом налились.
Вы бесстрашны, как хищные звери,
Грозен лязг ваших битв и побед,
Но ведь все ж у вас нет артиллерии?
Но ведь все ж у вас пороху нет?

Ах, в башке моей, словно в бочке,
Мозг, как спирт, хлебной едкостью лют.
Знаю я, за Сакмарой рабочие
Для помещиков пушки льют.
Там найдется и порох, и ядра,
И наводчиков зоркая рать,
Только надо сейчас же, не откладывая,
Всех крестьян в том краю взбунтовать.
Стыдно медлить здесь, стыдно медлить,
Гнев рабов — не кобылий фырк...

Так давайте ж по липовой меди
Трахнем вместе к границам Уфы.

VI

В СТАНЕ ЗАРУБИНА

Зарубин

Эй ты, люд честной да веселый,
Забубенная трын-трава.
Подружилась с твоими селами
Скуломордая татарва.
Свищут кони, как вихри, по полю,
Только взглянешь — и след простыл.
Месяц, желтыми крыльями хлопая,
Раздирает, как ястреб, кусты.

Загляжусь я по ровной голи
В синью стынущие луга,
Не березовая ль то Монголия?
Не кибитки ль киргиз — стога?..

Слушай, люд честной, слушай, слушай
Свой кочевнический пересвист!

Оренбург, осажденный Хлопушей,
Ест лягушек, мышей и крыс.
Треть страны уже в наших руках,
Треть страны мы как войско выставили.
Нынче ж в ночь потеряет враг
По Приволжью все склады и пристани.

Шигаев

Стоп, Зарубин!
Ты, наверное, не слыхал,
Это видел не я...
Другие...
Многие...
Около Самары с пробитой башкой ольха,
Капая желтым мозгом,
Прихрамывает при дороге.
Словно слепец, от ватаги своей отстав,
С гнусавой и хриплой дрожью
В рваную шапку вороньего гнезда
Просит она на пропитанье
У проезжих и у прохожих.
Но никто ей не бросит даже камня.
В испуге крестясь на звезду,
Все считают, что это страшное знамение,
Предвещающее беду.
Что-то будет.
Что-то должно случиться.
Говорят, наступит глад и мор,
По сту раз на лету будет склевывать птица
Желудочное свое серебро.

Торнов

Да-да-да!
Что-то будет!
Повсюду
Воют слухи, как псы у ворот,

Дует в души суровому люду
Ветер сырью и вонью болот.
Быть беде!
Быть великой потере!
Знать, не зря с луговой стороны
Луны лошадиный череп
Каплет золотом сгнившей слюны.

Зарубин

Врете! Врете вы,
Нож вам в спины!
С детства я не видал в глаза,
Чтоб от этакой чертовщины
Хуже бабы дрожал казак.

Шигаев

Не дрожим мы, ничуть не дрожим!
Наша кровь — не башкирские хляби.
Сам ты знаешь ведь, чьи ножи
Пробивали дорогу в Челябинск.

Сам ты знаешь, кто брал Осу,
Кто разбил наголо Сарапуль.
Столько мух не сидело у тебя на носу,
Сколько пуль в наши спины вцарапали.
В стужу ль, в сырость ли,
В ночь или днем —
Мы всегда наготове к бою,
И любой из нас больше дорожит конем,
Чем разбойной своей головою.
Но кому-то грозится, грозится беда,
И ее ль казаку не слышать?
Посмотри, вон сидит дымовая труба,
Как наездник, верхом на крыше.
Вон другая, вон третья,
Не счесть их рыл
С залихватской тоской остолопов,
И весь дикий табун деревянных кобыл
Мчится, пылью клубя, галопом.
Ну куда ж он? Зачем он?
Каких дорог
Оголтелые всадники ищут?

Их стегает, стегает переполох
По стеклянным глазам кнутовищем.

Зарубин

Нет, нет, нет!
Ты не понял...
То слышится звань,
Звань к оружью под каждой оконницей.

Знаю я, нынче ночью идет на Казань
Емельян со свирепой конницей.
Сам вчера, от восторга едва дыша,
За горой в предрассветной мгле
Видел я, как тянулись за Черемшан
С артиллерией тысчи телег.
Так торжественно с хрипом колесным обоз
По дорожным камням грохотал.
Рев верблюдов сливался с блеянием коз
И с гортанною речью татар.

Торнов

Что ж, мы верим, мы верим,
Быть может,
Как ты мыслишь, все так и есть,
Голос гнева, с бедою схожий,
Нас сзывает на страшную месть.
Дай Бог!
Дай Бог, чтоб так и сталось.

Зарубин

Верьте, верьте!
Я вам клянусь!
Не беда, а нежданная радость
Упадет на мужицкую Русь.
Вот вззвенел, словно сабли о панцири,
Синий сумрак над ширью равнин.
Даже рощи —
И те повстанцами
Подымают хоругви рябин.

Зреет, зреет веселая сеча.
Взвоет в небо кровавый туман.

Гулом ядер и свистом картечи
Будет завтра их крыть Емельян.
И чтоб бунт наш гремел безысходней,
Чтоб вконец не сосала тоска, —
Я сегодня ж пошлю вас, сегодня,
На подмогу его войскам.

VII

ВЕТЕР КАЧАЕТ РОЖЬ

Чумаков

Что это? Как это? Неужель мы разбиты?
Сумрак голодной волчицей выбежал кровь зари лакать.
О эта ночь! Как могильные плиты,
По небу тянутся каменные облака.
Выйдешь в поле, зовешь, зовешь,
Кличешь старую рать, что легла под Сарептой,
И глядишь и не видишь — то ли зыбится рожь,
То ли желтые полчища пляшущих скелетов.
Нет, это не август, когда осыпаются овсы,
Когда ветер по полям их колотит дубинкой грубой.
Мертвые, мертвые, посмотрите, кругом мертвецы,
Вон они хохочут, выплевывая сгнившие зубы.

Сорок тысяч нас было, сорок тысяч,
И все сорок тысяч за Волгой легли, как один.
Даже дождь так не смог бы траву иль солому высечь,
Как осыпали саблями головы наши они.
Что это? Как это? Куда мы бежим?
Сколько здесь нас в живых осталось?
От горящих деревень бьющий лапами в небо дым
Расстилает по земле наш позор и усталость.
Лучше б было погибнуть нам там и лечь,
Где кружит воронье беспокойным, зловещим свадьбищем,
Чем струить эти пальцы пятерками пылающих свеч,
Чем нести это тело с гробами надежд, как кладбище!

Бурнов

Нет! Ты не прав, ты не прав, ты не прав,
Я сейчас чувством жизни, как никогда, болен.
Мне хотелось бы, как мальчишке, кувыркаться по золоту трав
И сшибать черных галок с крестов голубых колоколен.

Все, что отдал я за свободу черни,
Я хотел бы вернуть и поверить снова,
Что вот эту луну,
Как керосиновую лампу в час вечерний,

Зажигает фонарщик из города Тамбова.
Я хотел бы поверить, что эти звезды — не звезды,
Что это — желтые бабочки, летящие на лунное пламя...
Друг!..
Зачем же мне в душу ты ропотом слезным
Бросаешь, как в стекла часовни, камнем?

Чумаков

Что жалеть тебе смрадную холодную душу, —
Околевшего медвежонка в тесной берлоге?
Знаешь ли ты, что в Оренбурге зарезали Хлопушу?
Знаешь ли ты, что Зарубин в Табинском остроге?
Наше войско разбито вконец Михельсоном,
Калмыки и башкиры удрали к Аральску в Азию.
Не с того ли так жалобно
Суслики в поле притоптанном стонут,
Обрызгивая мертвые головы, как кленовые листья, грязью?
Гибель, гибель стучит по деревням в колотушку.
Кто ж спасет нас? Кто даст нам укрыться?
Посмотри! Там опять, там опять за опушкой
В воздух крылья крестами бросают крикливые птицы.

Бурнов

Нет-нет-нет! Я совсем не хочу умереть!
Эти птицы напрасно над нами вьются.
Я хочу снова отроком, отряхая с осинника медь,
Подставлять ладони, как белые скользкие блюдца.
Как же смерть?
Разве мысль эта в сердце поместится,
Когда в Пензенской губернии у меня есть свой дом?
Жалко солнышко мне, жалко месяц,
Жалко тополь над низким окном.
Только для живых ведь благословенны
Рощи, потоки, степи и зеленя.
Слушай, плевать мне на всю вселенную,
Если завтра здесь не будет меня!
Я хочу жить, жить, жить,
Жить до страха и боли,

Хоть карманником, хоть золоторотцем,
Лишь бы видеть, как мыши от радости прыгают в поле,
Лишь бы слышать, как лягушки от восторга поют в колодце.
Яблоновым цветом брызжется душа моя белая,
В синее пламя ветер глаза раздул.
Ради Бога, научи́те меня,
Научи́те меня, и я что угодно сделаю,
Сделаю что угодно, чтоб звенеть в человечьем саду!

Творогов

Стойте! Стойте!
Если б знал я, что вы не трусливы,
То могли б мы спастись без труда.
Никому б не открыли наш заговор безъязыкие ивы,
Сохранила б молчанье одинокая в небе звезда.
Не пугайтесь!
Не пугайтесь жестокого плана,
Это не тяжелее, чем хруст ломаемых в теле костей,
Я хочу предложить вам:
Связать на заре Емельяна
И отдать его в руки грозящих нам смертью властей.

Чумаков

Как, Емельяна?

Бурнов

Нет! Нет! Нет!

Творогов

Хе-хе-хе!
Вы глупее, чем лошади!
Я уверен, что завтра ж,
Лишь золотом плюнет рассвет,
Вас развесят солдаты, как туш, на какой-нибудь площади.

И дурак тот, дурак, кто жалеть будет вас.
Оттого, что сами себе вы придумали тернии.
Только раз ведь живем мы, только раз!
Только раз светит юность, как месяц в родной губернии.
Слушай, слушай, есть дом у тебя на Суре,
Там в окно твое тополь стучится багряными листьями,
Словно хочет сказать он хозяину в хмурой октябрьской поре,

Что изранила его осень холодными меткими выстрелами.
Как же сможешь ты тополю помочь?
Чем залечишь ты его деревянные раны?
Вот такая же жизни осенняя гулкая ночь
Общипала, как тополь зубами дождей, Емельяна.

Знаю, знаю, весной, когда лает вода,
Тополь снова покроется мягкой зеленой кожей.
Но уж старые листья на нем не взойдут никогда.
Их растащит зверье и потопчут прохожие.

Что мне в том, что сумеет Емельян скрыться в Азию?
Что, набравши кочевников, может снова удариться в бой?
Все равно ведь и новые листья падут и покроются грязью.
Слушай, слушай, мы старые листья с тобой!

Так чего ж нам качаться на голых корявых ветвях?
Лучше оторваться и броситься в воздух кружиться,
Чем лежать и струить золотое гниенье в полях,
Чем глаза твои выклюют черные хищные птицы.
Тот, кто хочет за мной, — в добрый час!
Нам башка Емельяна — как челн
Потопающим в дикой реке...

Только раз ведь живем мы, только раз!
Только раз славит юность, как парус, луну вдалеке.

VIII

КОНЕЦ ПУГАЧЕВА

Пугачев

Вы с ума сошли! Вы с ума сошли! Вы с ума сошли!
Кто сказал вам, что мы уничтожены?
Злые рты, как с протухшею пищей кошли,
Зловонно рыгают бесстыдной ложью.
Трижды проклят тот трус, негодяй и злодей,
Кто сумел окормить вас такою дурью.
Нынче ж в ночь вы должны оседлать лошадей
И попасть до рассвета со мною в Гурьев.
Да, я знаю, я знаю, мы в страшной беде,
Но затем-то и злей над туманною вязью

Деревянными крыльями по каспийской воде
Наши лодки заплещут, как лебеди, в Азию.

О Азия, Азия! Голубая страна,
Обсыпанная солью, песком и известкой.
Там так медленно по небу едет луна,
Поскрипывая колесами, как киргиз с повозкой.
Но зато кто бы знал, как бурливо и гордо
Скачут там шерстожелтые горные реки!
Не с того ли так свищут монгольские орды
Всем тем диким и злым, что сидит в человеке?

Уж давно я, давно я скрывал тоску
Перебраться туда, к их кочующим станам,
Чтоб разящими волнами их сверкающих скул
Стать к преддверьям России, как тень Тамерлана.
Так какой же мошенник, прохвост и злодей
Окормил вас бесстыдной трусливой дурью?
Нынче ж в ночь вы должны оседлать лошадей
И попасть до рассвета со мною в Гурьев.

Крямин

О смешной, о смешной, о смешной Емельян!
Ты все такой же сумасбродный, слепой и вкрадчивый...
Расплескалась удаль твоя по полям,
Не вскипеть тебе больше ни в какой азиатчине.
Знаем мы, знаем твой монгольский народ,
Нам ли храбрость его неизвестна?
Кто же первый, кто первый, как не этот сброд
Под Сакмарой ударился в бегство?

Как всегда, как всегда, эта дикая гнусь
Выбирала для жертвы самых слабых и меньших,
Только б грабить и жечь ей пограничную Русь
Да привязывать к седлам добычей женщин.
Ей всегда был приятней набег и разбой,
Чем суровые походы с житейской хмурью.
. . . .
Нет, мы больше не можем идти за тобой,
Не хотим мы ни в Азию, ни на Каспий, ни в Гурьев.

Пугачев

Боже мой, что я слышу?
Казак, замолчи!

Я заткну твою глотку ножом иль выстрелом...
Неужели и вправду отзвенели мечи?
Неужель это плата за все, что я выстрадал?
Нет-нет-нет, не поверю, не может быть!
Не на то вы взрастали в степных станицах,
Никакие угрозы суровой судьбы
Не должны вас заставить смириться.
Вы должны разжигать еще больше тот взвой,
Когда ветер метелями с наших стран дул...

Смело ж к Каспию! Смело за мной!
Эй вы, сотники, слушать команду!

Крямин

Нет! Мы больше не слуги тебе!
Нас не взманит твое сумасбродство.
Не хотим мы в ненужной и глупой борьбе
Лечь, как толпы других, по погостам.
Есть у сердца невзгоды и тайный страх
От кровавых раздоров и стонов.
Мы хотели б, как прежде, в родных хуторах
Слушать шум тополей и кленов.
Есть у нас роковая зацепка за жизнь,
Что прочнее канатов и проволок...
Не пора ли тебе, Емельян, сложить
Перед властью мятежную голову?!

Все равно то, что было, назад не вернешь,
Знать, недаром листвою октябрь заплакал...

Пугачев

Как? Измена?
        Измена?
Ха-ха-ха!..
        Ну так что ж!
Получай же награду свою, собака!
(Стреляет.)

Крямин падает мертвым. Казаки с криком обнажают сабли. Пугачев, отмахиваясь кинжалом, пятится к стене.

Голоса

Вяжите его! Вяжите!

Творогов

Бейте! Бейте прям саблей в морду!

Первый голос

Натерпелись мы этой прыти...

Второй голос

Тащите его за бороду...

Пугачев

...Дорогие мои... Хор-рошие...
Что случилось? Что случилось? Что случилось?
Кто так страшно визжит и хохочет
В придорожную грязь и сырость?
Кто хихикает там исподтишка,
Злобно отплевываясь от солнца?
. . . .
...Ах, это осень!
Это осень вытряхивает из мешка
Чеканенные сентябрем червонцы.
Да! Погиб я!
Приходит час...
Мозг, как воск, каплет глухо, глухо...
...Это она!..
Это она подкупила вас,
Злая и подлая оборванная старуха.
Это она, она, она,
Разметав свои волосы зарею зыбкой,
Хочет, чтоб сгибла родная страна
Под ее невеселой холодной улыбкой.

Творогов

Ну, рехнулся... чего ж глазеть?
Вяжите!
Чай, не выбьет стены головою.
Слава Богу! конец его зверской резне,
Конец его злобному волчьему вою.
Будет ярче гореть теперь осени медь,
Мак зари черпаками ветров не выхлестать.
Торопитесь же!
Нужно скорей поспеть
Передать его в руки правительства.

Пугачев

Где ж ты? Где ж ты, былая мощь?
Хочешь встать — и рукою не можешь двинуться!
Юность, юность! Как майская ночь,
Отзвенела ты черемухой в степной провинции.

Вот всплывает, всплывает синь ночная над Доном,
Тянет мягкою гарью с сухих перелесиц.
Золотою известкой над низеньким домом
Брызжет широкий и теплый месяц.
Где-то хрипло и нехотя кукарекнет петух,
В рваные ноздри пылью чихнет околица.

И все дальше, все дальше, встревоживши сонный луг,
Бежит колокольчик, пока за горой не расколется.
Боже мой!
Неужели пришла пора?
Неужель под душой так же падаешь, как под ношей?
А казалось... казалось еще вчера...
Дорогие мои... дорогие... хор-рошие...

Март—август 1921

СТРАНА НЕГОДЯЕВ

Персонал

Комиссар из охраны железнодорожных линий Чекистов.
Замарашкин — сочувствующий коммунистам доброволец.
Бандит Номах.
Комиссары приисков: Рассветов. Чарин. Лобок.
Комендант поезда.
Красноармейцы.
Рабочие.
Советский сыщик Литза-Хун.
Повстанец Барсук.
Повстанцы.
Милиционеры.

Часть первая
НА КАРАУЛЕ

Снежная чаща. Железнодорожная будка Уральской линии.
Чекистов, охраняющий линию, ходит с одного конца в другой.

Чекистов

Ну и ночь! Что за ночь!
Черт бы взял эту ночь
С ... адским холодом
И такой темнотой,
С тем, что нужно без устали
Бельма пе́рить.

. . . .

Стой!
Кто идет?
Отвечай!..

А не то
Мой наган размозжит твой череп!
Стой, холера тебе в живот!

Замарашкин

Тише... тише...
Легче бранись, Чекистов!

От ругательств твоих
Даже у будки краснеют стены.
И с чего это, брат мой,
Ты так неистов?
Это ж... я... Замарашкин...
Иду на смену...

Чекистов

Черт с тобой, что ты Замарашкин!
Я ведь не собака,
Чтоб слышать носом.

Замарашкин

Ох, и зол же ты, брат мой!..
Аж до печенок страшно...
Я уверен, что ты страдаешь
Кровавым поносом...

Чекистов

Ну конечно, страдаю!..
. . . .
От этой проклятой селедки
Может вконец развалиться брюхо.
О!
Если б теперь... рюмку водки...
Я бы даже не выпил...
А так...
Понюхал...
. . . .

Знаешь? Когда эту селедку берешь за хвост,
То думаешь,
Что вся она набита рисом...
Разломаешь,

Глядь:
Черви... Черви...
Жирные белые черви...
Дьявол нас, знать, занес
К этой грязной мордве
И вонючим черемисам!

Замарашкин

Что.ж делать,
Когда выпал такой нам год?
Скверный год! Отвратительный год!
Это еще ничего...
Там... За Самарой... Я слышал...
Люди едят друг друга...
Такой выпал нам год!
Скверный год!
Отвратительный год
И к тому ж еще чертова вьюга.

Чекистов

Мать твою в эт-твою!
Ветер, как сумасшедший мельник,
Крутит жерновами облаков
День и ночь...
День и ночь...

А народ ваш сидит, бездельник,
И не хочет себе ж помочь.
Нет бездарней и лицемерней,
Чем ваш русский равнинный мужик!
Коль живет он в Рязанской губернии,
Так о Тульской не хочет тужить.
То ли дело Европа?
Там тебе не вот эти хаты,
Которым, как глупым курам,
Головы нужно давно под топор...

Замарашкин

Слушай, Чекистов!..
С каких это пор
Ты стал иностранец?
Я знаю, что ты
Настоящий жид.

Фамилия твоя Лейбман,
И черт с тобой, что ты жил
За границей...
Все равно в Могилеве твой дом.

Чекистов

Ха-ха!
Ты обозвал меня жидом?
Нет, Замарашкин!
Я гражданин из Веймара
И приехал сюда не как еврей,
А как обладающий даром
Укрощать дураков и зверей.

Я ругаюсь и буду упорно
Проклинать вас хоть тысчи лет,
Потому что...
Потому что хочу в уборную,
А уборных в России нет.
Странный и смешной вы народ!
Жили весь век свой нищими
И строили храмы Божие...
Да я б их давным-давно
Перестроил в места отхожие.
Ха-ха!
Что скажешь, Замарашкин?
Ну?
Или тебе обидно,
Что ругают твою страну?
Бедный! Бедный Замарашкин...

Замарашкин

Черт-те что ты городишь, Чекистов!

Чекистов

Мне нравится околёсина.
Видишь ли... я в жизни
Был бедней церковного мыша
И глодал вместо хлеба камни.
Но у меня была душа,
Которая хотела быть Гамлетом.
Глупая душа, Замарашкин!
Ха-ха!

А когда я немного подрос,
Я увидел...

Слышатся чьи-то шаги.

Тише... Помолчи, голубчик...
Кажется... кто-то... кажется...
Черт бы взял этого мерзавца Номаха
И всю эту банду повстанцев!
Я уверен, что нынче ночью
Ты заснешь, как плаха,
А он опять остановит поезд
И разграбит станцию.

Замарашкин

Я думаю, этой ночью он не придет.
Нынче от холода в воздухе
Дохли птицы.
Для конницы нынче
Дорога скользкá, как лед,
А с пехотой прийти
Он и сам побоится.
Нет! этой ночью он не придет!
Будь спокоен, Чекистов!
Это просто с мороза проскрипело дерево...

Чекистов

Хорошо! Я спокоен. Сейчас уйду.
Продрог до костей от волчьей стужи.

А в казарме сегодня,
Как на беду,
Из прогнившей картошки
Холодный ужин.
Эх ты, Гамлет, Гамлет!
Ха-ха, Замарашкин!..
Прощай!
Карауль в оба!..

Замарашкин

Хорошего аппетита!
Спокойной ночи!

Чекистов

Мать твою в эт-твою!
(Уходит.)

ССОРА ИЗ-ЗА ФОНАРЯ

Некоторое время Замарашкин расхаживает около будки один. Потом неожиданно подносит руку к губам и издает в два пальца осторожный свист. Из чащи, одетый в русский полушубок и в шапку-ушанку, выскакивает Номах.

Номах

Что говорил тебе этот коммунист?

Замарашкин

Слушай, Номах! Оставь это дело.

Они за тебя по-настоящему взяли́сь.
Как бы не на столбе
Очутилось твое тело.

Номах

Ну так что ж!
Для ворон будет пища.

Замарашкин

Но ты должен щадить других.

Номах

Что другие?
Свора голодных нищих.
Им все равно...
В этом мире немытом
Душу человеческую
Ухорашивают рублем,
И если преступно здесь быть бандитом,
То не более преступно,
Чем быть королем...
Я слышал, как этот прохвост
Говорил тебе о Гамлете.

Что он в нем смыслит?
Гамлет восстал против лжи,
В которой варился королевский двор.
Но если б теперь он жил,
То был бы бандит и вор.

Потому что человеческая жизнь
Это тоже двор,
Если не королевский, то скотный.

Замарашкин

Помнишь, мы зубрили в школе?
«Слова, слова, слова...»
Впрочем, я вас обоих
Слушаю неохотно.
У меня есть своя голова.
Я только всему свидетель,
В тебе ж люблю старого друга.
В час несчастья с тобой на свете
Моя помощь к твоим услугам.

Номах

Со мною несчастье всегда.
Мне нравятся жулики и воры.
Мне нравятся груди,
От гнева спертые.
Люди устраивают договоры,
А я посылаю их к черту.
Кто смеет мне быть правителем?
Пусть те, кому дорог хлев,
Называются гражданами и жителями
И жиреют в паршивом тепле.
Это все твари тленные!
Предмет для навозных куч!

А я — гражданин вселенной,
Я живу, как я сам хочу!

Замарашкин

Слушай, Номах... Я знаю,
Быть может, ты дьявольски прав,
Но все ж... Я тебе желаю
Хоть немного смирить свой нрав.

Подумай... Не завтра, так после...
Не после... Так после опять...
Слова ведь мои не кости,
Их можно легко прожевать.
Ты понимаешь, Номах?

Номах

Ты думаешь, меня это страшит?
Я знаю мою игру.
Мне здесь на все наплевать.
Я теперь вконец отказался от многого,
И в особенности от государства,
Как от мысли праздной,
Оттого что постиг я,
Что все это договор,
Договор зверей окраски разной.
Люди обычаи чтут как науку,
Да только какой же в том смысл и прок,
Если многие громко сморкаются в руку,
А другие обязательно в носовой платок.
Мне до дьявола противны
И те и эти.

Я потерял равновесие...
И знаю сам —
Конечно, меня подвесят
Когда-нибудь к небесам.
Ну так что ж!
Это еще лучше!
Там можно прикуривать о звезды...
Но...
Главное не в этом.
Сегодня проходит экспресс,
В 2 ночи —
46 мест.
Красноармейцы и рабочие.
Золото в слитках.

Замарашкин

Ради Бога, меня не впутывай!

Номах

Ты дашь фонарь?

Замарашкин

Какой фонарь?

Номах

Красный.

Замарашкин

Этого не будет!

Номах

Будет хуже.

Замарашкин

Чем хуже?

Номах

Я разберу рельсы.

Замарашкин

Номах! Ты подлец!
Ты хочешь меня под расстрел...
Ты хочешь, чтоб Трибунал...

Номах

Не беспокойся! Ты будешь цел.
Я 200 повстанцев сюда пригнал.
Коль боишься расстрела,
Бежим со мной.

Замарашкин

Я? С тобой?
Да ты спятил с ума!

Номах

В голове твоей бродит
Непроглядная тьма.
Я думал — ты смел,
Я думал — ты горд,

А ты только лишь лакей
Узаконенных держиморд.
Ну так что ж!
У меня есть выход другой,
Он не хуже...

Замарашкин

Я не был никогда слугой.
Служит тот, кто трус.
Я не пленник в моей стране,
Ты меня не заманишь к себе.
Уходи! Уходи!
Уходи ради дружбы.

Номах

Ты, как сука, скулишь при луне...

Замарашкин

Уходи! Не заставь скорбеть...
Мы ведь товарищи старые...
Уходи, говорю тебе...
(Трясет винтовкой.)
А не то вот на этой гитаре
Я сыграю тебе разлуку.

Номах
(смеясь)

Слушай, защитник коммуны,
Ты, пожалуй, этой гитарой
Оторвешь себе руку.

Спрячь-ка ее, бесструнную,
Чтоб не охрипла на холоде.
Я и сам ведь сонату лунную
Умею играть на кольте.

Замарашкин

Ну и играй, пожалуйста.
Только не здесь.
Нам такие музыканты не нужны.

Номах

Все вы носите овечьи шкуры,
И мясник пасет для вас ножи.
Все вы стадо!
Стадо! Стадо!
Неужели ты не видишь? Не поймешь,
Что такого равенства не надо?
Ваше равенство — обман и ложь.
Старая гнусавая шарманка
Этот мир идейных дел и слов.
Для глупцов — хорошая приманка,
Подлецам — порядочный улов.
Дай фонарь!

Замарашкин

Иди ты к черту!

Номах

Тогда не гневайся,
Пускай тебя не обижает
Другой мой план.

Замарашкин

Ни один план твой не пройдет.

Номах

Ну, это мы еще увидим...
. . . .
Послушай, я тебе скажу:
Коль я хочу,
Так, значит, надо.
Ведь я башкой моей не дорожу
И за грабеж не требую награды.
Все, что возьму, —
Я все отдам другим.
Мне нравится игра,
Ни слава и ни злато.
Приятно мне под небом голубым
Утешить бедного и вшивого собрата.
Дай фонарь!

Замарашкин

Отступись, Номах!

Номах

Я хочу сделать для бедных праздник.

Замарашкин

Они сделают его сами.

Номах

Они сделают его через 1000 лет.

Замарашкин

И то хорошо.

Номах

А я сделаю его сегодня.
. . . .

Бросается на Замарашкина и давит его за горло. Замарашкин падает. Номах завязывает ему рот платком и скручивает веревками руки и ноги. Некоторое время он смотрит на лежащего, потом идет в будку и выходит оттуда с зажженным красным фонарем.

Часть вторая

ЭКСПРЕСС № 5

Салон-вагон. В вагоне страшно накурено. Едут комиссары и рабочие. Ведут спор.

Рассветов

Чем больше гляжу я на снежную ширь,
Тем думаю все упорнее.
Черт возьми!
Да ведь наша Сибирь
Богаче, чем желтая Калифорния.

С этими запасами руды
Нам не страшна никакая

Мировая блокада.
Только работай! Только трудись!
И в республике будет,
Что кому надо.
Можно ль представить,
Что в месяц один
Открыли пять золотоносных жил.
В Америке это было бы сенсацией,
На бирже стоял бы рев.
Маклера бы скупали акции,
Выдавая 1 пуд за 6 пудов.
Я работал в клондайкских приисках,
Где один нью-йоркский туз
За 3 миллиона без всякого риска
12 $^{1}/_{2}$ положил в картуз.
А дело все было под шепот,
Просто биржевой трюк,
Но многие, денежки вхлопав,
Остались почти без брюк.
О! эти американцы...
Они — неуничтожимая моль.
Сегодня он в оборванцах,
А завтра золотой король.
Так было и здесь...
Самый простой прощалыга
Из индианских мест
Жил, по-козлиному прыгал
И вдруг в богачи пролез.

Я помню все штуки эти.
Мы жили в ночлежках с ним.
Он звал меня мистер Развети,
А я его — мистер Джим.
«Послушай, — сказал он, — plis,
Ведь это не написано в брамах,
Чтобы без wiski и miss
Мы валялись с тобою в ямах.
У меня в животе лягушки
Завелись от голодных дум.
Я хочу хорошо кушать
И носить хороший костюм.
Есть одна у меня затея,
И если ты не болван,
То без всяких словес, не потея,
Согласишься на этот план.

Нам нечего очень стараться,
Чтоб расходовать жизненный сок.
Я знаю двух-трех мерзавцев,
У которых золотой песок.
Они нам отыщут банкира
(т. е. мерзавцы эти),
И мы будем королями мира...
Ты понял, мистер Развети?»
«Открой мне секрет, Джим!» —
Сказал я ему в ответ.
А он мне сквозь трубочный дым
Пробулькал:
«Секретов нет!

Мы просто возьмем два ружья,
Зарядим золотым песком
И будем туда стрелять,
Куда нам укажет Том».
(А Том этот был рудокоп —
Мошенник, каких поискать.)
И вот мы однажды тайком
В Клондайке.
Нас целая рать...
И по приказу, даденному
Под браунинги в висок,
Мы в четыре горы-громадины
Золотой стреляли песок,
Как будто в слонов лежащих,
Чтоб достать дорогую кость.
И громом гремела в чащах
Ружей одичалая злость.
Наш предводитель живо
Шлет телеграмму потом:
«Открыли золотую жилу.
Приезжайте немедленно.
Том».

А дело было под шепот,
Просто биржевой трюк...
Но многие, денежки вхлопав,
Остались почти без брюк.

Чарин

Послушай, Рассветов! и что же,
Тебя не смутил обман?

Рассветов

Не все ли равно,
К какой роже
Капиталы текут в карман.
Мне противны и те, и эти.
Все они —
Класс грабительских банд.
Но должен же, друг мой, на свете
Жить Рассветов Никандр.

Голос из группы

Правильно!

Другой голос

Конечно, правильно!

Третий голос

С паршивой овцы хоть шерсти
Человеку рабочему клок.

Чарин

Значит, по этой версии
Подлость подчас не порок?

Первый голос

Ну конечно, в собачьем стане,
С философией жадных собак,
Защищать лишь себя не станет
Тот, кто навек дурак.

Рассветов

Дело, друзья, не в этом.
Мой рассказ вскрывает секрет.
Можно сказать перед всем светом,
Что в Америке золота нет.
Там есть соль,
Там есть нефть и уголь,
И железной много руды.
Кладоискателей вьюга
Замела золотые следы.

Калифорния — это мечта
Всех пропойц и неумных бродяг.
Тот, кто глуп или мыслить устал,
Прозябает в ее краях.
Эти люди — гнилая рыба.
Вся Америка — жадная пасть,
Но Россия... вот это глыба...
Лишь бы только Советская власть!..
Мы, конечно, во многом отстали.
Материк наш —
Лес, степь да вода.
Из железобетона и стали
Там настроены города.

Вместо наших глухих раздолий
Там, на каждой почти полосе,
Перерезано рельсами поле
С цепью каменных рек-шоссе.
И по каменным рекам без пыли,
И по рельсам без стона шпал
И экспрессы и автомобили
От разбега в бензинном мыле
Мчат, секундой считая долла́р.
Места нет здесь мечтам и химерам,
Отшумела тех лет пора.
Все курьеры, курьеры, курьеры,
Маклера, маклера, маклера...
От еврея и до китайца,
Проходимец и джентельмен —
Все в единой графе считаются
Одинаково — bisnes men.
На цилиндры, шапо и кепи
Дождик акций свистит и льет.
Вот где вам мировые цепи,
Вот где вам мировое жулье.
Если хочешь здесь душу выржать,
То сочтут: или глуп, или пьян.
Вот она — Мировая Биржа!
Вот они — подлецы всех стран.

Чарин

Да, Рассветов! но все же, однако,
Ведь и золота мы хотим.

И у нас биржевая клоака
Расстилает свой едкий дым.
Никому ведь не станет в новинки,
Что в кремлевские буфера
Уцепились когтями с Ильинки
Маклера, маклера, маклера...
И в ответ партийной команде,
За налоги на крестьянский труд,
По стране свищет банда на банде,
Волю власти считая за кнут.
И кого упрекнуть нам можно?
Кто сумеет закрыть окно,
Чтоб не видеть, как свора острожная
И крестьянство так любят Махно?
Потому что мы очень строги,
А на строгость ту зол народ,
У нас портят железные дороги,
Гибнут озими, падает скот.
Люди с голоду бросились в бегство,
Кто в Сибирь, а кто в Туркестан,
И оскалилось людоедство
На сплошной недород у крестьян.
Их озлобили наши поборы,
И, считая весь мир за Бедлам,
Они думают, что мы воры
Иль поблажку даем ворам.
Потому им и любы бандиты,
Что всосали в себя их гнев.

Нужно прямо сказать, открыто,
Что республика наша — blef,
Мы не лучшее, друг мой, дерьмо.

Рассветов

Нет, дорогой мой!
Я вижу, у вас
Нет понимания масс.
Ну кому же из нас не известно
То, что ясно как день для всех.
Вся Россия — пустое место.
Вся Россия — лишь ветер да снег.
Этот отзыв ни резкий, ни черствый.
Знают все, что до наших лбов

Мужики караулили версты
Вместо пегих дорожных столбов.
Здесь все дохли в холере и оспе.
Не страна, а сплошной бивуак.
Для одних — золотые россыпи,
Для других — непроглядный мрак.
И кому же из нас незнакомо,
Как на теле паршивый прыщ, —
Тысчи лет из бревна да соломы
Строят здания наших жилищ.
10 тысяч в длину государство,
В ширину окло верст тысяч 3-х.
Здесь одно лишь нужно лекарство —
Сеть шоссе и железных дорог.
Вместо дерева нужен камень,
Черепица, бетон и жесть.

Города создаются руками,
Как поступками — слава и честь.
Подождите!
Лишь только клизму
Мы поставим стальную стране,
Вот тогда и конец бандитизму,
Вот тогда и конец резне.

Слышатся тревожные свистки паровоза. Поезд замедляет ход. Все вскакивают.

Рассветов

Что такое?

Лобок

Тревога!

Первый голос

Тревога!

Рассветов

Позовите коменданта!

Комендант
(вбегая)

Я здесь.

Рассветов

Что случилось?

Комендант

Красный фонарь...

Рассветов
(смотрит в окно)

Гм... да... я вижу...

Лобок

Дьявольская метель...
Вероятно, занос.

Комендант

Сейчас узнаем...

Поезд останавливается. Комендант выбегает.

Рассветов

Это не станция и не разъезд,
Просто маленькая железнодорожная будка.

Лобок

Мне говорили, что часто здесь
Поезда прозябают по целым суткам.
Ну, а еще я слышал...

Чарин

Что слышал?

Лобок

Что здесь немного шалят.

Рассветов

Глупости...

Лобок

Для кого как.

Входит комендант.

Рассветов

Ну?

Комендант

Здесь стрелочник и часовой
Говорят, что отсюда за $^1/_2$ версты
Сбита рельса.

Рассветов

Надо поправить.

Комендант

Часовой говорит, что до станции
По другой ветке верст 8.
Можно съездить туда
И захватить мастеров.

Рассветов

Отцепляйте паровоз и поезжайте.

Комендант

Это дело 30-ти минут.

Уходит. Рассветов и другие остаются, погруженные в молчание.

ПОСЛЕ 30-ТИ МИНУТ

Красноармеец
(вбегая в салон-вагон)

Несчастие! Несчастие!

Все
(вперебой)

Что такое?..
Что случилось?..
Что такое?..

Красноармеец

Комендант убит.
Вагон взорван.
Золото ограблено.
Я ранен.
Несчастие! Несчастие!

Вбегает рабочий.

Рабочий

Товарищи! Мы обмануты!
Стрелочник и часовой
Лежат здесь в будке.
Они связаны.
Это провокация бандитов.

Рассветов

За каким вы дьяволом
Увезли с собой вагон?

Красноармеец

Комендант послушался стрелочника...

Рассветов

Мертвый болван!

Красноармеец

Лишь только мы завернули
На этот... другой путь,
Часовой сразу 2 пули
Всадил коменданту в грудь.
Потом выстрелил в меня.
Я упал...

Потом он громко свистнул,
И вдруг, как из-под земли,
Сугробы взрывая,
Нас окружили в при́ступ
Окло двухсот негодяев.
Машинисту связали руки,
В рот запихали платок.

Потом я услышал стуки
И взрыв, где лежал песок.
Метель завывала чертом.
В плече моем ныть и течь.
Я притворился мертвым
И понял, что надо бечь.

Лобок

Я знаю этого парня,
Что орудует в этих краях.
Он, кажется, родом с Украйны
И кличку носит Номах.

Рассветов

Номах?

Лобок

Да. Номах.

Вбегает 2-й красноармеец.

2-й красноармеец

Рельсы в полном порядке!
Так что, выходит, обман...

Рассветов
(хватаясь за голову)

И у него не хватило догадки!..
Мертвый болван!
Мертвый болван!

Часть третья

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ НА ВОКЗАЛЕ N
В СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ

Замарашкин
(один около стола с телефоном)

Если б я не был обижен,
Я, может быть, и не сказал,
Но теперь я отчетливо вижу,
Что он плюнул мне прямо в глаза.

Входят Рассветов, Лобок и Чекистов.

Лобок

Я же говорил, что это место
Считалось опасным всегда.
Уже с прошлого года
Стало известно,
Что он со всей бандой перебрался сюда.

Рассветов

Что мне из того, что ты знал?
Узнай, где теперь он.

Чекистов

Ты, Замарашкин, идиот!
Я будто предчувствовал.

Рассветов

Бросьте вы к черту ругаться.
Это теперь не помога.
Нам нужно одно:
Дознаться,
По каким они скрылись дорогам.

Чекистов

Метель замела все следы.

Замарашкин

Пустяки, мы следы отыщем.
Не будем ставить громоздко
Вопрос, где лежат пути.
Я знаю из нашего розыска
Ищейку, каких не найти.
Это шанхайский китаец.
Он коммунист, и притом,
Под видом бродяги слоняясь,
Знает здесь каждый притон.

Рассветов

Это, пожалуй, дело.

Лобок

Как зовут китайца?
Уж не Литза ли Хун?

Замарашкин

Он самый!

Лобок

О, про него много говорят теперь.
Тогда Номах в наших лапах.

Рассветов

Но, я думаю... Номах
Тоже не из тетерь...

Замарашкин

Он чует самый тонкий запах.

Рассветов

Потом ведь нам очень важно
Поймать его не пустым...
Нам нужно вернуть покражу...
Но золото, может, не с ним...

Замарашкин

Золото, конечно, не при нем.
Но при слежке вернем и пропажу.
Нужно всех их забрать живьем...
Под кнутом они сами расскажут.

Рассветов

Что же: звоните в розыск.

Замарашкин
(подходит к телефону)

43—78...
Алло...
43—78?

ПРИВОЛЖСКИЙ ГОРОДОК

Тайный притон с паролем «Авдотья, подними подол».
2 тайных посетителя. Кабатчица, судомойка и подавщица.

Кабатчица

Спирт самый чистый, самый настоящий!
Сама бы пила, да деньги надо.
Милости просим.
Заглядывайте почаще.
Хоть утром, хоть в полночь —
Я всегда вам рада.

Входят Номах, Барсук и еще 2 повстанца.
Номах в пальто и шляпе.

Барсук

Привет тетке Дуне!

Кабатчица

Мое вам почтение, молодые люди.

1-й повстанец

Дай-ка и нам по баночке клюнуть.
С перезябу-то легче, пожалуй, будет.

Садятся за стол около горящей печки.

Кабатчица

Сейчас, мои дорогие!
Сейчас, мои хорошие!

Номах

Холод зверский. Но... все-таки
Я люблю наши русские вьюги.

Барсук

Мне все равно. Что вьюга, что дождь...
У этой тетки
Спирт такой,
Что лучше во всей округе не найдешь.

1-й повстанец

Я не люблю вьюг,
Зато с удовольствием выпью.
Когда крутит снег,
Мне кажется,
На птичьем дворе гусей щиплют.
Вкус у меня раздражительный,
Аппетит, можно сказать, — неприличный,
А потому я хотел бы положительно
Говядины или птичины.

Кабатчица

Сейчас, мои желанные...
Сейчас, сейчас...
(Ставит спирт и закуску.)

Номах
(тихо к кабатчице)

Что за люди... сидят здесь... окол?..

Кабатчица

Свои, голубчик,
Свои, мой сокол.

Люди не простого рода,
Знатные-с, сударь.
Я знаю их 2 года.
Посетители — первый класс,
Каких нынче мало.
У меня уж набит глаз
В оценке материала.
Люди ловкой игры.
Оба — спецы по винам.
Торгуют из-под полы
И спиртом, и кокаином.
Не беспокойтесь! У них
Язык на полке.

Их ищут самих
Красные волки.
Это дворяне,
Щербатов и Платов.

Посетители начинают разговаривать.

Щербатов

Авдотья Петровна!
Вы бы нам на гитаре
Вальс
«Невозвратное время».

Платов

Или эту... ту, что вчера...
(Напевает)
«Все, что было,
Все, что мило,
Все давным-давно
Уплы-ло...»
Эх, Авдотья Петровна!
Авдотья Петровна!
Кабы нам назад лет 8,
Старую Русь,
Старую жизнь,
Старые зимы,
Старую осень.

Барсук

Ишь чего хочет, сволочь!

1-й повстанец

М-да-с...

Щербатов

Невозвратное время! Невозвратное время!
Пью за Русь!
Пью за прекрасную
Прошедшую Русь.
Разве нынче народ пошел?
Разве племя?
Подлец на подлеце
И на трусе трус.
Отцвело навсегда
То, что было в стране благородно.
Золотые года!
Ах, Авдотья Петровна!
Сыграйте, Авдотья Петровна,
Вальс,
Сыграйте нам вальс
«Невозвратное время».

Кабатчица

Да, родимые! да, сердешные!
Это не жизнь, а сплошное безобразие.
Я ведь тоже была
Дворянка здешняя
И училась в первой
Городской гимназии.

Платов

Спойте! Спойте, Авдотья Петровна!
Спойте «Все, что было»!

Кабатчица

Обождите, голубчики,
Дайте с посудой справиться.

Щербатов

Пожалуйста, пожалуйста!

Платов

Пожалуйста, Авдотья Петровна!

Через кухонные двери появляется китаец.

Китаец

Ниет Амиэрика,
Ниет Евыропе.
Опий, опий,
Сыамый лыучий опий.
Шанго курил,
Диеньги дыавал,
Сыам лиубил,
Если б не сытрадал.
Куришь, колица виюца,
А хыто пыривык,
Зыабыл ливарюца,
Зыабыл большевик.

Ниет Амиэрика,
Ниет Евыропе.
Опий, опий,
Сыамый лыучий опий.

Щербатов

Эй, ходя! Давай 2 трубки.

Китаец

Диеньги пирёт.
Хыодя очень бедыный.
Тывой шибко живет,
Мой очень быледный.

Подавщица

Курить на кухню.

Щербатов

На кухню, так на кухню.
*(Покачиваясь, идет с Платовым на кухню.
Китаец за ними.)*

Номах

Ну и народец здесь.
О всех веревка плачет.

Барсук

М-да-с...

1-й повстанец

Если так говорить,
То, значит,
В том числе и о нас.

Барсук

Разве ты себя считаешь негодяем?

1-й повстанец

Я не считаю,
Но нас считают.

2-й повстанец

Считала лисица
Ворон на дереве.

К столику подходит подавщица.

Подавщица

Сегодня в газете...

Номах

Что в газете?

Подавщица
(тихо)

Пишут, что вы разгромили поезд,
Убили коменданта и красноармейца.

За вами отправились в поиски.
Говорят, что поймать надеются.

Обещано 1000 червонцев.
С описанием ваших примет:
Блондин.
Среднего роста.
28-ми лет.
(Отходит.)

Номах

Ха-ха!
Замарашкин не выдержал.

Барсук

Я говорил, что его нужно было
Прикончить, и дело с концом.
Тогда б ни одно рыло
Не знало,
Кто справился с мертвецом.

Номах

Ты слишком кровожаден.
Если б я видел,
То и этих двоих
Не позволил убить...
Зачем?
Ведь так просто
Связать руки
И в рот платок.

Барсук

Нет! это не так уж просто.
В живом остается протест.
Молчат только те — на погостах,
На ком крепкий камень и крест.
Мертвый не укусит носа,
А живой...

Номах

Кончим об этом.

1-й повстанец

2 вопроса...

Номах

Каких?

1-й повстанец

Куда деть слитки
И куда нам?

Номах

Я сегодня в 12 в Киев.
Паспорт у меня есть.
Вас не знают, кто вы такие,
Потому оставайтесь здесь...
Телеграммой я дам вам знать,
Где я буду...
В какие минуты...

Обязательно тыщ 25
На песок закупить валюты.
Пусть они поумерят прыть —
Мы мозгами немного побольше...

Барсук

Остальное зарыть?

Номах

Часть возьму я с собой,
Остальное пока зарыть...
После можно отправить в Польшу.
У меня созревает мысль
О российском перевороте,
Лишь бы только мы крепко сошлись,
Как до этого в нашей работе.
Я не целюсь играть короля
И в правители тоже не лезу,
Но мне хочется погулять
И под порохом, и под железом.
Мне хочется вызвать тех,
Что на Марксе жиреют, как янки.

Мы посмотрим их храбрость и смех,
Когда двинутся наши танки.

Барсук

Замечательный план!

1-й повстанец

Мы всегда готовы.

2-й повстанец

Я как-то отвык без войны.

Барсук

Мы все по ней скучаем.
Стало тошно до чертиков
Под юбкой сидеть у жены
И живот напузыривать чаем.
Денег нет, чтоб пойти в кабак,
Сердце ж спиртику часто хочет.
Я от скуки стал нюхать табак —
Хоть немного в носу щекочет.

Номах

Ну, а теперь пора.
До 12 четверть часа.
(Бросает на стол два золотых.)

Барсук

Может быть, проводить?

Но́мах

Ни в коем случае.
Я выйду один.
(Быстро прощается и уходит.)

Из кухни появляется китаец и неторопливо выходит вслед за ним. Опьяневшие посетители садятся на свои места. Барсук берет шапку, кивает товарищам на китайца и выходит тоже.

Щербатов

Слушай, Платов!
Я совсем ничего не чувствую.

Платов

Это виноват кокаин.

Щербатов

Нет, это не кокаин.
Я, брат, не пьян.
Я всего лишь одну понюшку.
По-моему, этот китаец
Жулик и шарлатан!
Ну и народ пошел!
Ну и племя!
Ах, Авдотья Петровна!
Сыграйте нам, Авдотья Петровна, вальс...
Сыграйте нам вальс
«Невозвратное время».
(Тычется носом в стол. Платов тоже.)

Повстанцы молча продолжают пить. Кабатчица входит с гитарой. Садится у стойки и начинает настраивать.

Часть четвертая

НА ВОКЗАЛЕ N

Рассветов и Замарашкин. Вбегает Чекистов.

Чекистов

Есть! Есть! Есть!
Замарашкин, ты не брехун!
Вот телеграмма:
«Я Киев. Золото здесь.
Нужен ли арест.
Литза-Хун».
(Передает телеграмму Рассветову.)

Рассветов

Все это очень хорошо,
Но что нужно ему ответить?

Чекистов

Как что?
Конечно, взять на цугундер!

Рассветов

В этом мало радости —
Уничтожить одного,
Когда на свободе
Будет 200 других.

Чекистов

Других мы поймаем потом.
С другими успеем после...
Они ходят
Из притона в притон,
Пьют спирт и играют в кости.
Мы возьмем их в любом кабаке.
В них одних, без Номаха,
Толку мало.
А пока
Нужно крепко держать в руке
Ту добычу,
Которая попала.

Рассветов

Теперь он от нас не уйдет,
Особенно при сотне нянек.

Чекистов

Что ему няньки?
Он их сцапает в рот,
Как самый приятный
И легкий пряник.

Рассветов

Когда будут следы к другим,
Мы возьмем его в 2 секунды.

Я не знаю, с чего вы
Вдолбили себе в мозги —
На цугундер да на цугундер.

Нам совсем не опасен
Один индивид.
И скажу вам, коллега, вкратце,
Что всегда лучше
Отыскивать нить
К общему центру организации.
Нужно мыслить без страха.
Послушайте, мой дорогой:
Мы уберем Номаха,
Но завтра у них будет другой.
Дело совсем не в Номахе,
А в тех, что попали за борт.
Нашей веревки и плахи
Ни один не боится черт.
Страна негодует на нас.
В стране еще дикие нравы.
Здесь каждый Аким и Фанас
Бредит имперской славой.
Еще не изжит вопрос,
Кто ляжет в борьбе из нас.
Честолюбивый росс
Отчизны своей не продаст.
Интернациональный дух
Прет на его рожон.
Мужик если гневен не вслух,
То завтра придет с ножом.
Повстанчество есть сигнал.
Поэтому сказ мой весь:
Тот, кто крыло поймал,
Должен всю птицу съесть.

Чекистов

Клянусь всеми чертями,
Что эта птица
Даст вам крылом по морде
И улетит из-под носа.

Рассветов

Это не так просто.

З а м а р а ш к и н

Для него будет,
Пожалуй, очень просто.

Р а с с в е т о в

Мы усилим надзор
И возьмем его,
Как мышь в мышеловку.
Но только тогда этот вор
Получит свою веревку,
Когда хоть бандитов сто
Будет качаться с ним рядом,
Чтоб чище синел простор
Коммунистическим взглядам.

Ч е к и с т о в

Слушайте, товарищ!

Это превышение власти —
Этот округ вверен мне.
Мне нужно поймать преступника,
А вы разводите теорию.

Р а с с в е т о в

Как хотите, так и называйте.
Но,
Чтоб больше наш спор
Не шел о том,
Мы сегодня ж дадим ответ:
«Литза-Хун!
Наблюдайте за золотом.
Больше приказов нет».

Чекистов быстро поворачивается, хлопает дверью и выходит в коридор.

В КОРИДОРЕ

Ч е к и с т о в

Тогда я поеду сам.

КИЕВ

Хорошо обставленная квартира. На стене большой, во весь рост, портрет Петра Великого. Номах сидит на крыле кресла, задумавшись. Он, по-видимому, только что вернулся. Сидит в шляпе. В дверь кто-то барабанит пальцами. Номах, как бы пробуждаясь от дремоты, идет осторожно к двери, прислушивается и смотрит в замочную скважину.

Номах

Кто стучит?

Голос

Отворите... Это я...

Номах

Кто вы?

Голос

Это я... Барсук...

Номах
(отворяя дверь)

Что это значит?

Барсук
(входит и закрывает дверь)

Это значит — тревога.

Номах

Кто-нибудь арестован?

Барсук

Нет.

Номах

В чем же дело?

Барсук

Нужно быть наготове.
Немедленно нужно в побег.

За вами следят.
Вас ловят.
И не вас одного, а всех.

Номах

Откуда ты узнал это?

Барсук

Конечно, не высосал из пальцев.
Вы помните тот притон?

Номах

Помню.

Барсук

А помните одного китайца?

Номах

Да...
Но неужели...

Барсук

Это он.
Лишь только тогда вы скрылись,
Он последовал за вами.
Через несколько минут
Вышел и я.
Я видел, как вы сели в вагон,
Как он сел в соседний.
Потом осторожно, за золотой
Кондуктору,
Сел я сам.
Я здесь, как и вы,
Дней 10.

Номах

Посмотрим, кто кого перехитрит?

Барсук

Но это еще не все.
Я следил за ним, как лиса.

И вчера, когда вы выходили
Из дому,
Он был более полчаса
И рылся в вашей квартире.
Потом он, свистя под нос,
Пошел на вокзал...
Я — тоже.
Предо мной стоял вопрос —
Узнать,
Что хочет он, черт желтокожий...
И вот... на вокзале...
Из-за спины
На синем телеграфном бланке
Я прочел,
Еле сдерживаясь от мести,
Я прочел —
От чего у меня чуть не скочили штаны —
Он писал, что вы здесь,
И спрашивал об аресте.

Номах

Да... Это немного пахнет...

Барсук

По-моему, не немного, а очень много.
Нужно скорей в побег.
Всем нам одна дорога —
Поле, леса и снег,
Пока доберемся к границе,
А там нас лови!
Грози!

Номах

Я не привык торопиться,
Когда вижу опасность вблизи.

Барсук

Но это...

Номах

Безумно?
Пусть будет так.

Я —
Видишь ли, Барсук, —
Чудак.
Я люблю опасный момент,
Как поэт — часы вдохновенья,
Тогда бродит в моем уме
Изобретательность
До остервененья.
Я ведь не такой,
Каким представляют меня кухарки.
Я весь — кровь,
Мозг и гнев весь я.
Мой бандитизм особой марки.
Он сознание, а не профессия.
Слушай! я тоже когда-то верил
В чувства:
В любовь, геройство и радость,
Но теперь я постиг, по крайней мере,
Я понял, что все это
Сплошная гадость.
Долго валялся я в горячке адской,
Насмешкой судьбы до печенок израненный.
Но... Знаешь ли...
Мудростью своей кабацкой
Все выжигает спирт с бараниной...
Теперь, когда судорога
Душу скрючила
И лицо, как потухающий фонарь в тумане,
Я не строю себе никакого чучела.
Мне только осталось —
Озорничать и хулиганить...
. . . .
Всем, кто мозгами бедней и меньше,
Кто под ветром судьбы не был нищ и наг,
Оставляю прославлять города и женщин,
А сам буду славить
Преступников и бродяг.
. . . .

Банды! Банды!
По всей стране.
Куда не вглядись, куда не пойди ты —
Видишь, как в пространстве,
На конях

И без коней,
Скачут и идут закостенелые бандиты.
Это все такие же
Разуверившиеся, как я...
. . . .

А когда-то, когда-то...
Веселым парнем,
До костей весь пропахший
Степной травой,
Я пришел в этот город с пустыми руками,
Но зато с полным сердцем
И не пустой головой.
Я верил... я горел...
Я шел с революцией,
Я думал, что братство не мечта и не сон,
Что все во единое море сольются —
Все сонмы народов,
И рас, и племен.
. . . .
Пустая забава.
Одни разговоры!
Ну что же?
Ну что же мы взяли взамен?

Пришли те же жулики, те же воры
И вместе с революцией
Всех взяли в плен...
Но к черту все это!
Я далек от жалоб.
Коль началось —
Так пускай начинается.
Лишь одного я теперь желаю,
Как бы покрепче...
Как бы покрепче
Одурачить китайца!..

Барсук

Признаться, меня все это,
Кроме побега,
Плохо устраивает.
(Подходит к окну.)
Я хотел бы...
О! Что это? Боже мой!

Номах! Мы окружены!
На улице милиция.

Номах
(подбегая к окну)

Как?
Уже?
О! Их всего четверо...

Барсук

Мы пропали.

Номах

Скорей выходи из квартиры.

Барсук

А ты?

Номах

Не разговаривай!..
У меня есть ящик стекольщика
И фартук...
Живей обрядись
И спускайся вниз...
Будто вставлял здесь стекла...
Я положу в ящик золото...
Жди меня в кабаке «Луна».
(Бежит в другую комнату, тащит ящик и фартук.)

Барсук быстро подвязывает фартук. Кладет ящик на плечо и выходит.

Номах
(прислушиваясь у двери)

Кажется, остановили...
Нет... прошел...
Ага...
Идут сюда...
(Отскакивает от двери. В дверь стучат.
Как бы раздумывая, немного медлит.
Потом неслышными шагами идет в другую комнату.)

СЦЕНА ЗА ДВЕРЬЮ

Чекистов, Литза-Хун и 2 милиционера.

Чекистов
(смотря в скважину)

Что за черт!
Огонь горит,
Но в квартире
Как будто ни души.

Литза-Хун
(с хорошим акцентом)

Это его прием...
Всегда... Когда он уходит.
Я был здесь, когда его не было,
И так же горел огонь.

1-й милиционер

У меня есть отмычка.

Литза-Хун

Давайте мне...
Я вскрою...

Чекистов

Если его нет,
То надо устроить засаду.

Литза-Хун
(вскрывая дверь)

Сейчас узнаем...
(Вынимает браунинг и заглядывает в квартиру.)
Тс... Я сперва один.
Спрячьтесь на лестнице.
Здесь ходят
Другие квартиранты.

Чекистов

Лучше вдвоем.

Литза-Хун

У меня бесшумные туфли...
Когда понадобится,
Я дам свисток или выстрел.
(Входит в квартиру и закрывает дверь.)

ГЛАЗА ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Осторожными шагами Литза-Хун идет к той комнате, в которой скрылся Номах. На портрете глаза Петра Великого начинают моргать и двигаться. Литза-Хун входит в комнату. Портрет неожиданно открывается, как дверь, и оттуда выскакивает Номах. Он рысьими шагами подходит к двери, запирает на цепь и снова исчезает в портрет-дверь. Через некоторое время слышится беззвучная короткая возня, и с браунингом в руке из комнаты выходит китаец. Он делает световой полумрак. Открывает дверь и тихо дает свисток. Вбегают милиционеры и Чекистов.

Чекистов

Он здесь?

Китаец
(прижимая в знак молчания палец к губам)

Тс... он спит...
Стойте здесь...
Нужен один милиционер,
К черному выходу.
(Берет одного милиционера и крадучись проходит через комнату к черному выходу.)

Через минуту слышится выстрел, и испуганный милиционер бежит обратно к двери.

Милиционер

Измена!
Китаец ударил мне в щеку
И удрал черным ходом.
Я выстрелил...
Но... дал промах...

Чекистов

Это он!
О! проклятье!

Это он!
Он опять нас провел.

Вбегают в комнату и выкатывают оттуда в кресле связанного по рукам и ногам. Рот его стянут платком. Он в нижнем белье. На лицо его глубоко надвинута шляпа. Чекистов сбрасывает шляпу, и милиционеры в ужасе отскакивают.

Милиционеры

Провокация!..
Это Литза-Хун...

Чекистов

Развяжите его.

Милиционеры бросаются развязывать.

Литза-Хун
(выпихивая освобожденными руками платок изо рта)

Черт возьми!
У меня болит живот от злобы.
Но клянусь вам...
Клянусь вам именем китайца,
Если б он не накинул на меня мешок,
Если б он не выбил мой браунинг,
То бы...
Я сумел с ним справиться...

Чекистов

А я... Если б был мандарин,
То повесил бы тебя, Литза-Хун,
За такое место...
Которое вслух не называется.

1922—1923

ПЕСНЬ О ВЕЛИКОМ ПОХОДЕ

Эй вы, встречные,
Поперечные!
Тараканы, сверчки
Запечные!
Не народ, а дрохва
Подбитая.
Русь нечесаная,
Русь немытая!
Вы послушайте
Новый вольный сказ.
Новый вольный сказ
Про житье у нас.
Первый сказ о том,
Что давно было.
А второй — про то,
Что сейчас всплыло.
Для тебя я, Русь,
Эти сказы спел,
Потому что был
И правдив и смел.
Был мастак слагать
Эти притчины,
Не боясь ничьей
Зуботычины.

*

Ой, во городе
Да во Ипатьеве
При Петре было
При императоре.
Говорил слова
Непутевый дьяк:
«Уж и как у нас, ребята,
Стал быть, царь дурак.

Царь дурак-батрак
Сопли жмет в кулак,
Строит Питер-град
На немецкий лад.
Видно, делать ему
Больше нечего.
Принялся он Русь
Онемечивать.
Бреет он князьям
Бра́ды, у́сие.
Как не плакаться
Тут над Русию?
Не тужить тут как
Над судьбиною?
Непослушных он
Бьет дубиною».

*

Услыхал те слова
Молодой стрелец.
Хвать смутьянщика
За тугой косец.
«Ты иди, ползи,
Не кочурься, брат.
Я свезу тебя
Прямо в Питер-град.
Привезу к царю.
Кайся, сукин кот!
Кайся, сукин кот,
Что смущал народ!»

*

По Тверской-Ямской
Под дугою вбряк
С колокольцами
Ехал бедный дьяк.
На четвертый день,
О полднёвых пор,
Прикатил наш дьяк
Ко царю, во двор.
Выходил тут царь
С высока́ крыльца,
Мах дубинкою —

Подозвал стрельца.
«Ты скажи, зачем
Прикатил, стрелец?

Аль с Москвы какой
Потайной гонец?»
«Не гонец я, царь,
Не родня с Москвой.
Я всего лишь есть
Слуга верный твой.
Я привез к тебе
Бунтаря-дьяка.
У него, знать, в жисть
Не болят бока.
В кабаке на весь
На честной народ
Он позорил, царь,
Твой высокий род».
«Ну, — сказал тут Петр, —
Вылезай-кось, вошь!»
Космы дьяковы
Поднялись, как рожь.
У Петра с плеча
Сорвался кулак.
И навек задрал
Лапти кверху дьяк.

*

У Петра был двор,
На дворе был кол,
На колу — мочало.
Это только, ребята,
Начало.

*

Ой, суров наш царь,
Алексеич Петр.
Он в единый дух
Ведро пива пьет.
Курит — дым идет
На три сажени,
Во немецких одеждах
Разнаряженный.

Возговóрит наш царь
Алексеич Петр:
«Подойди ко мне,
Дорогой Лефорт.
Мастер славный ты
В Амстердаме был.
Русский царь тебе,
Как батрак, служил.
Он учился там,
Как топор держать.
Ты езжай-кось, мастер,
В Амстердам опять.
Передай ты всем
От Петра поклон.
Да скажи, что сейчас
В страшной доле он.
В страшной доле я
За родную Русь...
Скоро смерть придет,
Помирать боюсь.

Помирать боюсь,
Да и жить не рад:
Кто ж теперь блюсти
Будет Питер-град?

Средь туманов сих
И цепных болот
Снится сгибший мне
Трудовой народ.
Слышу, голос мне
По ночам звенит,
Что на их костях
Лег тугой гранит.
Оттого подчас,
Обступая град,
Мертвецы встают
В строевой парад.
И кричат они,
И вопят они.
От такой крични
Загашай огни.
Говорят слова:
«Мы всему цари!
Попадешься, Петр,
Лишь сумей, помри!

Мы сдерем с тебя
Твой лихой чупрын,
Потому что ты
Был собачий сын.

Поблажал ты знать
Со министрами.
На крови для них
Город выстроил.
Но пускай за то
Знает каждый дом —
Мы придем еще,
Мы придем, придем.
Этот город наш,
Потому и тут
Только может жить
Лишь рабочий люд».

Смолк наш царь
Алексеич Петр,
В три ручья с него
Льет холодный пот.

*

Слушайте, слушайте,
Вы, конечно, народ
Хороший!
Хоть метелью вас крой,
Хоть порошей.
Одним словом,
Миляги!
Не дадите ли
Ковшик браги?
Человечий язык,
Чай, не птичий!

Славный вы, люди,
Придумали
Обычай!

*

И пушки бьют,
И колокола плачут.

Вы, конечно, понимаете,
Что это значит?
Много было роз,
Много было маков.
Схоронили Петра,
Тяжело оплакав.
И с того ль, что там
Всякий сволок был,
Кто всерьез рыдал,
А кто глаза слюнил.
Но с того вот дня,
Да на двести лет
Дуракам-царям
Прямо счету нет.
И все двести лет
Шел подзёмный гуд:
«Мы придем, придем!
Мы возьмем свой труд!
Мы сгребем дворян —
Да по плеши им,
На фонарных столбах
Перевешаем!»

*

Через двести лет,
В снеговой октябрь,
Затряслась Нева,
Подымая рябь.
Утром встал народ —
И на бурю глядь:
На столбах висит
Сволочная знать.
Ай да славный люд!
Ай да Питер-град!
Но с чего же там
Пушки бьют-палят?
Бьют за городом,
Бьют из-за моря.
Понимай как хошь
Ты, душа моя!
Много в эти дни
Совершилось дел.
Я пою о них,
Как спознать сумел.

*

Веселись, душа
Молодецкая!
Нынче наша власть,
Власть советская!
Офицерика,
Да голубчика
Прикокошили
Вчера в Губчека.
Ни за Троцкого,
Ни за Ленина —
За донского казака
За Каледина.
Гаркнул «Яблочко»
Молодой матрос:
«Мы не так еще
Подотрем вам нос!»

*

А за Явором,
Под Украйною,
Услыхали мужики
Весть печальную.
Власть советская
Им очень нравится,
Да идут войска
С ней расправиться.
В тех войсках к мужикам
Родовая месть.
И Врангель тут,
И Деникин здесь.
И на пóмог им,
Как лихих волчат,
Из Сибири шлет отряды
Адмирал Колчак.

*

Ах, рыбки мои,
Мелки косточки!
Вы, крестьянские ребята,
Подросточки.

Ни ногатой вас не взять,
Ни рязанами.
Вы гольем пошли гулять
С партизанами.

Красной Армии штыки
В поле светятся.
Здесь отец с сынком
Могут встретиться.
За один удел
Бьется эта рать,
Чтоб владеть землей
Да весь век пахать.
Чтоб шумела рожь
И овес звенел.
Чтобы каждый калачи
С пирогами ел.

*

Ну и как же тут злобу
Не вынашивать?
На Дону теперь поют
Не по-нашему:
«Пароход идет
Мимо пристани.
Будем рыбу кормить
Коммунистами».
А у нас для них поют:
«Куда ты котишься?
В Вечека попадешь —
Не воротишься».

*

От одной беды
Целых три растут.
Вдруг над Питером
Слышен новый гуд.
Не поймет никто,
Отколь гуд идет:
«Ты не смей дремать,
Трудовой народ!
Как под Питером
Рать Юденича!»

Что же делать нам
Всем теперича?

И оттуда бьют,
И отсель палят.
Ой ты, бедный люд!
Ой ты, Питер-град!

*

Но при всякой беде
Веет новью вал.
Кто ж не вспомнит теперь
Речь Зиновьева?
Дождик лил тогда
В три погибели.
На корню дожди
Озимь выбили.
И на энтот год
Не шумела рожь.
То не жизнь была,
А в печенки нож!
А Зиновьев всем
Вел такую речь:
«Братья, лучше нам
Здесь костьми полечь,
Чем отдать врагу
Вольный Питер-град
И идти опять
В кабалу назад».

*

А за синим Доном
Станицы казачьей
В это время волк ехидный
По-кукушьи плачет.
Говорит Корнилов
Казакам поречным:
«Угостите партизанов
Вишеньем картечным!
С Красной Армией Деникин
Справится, я знаю.

Расстелились наши пики
С Дона до Дунаю».

*

Ой ты, атамане!
Не вожак, а соцкий.
А на что ж у коммунаров
Есть товарищ Троцкий?
Он без слезной речи
И лихого звона
Обещал коней нам наших
Напоить из Дона.
Вей сильней и крепче,
Ветер синь-студеный!
С нами храбрый Ворошилов,
Удалой Буденный.

*

Если крепче жмут,
То сильней орешь.
Мужику одно:
Не топтали б рожь.
А как пошла по ней
Тут рать Деникина,
В сотни верст легла
Прямо в никь она.

Над такой бедой
В стане белых ржут.
Валят сельский скот
И под водку жрут.
Мнут крестьянских жен,
Девок лапают.
«Так и надо вам,
Сиволапые!
Ты, мужик, прохвост!
Сволочь! бестия!
Отплати-кось нам
За поместия.
Отплати за то,
Что ты вешал знать.
Эй, в кнуты их всех,
Растакую мать».

*

Ой ты, синяя сирень,
Голубой полисад.
На родимой стороне
Никто жить не рад.
Опустели огороды,
Хаты брошены.
Заливные луга
Не покошены.
И примят овес,
И прибита рожь.

Где ж теперь, мужик,
Ты приют найдешь?

*

Но сильней всего
Те встревожены,
Что ночьми не спят
В куртках кожаных.
Кто за бедный люд
Жить и сгибнуть рад.
Кто не хочет сдать
Вольный Питер-град.

*

Там под Лиговом
Страшный бой кипит.
Питер траурный
Без огней не спит.
Миг — и вот сейчас
Враг проломит все,
И прощай, мечта
Городов и сел...

Пот и кровь струит
С лиц встревоженных.
Бьют и бьют людей
В куртках кожаных.
Как снопы, лежат
Трупы по полю.

Кони в страхе ржут,
В страхе топают.
Но напор от нас
Все сильней, сильней,
Бьются восемь дней,
Бьются девять дней.
На десятый день
Не сдержался враг...
И пошел чесать
По кустам в овраг.
Наши взад им: «Крой!..»
Пушки бьют, палят...
Ай да славный люд!
Ай да Питер-град!

*

А за Белградом,
Окол Харькова,
Кровью ярь мужиков
Перехаркана.
Бедный люд в Москву
Босиком бежит.
И от стона, и от рева
Вся земля дрожит.
Ищут хлеба они,
Просят милости.
Ну и как же злобной воле
Тут не вырасти?

У околицы
Гуляй-полевой
Собиралися
Буйны головы.
Да как стали жечь,
Как давай палить!
У Деникина
Аж живот болит.

*

Эх, песня!
Песня!
Есть ли что на свете
Чудесней?

Хоть под гусли тебя пой,
Хоть под тальяночку.
Не дадите ли вы мне,
Хлопцы,
Еще баночку?

*

Ах, яблочко,
Цвета милого!
Бьют Деникина,
Бьют Корнилова.
Цветочек мой!
Цветик маковый!
Ты скорей, адмирал,
Отколчакивай.

Там за степью гул,
Там за степью гром.
Каждый в битве защищает
Свой отцовский дом.
Курток кожаных
Под Донцом не счесть.
Видно, много в Петрограде
Этой масти есть.

*

В белом стане вопль,
В белом стане стон.
Обступает наша рать
Их со всех сторон.
В белом стане крик,
В белом стане бред.
Как пожар стоит
Золотой рассвет.
И во всех кабаках
Огни светятся...
Завтра многие друг с другом
Уж не встретятся.
И все пьют за царя,
За святую Русь,
В ласках знатных шлюх
Забывая грусть.

*

В красном стане храп.
В красном стане смрад.

Вонь портяночная
От сапог солдат.
Завтра, еле свет,
Нужно снова в бой.
Спи, корявый мой!
Спи, хороший мой!
Пусть вас золотом
Свет зари кропит.
В куртке кожаной
Коммунар не спит.

*

На заре, заре,
В дождевой крутень
Свистом ядерным
Мы встречали день.
Подымая вверх,
Как тоску, глаза,
В куртке кожаной
Коммунар сказал:
«Братья, если здесь
Одолеют нас,
То октябрьский свет
Навсегда погас.
Будет крыть нас кнут.
Будет крыть нас плеть.
Всем весь век тогда
В нищете корпеть».

С горьким гневом рук,
Утерев слезу,
Ротный наш с тех слов
Сапоги разул.
Громко кашлянув,
«На, — сказал он мне, —
Дома нет сапог,
Передай жене».

*

На заре, заре,
В дождевой крутень
Свистом ядерным
Мы сушили день.
Пуля входит в грудь,
Как пчелы ужал.
Наш отряд тогда
Впереди бежал.
За лощиной пруд.
А за прудом лог.
Коммунар ничком
В землю носом лег.
Мы вперед, вперед!
Враг назад, назад!
Мертвецы пусть так
Под дождем лежат.
Спите, храбрые,
С отзвучавшим ртом!
Мы придем вас всех
Хоронить потом.

*

Вот и кончен бой,
Машет красный флаг.
Не жалея пят,
Удирает враг.
Удивленный тем,
Что остался цел,
Молча ротный наш
Сапоги надел.
И сказал: «Жене
Сапоги не враз.
Я их сам теперь
Износить горазд».

*

Вот и кончен бой,
Тот, кто жив, тот рад.
Ай да вольный люд!
Ай да Питер-град!

От полуночи
До синя утра
Над Невой твоей
Бродит тень Петра.
Бродит тень Петра,
Грозно хмурится
На кумачный цвет
В наших улицах.

В берег бьет вода
Пенной индевью...

Корабли плывут
Будто в Индию...

Июль 1924
Ленинград

ПОЭМА О 36

Много в России
Троп.
Что ни тропа —
То гроб.
Что ни верста —
То крест.
До енисейских мест
Шесть тысяч один
Сугроб.

Синий уральский
Ском
Каменным лег
Мешком,
За скомом шумит
Тайга.
Коль вязнет в снегу
Нога,
Попробуй идти
Пешком.

Добрó, у кого
Закал,
Кто знает сибирский
Шквал.
Но если ты слаб
И лег,
То, тайно пробравшись
В лог,
Тебя отпоет
Шакал.

Буря и грозный
Вой.
Грузно бредет
Конвой.

Ружья наперевес.
Если ты хочешь
В лес,
Не дорожи
Головой.

Ссыльный солдату
Не брат.
Сам подневолен
Солдат.
Если не взял
На прицел, —
Завтра его
Под расстрел.
Но ты не иди
Назад.

Пусть умирает
Тот,
Кто брата в тайгу
Ведет.
А ты под кандальный
Дзин
Шпарь, как седой
Баргузин.
Беги все вперед
И вперед.

Там за Уралом
Дом.
Степь и вода
Кругом.
В синюю гладь
Окна
Скрипкой поет
Луна.
Разве так плохо
В нем?

Славный у песни
Лад.
Мало ли кто ей
Рад.
Там за Уралом
Клен.

Всякий ведь в жизнь
Влюблен

В лунном мерцанье
Хат.

Если ж, где отчая
Весь,
Стройная девушка
Есть,
Вся, как сиреневый
Май,
Вся, как родимый
Край, —
Разве не манит
Песнь?

Буря и грозный
Вой.
Грузно бредет
Конвой.
Ружья наперевес.
Если ты хочешь
В лес,
Не дорожи
Головой.

*

Колкий, пронзающий
Пух.
Тяжко идти средь
Пург.

Но под кандальный
Дзень,
Если ты любишь
День,
Разве милей
Шлиссельбург?

Там, упираясь
В дверь,
Ходишь, как в клетке
Зверь.

Дума всегда
Об одном:
Может, в краю
Родном
Стало не так
Теперь.

Может, под песню
Вьюг
Умер последний
Друг.
Друг или мать,
Все равно!
Хочется вырвать
Окно
И убежать в луг.

Но долог тюремный
Час.

И зорок солдатский
Глаз.
Если ты хочешь
Знать,
Как тяжело
Убежать, —
Я знаю один
Рассказ.

*

Их было тридцать
Шесть.
В камере негде
Сесть.
В окнах бурунный
Вспург.
Крепко стоит
Шлиссельбург.
Море поет ему
Песнь.

Каждый из них
Сидел

За то, что был горд
И смел,
Что в гневной своей
Тщете
К рыдающим в нищете
Большую любовь
Имел.

Ты помнишь, конечно,
Тот
Клокочущий пятый
Год,
Когда из-за стен
Баррикад
Целился в брата
Брат.
Тот в голову, тот
В живот.

Один защищал
Закон —
Невольник, влюбленный
В трон.
Другой этот трон
Громил,
И брат ему был
Не мил.
Ну, разве не прав был
Он?

Ты помнишь, конечно,
Как
Нагайкой свистел
Казак?

Тогда у склоненных
Ниц
С затылков и поясниц
Капал горячий
Мак.

Я знаю, наверно,
И ты
Видал на снегу
Цветы.

Ведь каждый мальчишкой
Рос.
Каждому били
Нос
В кулачной на все
«Сорты».

Но тех я цветов
Не видал,
Был еще глуп
И мал.
И не читал еще
Книг.
Но если бы видел
Их,
То разве молчать
Стал?

*

Их было тридцать
Шесть.
В каждом кипела
Месть.
Каждый оставил
Дом
С ивами над прудом,
Но не забыл о нем
Песнь.

Раз комендант
Сказал:
«Тесен для вас
Зал.
Пять я таких
Приму
В камеру по одному,
Тридцать один —
На вокзал».

Поле и снежный
Звон.
Клетчатый мчится
Вагон.

Рельсы грызет
Паровоз.
Разве уместен
Вопрос:
Куда их доставит
Он?

Много в России
Троп.
Что ни тропа —
То гроб.
Что ни верста —
То крест.
До енисейских мест
Шесть тысяч один
Сугроб.

*

Поезд на всех
Парах.
В каждом неясный
Страх.
Видно, надев
Браслет,
Гонят на много
Лет
Золото рыть
В горах.

Может случиться
С тобой
То, что достанешь
Киркой,
Дочь твоя там,
Вдалеке,
Будет на левой
Руке
Перстень носить
Золотой.

Поле и снежный
Звон.
Клетчатый мчится
Вагон.

Вдруг тридцать первый
Встал
И шепотом так сказал:
«Нынче мне ночь
Не в сон.

Нынче мне в ночь
Не лежать.
Я твердо решил
Бежать.
Благо, что ночь
Не в луне.
Вы помогите
Мне
Тело мое
Поддержать.

Клетку уж я
Пилой...
Выручил снежный
Вой.

Вы заградите меня
Подле окна
От огня,
Чтоб не видал
Конвой».

Тридцать столпились
В ряд,
Будто о чем
Говорят.
Будто глядят
На снег.
Разве так труден
Побег,
Если огни
Не горят?

*

Их оставалось
Пять.
Каждый имел
Кровать.

В окнах бурунный
Вспург.
Крепко стоит
Шлиссельбург.
Только в нем плохо
Спать.

Разве тогда
Уснешь,
Если все видишь
Рожь.
Видишь родной
Плетень,
Синий, звенящий
День,
И ты по меже
Идешь.

Тихий вечерний
Час.
Колокол бьет
Семь раз.
Месяц широк
И ал.
Так бы дремал
И дремал,
Не подымая глаз.

Глянешь, на окнах
Пух.
Скучный, несчастный
Друг,
Ночь или день,
Все равно.
Хочется вырвать
Окно
И убежать в луг.

Пятый страдать
Устал.
Где-то подпилок
Достал.
Ночью скребет
И скребет,
Капает с носа

Пот
Через губу в оскал.

Раз при нагрузке
Дров
Он поскользнулся
В ров...
Смотрят, уж он
На льду.
Что-то кричит
На ходу.
Крикнул — и будь
Здоров.

*

Быстро бегут
Дни.
День колесу
Сродни.
Снежной январской
Порой
В камере сорок
Второй

Встретились вновь
Они.

Пятому глядя
В глаза,
Тридцать первый
Сказал:
«Там, где струится
Обь,
Есть деревушка
Топь
И очень хороший
Вокзал.

В жизни живут лишь
Раз,
Я вспоминать
Не горазд.
Глупый сибирский
Чалдон.

Скуп, как сто дьяволов,
Он.
За пятачок продаст.

Снежная белая
Гладь.
Нечего мне
Вспоминать.
Знаю одно:
Без грез

Даже в лихой
Мороз
Сладко на сене
Спать».

Пятый сказал
В ответ:
«Мне уже сорок
Лет.
Но не угас мой
Бес.
Так все и тянет
В лес,
В синий вечерний
Свет.

Много сказать
Не могу:
Час лишь лежал я
В снегу.
Слушал метельный
Вой,
Но помешал
Конвой
С ружьями на бегу».

*

Серая, хмурая
Высь,
Тучи с землею
Слились.
Ты помнишь, конечно,

Тот
Метельный семнадцатый
Год,
Когда они
Разошлись?

Каждый пошел в свой
Дом
С ивами над прудом.
Видел луну
И клен,
Только не встретил
Он
Сердцу любимых
В нем.

Их было тридцать
Шесть.
В каждом кипела
Месть.
И каждый в октябрьский
Звон
Пошел на влюбленных
В трон,
Чтоб навсегда их
Сместь.

Быстро бегут
Дни.
Встретились вновь
Они.
У каждого новый
Дом.
В лежку живут лишь
В нем,
Очей загасив
Огни.

Тихий вечерний
Час.
Колокол бьет
Семь раз.
Месяц широк
И ал.
Тот, кто теперь

Задремал,
Уж не поднимет
Глаз.

Теплая синяя
Весь.
Всякие песни
Есть.

Над каждым своя
Звезда...
Мы же поем
Всегда:
Их было тридцать
Шесть.

Август 1924

АННА СНЕГИНА

А. Воронскому

«Село, значит, наше — Радово,
Дворов, почитай, два ста.
Тому, кто его оглядывал,
Приятственны наши места.
Богаты мы лесом и водью,
Есть пастбища, есть поля.
И по всему угодью
Рассажены тополя.

Мы в важные очень не лезем,
Но все же нам счастье дано.
Дворы у нас крыты железом,
У каждого сад и гумно.
У каждого крашены ставни,
По праздникам мясо и квас.
Недаром когда-то исправник
Любил погостить у нас.

Оброки платили мы к сроку,
Но — грозный судья — старшина
Всегда прибавлял к оброку
По мере муки и пшена.
И чтоб избежать напасти,
Излишек нам был без тяго́т.
Раз — власти, на то они власти,
А мы лишь простой народ.

Но люди — все грешные души.
У многих глаза — что клыки.
С соседней деревни Криуши
Косились на нас мужики.
Житье у них было плохое —
Почти вся деревня вскачь
Пахала одной сохою
На паре заезженных кляч.

Каких уж тут ждать обилий,
Была бы душа жива.
Украдкой они рубили
Из нашего леса дрова.
Однажды мы их застали...
Они в топоры, мы тож.
От звона и скрежета стали
По телу катилась дрожь.

В скандале убийством пахнет.
И в нашу и в их вину
Вдруг кто-то из них как ахнет! —
И сразу убил старшину.

На нашей быдластой сходке
Мы делу условили ширь.
Судили. Забили в колодки
И десять услали в Сибирь.
С тех пор и у нас неуряды.
Скатилась со счастья возжа.
Почти что три года кряду
У нас то падеж, то пожар».

*

Такие печальные вести
Возница мне пел весь путь.
Я в радовские предместья
Ехал тогда отдохнуть.

Война мне всю душу изъела.
За чей-то чужой интерес
Стрелял я мне близкое тело
И грудью на брата лез.
Я понял, что я — игрушка,
В тылу же купцы да знать,
И, твердо простившись с пушками,
Решил лишь в стихах воевать.
Я бросил мою винтовку,
Купил себе «липу»[1], и вот
С такою-то подготовкой
Я встретил семнадцатый год.

---

[1] «Липа» — подложный документ.

Свобода взметнулась неистово.
И в розово-смрадном огне
Тогда над страною калифствовал
Керенский на белом коне.
Война «до конца», «до победы».
И ту же сермяжную рать
Прохвосты и дармоеды
Сгоняли на фронт умирать.
Но все же не взял я шпагу...
Под грохот и рев мортир
Другую явил я отвагу —
Был первый в стране дезертир.

*

Дорога довольно хорошая,
Приятная хладная звень.
Луна золотою порошею
Осыпала даль деревень.
«Ну, вот оно, наше Радово, —
Промолвил возница, —
Здесь!
Недаром я лошади вкладывал
За норов ее и спесь.
Позволь, гражданин, на чаишко.
Вам к мельнику надо?
...Так — вон!..
Я требую с вас без излишка
За дальний такой прогон».

Даю сороковку.
«Мало!»
Даю еще двадцать.
«Нет!»
Такой отвратительный малый,
А малому тридцать лет.
«Да что ж ты?
Имеешь ли душу?
За что ты с меня гребешь?»
И мне отвечает туша:
«Сегодня плохая рожь.
Давайте еще незвонких
Десяток иль штучек шесть —

Я выпью в шинке самогонки
За ваше здоровье и честь...»

*

И вот я на мельнице...
Ельник
Осыпан свечьми светляков.
От радости старый мельник
Не может сказать двух слов:
«Голубчик! Да ты ли?
Сергуха?!

Озяб, чай? Поди, продрог?
Да ставь ты скорее, старуха,
На стол самовар и пирог!»

В апреле прозябнуть трудно,
Особенно так в конце.
Был вечер задумчиво чудный,
Как дружья улыбка в лице.
Объятья мельника крýты,
От них заревет и медведь,
Но все же в плохие минуты
Приятно друзей иметь.

«Откуда? Надолго ли?»
«Нá год».
«Ну, значит, дружище, гуляй!
Сим летом грибов и ягод
У нас хоть в Москву отбавляй.
И дичи здесь, братец, до чéрта,
Сама так под порох и прет.
Подумай ведь только...
Четвертый
Тебя не видали мы год...»
. . . .
. . . .

Беседа окончена.
Чинно
Мы выпили весь самовар.
По-старому с шубой овчинной
Иду я на свой сеновал.

Иду я разросшимся садом,
Лицо задевает сирень.
Так мил моим вспыхнувшим взглядам
Состарившийся плетень.
Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет,
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет!»
Далекие, милые были!
Тот образ во мне не угас.
Мы все в эти годы любили,
Но мало любили нас.

«Ну что же, вставай, Сергуша!
Еще и заря не текла,
Старуха за милую душу
Оладьев тебе напекла.
Я сам-то сейчас уеду
К помещице Снегиной.
Ей
Вчера настрелял я к обеду
Прекраснейших дупелей».

Привет тебе, жизни денница!
Встаю, одеваюсь, иду.
Дымком отдает росяница
На яблонях белых в саду.

Я думаю:
Как прекрасна
Земля
И на ней человек.
И сколько с войной несчастных
Уродов теперь и калек.
И сколько зарыто в ямах.
И сколько зароют еще.
И чувствую в скулах упрямых
Жестокую судоргу щек.

Нет, нет!
Не пойду навеки!
За то, что какая-то мразь
Бросает солдату-калеке
Пятак или гривенник в грязь.

«Ну, доброе утро, старуха!
Ты что-то немного сдала...»
И слышу сквозь кашель глухо:
«Дела одолели! Дела...
У нас здесь теперь неспокойно.
Испариной все зацвело.
Сплошные мужицкие войны.
Дерутся селом на село.
Сама я своими ушами
Слыхала от прихожан:
То радовцев бьют криушане,
То радовцы бьют криушан.

А все это, значит, безвластье.
Прогнали царя...
Так вот...
Посыпались все напасти
На наш неразумный народ.
Открыли зачем-то остроги,
Злодеев пустили лихих.
Теперь на большой дороге
Покою не знай от них.
Вот тоже, допустим... с Криуши...
Их нужно б в тюрьму за тюрьмой,
Они ж, воровские души,
Вернулись опять домой.
У них там есть Прон Оглоблин,
Булдыжник, драчун, грубиян.
Он вечно на всех озлоблен,
С утра по неделям пьян.
И нагло в третьёвом годе,
Когда объявили войну,
При всем при честно́м народе
Убил топором старшину.
Таких теперь тысячи стало
Творить на свободе гнусь.
Пропала Расея, пропала...
Погибла кормилица Русь!»

Я вспомнил рассказ возницы
И, взяв свою шляпу и трость,
Пошел мужикам поклониться,
Как старый знакомый и гость.

Иду голубою дорожкой
И вижу — навстречу мне

Несется мой мельник на дрожках
По рыхлой еще целине.
«Сергуха! За милую душу!
Постой, я тебе расскажу!
Сейчас! Дай поправить возжу,
Потом и тебя оглоушу.
Чего ж ты мне утром ни слова?
Я Снегиным так и бряк:
Приехал ко мне, мол, веселый
Один молодой чудак.
(Они ко мне очень желанны,
Я знаю их десять лет.)
А дочь их замужняя Анна
Спросила:
— Не тот ли, поэт?
— Ну да, — говорю, — он самый.
— Блондин?
— Ну, конечно, блондин.
— С кудрявыми волосами?
— Забавный такой господин.
— Когда он приехал?
— Недавно.
— Ах, мамочка, это он!
Ты знаешь,
Он был забавно
Когда-то в меня влюблен.

Был скромный такой мальчишка,
А нынче...
Поди ж ты...
Вот...
Писатель...
Известная шишка...
Без просьбы уж к нам не придет».

И мельник, как будто с победы,
Лукаво прищурил глаз:
«Ну, ладно! Прощай до обеда!
Другое сдержу про запас».

Я шел по дороге в Криушу
И тростью сшибал зеленя.
Ничто не пробилось мне в душу,
Ничто не смутило меня.
Струилися запахи сладко,
И в мыслях был пьяный туман...

Теперь бы с красивой солдаткой
Завесть хорошо роман.

*

Но вот и Криуша!
Три года
Не зрел я знакомых крыш.
Сиреневая погода
Сиренью обрызгала тишь.
Не слышно собачьего лая,
Здесь нечего, видно, стеречь —
У каждого хата гнилая,
А в хате ухваты да печь.
Гляжу, на крыльце у Прона
Горластый мужицкий галдеж.
Толкуют о новых законах,
О ценах на скот и рожь.
«Здорово, друзья!»
«Э, охотник!
Здорово, здорово!
Садись.
Послушай-ка ты, беззаботник,
Про нашу крестьянскую жись.
Что нового в Питере слышно?
С министрами, чай, ведь знаком?
Недаром, едрит твою в дышло,
Воспитан ты был кулаком.
Но все ж мы тебя не порочим.
Ты — свойский, мужицкий, наш,
Бахвалишься славой не очень
И сердце свое не продашь.
Бывал ты к нам зорким и рьяным,
Себя вынимал на испод...
Скажи:
Отойдут ли крестьянам
Без выкупа пашни господ?
Кричат нам,
Что землю не троньте,
Еще не настал, мол, миг.
За что же тогда на фронте
Мы губим себя и других?»

И каждый с улыбкой угрюмой
Смотрел мне в лицо и в глаза,

А я, отягченный думой,
Не мог ничего сказать.
Дрожали, качались ступени,
Но помню
Под звон головы:
«Скажи,
Кто такое Ленин?»
Я тихо ответил:
«Он — вы».

На корточках ползали слухи,
Судили, решали, шепча.
И я от моей старухи
Достаточно их получал.

Однажды, вернувшись с тяги,
Я лег подремать на диван.
Разносчик болотной влаги,
Меня прознобил туман.
Трясло меня, как в лихорадке,
Бросало то в холод, то в жар.
И в этом проклятом припадке
Четыре я дня пролежал.
Мой мельник с ума, знать, спятил.
Поехал,
Кого-то привез...

Я видел лишь белое платье
Да чей-то привздернутый нос.
Потом, когда стало легче,
Когда прекратилась трясь,
На пятые сутки под вечер
Простуда моя улеглась.
Я встал.
И лишь только пола
Коснулся дрожащей ногой,
Услышал я голос веселый:
«А!
Здравствуйте, мой дорогой!
Давненько я вас не видала...
Теперь из ребяческих лет
Я важная дама стала,
А вы — знаменитый поэт.

Ну, сядем.
Прошла лихорадка?
Какой вы теперь не такой!
Я даже вздохнула украдкой,
Коснувшись до вас рукой.
Да!
Не вернуть, что было.
Все годы бегут в водоем.
Когда-то я очень любила
Сидеть у калитки вдвоем.
Мы вместе мечтали о славе...
И вы угодили в прицел,
Меня же про это заставил
Забыть молодой офицер...»

*

Я слушал ее и невольно
Оглядывал стройный лик.
Хотелось сказать:
«Довольно!
Найдемте другой язык!»

Но почему-то, не знаю,
Смущенно сказал невпопад:
«Да... Да...
Я сейчас вспоминаю...
Садитесь...
Я очень рад...
Я вам прочитаю немного
Стихи
Про кабацкую Русь...
Отделано четко и строго.
По чувству — цыганская грусть».
«Сергей!
Вы такой нехороший.
Мне жалко,
Обидно мне,
Что пьяные ваши дебоши
Известны по всей стране.

Скажите:
Что с вами случилось?»
«Не знаю».

«Кому же знать?»
«Наверно, в осеннюю сырость
Меня родила моя мать».
«Шутник вы...»
«Вы тоже, Анна».
«Кого-нибудь любите?»
«Нет».
«Тогда еще более странно
Губить себя с этих лет:
Пред вами такая дорога...»

Сгущалась, туманилась даль.
Не знаю, зачем я трогал
Перчатки ее и шаль.
. . . .
Луна хохотала, как клоун.
И в сердце хоть прежнего нет,
По-странному был я полон
Наплывом шестнадцати лет.
Расстались мы с ней на рассвете
С загадкой движений и глаз...

Есть что-то прекрасное в лете,
А с летом прекрасное в нас.

*

Мой мельник...
Ох, этот мельник!
С ума меня сводит он.
Устроил волынку, бездельник,
И бегает, как почтальон.
Сегодня опять с запиской,
Как будто бы кто-то влюблен:
*«Придите.
Вы самый близкий.
С любовью
Оглоблин Прон».*

Иду.
Прихожу в Криушу.
Оглоблин стоит у ворот
И спьяну в печенки и в душу
Костит обнищалый народ.

«Эй, вы!
Тараканье отродье!
Все к Снегиной...
Р-раз — и квас.
Даешь, мол, твои угодья
Без всякого выкупа с нас!»
И тут же, меня завидя,
Снижая сварливую прыть,
Сказал в неподдельной обиде:
«Крестьян еще нужно варить».

«Зачем ты позвал меня, Проша?»
«Конечно, ни жать, ни косить.
Сейчас я достану лошадь
И к Снегиной... вместе...
Просить...»
И вот запрягли нам клячу.
В оглоблях мосластая шкеть —
Таких отдают с придачей,
Чтоб только самим не иметь.
Мы ехали мелким шагом,
И путь нас смешил и злил:
В подъемах по всем оврагам
Телегу мы сами везли.

Приехали.
Дом с мезонином
Немного присел на фасад.
Волнующе пахнет жасмином
Плетнёвый его палисад.
Слезаем.
Подходим к террасе
И, пыль отряхая с плеч,
О чьем-то последнем часе
Из горницы слышим речь:
«Рыдай не рыдай — не помога...
Теперь он холодный труп...
...Там кто-то стучит у порога.
Припудрись...
Пойду отопру...»

Дебелая грустная дама
Откинула добрый засов.
И Прон мой ей брякнул прямо
Про землю,
Без всяких слов.

«Отдай!.. —
Повторял он глухо. —
Не ноги ж тебе целовать!»

Как будто без мысли и слуха
Она принимала слова.
Потом в разговорную очередь
Спросила меня
Сквозь жуть:
«А вы, вероятно, к дочери?
Присядьте...
Сейчас доложу...»

Теперь я отчетливо помню
Тех дней роковое кольцо.
Но было совсем не легко мне
Увидеть ее лицо.
Я понял —
Случилось горе,
И молча хотел помочь.
«Убили... Убили Борю...
Оставьте.
Уйдите прочь.
Вы — жалкий и низкий трусишка!
Он умер...
А вы вот здесь...»

Нет, это уж было слишком.
Не всякий рожден перенесть.
Как язвы, стыдясь оплеухи,
Я Прону ответил так:
«Сегодня они не в духе...
Поедем-ка, Прон, в кабак...»

Все лето провел я в охоте.
Забыл ее имя и лик.
Обиду мою
На болоте
Оплакал рыдальщик-кулик.

Бедна наша родина кроткая
В древесную цветень и сочь,
И лето такое короткое,
Как майская теплая ночь.
Заря холодней и багровей.

Туман припадает ниц.
Уже в облетевшей дуброве
Разносится звон синиц.

Мой мельник вовсю улыбается,
Какая-то веселость в нем.
«Теперь мы, Сергуха, по зайцам
За милую душу пальнем!»

Я рад и охоте,
Коль нечем
Развеять тоску и сон.
Сегодня ко мне под вечер,
Как месяц, вкатился Прон.
«Дружище!
С великим счастьем,
Настал ожидаемый час!
Приветствую с новой властью,
Теперь мы всех р-раз — и квас!
Без всякого выкупа с лета
Мы пашни берем и леса.
В России теперь Советы
И Ленин — старшой комиссар.
Дружище!
Вот это номер!
Вот это почин так почин.
Я с радости чуть не помер,
А брат мой в штаны намочил.
Едри ж твою в бабушку плюнуть.
Гляди, голубарь, веселей.
Я первый сейчас же коммуну
Устрою в своем селе!»

У Прона был брат Лабутя,
Мужик — что твой пятый туз:
При всякой опасной минуте
Хвальбишка и дьявольский трус.
Таких вы, конечно, видали.
Их рок болтовней наградил.

Носил он две белых медали
С японской войны на груди.
И голосом хриплым и пьяным
Тянул, заходя в кабак:

«Прославленному под Ляояном
Ссудите на четвертак...»
Потом, насосавшись до дури,
Взволнованно и горячо
О сдавшемся Порт-Артуре
Соседу слезил на плечо.
«Голубчик! —
Кричал он. —
Петя!
Мне больно... Не думай, что пьян.
Отвагу мою на свете
Лишь знает один Ляоян».

Такие всегда на примете.
Живут, не мозоля рук.
И вот он, конечно, в Совете,
Медали запрятал в сундук.
Но с тою же важной осанкой,
Как некий седой ветеран,
Хрипел под сивушной банкой
Про Нерчинск и Турухан:
«Да, братец!
Мы горе видали,
Но нас не запугивал страх...»
. . . .

Медали, медали, медали
Звенели в его словах.
Он Прону вытягивал нервы,
И Прон материл не судом.
Но все ж тот поехал первый
Описывать снегинский дом.

В захвате всегда есть скорость:
— Даешь! Разберем потом!
Весь хутор забрали в волость
С хозяйками и со скотом.

А мельник...
. . . .
Мой старый мельник
Хозяек привез к себе,
Заставил меня, бездельник,
В чужой ковыряться судьбе.

И снова нахлынуло что-то,
Когда я всю ночь напролет
Смотрел на скривленный заботой
Красивый и чувственный рот.

Я помню —
Она говорила:
«Простите... Была не права...
Я мужа безумно любила.
Как вспомню... болит голова...
Но вас
Оскорбила случайно...
Жестокость была мой суд...

Была в том печальная тайна,
Что страстью преступной зовут.
Конечно,
До этой осени
Я знала б счастливую быль...
Потом бы меня вы бросили,
Как выпитую бутыль...
Поэтому было не надо...
Ни встреч... ни вобще продолжать...
Тем более с старыми взглядами
Могла я обидеть мать».

Но я перевел на другое,
Уставясь в ее глаза.
И тело ее тугое
Немного качнулось назад.
«Скажите,
Вам больно, Анна,
За ваш хуторской разор?»
Но как-то печально и странно
Она опустила свой взор.
. . . .
«Смотрите...
Уже светает.
Заря как пожар на снегу...
Мне что-то напоминает...
Но что?..
Я понять не могу...
Ах!.. Да...
Это было в детстве...

Другой... Не осенний рассвет...
Мы с вами сидели вместе...
Нам по шестнадцать лет...»

Потом, оглядев меня нежно
И лебедя выгнув рукой,
Сказала как будто небрежно:
«Ну, ладно...
Пора на покой...»
. . . .
Под вечер они уехали.
Куда?
Я не знаю куда.
В равнине, проложенной вехами,
Дорогу найдешь без труда.

Не помню тогдашних событий,
Не знаю, что сделал Прон.
Я быстро умчался в Питер
Развеять тоску и сон.

Суровые, грозные годы!
Ну разве всего описать?
Слыхали дворцовые своды
Солдатскую крепкую «мать».

Эх, удаль!
Цветение в далях!
Недаром чумазый сброд

Играл по дворам на роялях
Коровам тамбовский фокстрот.
За хлеб, за овес, за картошку
Мужик залучил граммофон, —
Слюнявя козлиную ножку,
Танго себе слушает он.
Сжимая от прибыли руки,
Ругаясь на всякий налог,
Он мыслит до дури о штуке,
Катающейся между ног.

Шли годы
Размашисто, пылко.
Удел хлебороба гас.
Немало попрело в бутылках
«Керенок» и «ходей» у нас.

Фефела! Кормилец! Касатик!
Владелец землей и скотом,
За пару измызганных «катек»
Он даст себя выдрать кнутом.

Ну, ладно.
Довольно стонов,
Ненужных насмешек и слов.
Сегодня про участь Прона
Мне мельник прислал письмо:
«Сергуха! За милую душу!
Привет тебе, братец! Привет!
Ты что-то опять в Криушу
Не кажешься целых шесть лет.

Утешь!
Соберись на милость!
Прижваривай по весне!
У нас здесь такое случилось,
Чего не расскажешь в письме.
Теперь стал спокой в народе,
И буря пришла в угомон.
Узнай, что в двадцатом годе
Расстрелян Оглоблин Прон.

Расея!..
Дуро́вая зыкь она.
Хошь верь, хошь не верь ушам —
Однажды отряд Деникина
Нагрянул на криушан.
Вот тут и пошла потеха...
С потехи такой — околеть!
Со скрежетом и со смехом
Гульнула казацкая плеть.
Тогда вот и чикнули Проню...
Лабутя ж в солому залез
И вылез,
Лишь только кони
Казацкие скрылись в лес.
Теперь он по пьяной морде
Еще не устал голосить:
«Мне нужно бы красный орден
За храбрость мою носить...»
Совсем прокатились тучи...
И хоть мы живем не в раю,

Ты все ж приезжай, голубчик,
Утешить судьбину мою...»

*

И вот я опять в дороге.
Ночная июньская хмарь.
Бегут говорливые дроги
Ни шатко ни валко, как встарь.
Дорога довольно хорошая,
Равнинная тихая звень.
Луна золотою порошею
Осыпала даль деревень.
Мелькают часовни, колодцы,
Околицы и плетни.
И сердце по-старому бьется,
Как билось в далекие дни.

Я снова на мельнице...
Ельник
Усыпан свечьми светляков.
По-старому старый мельник
Не может связать двух слов:
«Голубчик! Вот радость! Сергуха?!
Озяб, чай? Поди, продрог?
Да ставь ты скорее, старуха,
На стол самовар и пирог.
Сергунь! Золотой! Послушай!
. . . .
И ты уж старик по годам...
Сейчас я за милую душу
Подарок тебе передам».
«Подарок?»
«Нет...
Просто письмишко...
Да ты не спеши, голубок!
Почти что два месяца с лишком
Я с почты его приволок».

Вскрываю... читаю... Конечно!..
Откуда же больше и ждать?
И почерк такой беспечный,
И лондонская печать.

«Вы живы?.. Я очень рада...
Я тоже, как вы, жива.

Так часто мне снится ограда,
Калитка и ваши слова.
Теперь я от вас далеко...
В России теперь апрель.
И синею заволокой
Покрыта береза и ель.
Сейчас вот, когда бумаге
Вверяю я грусть моих слов,
Вы с мельником, может, на тяге
Подслушиваете тетеревов.
Я часто хожу на пристань
И, то ли на радость, то ль в страх,
Гляжу средь судов все пристальней
На красный советский флаг.

Теперь там достигли силы.
Дорога моя ясна...
Но вы мне по-прежнему милы,
Как родина и как весна»...
. . . .

Письмо как письмо.
Беспричинно.
Я в жисть бы таких не писал...

По-прежнему с шубой овчинной
Иду я на свой сеновал.
Иду я разросшимся садом,
Лицо задевает сирень.
Так мил моим вспыхнувшим взглядам
Погорбившийся плетень.
Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет.
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет!»

Далекие милые были!..
Тот образ во мне не угас.

Мы все в эти годы любили,
Но, значит,
Любили и нас.

Январь 1925
Батум

ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.

Голова моя машет ушами,
Как крыльями птица,
Ей на шее ноги
Маячить больше невмочь.
Черный человек,
Черный, черный,
Черный человек
На кровать ко мне садится,
Черный человек
Спать не дает мне всю ночь.

Черный человек
Водит пальцем по мерзкой книге
И, гнусавя надо мной,
Как над усопшим монах,
Читает мне жизнь
Какого-то прохвоста и забулдыги,
Нагоняя на душу тоску и страх.
Черный человек,
Черный, черный...

«Слушай, слушай, —
Бормочет он мне, —
В книге много прекраснейших
Мыслей и планов.
Этот человек
Проживал в стране

Самых отвратительных
Громил и шарлатанов.

В декабре в той стране
Снег до дьявола чист,
И метели заводят
Веселые прялки.
Был человек тот авантюрист,
Но самой высокой
И лучшей марки.

Был он изящен,
К тому ж поэт,
Хоть с небольшой,
Но ухватистой силою,
И какую-то женщину,
Сорока с лишним лет,
Называл скверной девочкой
И своею милою».

«Счастье, — говорил он, —
Есть ловкость ума и рук.
Все неловкие души
За несчастных всегда известны.
Это ничего,
Что много мук
Приносят изломанные
И лживые жесты.

В грозы, в бури,
В житейскую стынь,
При тяжелых утратах
И когда тебе грустно,
Казаться улыбчивым и простым —
Самое высшее в мире искусство».

«Черный человек!
Ты не смеешь этого!
Ты ведь не на службе
Живешь водолазовой.
Что мне до жизни
Скандального поэта.
Пожалуйста, другим
Читай и рассказывай».

Черный человек
Глядит на меня в упор.
И глаза покрываются
Голубой блевотой.
Словно хочет сказать мне,
Что я жулик и вор,
Так бесстыдно и нагло
Обокравший кого-то.
. . . .
. . . .

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.

Ночь морозная...
Тих покой перекрестка.
Я один у окошка,
Ни гостя, ни друга не жду.
Вся равнина покрыта
Сыпучей и мягкой известкой,
И деревья, как всадники,
Съехались в нашем саду.

Где-то плачет
Ночная зловещая птица,
Деревянные всадники
Сеют копытливый стук.

Вот опять этот черный
На кресло мое садится,
Приподняв свой цилиндр
И откинув небрежно сюртук.

«Слушай, слушай! —
Хрипит он, смотря мне в лицо.
Сам все ближе
И ближе клонится. —
Я не видел, чтоб кто-нибудь
Из подлецов

Так ненужно и глупо
Страдал бессонницей.

Ах, положим, ошибся!
Ведь нынче луна.
Что же нужно еще
Напоенному дремой мирику?
Может, с толстыми ляжками
Тайно придет «она»,
И ты будешь читать
Свою дохлую томную лирику?

Ах, люблю я поэтов!
Забавный народ!
В них всегда нахожу я
Историю, сердцу знакомую,
Как прыщавой курсистке
Длинноволосый урод
Говорит о мирах,
Половой истекая истомою.

Не знаю, не помню,
В одном селе,
Может, в Калуге,
А может, в Рязани,
Жил мальчик
В простой крестьянской семье,
Желтоволосый,
С голубыми глазами...

И вот стал он взрослым,
К тому ж поэт,
Хоть с небольшой,
Но ухватистой силою,
И какую-то женщину,
Сорока с лишним лет,
Называл скверной девочкой
И своею милою».

«Черный человек!
Ты — прескверный гость!
Эта слава давно
Про тебя разносится».
Я взбешен, разъярен,
И летит моя трость

Прямо к морде его,
В переносицу...
. . . .

...Месяц умер,
Синеет в окошко рассвет.
Ах, ты, ночь!
Что ты, ночь, наковеркала!
Я в цилиндре стою.
Никого со мной нет.
Я один...
И — разбитое зеркало...

<1923 —>14 ноября 1925

СТИХОТВОРЕНИЯ,
НЕ ВОШЕДШИЕ В «СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ», ПОДГОТОВЛЕННОЕ АВТОРОМ

ПОЭТ

Он бледен. Мыслит страшный путь.
В его душе живут виденья.
Ударом жизни вбита грудь,
А щеки выпили сомненья.

Клоками сбиты волоса,
Чело высокое в морщинах,
Но ясных грез его краса
Горит в продуманных картинах.

Сидит он в тесном чердаке,
Огарок свечки режет взоры,
А карандаш в его руке
Ведет с ним тайно разговоры.

Он пишет песню грустных дум,
Он ловит сердцем тень былого.
И этот шум... душевный шум...
Снесет он завтра за целковый.

<1910—1912>

ЗВЕЗДЫ

Звездочки ясные, звезды высокие!
Что вы храните в себе, что скрываете?
Звезды, таящие мысли глубокие,
Силой какою вы душу пленяете?

Частые звездочки, звездочки тесные!
Что в вас прекрасного, что в вас могучего?
Чем увлекаете, звезды небесные,
Силу великую знания жгучего?

И почему так, когда вы сияете,
Маните в небо, в объятья широкие?
Смотрите нежно так, сердце ласкаете,
Звезды небесные, звезды далекие!

<1911>

И. Д. РУДИНСКОМУ

Солнца луч золотой
Бросил искру свою
И своей теплотой
Согрел душу мою.

И надежда в груди
Затаилась моей;
Что-то жду впереди
От грядущих я дней.

Оживило тепло,
Озарил меня свет.
Я забыл, что прошло
И чего во мне нет.

Загорелася кровь
Жарче дня и огня.
И светло и тепло
На душе у меня.

Чувства полны добра,
Сердце бьется сильней.
Оживил меня луч
Теплотою своей.

Я с любовью иду
На указанный путь,
И от мук и тревог
Не волнуется грудь.

<1911>

ВОСПОМИНАНИЕ

За окном, у ворот
Вьюга завывает,
А на печке старик
Юность вспоминает.

«Эх, была-де пора,
Жил, тоски не зная,
Лишь кутил да гулял,
Песни распевая.

А теперь что за жизнь?
В тоске изнываю
И порой о тех днях
С грустью вспоминаю.

Погулял на веку,
Говорят, довольно.
Размахнуть старину
Не дают раздолья.

Полно, дескать, старик,
Не дури ты много,
Твой конец не велик,
Жизнь твоя у гроба.

Ну и что ж, покорюсь, —
Видно, моя доля.
При́дет им тоже час
Старче́ского горя».

За окном, у ворот
Вьюга завывает,
А на печке старик
С грустью засыпает.

1911—1912

МОЯ ЖИЗНЬ

Будто жизнь на страданья моя обречёна;
Горе вместе с тоской заградили мне путь;
Будто с радостью жизнь навсегда разлучёна,
От тоски и от ран истомилася грудь.

Будто в жизни мне выпал страданья удел;
Незавидная мне в жизни выпала доля.
Уж и так в жизни много всего я терпел,
Изнывает душа от тоски и от горя.

Даль туманная радость и счастье сулит,
А дойду — только слышатся вздохи да слезы.
Вдруг наступит гроза, сильный гром загремит
И разрушит волшебные, сладкие грезы.

Догадался и понял я жизни обман,
Не ропщу на свою незавидную долю.
Не страдает душа от тоски и от ран,
Не поможет никто ни страданьям, ни горю.

1911—1912

ЧТО ПРОШЛО — НЕ ВЕРНУТЬ

Не вернуть мне ту ночку прохладную,
Не видать мне подруги своей,
Не слыхать мне ту песню отрадную,
Что в саду распевал соловей!

Унеслася та ночка весенняя,
Ей не скажешь: «Вернись, подожди».
Наступила погода осенняя,
Бесконечные льются дожди.

Крепким сном спит в могиле подруга,
Схороня в своем сердце любовь.
Не разбудит осенняя вьюга
Крепкий сон, не взволнует и кровь.

И замолкла та песнь соловьиная,
За моря соловей улетел,
Не звучит уже более, сильная,
Что он ночкой прохладною пел.

Пролетели и радости милые,
Что испытывал в жизни тогда.
На душе уже чувства остылые.
Что прошло — не вернуть никогда.

1911—1912

НОЧЬ

Тихо дремлет река.
Темный бор не шумит.
Соловей не поет
И дергач не кричит.

Ночь. Вокруг тишина.
Ручеек лишь журчит.
Своим блеском луна
Все вокруг серебрит.

Серебрится река.
Серебрится ручей.
Серебрится трава
Орошенных степей.

Ночь. Вокруг тишина.
В природе все спит.
Своим блеском луна
Все вокруг серебрит.

1911—1912

ВОСХОД СОЛНЦА

Загорелась зорька красная
В небе темно-голубом,
Полоса явилась ясная
В своем блеске золотом.

Лучи солнышка высоко
Отразили в небе свет.
И рассыпались далеко
От них новые в ответ.

Лучи ярко-золотые
Осветили землю вдруг.
Небеса уж голубые
Расстилаются вокруг.

1911—1912

К ПОКОЙНИКУ

Уж крышку туго закрывают,
Чтоб ты не мог навеки встать,
Землей холодной зарывают,
Где лишь бесчувственные спят.

Ты будешь нем на зов наш зычный,
Когда сюда к тебе придем.

И вместе с тем рукой привычной
Тебе венков мы накладем.

Венки те красотою будут,
Могила будет в них сиять.
Друзья тебя не позабудут
И будут часто вспоминать.

Покойся с миром, друг наш милый,
И ожидай ты нас к себе.
Мы перетерпим горе с силой,
Быть может, скоро и придем к тебе.

1911—1912

ЗИМА

Вот уж осень улетела
И примчалася зима.
Как на крыльях, прилетела
Невидимо вдруг она.

Вот морозы затрещали
И сковали все пруды.
И мальчишки закричали
Ей «спасибо» за труды.

Вот появилися узоры
На стеклах дивной красоты.
Все устремили свои взоры,
Глядя на это. С высоты

Снег падает, мелькает, вьется,
Ложится белой пеленой.
Вот солнце в облаках мигает,
И иней на снегу сверкает.

1911—1912

ПЕСНЯ СТАРИКА РАЗБОЙНИКА

Угасла молодость моя,
Краса в лице завяла,
И удали уж прежней нет,
И силы — не бывало.

Бывало, пятерых сшибал
Я с ног своей дубиной,
Теперь же хил и стар я стал
И плачуся судьбиной.

Бывало, песни распевал
С утра до темной ночи,
Теперь тоска меня сосет
И грусть мне сердце точит.

Когда-то я ведь был удал,
Разбойничал и грабил,
Теперь же хил и стар я стал,
Все прежнее оставил.

1911—1912

НОЧЬ

Усталый день склонился к ночи,
Затихла шумная волна,
Погасло солнце, и над миром
Плывет задумчиво луна.
Долина тихая внимает
Журчанью мирного ручья.
И темный лес, склоняся, дремлет
Под звуки песен соловья.
Внимая песням, с берегами,
Ласкаясь, шепчется река.
И тихо слышится над нею
Веселый шелест тростника.

<1911—1912>

БОЛЬНЫЕ ДУМЫ

* * *

Нет сил ни петь и ни рыдать,
Минуты горькие бывают,
Готов все чувства изливать,
И звуки сами набегают.

<1911—1912>

* * *

Я ль виноват, что я поэт
Тяжелых мук и горькой доли,
Не по своей же стал я воле —
Таким уж родился на свет.

Я ль виноват, что жизнь мне не мила,
И что я всех люблю и вместе ненавижу,
И знаю о себе, чего еще не вижу, —
Ведь этот дар мне муза принесла.

Я знаю — в жизни счастья нет,
Она есть бред, мечта души больной,
И знаю — скучен всем напев унылый мой,
Но я не виноват — такой уж я поэт.

<1911—1912>

ДУМЫ

Думы печальные, думы глубокие,
Горькие думы, думы тяжелые,
Думы, от счастия вечно далекие,
Спутники жизни моей невеселые!

Думы — родители звуков мучения,
Думы несчастные, думы холодные,
Думы — источники слез огорчения,
Вольные думы, думы свободные!

Что вы терзаете грудь истомлённую,
Что заграждаете путь вы мне мой?..
Что возбуждаете силу сломлённую
Вновь на борьбу с непроглядною тьмой?

Не поддержать вам костра догоревшего,
Искры потухшие... Поздно, бесплодные.
Не исцелить сердца вам наболевшего,
Думы больные, без жизни, холодные!

<1911—1912>

ЗВУКИ ПЕЧАЛИ

Скучные песни, грустные звуки,
Дайте свободно вздохнуть.

Вы мне приносите тяжкие муки,
Больно терзаете грудь.

Дайте отрады, дайте покоя,
Дайте мне крепко заснуть.
Думы за думами смутного роя,
Вы мне разбили мой путь.

Смолкните, звуки — вестники горя,
Слезы уж льются из глаз.
Пусть успокоится горькая доля.
Звуки! Мне грустно от вас!

Звуки печали, скорбные звуки,
Долго ль меня вам томить?
Скоро ли кончатся тяжкие муки,
Скоро ль спокойно мне жить?

<1911—1912>

СЛЕЗЫ

Слезы... опять эти горькие слезы,
Безотрадная грусть и печаль;
Снова мрак... и разбитые грезы
Унеслись в бесконечную даль.

Что же дальше? Опять эти муки?
Нет, довольно... Пора отдохнуть
И забыть эти грустные звуки,
Уж и так истомилася грудь.

Кто поет там под сенью березы?
Звуки будто знакомые мне —
Это слезы опять... Это слезы
И тоска по родной стороне.

Но ведь я же на родине милой,
А в слезах истомил свою грудь.
Эх... лишь, видно, в холодной могиле
Я забыться могу и заснуть.

<1911—1912>

* * *

Не видать за туманною далью,
Что там будет со мной впереди,
Что там... счастье, иль веет печалью,
Или отдых для бедной груди.

Или эти седые туманы
Снова будут печалить меня,
Наносить сердцу скорбные раны
И опять снова жечь без огня.

Но сквозь сумрак в туманной дали́
Загорается, вижу, заря;
Это смерть для печальной земли,
Это смерть, но покой для меня.

<1911—1912>

ВЬЮГА НА 26 АПР<ЕЛЯ> 1912 г.

Что тебе надобно, вьюга?
Ты у окна завываешь,
Сердце больное тревожишь,
Грусть и печаль вызываешь.

Прочь уходи поскорее,
Дай мне забыться немного,
Или не слышишь — я плачу,
Каюсь в грехах перед Богом?

Дай мне с горячей молитвой
Слиться душою и силой.
Весь я истратился духом,
Скоро сокроюсь могилой.

Пой ты тогда надо мною,
Только сейчас удалися
Или за грешную душу
Вместе со мной помолися.

<1912>

ПРЕБЫВАНИЕ В ШКОЛЕ

Душно мне в этих холодных стенах,
Сырость и мрак без просвета.
Плесенью пахнет в печальных углах —
Вот она, доля поэта.

Видно, навек осужден я влачить
Эти судьбы приговоры,
Горькие слезы безропотно лить,
Ими томить свои взоры.

Нет, уже лучше тогда поскорей
Пусть я иду до могилы,
Только там я могу, и лишь в ней,
Залечить все разбитые силы.

Только и там я могу отдохнуть,
Позабыть эти тяжкие муки,
Только лишь там не волнуется грудь
И не слышны печальные звуки.

<1911—1912>

ДАЛЕКАЯ ВЕСЕЛАЯ ПЕСНЯ

Далеко-далеко от меня
Кто-то весело песню поет.
И хотел бы провтóрить ей я,
Да разбитая грудь не дает.

Тщетно рвется душа до нея,
Ищет звуков подобных в груди,
Потому что вся сила моя
Истощилась еще впереди.

Слишком рано я начал летать
За мечтой идеала земли,
Рано начал на счастье роптать,
Разбираясь в прожитой дали.

Рано пылкой душою своей
Я искал себе мрачного дня
И теперь не могу вторить ей,
Потому что нет сил у меня.

<1911—1912>

МОИ МЕЧТЫ

Мои мечты стремятся вдаль,
Где слышны вопли и рыданья,
Чужую разделить печаль
И муки тяжкого страданья.

Я там могу найти себе
Отраду в жизни, упоенье,
И там, наперекор судьбе,
Искать я буду вдохновенья.

<1911—1912>

БРАТУ ЧЕЛОВЕКУ

Тяжело и прискорбно мне видеть,
Как мой брат погибает родной.
И стараюсь я всех ненавидеть,
Кто враждует с его тишиной.

Посмотри, как он трудится в поле,
Пашет твердую землю сохой,
И послушай те песни про горе,
Что поет он, идя бороздой.

Или нет в тебе жалости нежной
Ко страдальцу сохи с бороной?
Видишь гибель ты сам неизбежной,
А проходишь его стороной.

Помоги же бороться с неволей,
Залитою вином, и с нуждой!
Иль не слышишь, он плачется долей
В своей песне, идя бороздой?

<1911—1912>

* * *

Я зажег свой костер,
Пламя вспыхнуло вдруг
И широкой волной
Разлилося вокруг.

И рассыпалась мгла
В беспредельную даль,
С отягченной груди
Отгоняя печаль.

Безнадежная грусть
В тихом треске углей
У костра моего
Стала песней моей.

И я весело так
На костер свой смотрел,
Вспоминаючи грусть,
Тихо песню запел.

Я опять подо мглой.
Мой костер догорел,
В нем лишь пепел с золой
От углей уцелел.

Снова грусть и тоска
Мою грудь облегли,
И печалью слегка
Веет вновь издали.

Чую — будет гроза,
Грудь заныла сильней,
И скатилась слеза
На остаток углей.

<1911—1912>

ДЕРЕВЕНСКАЯ ИЗБЕНКА

Ветхая избенка
Горя и забот,
Часто плачет вьюга
У твоих ворот.

Часто раздаются
За твоей стеной
Жалобы на бедность,
Песни звук глухой.

Все поют про горе,
Про тяжелый гнет,
Про нужду лихую
И голодный год.

Нет веселых песен
Во стенах твоих,
Потому что горе
Заглушает их.

<1911—1912>

ОТОЙДИ ОТ ОКНА

Не ходи ты ко мне под окно
И зеленой травы не топчи;
Я тебя разлюбила давно,
Но не плачь, а спокойно молчи.

Я жалею тебя всей душою,
Что тебе до моей красоты?
Почему не даешь мне покою
И зачем так терзаешься ты?

Все равно я не буду твоею,
Я теперь не люблю никого,
Не люблю, но тебя я жалею,
Отойди от окна моего!

Позабудь, что была я твоею,
Что безумно любила тебя;
Я теперь не люблю, а жалею —
Отойди и не мучай себя!

<1911—1912>

ВЕСЕННИЙ ВЕЧЕР

Тихо струится река серебристая
В царстве вечернем зеленой весны.
Солнце садится за горы лесистые,
Рог золотой выплывает луны.

Запад подернулся лентою розовой,
Пахарь вернулся в избушку с полей,

И за дорогою в чаще березовой
Песню любви затянул соловей.

Слушает ласково песни глубокие
С запада розовой лентой заря.
С нежностью смотрит на звезды далекие
И улыбается небу земля.

<1911—1912>

* * *

И надо мной звезда горит,
Но тускло светится в тумане,
И мне широкий путь лежит,
Но он заросший весь в бурьяне.

И мне весь свет улыбки шлет,
Но только полные презренья,
И мне судьба привет несет,
Но слезы вместо утешенья.

<1911—1912>

ПОЭТ

Не поэт, кто слов пророка
Не желает заучить,
Кто язвительно порока
Не умеет обличить.

Не поэт, кто сам боится,
Чтобы сильных уязвить,
Кто победою гордится,
Может слабых устрашить.

Не поэт и кто имеет
К людям разную любовь,
Кто за правду не умеет
Проливать с врагами кровь.

Тот поэт, врагов кто губит,
Чья родная правда — мать,

Кто людей как братьев любит
И готов за них страдать.

Он все сделает свободно,
Что другие не могли.
Он поэт, поэт народный,
Он поэт родной земли!

<1912>

КАПЛИ

Капли жемчужные, капли прекрасные,
Как хороши вы в лучах золотых,
И как печа́льны вы, капли ненастные,
Осенью черной на окнах сырых.

Люди, веселые в жизни забвения,
Как велики вы в глазах у других
И как вы жалки во мраке падения,
Нет утешенья вам в мире живых.

Капли осенние, сколько наводите
На душу грусти вы чувства тяжелого.
Тихо скользите по стеклам и бродите,
Точно как ищете что-то веселого.

Люди несчастные, жизнью убитые,
С болью в душе вы свой век доживаете.
Милое прошлое, вам не забытое,
Часто назад вы его призываете.

<1912>

НА ПАМЯТЬ ОБ УСОПШЕМ У МОГИЛЫ

В этой могиле под скромными ивами
Спит он, зарытый землей,
С чистой душой, со святыми порывами,
С верой зари огневой.

Тихо погасли огни благодатные
В сердце страдальца земли,
И на чело, никому не понятные,
Мрачные тени легли.

Спит он, а ивы над ним наклонилися,
Свесили ветви кругом,
Точно в раздумье они погрузилися,
Думают думы о нем.

Тихо от ветра, тоски напустившего,
Плачет, нахмурившись, даль.
Точно им всем безо времени сгибшего
Бедного юношу жаль.

<1912—1913>

* * *

Грустно... Душевные муки
Сердце терзают и рвут,
Времени скучные звуки
Мне и вздохнуть не дают.
Ляжешь, а горькая дума
Так и не сходит с ума...
Голову кружит от шума.
Как же мне быть... и сама
Моя изнывает душа.
Нет утешенья ни в ком.
Ходишь едва-то дыша.
Мрачно и дико кругом.
Доля! Зачем ты дана!
Голову негде склонить,
Жизнь и горька и бедна,
Тяжко без счастия жить.

<1913>

* * *

Ты плакала в вечерней тишине,
И слезы горькие на землю упадали,
И было тяжело и так печально мне,
И все же мы друг друга не поняли.
Умчалась ты в далекие края,
И все мечты мои увянули без цвета,
И вновь опять один остался я
Страдать душой без ласки и привета.

И часто я вечернею порой
Хожу к местам заветного свиданья,
И вижу я в мечтах мне милый образ твой,
И слышу в тишине тоскливые рыданья.

<1913>

БЕРЕЗА

Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.

На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.

И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.

А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.

<1913>

* * *

Я положил к твоей постели
Полузавядшие цветы,
И с лепестками помертвели
Мои усталые мечты.

Я нашептал моим левкоям
Об угасающей любви,
И ты к оплаканным покоям
Меня уж больше не зови.

Мы не живем, а мы тоскуем.
Для нас мгновенье красота,

Но не зажжешь ты поцелуем
Мои холодные уста.

И пусть в мечтах я все читаю:
«Ты не любил, тебе не жаль»,
Зато я лучше понимаю
Твою любовную печаль.

<1913—1915>

ИСПОВЕДЬ САМОУБИЙЦЫ

Простись со мною, мать моя,
Я умираю, гибну я!
Больную скорбь в груди храня,
Ты не оплакивай меня.
Не мог я жить среди людей,
Холодный яд в душе моей.
И то, чем жил и что любил,
Я сам безумно отравил.
Своею гордою душой
Прошел я счастье стороной.
Я видел пролитую кровь
И проклял веру и любовь.
Я выпил кубок свой до дна,
Душа отравою полна.
И вот я гасну в тишине,
Но пред кончиной легче мне.
Я стер с чела печать земли,
Я выше трепетных в пыли.
И пусть живут рабы страстей —
Противна страсть душе моей.

Безумный мир, кошмарный сон,
А жизнь есть песня похорон.
И вот я кончил жизнь мою,
Последний гимн себе пою.
А ты с тревогою больной
Не плачь напрасно
надо мной.

<1913—1915>

МОЕЙ ЦАРЕВНЕ

Я плакал на заре, когда померкли дали,
Когда стелила ночь росистую постель,
И с шепотом волны рыданья замирали,
И где-то вдалеке им вторила свирель.

Сказала мне волна: «Напрасно мы тоскуем», —
И, сбросив свой покров, зарылась в берега,
А бледный серп луны холодным поцелуем
С улыбкой застудил мне слезы в жемчуга.

И я принес тебе, царевне ясноокой,
Тот жемчуг слез моих печали одинокой
И нежную вуаль из пенности волны.

Но сердце хмельное любви моей не радо...
Отдай же мне за все, чего тебе не надо,
Отдай мне поцелуй за поцелуй луны.

<1913—1915>

ЧАРЫ

В цветах любви весна-царевна
По роще косы расплела,
И с хором птичьего молебна
Поют ей гимн колокола.
Пьяна под чарами веселья,
Она, как дым, скользит в лесах,
И золотое ожерелье
Блестит в косматых волосах.
А вслед ей пьяная русалка
Росою плещет на луну.
И я, как страстная фиалка,
Хочу любить, любить весну.

<1913—1915>

БУРЯ

Дрогнули листочки, закачались клены,
С золотистых веток полетела пыль...
Зашумели ветры, охнул лес зеленый,
Зашептался с эхом высохший ковыль...

Плачет у окошка пасмурная буря,
Понагнулись ветлы к мутному стеклу
И качают ветки, голову понуря,
И с тоской угрюмой смотрят в полумглу...

А вдали, чернея, выползают тучи,
И ревет сердито грозная река,
Подымают брызги водяные кручи,
Словно мечет землю сильная рука.

<1913—1915>

* * *

Ты ушла и ко мне не вернешься,
Позабыла ты мой уголок
И теперь ты другому смеешься,
Укрываяся в белый платок.

Мне тоскливо, и скучно, и жалко,
Неуютно камин мой горит,
Но измятая в книжке фиалка
Все о счастье былом говорит.

<1913—1915>

БАБУШКИНЫ СКАЗКИ

В зимний вечер по задворкам
Разухабистой гурьбой
По сугробам, по пригоркам
Мы идем, бредем домой.
Опостылеют салазки,
И садимся в два рядка
Слушать бабушкины сказки
Про Ивана-дурака.
И сидим мы, еле дышим.
Время к полночи идет.
Притворимся, что не слышим,
Если мама спать зовет.
Сказки все. Пора в постели...
Но, а как теперь уж спать?
И опять мы загалдели,
Начинаем приставать.

Скажет бабушка несмело:
«Что ж сидеть-то до зари?»
Ну, а нам какое дело —
Говори да говори.

<1913—1915>

ЛЕБЕДУШКА

Из-за леса, леса темного,
Подымалась красна зорюшка,
Рассыпала ясной радугой
Огоньки-лучи багровые.

Загорались ярким пламенем
Сосны старые, могучие,
Наряжали сетки хвойные
В покрывала златотканые.

А кругом роса жемчужная
Отливала блестки алые,
И над озером серебряным
Камыши, склонясь, шепталися.

В это утро вместе с солнышком
Уж из тех ли темных зарослей
Выплывала, словно зоренька,
Белоснежная лебедушка.

Позади ватагой стройною
Подвигались лебежатушки,
И дробилась гладь зеркальная
На колечки изумрудные.

И от той ли тихой заводи,
Посередь того ли озера,
Пролегла струя далекая
Лентой темной и широкою.

Уплывала лебедь белая
По ту сторону раздольную,
Где к затону молчаливому
Прилегла трава шелковая.

У побережья зеленого,
Наклонив головки нежные,
Перешептывались лилии
С ручейками тихозвонными.

Как и стала звать лебедушка
Своих малых лебежатушек
Погулять на луг пестреющий,
Пощипать траву душистую.

Выходили лебежатушки
Теребить траву-муравушку,
И росинки серебристые,
Словно жемчуг, осыпалися.

А кругом цветы лазоревы
Распускали волны пряные
И, как гости чужедальние,
Улыбались дню веселому.

И гуляли детки малые
По раздолью по широкому,
А лебедка белоснежная,
Не спуская глаз, дозорила.

Пролетал ли коршун рощею,
Иль змея ползла равниною,
Гоготала лебедь белая,
Созывая малых детушек.

Хоронились лебежатушки
Под крыло ли материнское,
И когда гроза скрывалася,
Снова бегали-резвилися.

Но не чуяла лебедушка,
Не видала оком доблестным,
Что от солнца золотистого
Надвигалась туча черная —

Молодой орел под облаком
Расправлял крыло могучее
И бросал глазами молнии
На равнину бесконечную.

Видел он у леса темного,
На пригорке у расщелины,
Как змея на солнце выползла
И свилась в колечко, грелася.

И хотел орел со злобою
Как стрела на землю кинуться,
Но змея его заметила
И под кочку притаилася.

Взмахом крыл своих под облаком
Он расправил когти острые
И, добычу поджидаючи,
Замер в воздухе распластанный.

Но глаза его орлиные
Разглядели степь далекую,
И у озера широкого
Он увидел лебедь белую.

Грозный взмах крыла могучего
Отогнал седое облако,
И орел, как точка черная,
Стал к земле спускаться кольцами.

В это время лебедь белая
Оглянула гладь зеркальную
И на небе отражавшемся
Увидала крылья длинные.

Встрепенулася лебедушка,
Закричала лебежатушкам,
Собралися детки малые
И под крылья схоронилися.

А орел, взмахнувши крыльями,
Как стрела на землю кинулся,
И впилися когти острые
Прямо в шею лебединую.

Распустила крылья белые
Белоснежная лебедушка
И ногами помертвелыми
Оттолкнула малых детушек.

Побежали детки к озеру,
Понеслись в густые заросли,
А из глаз родимой матери
Покатились слезы горькие.

А орел когтями острыми
Раздирал ей тело нежное,
И летели перья белые,
Словно брызги, во все стороны.

Колыхалось тихо озеро,
Камыши, склонясь, шепталися,
А под кочками зелеными
Хоронились лебежатушки.

<1913—1915>

КОРОЛЕВА

Пряный вечер. Гаснут зори.
По траве ползет туман.
У плетня на косогоре
Забелел твой сарафан.

В чарах звездного напева
Обомлели тополя.
Знаю, ждешь ты, королева,
Молодого короля.

Коромыслом серп двурогий
Плавно по небу скользит.
Там, за рощей, по дороге
Раздается звон копыт.

Скачет всадник загорелый,
Крепко держит повода.
Увезет тебя он смело
В чужедальни города.

Пряный вечер. Гаснут зори.
Слышен четкий храп коня.
Ах, постой на косогоре
Королевой у плетня.

<1913—1915>

ПОРОША

Еду. Тихо. Слышны звоны
Под копытом на снегу.
Только серые вороны
Расшумелись на лугу.

Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна.
Словно белою косынкой
Повязалася сосна.

Понагнулась, как старушка,
Оперлася на клюку,
А под самою макушкой
Долбит дятел на суку.

Скачет конь, простору много.
Валит снег и стелет шаль.
Бесконечная дорога
Убегает лентой вдаль.

<1914>

СЕЛО

(Пер<евод> из Шевченко)

Село! В душе моей покой.
Село в Украйне дорогой.
И, полный сказок и чудес,
Кругом села зеленый лес.
Цветут сады, белеют хаты,
А на горе стоят палаты,
И перед крашеным окном
В шелковых листьях тополя,
А там всё лес, и всё поля,
И степь, и горы за Днепром...
И в небе темно-голубом
Сам Бог витает над селом.

<1914>

* * *

Колокол дремавший
Разбудил поля,

Улыбнулась солнцу
Сонная земля.

Понеслись удары
К синим небесам,
Звонко раздается
Голос по лесам.

Скрылась за рекою
Белая луна,
Звонко побежала
Резвая волна.

Тихая долина
Отгоняет сон,
Где-то за дорогой
Замирает звон.

<1914>

КУЗНЕЦ

Душно в кузнице угрюмой,
И тяжел несносный жар,
И от визга и от шума
В голове стоит угар.
К наковальне наклоняясь,
Машут руки кузнеца,
Сетью красной рассыпаясь,
Вьются искры у лица.
Взор отважный и суровый
Блещет радугой огней,
Словно взмах орла, готовый
Унестись за даль морей...
Куй, кузнец, рази ударом,
Пусть с лица струится пот.
Зажигай сердца пожаром,
Прочь от горя и невзгод!
Закали свои порывы,
Преврати порывы в сталь
И лети мечтой игривой
Ты в заоблачную даль.

Там вдали, за черной тучей,
За порогом хмурых дней,

Реет солнца блеск могучий
Над равнинами полей.
Тонут пастбища и нивы
В голубом сиянье дня,
И над пашнею счастливо
Созревают зеленя.
Взвейся к солнцу с новой силой,
Загорись в его лучах.
Прочь от робости постылой.
Сбрось скорей постыдный страх.
. . . .

<1914>

С ДОБРЫМ УТРОМ!

Задремали звезды золотые,
Задрожало зеркало затона,
Брезжит свет на заводи речные
И румянит сетку небосклона.

Улыбнулись сонные березки,
Растрепали шелковые косы.
Шелестят зеленые сережки,
И горят серебряные росы.

У плетня заросшая крапива
Обрядилась ярким перламутром
И, качаясь, шепчет шаловливо:
«С добрым утром!»

<1914>

ЮНОСТЬ

Мечты и слезы,
Цветы и грезы
Тебе дарю.

От тихой ласки
И нежной сказки
Я весь горю.

А сколько муки
Святые звуки
Наносят мне!

Но силой тертой
Пошлю все к черту.
        Иди ко мне.

<1914>

ЕГОРИЙ

В синих далях плоскогорий,
В лентах облаков
Собирал святой Егорий
Белыих волков.

«Ой ли, светы, [ратобойцы],
Слухайте мой сказ.
У меня в лихом изгойце
Есть поклон до вас.

Все волчицы строят гнезда
В муромских лесах.
В их глазах застыли звезды
На ребячий страх.

И от тех ли серолобых
Ваш могучий род,
Как и вы, сгорает в злобах
Грозовой оплот.

Долго злились, долго бились
В пуще вы тайком,
Но недавно помирились
С русским мужиком.

Там с закатных поднебесий
Скочет враг — силен,
Как на эти ли полесья
Затаил полон.

Чую, выйдет лохманида —
Не ужиться вам,
Но уж черная планида
Машет по горам».

Громовень подняли волки:
«Мы ль тросовики!

Когти остры, зубы колки —
Разорвем в клоки!»

Собирались все огулом
Вырядить свой суд.
Грозным криком, дальним гулом
Замирал их гуд.

Как почуяли облаву,
Вышли на бугор.
«Ты веди нас на расправу,
Храбрый наш Егор!»

«Ладно, — молвил им Егорий, —
Я вас поведу
Меж далеких плоскогорий,
Укрочу беду».

Скачет всадник с длинной пикой,
Распугал всех сов.
И дрожит земля от крика
Волчьих голосов.

<1914>

МОЛИТВА МАТЕРИ

На краю деревни старая избушка,
Там перед иконой молится старушка.

Молится старушка, сына поминает,
Сын в краю далеком родину спасает.

Молится старушка, утирает слезы,
А в глазах усталых расцветают грезы.

Видит она поле, это поле боя,
Сына видит в поле — павшего героя.

На груди широкой запеклася рана,
Сжали руки знамя вражеского стана.

И от счастья с горем вся она застыла,
Голову седую на руки склонила.

И закрыли брови редкие сединки,
А из глаз, как бисер, сыплются слезинки.

<1914>

БОГАТЫРСКИЙ ПОСВИСТ

Грянул гром. Чашка неба расколота.
Разорвалися тучи тесные.
На подвесках из легкого золота
Закачались лампадки небесные.
Отворили ангелы окно высокое,
Видят — умирает тучка безглавая,
А с запада, как лента широкая,
Подымается заря кровавая.
Догадалися слуги божии,
Что недаром земля просыпается,
Видно, мол, немцы негожие
Войной на мужика подымаются.
Сказали ангелы солнышку:
«Разбуди поди мужика, красное,
Потрепи его за головушку,
Дескать, беда для тебя опасная».
Встал мужик, из ковша умывается,
Ласково беседует с домашней птицею,
Умывшись, в лапти наряжается
И достает сошники с палицею.

Думает мужик дорогой в кузницу:
«Проучу я харю поганую».
И на ходу со злобы тужится,
Скидает с плечей сермягу рваную.
Сделал кузнец мужику пику вострую,
И уселся мужик на клячу брыкучую.
Едет он дорогой пестрою,
Насвистывает песню могучую.
Выбирает мужик дорожку приметнее,
Едет, свистит, ухмыляется.
Видят немцы — задрожали дубы столетние,
На дубах от свиста листы валятся.
Побросали немцы шапки медные,
Испугались посвисту богатырского...
Правит Русь праздники победные,
Гудит земля от звона монастырского.

<1914>

БЕЛЬГИЯ

Побеждена, но не рабыня,
Стоишь ты гордо без доспех,
Осквернена твоя святыня,
Зато душа чиста, как снег.
Кровавый пир в дыму пожара
Устроил грозный сатана,
И под мечом его удара
Разбита храбрая страна.
Но дух свободный, дух могучий
Великих сил не угасил,
Он, как орел, парит за тучей
Над цепью доблестных могил.
И жребий правды совершится:
Падет твой враг к твоим ногам
И будет с горестью молиться
Твоим разбитым алтарям.

<1914>

СИРОТКА

(Русская сказка)

Маша — круглая сиротка.
Плохо, плохо Маше жить,
Злая мачеха сердито
Без вины ее бранит.

Неродимая сестрица
Маше места не дает.
Плачет Маша втихомолку
И украдкой слезы льет.

Не перечит Маша брани,
Не теряет дерзких слов,
А коварная сестрица
Отбивает женихов.

Злая мачеха у Маши
Отняла ее наряд,
Ходит Маша без наряда,
И ребята не глядят.

Ходит Маша в сарафане,
Сарафан весь из заплат,
А на мачехиной дочке
Бусы с серьгами гремят.

Сшила Маша на подачки
Сарафан себе другой
И на голову надела
Полушалок голубой.

Хочет Маша понарядней
В церковь Божию ходить
И у мачехи сердитой
Просит бусы ей купить.

Злая мачеха на Машу
Засучила рукава,
На устах у бедной Маши
Так и замерли слова.

Вышла Маша, зарыдала,
Только некуда идти,
Побежала б на кладбище,
Да могилки не найти.

Замела седая вьюга
Поле снежным полотном,
По дороженькам ухабы,
И сугробы под окном.

Вышла Маша на крылечко,
Стало больно ей невмочь.
А кругом лишь воет ветер,
А кругом лишь только ночь.

Плачет Маша у крылечка,
Притаившись за углом,
И заплаканные глазки
Утирает рукавом.

Плачет Маша, крепнет стужа,
Злится Дедушка Мороз,
А из глаз ее, как жемчуг,
Вытекают капли слез.

Вышел месяц из-за тучек,
Ярким светом заиграл.
Видит Маша — на приступке
Кто-то бисер разметал.

От нечаянного счастья
Маша глазки подняла
И застывшими руками
Крупный жемчуг собрала.

Только Маша за колечко
Отворяет дверь рукой, —
А с высокого сугроба
К ней бежит старик седой:

«Эй, красавица, постой-ка,
Замела совсем пурга!
Где-то здесь вот на крылечке
Позабыл я жемчуга».

Маша с тайною тревогой
Робко глазки повела
И сказала, запинаясь:
«Я их в фартук собрала».

И из фартука стыдливо,
Заслонив рукой лицо,
Маша высыпала жемчуг
На обмерзшее крыльцо.

«Стой, дитя, не сыпь, не надо, —
Говорит старик седой, —
Это бисер ведь на бусы,
Это жемчуг, Маша, твой».

Маша с радости смеется,
Закраснелася, стоит,
А старик, склонясь над нею,
Так ей нежно говорит:

«О дитя, я видел, видел,
Сколько слез ты пролила
И как мачеха лихая
Из избы тебя гнала.

А в избе твоя сестрица
Любовалася собой
И, расчесывая косы,
Хохотала над тобой.

Ты рыдала у крылечка,
А кругом мела пурга,
Я в награду твои слезы
Заморозил в жемчуга.

За тебя, моя родная,
Стало больно мне невмочь
И озлобленным дыханьем
Застудил я мать и дочь.

Вот и вся моя награда
За твои потоки слез...
Я ведь, Маша, очень добрый,
Я ведь Дедушка Мороз».

И исчез мороз трескучий...
Маша жемчуг собрала
И, прислушиваясь к вьюге,
Постояла и ушла.

Утром Маша рано-рано
Шла могилушку копать.
В это время царедворцы
Шли красавицу искать.

Приказал король им строго
Обойти свою страну
И красавицу собою
Отыскать себе жену.

Увидали они Машу,
Стали Маше говорить,
Только Маша порешила
Прежде мертвых схоронить.

Тихо справили поминки,
На душе утихла боль,
И на Маше, на сиротке,
Повенчался сам король.

<1914>

УЗОРЫ

Девушка в светлице вышивает ткани,
На канве в узорах копья и кресты.
Девушка рисует мертвых на поляне,
На груди у мертвых — красные цветы.

Нежный шелк выводит храброго героя,
Тот герой отважный — принц ее души.
Он лежит, сраженный в жаркой схватке боя,
И в узорах крови смяты камыши.

Кончены рисунки. Лампа догорает.
Девушка склонилась. Помутился взор.
Девушка тоскует. Девушка рыдает.
За окошком полночь чертит свой узор.

Траурные косы тучи разметали,
В пряди тонких локон впуталась луна.
В трепетном мерцанье, в белом покрывале
Девушка, как призрак, плачет у окна.

<1914>

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

В этот лес завороженный
По пушинкам серебра
Я с винтовкой заряженной
На охоту шел вчера.
По дорожке чистой, гладкой
Я прошел, не наследил...
Кто ж катался здесь украдкой?
Кто здесь падал и ходил?
Подойду, взгляну поближе:
Хрупкий снег изломан весь.
Здесь вот когти, дальше — лыжи...
Кто-то странный бегал здесь.
Кабы твердо знал я тайну
Заколдованным речам,
Я узнал бы хоть случайно,
Кто здесь бродит по ночам.
Из-за елки бы высокой
Подсмотрел я на кругу:
Кто глубокий след далекий
Оставляет на снегу?..

<1914>

ЯМЩИК

За ухабины степные
Мчусь я лентой пустырей.
Эй вы, соколы родные,
Выносите поскорей!

Низкорослая слободка
В повечерешнем дыму.
Заждалась меня красотка
В чародейном терему.

Светит в темень позолотой
Размалевана дуга.
Ой вы, санки-самолеты,
Пуховитые снега!

Звоны резки, звоны гулки,
Бубенцам в шлее не счет.
А как гаркну на проулке,
Выбегает весь народ.

Выйдут парни, выйдут девки
Славить зимни вечера.
Голосатые запевки
Не смолкают до утра.

<1914>

УДАЛЕЦ

Ой, мне дома не сидится,
Размахнуться б на войне.
Полечу я быстрой птицей
На саврасом скакуне.

Не ревите, мать и тетка,
Слезы сушат удальца.
Подарила мне красотка
Два серебряных кольца.

Эх, достану я ей пикой
Душегрейку на меху.
Пусть от радости великой
Ходит ночью к жениху.

Ты гори, моя зарница,
Не страшён мне вражий стан.
Зацелует баловница,
Как куплю ей сарафан.

Отчего вам хныкать, бабы,
Домекнуться не могу.
Али руки эти слабы,
Что пешню согнут в дугу.

Буду весел я до гроба,
Удалая голова.
Провожай меня, зазноба,
Да держи свои слова.

<1914—1915>

* * *

Вечер, как сажа,
Льется в окно.
Белая пряжа
Ткет полотно.

Пляшет гасница,
Прыгает тень.
В окна стучится
Старый плетень.

Липнет к окошку
Черная гать.
Девочку-крошку
Байкает мать.

Взрыкает зыбка
Сонный тропарь:
«Спи, моя рыбка,
Спи, не гутарь».

<1914—1916>

* * *

Прячет месяц за овинами
Желтый лик от солнца ярого.

Высоко над луговинами
По востоку пышет зарево.
Пеной рос заря туманится,
Словно глубь очей невестиных.
Прибрела весна, как странница,
С посошком в лаптях берестяных.
На березки в роще теневой
Серьги звонкие повесила
И с рассветом в сад сиреневый
Мотыльком порхнула весело.

<1914—1916>

* * *

По лесу леший кричит на сову,
Прячутся мошки от птичек в траву.
Ау!

Спит медведиха, и чудится ей:
Колет охотник острогой детей.
Ау!

Плачет она и трясет головой:
— Детушки-дети, идите домой.
Ау!

Звонкое эхо кричит в синеву:
— Эй ты, откликнись, кого я зову!
Ау!

<1914—1916>

* * *

За рекой горят огни,
Погорают мох и пни.
Ой, купало, ой, купало,
Погорают мох и пни.

Плачет леший у сосны —
Жалко летошней весны.
Ой, купало, ой, купало,
Жалко летошней весны.

А у наших у ворот
Пляшет девок корогод.
Ой, купало, ой, купало,
Пляшет девок корогод.

Кому радость, кому грех,
А нам радость, а нам смех.
Ой, купало, ой, купало,
А нам радость, а нам смех.

<1914—1916>

МОЛОТЬБА

Вышел заранях дед
На гумно молотить:
«Выходи-ка, сосед,
Старику подсобить».

Положили гурьбой
Золотые снопы.
На гумне вперебой
Зазвенели цепы.

И ворочает дед
Немолоченый край:
«Постучи-ка, сосед,
Выбивай каравай».

И под сильной рукой
Вылетает зерно.
Тут и солод с мукой,
И на свадьбу вино.

За тяжелой сохой
Эта доля дана.
Тучен колос сухой —
Будет брага хмельна.

<1914—1916>

* * *

На лазоревые ткани
Пролил пальцы багрянец.

В темной роще, по поляне,
Плачет смехом бубенец.

Затуманились лощины,
Серебром покрылся мох.
Через прясла и овины
Кажет месяц белый рог.

По дороге лихо, бойко,
Развевая пенный пот,
Скачет бешеная тройка
На поселок в хоровод.

Смотрят девушки лукаво
На красавца сквозь плетень.
Парень бравый, кучерявый
Ломит шапку набекрень.

Ярче розовой рубахи
Зори вешние горят.
Позолоченные бляхи
С бубенцами говорят.

<1915>

* * *

На небесном синем блюде
Желтых туч медовый дым.
Грезит ночь. Уснули люди.
Только я тоской томим.

Облаками перекрещен,
Сладкий дым вдыхает бор.
За кольцо небесных трещин
Тянет пальцы косогор.

На болоте крячет цапля,
Четко хлюпает вода,
А из туч глядит, как капля,
Одинокая звезда.

Я хотел бы в мутном дыме
Той звездой поджечь леса
И погинуть вместе с ними,
Как зарница — в небеса.

<1915>

ГРЕЦИЯ

Могучий Ахиллес громил твердыни Трои.
Блистательный Патрокл сраженный умирал.
А Гектор меч о траву вытирал
И сыпал на врага цветущие левкои.

Над прахом горестно слетались с плачем сои,
И лунный серп сеть туник прорывал.
Усталый Ахиллес на землю припадал,
Он нес убитого в родимые покои.

Ах, Греция! мечта души моей!
Ты сказка нежная, но я к тебе нежней,
Нежней, чем к Гектору, герою, Андромаха.

Возьми свой меч. Будь Сербии сестрою.
Напомни миру сгибнувшую Трою,
И для вандалов пусть чернеют меч и плаха.

<1915>

ПОЛЬША

Над Польшей облако кровавое повисло,
И капли красные сжигают города.
Но светит в зареве былых веков звезда.
Под розовой волной, вздымаясь, плачет Висла.

В кольце времен с одним оттенком смысла
К весам войны подходят все года.
И победителю за стяг его труда
Сам враг кладет цветы на чашки коромысла.

О Польша, светлый сон в сырой тюрьме Костюшки,
Невольница в осколках ореола.
Я вижу: твой Мицкевич заряжает пушки.

Ты мощною рукой сеть плена распорола.
Пускай горят родных краев опушки,
Но слышен звон побед к молебствию костела.

<1915>

ЧЕРЕМУХА

Черемуха душистая
С весною расцвела
И ветки золотистые,
Что кудри, завила.
Кругом роса медвяная
Сползает по коре,
Под нею зелень пряная
Сияет в серебре.
А рядом, у проталинки,
В траве, между корней,
Бежит, струится маленький
Серебряный ручей.
Черемуха душистая,
Развесившись, стоит,
А зелень золотистая
На солнышке горит.
Ручей волной гремучею
Все ветки обдает
И вкрадчиво под кручею
Ей песенки поет.

<1915>

* * *

Рюрику Ивневу

Я одену тебя побирушкой,
Подпояшу оструганным лыком.
Упираяся толстою клюшкой,
Уходи ты к лесным повиликам.

У стогов из сухой боровины
Шьет русалка из листьев обновы.
У ней губы краснее малины,
Брови черные круче подковы.

Ты скажи ей: «Я странник усталый,
Равнодушный к житейским потерям».
Скинь-покинь свой армяк полинялый,
Проходи с нею к зарослям в терем.

Соберутся русалки с цветами,
Заведут под гармони гулянку
И тебя по заре с петухами
Поведут провожать на полянку.

Побредешь ты, воспрянутый духом,
Будешь зыкать прибаски на цевне
И навстречу горбатым старухам
Скинешь шапку с поклоном деревне.

29 марта 1915 г.

* * *

О дитя, я долго плакал над судьбой твоей,
С каждой ночью я тоскую все сильней, сильней...

Знаю, знаю, скоро, скоро, на закате дня,
Понесут с могильным пеньем хоронить меня...

Ты увидишь из окошка белый саван мой,
И сожмется твое сердце от тоски немой...

О дитя, я долго плакал с тайной теплых слов,
И застыли мои слезы в бисер жемчугов...

И связал я ожерелье для тебя из них,
Ты надень его на шею в память дней моих!

<1915>

ПОБИРУШКА

Плачет девочка-малютка у окна больших хором,
А в хоромах смех веселый так и льется серебром.
Плачет девочка и стынет на ветру осенних гроз,
И ручонкою иззябшей вытирает капли слез.

Со слезами она просит хлеба черствого кусок,
От обиды и волненья замирает голосок.
Но в хоромах этот голос заглушает шум утех,
И стоит малютка, плачет под веселый, резвый смех.

<1915>

ДЕВИЧНИК

Я надену красное монисто,
Сарафан запетлю синей рюшкой.
Позовите, девки, гармониста,
Попрощайтесь с ласковой подружкой.

Мой жених, угрюмый и ревнивый,
Не велит заглядывать на парней.
Буду петь я птахой сиротливой,
Вы ж пляшите дробней и угарней.

Как печальны девичьи потери,
Грустно жить оплаканной невесте.
Уведет жених меня за двери,
Будет спрашивать о девической чести.

Ах, подружки, стыдно и неловко:
Сердце робкое охватывает стужа.
Тяжело беседовать с золовкой,
Лучше жить несчастной, да без мужа.

<1915>

ГОРОД

Храня завет родных поверий —
Питать к греху стыдливый страх,
Бродил я в каменной пещере,
Как искушаемый монах.
Как муравьи кишели люди
Из щелей выдолбленных глыб,
И, схилясь, двигались их груди,
Что чешуя скорузлых рыб.
В моей душе так было гулко
В пеленках камня и кремней.
На каждой ленте переулка
Стонал коровий рев теней.
Дризжали дроги, словно стекла,
В лицо кнутом грозила даль,
А небо хмурилось и блекло,
Как бабья сношенная шаль.
С улыбкой змейного грешенья
Девичий смех меня манул,

Но я хранил завет крещенья —
Плевать с молитвой в сатану.

Как об ножи стальной дорогой
Рвались на камнях сапоги,
И я услышал зык от Бога:
«Забудь, что видел, и беги!»

<1915>

* * *

У крыльца в худой логушке деготь.
Струи черные расхлябились, как змейки.
Ходят куры черных змей потрогать
И в навозе чистят клюв свой клейкий.
В колымаге колкая засорень,
Без колес, как лапы, смотрят оси.
Старый дед прямит на втулке шкворень,
Словно косу долбит на покосе.
У погребки с маткой поросята,
Рядом с замесью тухлявая лоханка.
Под крылом на быльнице измятой
Ловит вшей расхохленная канка.
Под горой на пойло скачет стадо.
Плачут овцы с хлебистою жовкой.
Голосят пастушки над оградой:
«Гыть кыря!» — и щелкают веревкой.

<1915>

СТАРУХИ

Под окном балякают старухи.
Вязлый хрип их крошит тишину.
С чурбака, как скатный бисер, мухи
Улетают к лесу-шушуну.
Смотрят бабки в черные дубровы,
Где сверкают гашники зарниц,
Подтыкают пестрые поневы
И таращат веки без ресниц.
«Быть дождю, — решают в пересуде, —
Небо в куреве, как хмаровая близь.
Ведь недаром нонче на посуде
Появилась квасливая слизь,

Не зазря прокисло по махоткам
В погребах парное молоко
И не так гагачится молодкам,
Видно, дыхать бедным нелегко».
Говорят старухи о пророке,
Что на небе гонит лошадей,
А кругом в дымнистой заволоке
Веет сырью звонистых дождей.

<1915>

* * *

Я странник убогий.
С вечерней звездой
Пою я о Боге
Касаткой степной.

На шелковом блюде
Опада осин,
Послухайте, люди,
Ухлюпы трясин.

Ширком в луговины,
Целуя сосну,
Поют быстровины
Про рай и весну.

Я, странник убогий,
Молюсь в синеву.
На палой дороге
Ложуся в траву.

Покоюся сладко
Меж росновых бус;
На сердце лампадка,
А в сердце Исус.

<1915>

РАЗБОЙНИК

Стухнут звезды, стухнет месяц,
Стихнет песня соловья,
В чернобылье перелесиц
С кистенем засяду я.

У реки под косогором
Не бросай, рыбак, блесну,
По дороге темным бором
Не считай, купец, казну!

Руки цепки, руки хватки,
Не зазря зовусь ухват:
Загребу парчу и кадки,
Дорогой сниму халат.

В темной роще заряница
Чешет елью прядь волос;
Выручай меня, ножница:
Раздается стук колес.

Не дознаться глупым людям,
Где копил-хранил деньгу;
Захотеть — так все добудем
Темной ночью на лугу!

<1915>

* * *

Белая свитка и алый кушак,
Рву я по грядкам зардевшийся мак.

Громко звенит за селом хоровод,
Там она, там она песни поет.

Помню, как крикнула, шигая в сруб:
«Что же, красив ты, да сердцу не люб.

Кольца кудрей твоих ветрами жжет,
Гребень мой вострый другой бережет».

Знаю, чем чужд ей и чем я не мил:
Меньше плясал я и меньше всех пил.

Кротко я с грустью стоял у стены:
Все они пели и были пьяны.

Счастье его, что в нем меньше стыда,
В шею ей лезла его борода.

Свившись с ним в жгучее пляски кольцо,
Брызнула смехом она мне в лицо.

Белая свитка и алый кушак,
Рву я по грядкам зардевшийся мак.

Маком влюбленное сердце цветет...
Только не мне она песни поет.

<1915>

ПЛЯСУНЬЯ

Ты играй, гармонь, под трензель,
Отсыпай, плясунья, дробь!
На платке краснеет вензель,
Знай прищелкивай, не робь!

Парень бравый, синеглазый
Загляделся не на смех.
Веселы твои проказы,
Зарукавник — словно снег.

Улыбаются старушки,
Приседают старики.
Смотрят с завистью подружки
На шелковы косники.

Веселись, пляши угарней,
Развевай кайму фаты.
Завтра вечером от парней
Придут свахи и сваты.

<1915>

РУСИ

Тебе одной плету венок,
Цветами сыплю стежку серую.
О Русь, покойный уголок,
Тебя люблю, тебе и верую.
Гляжу в простор твоих полей,
Ты вся — далекая и близкая.
Сродни мне посвист журавлей
И не чужда тропинка склизкая.

Цветет болотная купель,
Куга зовет к вечерне длительной,
И по кустам звенит капель
Росы холодной и целительной.
И хоть сгоняет твой туман
Поток ветров, крылато дующих,
Но вся ты — смирна и ливан
Волхвов, потайственно волхвующих.

<1915>

* * *

Занеслися залетною пташкой
Панихидные вести к нам.
Родина, черная монашка,
Читает псалмы по сынам.

Красные нити часослова
Кровью окропили слова.
Я знаю — ты умереть готова,
Но смерть твоя будет жива.

В церквушке за тихой обедней
Выну за тебя просфору,
Помолюся за вздох последний
И слезу со щеки утру.

А ты из светлого рая,
В ризах белее дня,
Покрестися, как умирая,
За то, что не любила меня.

<1915>

КОЛДУНЬЯ

Косы растрепаны, страшная, белая,
Бегает, бегает, резвая, смелая.
Темная ночь молчаливо пугается,
Шалями тучек луна закрывается.
Ветер-певун с завываньем кликуш
Мчится в лесную дремучую глушь.
Роща грозится еловыми пиками,
Прячутся совы с пугливыми криками.

Машет колдунья руками костлявыми.
Звезды моргают из туч над дубравами.
Серьгами змеи под космы привешены,
Кружится с вьюгою страшно и бешено.
Пляшет колдунья под звон сосняка.
С черною дрожью плывут облака.

<1915>

ПОМИНКИ

Заслонили ветлы сиротливо
Косниками мертвые жилища.
Словно снег, белеется коливо —
На помин небесным птахам пища.

Тащат галки рис с могилок постный,
Вяжут нищие над сумками бечевки.
Причитают матери и крёстны,
Голосят невесты и золовки.

По камням, над толстым слоем пыли,
Вьется хмель, запутанный и клейкий.
Длинный поп в худой епитрахили
Подбирает черные копейки.

Под черед за скромным подаяньем
Ищут странницы отпетую могилу.
И поет дьячок за поминаньем:
«Раб усопших, Господи, помилуй».

<1915>

ДЕД

Сухлым войлоком по стёжкам
Разрыхлел в траве помет,
У гумен к репейным брошкам
Липнет муший хоровод.

Старый дед, согнувши спину,
Чистит вытоптанный ток
И подонную мякину
Загребает в уголок.

Щурясь к облачному глазу,
Подсекает он лопух.
Роет скрябкою по пазу
От дождей обходный круг.

Черепки в огне червонца.
Дед — как в жамковой слюде,
И играет зайчик солнца
В рыжеватой бороде.

<1915>

* * *

Наша вера не погасла,
Святы песни и псалмы.
Льется солнечное масло
На зеленые холмы.

Верю, родина, и знаю,
Что легка твоя стопа,
Не одна ведет нас к раю
Богомольная тропа.

Все пути твои — в удаче,
Но в одном лишь счастья нет:
Он закован в белом плаче
Разгадавших новый свет.

Там настроены палаты
Из церковных кирпичей;
Те палаты — казематы
Да железный звон цепей.

Не ищи меня ты в Боге,
Не зови любить и жить...
Я пойду по той дороге
Буйну голову сложить.

<1915>

РУСАЛКА ПОД НОВЫЙ ГОД

Ты не любишь меня, милый голубь,
Не со мной ты воркуешь, с другою.

Ах, пойду я к реке под горою,
Кинусь с берега в черную прорубь.

Не отыщет никто мои кости,
Я русалкой вернуся весною.
Приведешь ты коня к водопою,
И коня напою я из горсти.

Запою я тебе втихомолку,
Как живу я царевной, тоскую,
Заману я тебя, заколдую,
Уведу коня в струи за холку!

Ой, как терем стоит под водою —
Там играют русалочки в жмурки, —
Изо льда он, а окна-конурки
В сизых рамах горят под слюдою.

На постель я травы натаскаю,
Положу я тебя с собой рядом.
Буду тешить тебя своим взглядом,
Зацелую тебя, заласкаю!

<*1915*>

* * *

Не в моего ты Бога верила,
Россия, родина моя!
Ты как колдунья дали мерила,
И был как пасынок твой я.
Боец забыл отвагу смелую,
Пророк одрях и стал слепой.
О, дай мне руку охладелую —
Идти единою тропой.
Пойдем, пойдем, царевна сонная,
К веселой вере и одной,
Где светит радость испоконная
Неопалимой купиной.
Не клонь главы на грудь могутную
И не пугайся вещим сном.
О, будь мне матерью напутною
В моем паденье роковом.

<*1916*>

* * *

Закружилась пряжа снежистого льна,
Панихидный вихорь плачет у окна.
Замело дорогу вьюжным рукавом,
С этой панихидой век свой весь живем.
Пойте и рыдайте, ветры, на тропу,
Нечем нам на помин заплатить попу.
Слушай мое сердце, бедный человек,
Нам за гробом грусти не слыхать вовек.
Как помрем — без пенья, под ветряный звон
Понесут нас в церковь на мирской канон.
Некому поплакать, некому кадить,
Есть ли им охота даром приходить.
Только ветер резвый, озорник такой,
Запоет разлуку вместо упокой.

<1916>

* * *

Скупились звезды в невидимом бредне,
Жутко и страшно проснувшейся бредне.
Пьяно кружуся я в роще помятой,
Хочется звезды рукою помяти.
Блестятся гусли веселого лада,
В озере пенистом моется лада.
Груди упруги, как сочные дули,
Ластится к вихрям, чтоб в кости ей дули.
Тает, как радуга, зорька вечерня,
С тихою радостью в сердце вечерня.

<1916>

* * *

Гаснут красные крылья заката,
Тихо дремлют в тумане плетни.
Не тоскуй, моя белая хата,
Что опять мы одни и одни.

Чистит месяц в соломенной крыше
Обоймённые синью рога.
Не пошел я за ней и не вышел
Провожать за глухие стога.

Знаю, годы тревогу заглушат.
Эта боль, как и годы, пройдет.
И уста, и невинную душу
Для другого она бережет.

Не силен тот, кто радости просит,
Только гордые в силе живут.
А другой изомнет и за́бросит,
Как изъеденный сырью хомут.

Не с тоски я судьбы поджидаю,
Будет злобно крутить пороша́.
И придет она к нашему краю
Обогреть своего малыша.

Снимет шубу и шали развяжет,
Примостится со мной у огня...
И спокойно и ласково скажет,
Что ребенок похож на меня.

<1916>

НА ПАМЯТЬ МИШЕ МУРАШЕВУ

Сегодня синели лужи
И легкий шептал ветерок.
Знай, никому не нужен
Неба зеленый песок.

Жили и были мы в яви,
Всюду везде одни.
Ты, как весну по дубраве,
Пьешь свои белые дни.

Любишь ты, любишь, знаю,
Нежные души ласкать,
Но не допустит нас к раю
Наша земная печать.

Вечная даль перед нами,
Путь наш задумчив и прост.
Даст нам приют за холмами
Грязью покрытый погост.

15 марта 1916

* * *

Дорогой дружище Миша,
Ты как вихрь, а я как замять,
Сбереги под тихой крышей
Обо мне любовь и память.

15 марта 1916

НИЩИЙ С ПАПЕРТИ

Глаза — как выцветший лопух,
В руках зажатые монеты.
Когда-то славный был пастух,
Теперь поет про многи лета.
А вон старушка из угла,
Что слезы льет перед иконой,
Она любовь его была
И пьяный сон в меже зеленой.
На свитках лет сухая пыль.
Былого нет в заре куканьшей.
И лишь обгрызанный костыль
В его руках звенит, как раньше.
Она чужда ему теперь,
Забыла звонкую жалейку.
И как пойдет, спеша, за дверь,
Подаст в ладонь ему копейку.
Он не посмотрит ей в глаза,
При встрече глаз больнее станет,
Но, покрестясь на образа,
Рабу по имени помянет.

<1916>

* * *

Месяц рогом облако бодает,
В голубой купается пыли.
В эту ночь никто не отгадает,
Отчего кричали журавли.
В эту ночь к зеленому затону
Прибегла она из тростника.
Золотые космы по хитону
Разметала белая рука.

Прибегла, в ручей взглянула прыткий,
Опустилась с болью на пенек.
И в глазах завяли маргаритки,
Как болотный гаснет огонек.
На рассвете с вьющимся туманом
Уплыла и скрылася вдали...
И кивал ей месяц за курганом,
В голубой купаяся пыли.

<1916>

* * *

Еще не высох дождь вчерашний —
В траве зеленая вода!
Тоскуют брошенные пашни,
И вянет, вянет лебеда.

Брожу по улицам и лужам,
Осенний день пуглив и дик.
И в каждом встретившемся муже
Хочу постичь твой милый лик.

Ты все загадочней и краше
Глядишь в неясные края.
О, для тебя лишь счастье наше
И дружба верная моя.

И если смерть по Божьей воле
Смежит глаза твои рукой,
Клянусь, что тенью в чистом поле
Пойду за смертью и тобой.

<1916>

* * *

В зеленой церкви за горой,
Где вербы четки уронили,
Я поминаю просфорой
Младой весны младые были.

А ты, склонившаяся ниц,
Передо мной стоишь незримо,

Шелка опущенных ресниц
Колышут крылья херувима.

Не омрачен твой белый рок
Твоей застывшею порою,
Все тот же розовый платок
Затянут смуглою рукою.

Все тот же вздох упруго жмет
Твои надломленные плечи
О том, кто за морем живет
И кто от родины далече.

И все тягуче память дня
Перед пристойным ликом жизни.
О, помолись и за меня,
За бесприютного в отчизне.

Июнь 1916
Константиново

* * *

Даль подернулась туманом,
Чешет тучи лунный гребень.
Красный вечер за куканом
Расстелил кудрявый бредень.

Под окном от скользких вётел
Перепёльи звоны ветра.
Тихий сумрак, ангел теплый,
Напоен нездешним светом.

Сон избы легко и ровно
Хлебным духом сеет притчи.
На сухой соломе в дровнях
Слаще мёда пот мужичий.

Чей-то мягкий лих за лесом,
Пахнет вишнями и мохом...
Друг, товарищ и ровесник,
Помолись коровьим вздохам.

Июнь 1916

* * *

Слушай, поганое сердце,
Сердце собачье мое.
Я на тебя, как на вора,
Спрятал в руках лезвие.

Рано ли, поздно всажу я
В ребра холодную сталь.
Нет, не могу я стремиться
В вечную сгнившую даль.

Пусть поглупее болтают,
Что их загрызла мета;
Если и есть что на свете —
Это одна пустота.

3 июля 1916

* * *

Мальвине Мироновне — С. Есенин

В глазах пески зеленые
И облака.
По кружеву крапленому
Скользит рука.

То близкая, то дальняя,
И так всегда.
Судьба ее печальная —
Моя беда.

9 июля 1916

* * *

Небо сметаной обмазано,
Месяц как сырный кусок.
Только не с пищею связано
Сердце, больной уголок.

Хочется есть, да не этого,
Что так шуршит на зубу.

Жду я веселого, светлого,
Как молодую судьбу.

Жгуче желания множат
Душу больную мою,
Но и на гроб мне положат
С квасом крутую кутью.

9 июля 1916

ИСУС МЛАДЕНЕЦ

Собрала Пречистая
Журавлей с синицами
В храме:

«Пойте, веселитеся
И за всех молитеся
С нами!»

Молятся с поклонами
За судьбу греховную,
За нашу;

А маленький Боженька,
Подобравши ноженьки,
Ест кашу.

Подошла синица,
Бедовая птица,
Попросила:

«Я Тебе, Боженька,
Притомив ноженьки,
Молилась».

Журавль и скажи враз:
«Тебе и кормить нас,
Коль создал».

А Боженька наш
Поделил им кашу
И отдал.

В золоченой хате
Смотрит Божья Мати
В небо.

А сыночек маленький
Просит на завалинке
Хлеба.

Позвала Пречистая
Журавлей с синицами,
Сказала:

«Приносите, птицы,
Хлеба и пшеницы
Не мало».

Замешкались птицы —
Журавли, синицы —
Дождь прочат.

А Боженька в хате
Все теребит Мати,
Есть хочет.

Вышла Богородица
В поле, за околицу,
Кличет.

Только ветер по полю,
Словно кони, топает,
Свищет.

Боженька Маленький
Плакал на завалинке
От горя.

Плакал, обливаясь...
Прилетал тут аист
Белоперый.

Взял он осторожненько
Красным клювом Боженьку,
Умчался.

И Господь на елочке,
В аистовом гнездышке,
Качался.

Ворочалась к хате
Пречистая Мати —
Сына нету.

Собрала котомку
И пошла сторонкой
По свету.

Шла, несла не мало,
Наконец сыскала
В лесочке:

На спине катается
У Белого аиста
Сыночек.

Позвала Пречистая
Журавлей с синицами,
Сказала:

«На вечное время
Собирайте семя
Не мало.

А Белому аисту,
Что с Богом катается
Меж веток,

Носить на завалинки
Синеглазых маленьких
Деток».

<1916>

* * *

В багровом зареве закат шипуч и пенен,
Березки белые горят в своих венцах.
Приветствует мой стих младых царевен
И кротость юную в их ласковых сердцах.

Где тени бледные и горестные муки,
Они тому, кто шел страдать за нас,
Протягивают царственные руки,
Благословляя их к грядущей жизни час.

На ложе белом, в ярком блеске света,
Рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть...
И вздрагивают стены лазарета
От жалости, что им сжимает грудь.

Все ближе тянет их рукой неодолимой
Туда, где скорбь кладет печать на лбу.
О, помолись, святая Магдалина,
За их судьбу.

<1916>

* * *

Без шапки, с лыковой котомкой,
Стирая пот свой, как елей,
Бреду дубравною сторонкой
Под тихий шелест тополей.

Иду, застегнутый веревкой,
Сажусь под копны на лужок.
На мне дырявая поддевка,
А поводырь мой — подожок.

Пою я стих о светлом рае,
Довольный мыслью, что живу,
И крохи сочные бросаю
Лесным камашкам на траву.

По лопуху промяты стежки,
Вдали озерный купорос,
Цепляюсь в клейкие сережки
Обвисших до земли берез.

И по кустам межи соседней,
Под возглашенья гулких сов,
Внимаю, словно за обедней,
Молебну птичьих голосов.

<1916>

* * *

День ушел, убавилась черта,
Я опять подвинулся к уходу.
Легким взмахом белого перста
Тайны лет я разрезаю воду.

В голубой струе моей судьбы
Накипи холодной бьется пена,
И кладет печать немого плена
Складку новую у сморщенной губы.

С каждым днем я становлюсь чужим
И себе, и жизнь кому велела.
Где-то в поле чистом, у межи,
Оторвал я тень свою от тела.

Неодетая она ушла,
Взяв мои изогнутые плечи.
Где-нибудь она теперь далече
И другого нежно обняла.

Может быть, склоняяся к нему,
Про меня она совсем забыла
И, вперившись в призрачную тьму,
Складки губ и рта переменила.

Но живет по звуку прежних лет,
Что, как эхо, бродит за горами.
Я целую синими губами
Черной тенью тиснутый портрет.

<1916>

МЕЧТА

(Из книги «Стихи о любви»)

1

В темной роще на зеленых елях
Золотятся листья вялых ив.
Выхожу я на высокий берег,
Где покойно плещется залив.

Две луны, рога свои качая,
Замутили желтым дымом зыбь.
Гладь озер с травой не различая,
Тихо плачет на болоте выпь.

В этом голосе обкошенного луга
Слышу я знакомый сердцу зов.
Ты зовешь меня, моя подруга,
Погрустить у сонных берегов.

Много лет я не был здесь и много
Встреч веселых видел и разлук,
Но всегда хранил в себе я строго
Нежный сгиб твоих туманных рук.

2

Тихий отрок, чувствующий кротко,
Голубей целующий в уста, —
Тонкий стан с медлительной походкой
Я любил в тебе, моя мечта.

Я бродил по городам и селам,
Я искал тебя, где ты живешь,
И со смехом, резвым и веселым,
Часто ты меня манила в рожь.

За оградой монастырской кроясь,
Я вошел однажды в белый храм:
Синею водою солнце моясь,
Свой орарь мне кинуло к ногам.

Я стоял, как инок, в блеске алом,
Вдруг сдавила горло тишина...
Ты вошла под черным покрывалом
И, поникнув, стала у окна.

3

С паперти под колокол гудящий
Ты сходила в благовоньи свеч.
И не мог я, ласково дрожащий,
Не коснуться рук твоих и плеч.

Я хотел сказать тебе так много,
Что томило душу с ранних пор,
Но дымилась тихая дорога
В незакатном полыме озер.

Ты взглянула тихо на долины,
Где в траве ползла кудряво мгла...
И упали редкие седины
С твоего увядшего чела...

Чуть бледнели складки от одежды,
И, казалось в русле темных вод, —
Уходя, жевал мои надежды
Твой беззубый, шамкающий рот.

4

Но недолго душу холод мучил.
Как крыло, прильнув к ее ногам,
Новый короб чувства я навьючил
И пошел по новым берегам.

Безо шва стянулась в сердце рана,
Страсть погасла, и любовь прошла.
Но опять пришла ты из тумана
И была красива и светла.

Ты шепнула, заслонясь рукою:
«Посмотри же, как я молода.
Это жизнь тебя пугала мною,
Я же вся как воздух и вода».

В голосах обкошенного луга
Слышу я знакомый сердцу зов.
Ты зовешь меня, моя подруга,
Погрустить у сонных берегов.

<1916>

* * *

Синее небо, цветная дуга,
Тихо степные бегут берега,
Тянется дым, у малиновых сел
Свадьба ворон облегла частокол.

Снова я вижу знакомый обрыв
С красною глиной и сучьями ив,
Грезит над озером рыжий овес,
Пахнет ромашкой и медом от ос.

Край мой! Любимая Русь и Мордва!
Притчею мглы ты, как прежде, жива.
Нежно под трепетом ангельских крыл
Звонят кресты безымянных могил.

Многих ты, родина, ликом своим
Жгла и томила по шахтам сырым.
Много мечтает их, сильных и злых,
Выкусить ягоды персей твоих.

Только я верю: не выжить тому,
Кто разлюбил твой острог и тюрьму...
Вечная правда и гомон лесов
Радуют душу под звон кандалов.

<1916>

* * *

Пушистый звон и руга,
И камень под крестом.
Стегает злая вьюга
Расщелканным кнутом.

Шаманит лес-кудесник
Про черную судьбу.
Лежишь ты, мой ровесник,
В нетесаном гробу.

Пусть снова финский ножик
Кровавит свой клинок,
Тебя не потревожит
Ни пеший, ни ездок.

И только с перелесиц
Сквозь облачный тулуп
Слезу обронит месяц
На мой завьялый труп.

<1916—1917>

* * *

Снег, словно мед ноздреватый,
Лег под прямой частокол.
Лижет теленок горбатый
Вечера красный подол.

Тихо. От хлебного духа
Снится кому-то апрель.
Кашляет бабка-старуха,
Грудью склонясь на кудель.

Рыжеволосый внучонок
Щупает в книжке листы.
Стан его гибок и тонок,
Руки белей бересты.

Выпала бабке удача,
Только одно невдомек:
Плохо решает задачи
Выпитый ветром умок.

С глазу ль, с немилого ль взора
Часто она под удой
Поит его с наговором
Преполовенской водой.

И за глухие поклоны
С лика упавших седин
Пишет им числа с иконы
Божий слуга — Дамаскин.

<1917>

* * *

К теплому свету, на отчий порог,
Тянет меня твой задумчивый вздох.

Ждут на крылечке там бабка и дед
Резвого внука подсолнечных лет.

Строен и бел, как березка, их внук,
С медом волосьев и бархатом рук.

Только, о друг, по глазам голубым —
Жизнь его в мире пригрезилась им.

Шлет им лучистую радость во мглу
Светлая дева в иконном углу.

С тихой улыбкой на тонких губах
Держит их внука она на руках.

<1917>

* * *

Есть светлая радость под сенью кустов
Поплакать о прошлом родных берегов
И, первую проседь лаская на лбу,
С приятною болью пенять на судьбу.
Ни друга, ни думы о бабьих губах
Не зреет в ее тихомудрых словах,
Но есть в ней, как вера, живая мечта
К незримому свету приблизить уста.
Мы любим в ней вечер, над речкой овес, —
И отроков резвых с медынью волос.
Стряхая с бровей своих призрачный дым,
Нам сладко о тайнах рассказывать им.
Есть нежная кротость, присев на порог,
Молиться закату и лику дорог.
В обсыпанных рощах, на сжатых полях
Грустит наша дума об отрочьих днях.
За отчею сказкой, за звоном стропил
Несет ее шорох неведомых крыл...
Но крепко в равнинах ковыльных лугов
Покоится правда родительских снов.

<1917>

* * *

Не от холода рябинушка дрожит,
Не от ветра море синее кипит.

Напоили землю радостью снега,
Снятся деду иорданские брега.

Видит в долах он озера да кусты,
Чрез озера перекинуты мосты.

Как по мостику, кудряв и желторус,
Бродит отрок, сын Иосифа, Исус.

От восхода до заката в хмаре вод
Кличет утиц он и рыбешек зовет:

«Вы сходитесь ко мне, твари, за корму,
Научите меня разуму-уму».

Как по бережку, меж вымоин и гор,
Тихо льется их беседа-разговор.

Мелка рыбешка, сплеснувшись на песок,
Подает ли свой подводный голосок:

«Уж ты, чадо, мило дитятко, Христос,
Мы пришли к тебе с поклоном на допрос.

Ты иди учись в пустынях да лесах;
Наша тайна отразилась в небесах».

<1917>

* * *

Заря над полем — как красный тын.
Плывет на тучке превечный сын.

Вот вышла бабка кормить цыплят.
Горит на небе святой оклад.

— Здорово, внучек!
                    — Здорово, свет!

— Зайди в избушку.
                    — А дома ль дед?

— Он чинит невод ловить ершей.
— А много ль деду от роду дней?

— Уж скоро девять десятков зим. —
И вспорхнул внучек, как белый дым.

С душою деда поплыл в туман,
Где зреет полдень незримых стран.

<1917>

* * *

Небо ли такое белое
Или солью выцвела вода?
Ты поешь, и песня оголтелая
Береговые вяжет повода.

Синим жерновом развеяны и смолоты
Водяные зерна на муку.
Голубой простор и золото
Опоясали твою тоску.

Не встревожен лаской угрюмою
Загорелый взмах твоей руки.
Все равно — Архангельском иль Умбою
Проплывать тебе на Соловки.

Все равно под стоптанною палубой
Видишь ты погорбившийся скит.
Подпевает тебе жалоба
Об изгибах тамошних ракит.

Так и хочется под песню свеситься
Над водою, спихивая день...
Но спокойно светит вместо месяца
Отразившийся на облаке тюлень.

1917

О РОДИНА!

О родина, о новый
С златою крышей кров,
Труби, мычи коровой,
Реви телком громов.

Брожу по синим селам,
Такая благодать.
Отчаянный, веселый,
Но весь в тебя я, мать.

В училище разгула
Крепил я плоть и ум.
С березового гула
Растет твой вешний шум.

Люблю твои пороки,
И пьянство, и разбой,
И утром на востоке
Терять себя звездой.

И всю тебя, как знаю,
Хочу измять и взять,
И горько проклинаю
За то, что ты мне мать.

<1917>

* * *

Свищет ветер под крутым забором,
Прячется в траву.
Знаю я, что пьяницей и вором
Век свой доживу.
Тонет день за красными холмами,
Кличет на межу.
Не один я в этом свете шляюсь,
Не один брожу.
Размахнулось поле русских пашен,
То трава, то снег.
Все равно, литвин я иль чувашин,
Крест мой как у всех.
Верю я, как ликам чудотворным,
В мой потайный час
Он придет бродягой подзаборным,
Нерушимый Спас.
Но, быть может, в синих клочьях дыма
Тайноводных рек
Я пройду его с улыбкой пьяной мимо,
Не узнав навек.

Не блеснет слеза в моих ресницах,
Не вспугнет мечту.
Только радость синей голубицей
Канет в темноту.
И опять, как раньше, с дикой злостью
Запоет тоска...
Пусть хоть ветер на моем погосте
Пляшет трепака.

<1917>

* * *

Заметает пурга
    Белый путь,
Хочет в мягких снегах
    Потонуть.

Ветер резвый уснул
    На пути;
Ни проехать в лесу,
    Ни пройти.

Забежала коляда
    На село,
В руки белые взяла
    Помело.

Гей вы, нелюди-люди,
    Народ,
Выходите с дороги
    Вперед!

Испугалась пурга
    На снегах,
Побежала скорей
    На луга.

Ветер тоже спросонок
    Вскочил
Да и шапку с кудрей
    Уронил.

Утром ворон к березыньке
    Стук...
И повесил ту шапку
    На сук.

<1917>

СЕЛЬСКИЙ ЧАСОСЛОВ

Вл. Чернявскому

<1>

О солнце, солнце,
Золотое, опущенное в мир ведро,

Зачерпни мою душу!
Вынь из кладезя мук
Страны моей.

Каждый день,
Ухватившись за цепь лучей твоих,
Карабкаюсь я в небо.
Каждый вечер
Срываюсь и падаю в пасть заката.

Тяжко и горько мне...
Кровью поют уста...
Снеги, белые снеги —
Покров моей родины —
Рвут на части.

На кресте висит
Ее тело,
Голени дорог и холмов
Перебиты...

Волком воет от запада
Ветер...
Ночь, как ворон,
Точит клюв на глаза-озёра.
И доскою надкрестною
Прибита к горе заря:

ИСУС НАЗАРЯНИН
ЦАРЬ
ИУДЕЙСКИЙ

2

О месяц, месяц!
Рыжая шапка моего деда,
Закинутая озорным внуком на сук облака,
Спади на землю...
Прикрой глаза мои!

Где ты...
Где моя родина?

Лыками содрала твои дороги
        Буря,
Синим языком вылизал снег твой —
        Твою белую шерсть —
        Ветер...

И лежишь ты, как овца,
Дрыгая ногами в небо,
        Путая небо с яслями,
Путая звезды
С овсом золотистым.

О, путай, путай!
Путай все, что видишь...
Не отрекусь принять тебя даже с солнцем,
        Похожим на свинью...
Не испугаюсь просунутого пятачка его
        В частокол
        Души моей.
Тайна твоя велика есть.
Гибель твоя миру купель
        Предвечная.

3

О красная вечерняя заря!
        Прости мне крик мой.
Прости, что спутал я твою Медведицу
        С черпаком водовоза.

Пастухи пустыни —
Что мы знаем?..

Только ведь приходское училище
        Я кончил,
Только знаю Библию да сказки,
Только знаю, что поет овес при ветре...
        Да еще
        По праздникам
        Играть в гармошку.

Но постиг я...
Верю, что погибнуть лучше,
Чем остаться
        С содранною
        Кожей.

Гибни, край мой!
Гибни, Русь моя,
        Начертательница
Третьего
        Завета.

4

О звезды, звезды,
Восковые тонкие свечи,
Капающие красным воском
На молитвенник зари,
Склонитесь ниже!

Нагните пламя свое,
        Чтобы мог я,
        Привстав на цыпочки,
        Погасить его.

Он не понял, кто зажег вас,
О какой я пропел вам
        Смерти.

Радуйся,
        Земля!

Деве твоей Руси
Новое возвестил я
        Рождение.
        Сына тебе
        Родит она...

Имя ему —
                Израмистил.

Пой и шуми, Волга!
В синие ясли твои опрокинет она
        Младенца.

Не говорите мне,
        Что это
В полном круге
Будет всходить
        Луна...

Это он!
Это он
Из чрева Неба
Будет высовывать
Голову...

<1918>

* * *

И небо и земля все те же,
Все в те же воды я гляжусь,
Но вздох твой ледовитый реже,
Ложноклассическая Русь.

Не огражу мой тихий кров
От радости над умираньем,
Но жаль мне, жаль отдать страданью
Езекиильский глас ветров.

Шуми, шуми, реви сильней,
Свирепствуй, океан мятежный,
И в солнца золотые мрежи
Сгоняй сребристых окуней.

<1918>

* * *

Не стану никакую
Я девушку ласкать.
Ах, лишь одну люблю я,
Забыв любовь земную,
На небе Божью Мать.

В себе я мыслить волен,
В душе поет весна.
Ах, часто в келье темной
Я звал ее с иконы
К себе на ложе сна.

И в час, как полночь било,
В веселый ночи мрак
Она как тень сходила
И в рот сосцы струила
Младенцу на руках.

И, сев со мною рядом,
Она шептала мне:
«Смирись, моя услада,
Мы встретимся у сада
В небесной стороне».

<1918>

АКРОСТИХ

Радость, как плотвица быстрая,
Юрко светит и в воде.
Руки могут церковь выстроить
И кукушке и звезде.
Кайся нивам и черемухам, —
У живущих нет грехов.
Из удачи зыбы промаха
Воют только на коров.
Не зови себя разбойником,
Если ж чист, так падай в грязь.
Верь — теленку из подойника
Улыбается карась.

Утро, 21 января 1919

* * *

В час, когда ночь воткнет
Луну на черный палец, —
Ах, о ком? Ах, кому поет
Про любовь соловей-мерзавец?

Разве можно теперь любить,
Когда в сердце стирают зверя?
Мы идем, мы идем продолбить
Новые двери.

К черту чувства. Слова в навоз,
Только образ и мощь порыва!
Что нам солнце? Весь звездный обоз —
Золотая струя коллектива.

Что нам Индия? Что Толстой?
Этот ветер что был, что не был.

Нынче мужик простой
Пялится ширьше неба.

<Январь 1919>

* * *

Вот такой, какой есть,
Никому ни в чем не уважу,
Золотою плету я песнь,
А лицо иногда в сажу.

Говорят, что я большевик.
Да, я рад зауздать землю.
О, какой богомаз мои лик
Начертил, грозовице внемля?

Пусть Америка, Лондон пусть...
Разве воды текут обратно?
Это пляшет российская грусть,
На солнце смывая пятна.

Ф<евраль> 1919

* * *

Ветры, ветры, о снежные ветры,
Заметите мою прошлую жизнь.
Я хочу быть отроком светлым
Иль цветком с луговой межи.

Я хочу под гудок пастуший
Умереть для себя и для всех.
Колокольчики звездные в уши
Насыпает вечерний снег.

Хороша бестуманная трель его,
Когда топит он боль в пурге.
Я хотел бы стоять, как дерево,
При дороге на одной ноге.

Я хотел бы под конские храпы
Обниматься с соседним кустом.
Подымайте ж вы, лунные лапы,
Мою грусть в небеса ведром.

<1919—1920>

ПРОЩАНИЕ С МАРИЕНГОФОМ

Есть в дружбе счастье оголтелое
И судорога буйных чувств —
Огонь растапливает тело,
Как стеариновую свечу.

Возлюбленный мой! дай мне руки —
Я по-иному не привык, —
Хочу омыть их в час разлуки
Я желтой пеной головы.

Ах, Толя, Толя, ты ли, ты ли,
В который миг, в который раз —
Опять, как молоко, застыли
Круги недвижущихся глаз.

Прощай, прощай. В пожарах лунных
Дождусь ли радостного дня?
Среди прославленных и юных
Ты был всех лучше для меня.

В такой-то срок, в таком-то годе
Мы встретимся, быть может, вновь...
Мне страшно, — ведь душа проходит,
Как молодость и как любовь.

Другой в тебе меня заглушит.
Не потому ли — в лад речам —
Мои рыдающие уши,
Как весла, плещут по плечам?

Прощай, прощай. В пожарах лунных
Не зреть мне радостного дня,
Но все ж средь трепетных и юных
Ты был всех лучше для меня.

<1922>

* * *

Грубым дается радость,
Нежным дается печаль.
Мне ничего не надо,
Мне никого не жаль.

Жаль мне себя немного,
Жалко бездомных собак.
Эта прямая дорога
Меня привела в кабак.

Что ж вы ругаетесь, дьяволы?
Иль я не сын страны?
Каждый из нас закладывал
За рюмку свои штаны.

Мутно гляжу на окна,
В сердце тоска и зной.
Катится, в солнце измокнув,
Улица передо мной.

А на улице мальчик сопливый.
Воздух поджарен и сух.
Мальчик такой счастливый
И ковыряет в носу.

Ковыряй, ковыряй, мой милый,
Суй туда палец весь,
Только вот с эфтой силой
В душу свою не лезь.

Я уж готов... Я робкий...
Глянь на бутылок рать!
Я собираю пробки —
Душу мою затыкать.

1923

ПАПИРОСНИКИ

Улицы печальные,
Сугробы да мороз.
Сорванцы отчаянные
С лотками папирос.
Грязных улиц странники
В забаве злой игры,
Все они — карманники,
Веселые воры.

Тех площадь — на Никитской,
А этих — на Тверской.
Стоят с тоскливым свистом
Они там день-деньской.
Снуют по всем притонам
И, улучив досуг,
Читают Пинкертона
За кружкой пива вслух.
Пускай от пива горько,
Они без пива — вдрызг.
Все бредят Нью-Йорком,
Всех тянет в Сан-Франциск.

Потом опять печально
Выходят на мороз
Сорванцы отчаянные
С лотками папирос.

1923

* * *

Издатель славный! В этой книге
Я новым чувствам предаюсь,
Учусь постигнуть в каждом миге
Коммуной вздыбленную Русь.

Пускай о многом неумело
Шептал бумаге карандаш,
Душа спросонок хрипло пела,
Не понимая праздник наш.

Но ты видением поэта
Прочтешь не в буквах, а в другом,
Что в той стране, где власть Советов,
Не пишут старым языком.

И, разбирая опыт смелый,
Меня насмешке не предашь, —
Лишь потому так неумело
Шептал бумаге карандаш.

<1924>

ФОРМА

<1>

СВОЕ

Цветы на подоконнике,
Цветы, цветы.
Играют на гармонике,
Ведь слышишь ты?

Играют на гармонике,
Ну что же в том?
Мне нравятся две родинки
На лбу крутом.

Ведь ты такая нежная,
А я так груб.
Целую так небрежно я
Калину губ.

Куда ты рвешься, шалая?
Побудь, побудь...

Постой, душа усталая,
Забудь, забудь.

Она такая дурочка,
Как те и та...
Вот потому Снегурочка
Всегда мечта.

<1924>

2

НАРОДНАЯ

Подражание песенке матери

Ехал барин из Рязани,
Полтораста рублей сани.
Семисотенный конь
С раззолоченной дугой.

Уж я эту дугу
Заложить не могу.
Заложить не могу
Ни недругу, ни врагу.

Как поеду на Губань,
Соберу я разну рвань.
Соберу я разну рвань:
— Собирайте, братцы, дань.

Только рвани нынче нет —
По-другому сделан свет.
И поет гармоница,
Что исчезла вольница.

Руки врозь.
Вожжи брось.
Такая досада.
Тани нет. Тани нет,
А мне ее надо.

<1924>

ПАМЯТИ БРЮСОВА

Мы умираем,
Сходим в тишь и грусть,
Но знаю я —
Нас не забудет Русь.

Любили девушек,
Любили женщин мы
И ели хлеб
Из нищенской сумы.

Но не любили мы
Продажных торгашей.
Планета, милая, —
Катись, гуляй и пей.

Мы рифмы старые
Раз сорок повторим.
Пускать сумеем
Гоголя и дым.

Но все же были мы
Всегда одни.
Мой милый друг,
Не сетуй, не кляни!

Вот умер Брюсов,
Но помрем и мы, —
Не выпросить нам дней
Из нищенской сумы.

Но крепко вцапались
Мы в нищую суму.
Валерий Яклевич!
Мир праху твоему!

<1924>

«ЗАРЯ ВОСТОКА»

Так грустно на земле,
Как будто бы в квартире,
В которой год не мыли, не мели.
Какую-то хреновину в сем мире
Большевики нарочно завели.

Из книг мелькает лермонтовский парус,
А в голове паршивый сэр Керзон.
«Мне скучно, бес!»
«Что делать, Фауст?»
Таков предел вам, значит, положен.

Ирония! Вези меня! Вези!
Рязанским мужиком прищуривая око,
Куда ни заверни — все сходятся стези
В редакции «Зари Востока».

Приятно видеть вас, товарищ Лившиц,
Как в озеро, смотреть вам в добрые глаза,
Но, в гранки мокрые вцепившись,
Засекретарился у вас Кара-Мурза.

И Ахобадзе...! Други, будьте глухи,
Не приходите в трепет, ни в восторг, —
Финансовый маэстро Лопатухин
Пускается со мной за строчки в торг.

Подохнуть можно от незримой скуки.
В бумажном озере навек бы утонуть!
Мне вместо Карпов видятся все щуки,
Зубами рыбьими тревожа мозг и грудь.

Поэт! Поэт!
Нужны нам деньги. Да!
То туфли лопнули, то истрепалась шляпа,
Хотя б за книжку тысчу дал Вирап,
Но разве тысячу сдерешь с Вирапа.

Вержбицкий Коля!
Тоже друг хороший, —
Отдашь стихи, а он их в самый зад,
Под объявления, где тресты да галоши,
Как будто я галошам друг и брат.

Не обольщаюсь звоном сих регалий,
Не отдаюсь ни славе, ни тщете,
В душе застрял обиженный Бен-Гали
С неизлечимой дыркой в животе.

Дождусь ли дня и радостного срока,
Поправятся ль мои печальные дела?
Ты восхитительна, «Заря Востока»,
Но «Западной» ты лучше бы была.

<1924>

ВОСПОМИНАНИЕ

Теперь октябрь не тот,
Не тот октябрь теперь.
В стране, где свищет непогода,
Ревел и выл
Октябрь, как зверь,
Октябрь семнадцатого года.

Я помню жуткий
Снежный день.
Его я видел мутным взглядом.
Железная витала тень
«Над омраченным Петроградом».

Уже все чуяли грозу.
Уже все знали что-то.
Знали,
Что не напрасно, знать, везут
Солдаты черепах из стали.

Рассыпались...
Уселись в ряд...
У публики дрожат поджилки...
И кто-то вдруг сорвал плакат
Со стен трусливой учредилки.

И началось...
Метнулись взоры,
Войной гражданскою горя,
И дымом пушечным с «Авроры»
Взошла железная заря.

Свершилась участь роковая,
И над страной под вопли «матов»
Взметнулась надпись огневая:
«Совет Рабочих Депутатов».

<1924>

ЛЬВУ ПОВИЦКОМУ

Старинный друг!
Тебя я вижу вновь
Чрез долгую и хладную
Разлуку.
Сжимаю я
Мне дорогую руку
И говорю, как прежде,
Про любовь.

Мне любо на тебя
Смотреть.
Взгрустни
И приласкай немного.
Уже я не такой,
Как впредь —
Бушуйный,
Гордый недотрога.

Перебесились мы,
Чего скрывать?
Уж я не я...
А ты ли это, ты ли?

По берегам
Морская гладь —
Как лошадь
Загнанная, в мыле.

Теперь влюблен
В кого-то я,
Люблю и тщетно
Призываю,
Но все же
Точкой корабля
К земле любимой
Приплываю.

<1924>

ЦВЕТЫ

I

Цветы мне говорят прощай,
Головками кивая низко.
Ты больше не увидишь близко
Родное поле, отчий край.

Любимые! Ну что ж, ну что ж!
Я видел вас и видел землю,
И эту гробовую дрожь
Как ласку новую приемлю.

II

Весенний вечер. Синий час.
Ну как же не любить мне вас,
Как не любить мне вас, цветы?
Я с вами выпил бы на «ты».

Шуми, левкой и резеда.
С моей душой стряслась беда.

С душой моей стряслась беда.
Шуми, левкой и резеда.

III

Ах, колокольчик! твой ли пыл
Мне в душу песней позвонил
И рассказал, что васильки
Очей любимых далеки.

Не пой! Не пой мне! Пощади.
И так огонь горит в груди.
Она пришла, как к рифме «вновь»
Неразлучимая любовь.

IV

Цветы мои! Не всякий мог
Узнать, что сердцем я продрог,
Не всякий этот холод в нем
Мог растопить своим огнем.

Не всякий, длани кто простер,
Поймать сумеет долю злую.
Как бабочка — я на костер
Лечу и огненность целую.

V

Я не люблю цветы с кустов,
Не называю их цветами.
Хоть прикасаюсь к ним устами,
Но не найду к ним нежных слов.

Я только тот люблю цветок,
Который врос корнями в землю.
Его люблю я и приемлю,
Как северный наш василек.

VI

И на рябине есть цветы,
Цветы — предшественники ягод,

Они на землю градом лягут,
Багрец свергая с высоты.

Они не те, что на земле.
Цветы рябин другое дело.
Они как жизнь, как наше тело,
Делимое в предвечной мгле.

VII

Любовь моя! Прости, прости.
Ничто не обошел я мимо.

Но мне милее на пути,
Что для меня неповторимо.

Неповторимы ты и я.
Помрем — за нас придут другие.
Но это все же не такие —
Уж я не твой, ты не моя.

VIII

Цветы, скажите мне прощай,
Головками кивая низко,
Что не увидеть больше близко
Ее лицо, любимый край.

Ну что ж! пускай не увидать.
Я поражен другим цветеньем
И потому словесным пеньем
Земную буду славить гладь.

IX

А люди разве не цветы?
О милая, почувствуй ты,
Здесь не пустынные слова.

Как стебель тулово качая,
А эта разве голова
Тебе не роза золотая?

Цветы людей и в солнь и в стыть
Умеют ползать и ходить.

X

Я видел, как цветы ходили,
И сердцем стал с тех пор добрей,
Когда узнал, что в этом мире
То дело было в октябре.

Цветы сражалися друг с другом,
И красный цвет был всех бойчей.
Их больше падало под вьюгой,
Но все же мощностью упругой
Они сразили палачей.

XI

Октябрь! Октябрь!
Мне страшно жаль
Те красные цветы, что пали.
Головку розы режет сталь,
Но все же не боюсь я стали.

Цветы ходячие земли!
Они и сталь сразят почище,
Из стали пустят корабли,
Из стали сделают жилища.

XII

И потому, что я постиг,
Что мир мне не монашья схима,
Я ласково влагаю в стих,
Что все на свете повторимо.

И потому, что я пою,
Пою и вовсе не впустую,
Я милой голову мою
Отдам, как розу золотую.

<*1924*>

БАТУМ

Корабли плывут
В Константинополь.
Поезда уходят на Москву.
От людского шума ль
Иль от скопа ль
Каждый день я чувствую
Тоску.

Далеко я,
Далеко заброшен,
Даже ближе
Кажется луна.
Пригоршнями водяных горошин
Плещет черноморская
Волна.

Каждый день
Я прихожу на пристань,
Провожаю всех,
Кого не жаль,
И гляжу все тягостней
И пристальней
В очарованную даль.

Может быть, из Гавра
Иль Марселя
Приплывет
Луиза иль Жаннет,
О которых помню я
Доселе,
Но которых
Вовсе — нет.

Запах моря в привкус
Дымно-горький.
Может быть,
Мисс Митчел
Или Клод
Обо мне вспомянут
В Нью-Йорке,
Прочитав сей вещи перевод.

Все мы ищем
В этом мире буром
Нас зовущие
Незримые следы.
Не с того ль,
Как лампы с абажуром,
Светятся медузы из воды?

Оттого
При встрече иностранки
Я под скрипы
Шхун и кораблей
Слышу голос
Плачущей шарманки
Иль далекий
Окрик журавлей.

Не она ли это?
Не она ли?
Ну да разве в жизни
Разберешь?
Если вот сейчас ее
Догнали
И умчали
Брюки клеш.

Каждый день
Я прихожу на пристань,
Провожаю всех,
Кого не жаль,
И гляжу все тягостней
И пристальней
В очарованную даль.

А другие здесь
Живут иначе.
И недаром ночью

Слышен свист, —
Это значит,
С ловкостью собачьей
Пробирается контрабандист.

Пограничник не боится
Быстри.

Не уйдет подмеченный им
Враг,
Оттого так часто
Слышен выстрел
На морских, соленых
Берегах.

Но живуч враг,
Как ни вздынь его,
Потому синеет
Весь Батум.
Даже море кажется мне
Индиго
Под бульварный
Смех и шум.

А смеяться есть чему
Причина.
Ведь не так уж много
В мире див.

Ходит полоумный
Старичина,
Петуха на темень посадив.

Сам смеясь,
Я вновь иду на пристань,
Провожаю всех,
Кого не жаль,
И гляжу все тягостней
И пристальней
В очарованную даль.

<1924>

КАПИТАН ЗЕМЛИ

Еще никто
Не управлял планетой,
И никому
Не пелась песнь моя.
Лишь только он
С рукой своей воздетой
Сказал, что мир —
Единая семья.

Не обольщен я
Гимнами герою,
Не трепещу
Кровопроводом жил.
Я счастлив тем,
Что сумрачной порою
Одними чувствами
Я с ним дышал
И жил.

Не то что мы,
Которым все так
Близко, —
Впадают в диво
И слоны,
Как скромный мальчик
Из Симбирска
Стал рулевым
Своей страны.

Средь рева волн
В своей расчистке,
Слегка суров
И нежно мил,
Он много мыслил
По-марксистски,
Совсем по-ленински
Творил.

Нет!
Это не разгулье Стеньки!
Не пугачевский
Бунт и трон!
Он никого не ставил
К стенке.
Все делал
Лишь людской закон.

Он в разуме,
Отваги полный,
Лишь только прилегал
К рулю,
Чтобы об мыс
Дробились волны,
Простор давая
Кораблю.

Он — рулевой
И капитан.
Страшны ль с ним
Шквальные откосы?
Ведь, собранная
С разных стран,
Вся партия его —
Матросы.

Не трусь,
Кто к морю не привык:
Они за лучшие
Обеты
Зажгут,
Сойдя на материк,
Путеводительные светы.

Тогда поэт
Другой судьбы,
И уж не я,
А он меж вами

Споет вам песни
В честь борьбы
Другими,
Новыми словами.

Он скажет:
«Только тот пловец,
Кто, закалив
В бореньях душу,
Открыл для мира наконец
Никем не виданную
Сушу».

17 января 1925
Батум

1 МАЯ

Есть музыка, стихи и танцы,
Есть ложь и лесть...
Пускай меня бранят за стансы —
В них правда есть.

Я видел праздник, праздник мая —
И поражен.
Готов был сгибнуть, обнимая
Всех дев и жен.

Куда пойдешь, кому расскажешь
На чье-то «хны»,
Что в солнечной купались пряже
Балаханы?

Ну как тут в сердце гимн не высечь,
Не впасть как в дрожь?
Гуляли, пели сорок тысяч
И пили то ж.

Стихи! стихи! Не очень лефте!
Простей! Простей!
Мы пили за здоровье нефти
И за гостей.

И, первый мой бокал вздымая,
Одним кивком
Я выпил в этот праздник мая
За Совнарком.

Второй бокал, чтоб так, не очень
Вдрезину лечь,
Я выпил гордо за рабочих
Под чью-то речь.

И третий мой бокал я выпил,
Как некий хан,
За то, чтоб не сгибалась в хрипе
Судьба крестьян.

Пей, сердце! Только не в упор ты,
Чтоб жизнь губя...
Вот потому я пил четвертый
Лишь за себя.

<1925>

* * *

Неуютная жидкая лунность
И тоска бесконечных равнин, —

Вот что видел я в резвую юность,
Что, любя, проклинал не один.

По дорогам усохшие вербы
И тележная песня колес...
Ни за что не хотел я теперь бы,
Чтоб мне слушать ее привелось.

Равнодушен я стал к лачугам,
И очажный огонь мне не мил.
Даже яблонь весеннюю вьюгу
Я за бедность полей разлюбил.

Мне теперь по душе иное...
И в чахоточном свете луны
Через каменное и стальное
Вижу мощь я родной стороны.

Полевая Россия! Довольно
Волочиться сохой по полям!
Нищету твою видеть больно
И березам и тополям.

Я не знаю, что будет со мною...
Может, в новую жизнь не гожусь,
Но и все же хочу я стальною
Видеть бедную, нищую Русь.

И, внимая моторному лаю
В сонме вьюг, в сонме бурь и гроз,
Ни за что я теперь не желаю
Слушать песню тележных колес.

<1925>

* * *

Я помню, любимая, помню
Сиянье твоих волос...
Не радостно и не легко мне
Покинуть тебя привелось.

Я помню осенние ночи,
Березовый шорох теней...

Пусть дни тогда были короче,
Луна нам светила длинней.

Я помню, ты мне говорила:
«Пройдут голубые года,
И ты позабудешь, мой милый,
С другою меня навсегда».

Сегодня цветущая липа
Напомнила чувствам опять,
Как нежно тогда я сыпал
Цветы на кудрявую прядь.

И сердце, остыть не готовясь
И грустно другую любя,
Как будто любимую повесть
С другой вспоминает тебя.

<1925>

* * *

Я иду долиной. На затылке кепи,
В лайковой перчатке смуглая рука.
Далеко сияют розовые степи,
Широко синеет тихая река.

Я — беспечный парень. Ничего не надо.
Только б слушать песни — сердцем подпевать,
Только бы струилась легкая прохлада,
Только б не сгибалась молодая стать.

Выйду за дорогу, выйду под откосы —
Сколько там нарядных мужиков и баб!
Что-то шепчут грабли, что-то свищут косы...
«Эй, поэт, послушай, слаб ты иль не слаб?

На земле милее. Полно плавать в небо.
Как ты любишь долы, так бы труд любил.
Ты ли деревенским, ты ль крестьянским не был?
Размахнись косою, покажи свой пыл».

Ах, перо — не грабли, ах, коса — не ручка, —
Но косой выводят строчки хоть куда.

Под весенним солнцем, под весенней тучкой
Их читают люди всякие года.

К черту я снимаю свой костюм английский.
Что же, дайте косу, я вам покажу —
Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий,
Памятью деревни я ль не дорожу?

Нипочем мне ямы, нипочем мне кочки.
Хорошо косою в утренний туман
Выводить по долам травяные строчки,
Чтобы их читали лошадь и баран.

В этих строчках — песня, в этих строчках — слово.
Потому и рад я в думах ни о ком,
Что читать их может каждая корова,
Отдавая плату теплым молоком.

18 июля 1925

* * *

Тихий ветер. Вечер сине-хмурый.
Я смотрю широкими глазами.
В Персии такие ж точно куры,
Как у нас в соломенной Рязани.

Тот же месяц, только чуть пошире,
Чуть желтее и с другого края.
Мы с тобою любим в этом мире
Одинаково со всеми, дорогая.

Ночи теплые, — не в воле я, не в силах,
Не могу не прославлять, не петь их.
Так же девушки здесь обнимают милых
До вторы́х до петухов, до третьих.

Ах, любовь! Она ведь всем знакома,
Это чувство знают даже кошки,
Только я с отчизной и без дома
От нее сбираю скромно крошки.

Счастья нет. Но горевать не буду —
Есть везде родные сердцу куры,
Для меня рассеяны повсюду
Молодые чувственные дуры.

С ними я все радости приемлю
И для них лишь говорю стихами:
Оттого, знать, люди любят землю,
Что она пропахла петухами.

<1925>

* * *

Море голосов воробьиных.
Ночь, а как будто ясно.
Так ведь всегда прекрасно.
Ночь, а как будто ясно,
И на устах невинных
Море голосов воробьиных.

Ах, у луны такое, —
Светит — хоть кинься в воду.
Я не хочу покоя
В синюю эту погоду.
Ах, у луны такое, —
Светит — хоть кинься в воду.

Милая, ты ли? та ли?
Эти уста не устали.
Эти уста, как в струях,
Жизнь утолят в поцелуях.
Милая, ты ли? та ли?
Розы ль мне то нашептали?

Сам я не знаю, что будет.
Близко, а, может, гдей-то
Плачет веселая флейта.
В тихом вечернем гуде
Чту я за лилии груди.
Плачет веселая флейта,
Сам я не знаю, что будет.

<1925>

* * *

Плачет метель, как цыганская скрипка.
Милая девушка, злая улыбка,
Я ль не робею от синего взгляда?
Много мне нужно и много не надо.

Так мы далеки и так не схожи —
Ты молодая, а я все прожил.
Юношам счастье, а мне лишь память
Снежною ночью в лихую замять.

Я не заласкан — буря мне скрипка.
Сердце метелит твоя улыбка.

4/5 октября 1925

* * *

Ах, метель такая, просто черт возьми!
Забивает крышу белыми гвоздьми.
Только мне не страшно, и в моей судьбе
Непутевым сердцем я прибит к тебе.

4/5 октября 1925

* * *

Снежная равнина, белая луна,
Саваном покрыта наша сторона.
И березы в белом плачут по лесам.
Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам?

4/5 октября 1925

* * *

Клен ты мой опавший, клен заледенелый,
Что стоишь нагнувшись под метелью белой?

Или что увидел? Или что услышал?
Словно за деревню погулять ты вышел.

И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу,
Утонул в сугробе, приморозил ногу.

Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий,
Не дойду до дома с дружеской попойки.

Там вон встретил вербу, там сосну приметил,
Распевал им песни под метель о лете.

Сам себе казался я таким же кленом,
Только не опавшим, а вовсю зеленым.

И, утратив скромность, одуревши в доску,
Как жену чужую, обнимал березку.

28 ноября 1925

* * *

Какая ночь! Я не могу...
Не спится мне. Такая лунность!
Еще как будто берегу
В душе утраченную юность.

Подруга охладевших лет,
Не называй игру любовью.
Пусть лучше этот лунный свет
Ко мне струится к изголовью.

Пусть искаженные черты
Он обрисовывает смело, —
Ведь разлюбить не сможешь ты,
Как полюбить ты не сумела.

Любить лишь можно только раз.
Вот оттого ты мне чужая,
Что липы тщетно манят нас,
В сугробы ноги погружая.

Ведь знаю я и знаешь ты,
Что в этот отсвет лунный, синий
На этих липах не цветы —
На этих липах снег да иней.

Что отлюбили мы давно,
Ты — не меня, а я — другую,
И нам обоим все равно
Играть в любовь недорогую.

Но все ж ласкай и обнимай
В лукавой страсти поцелуя,
Пусть сердцу вечно снится май
И та, что навсегда люблю я.

30 ноября 1925

* * *

Не гляди на меня с упреком,
Я презренья к тебе не таю,
Но люблю я твой взор с поволокой
И лукавую кротость твою.

Да, ты кажешься мне распростертой,
И, пожалуй, увидеть я рад,
Как лиса, притворившись мертвой,
Ловит воронов и воронят.

Ну и что же, лови, я не струшу,
Только как бы твой пыл не погас, —
На мою охладевшую душу
Натыкались такие не раз.

Не тебя я люблю, дорогая,
Ты — лишь отзвук, лишь только тень.
Мне в лице твоем снится другая,
У которой глаза — голубень.

Пусть она и не выглядит кроткой
И, пожалуй, на вид холодна,
Но она величавой походкой
Всколыхнула мне душу до дна.

Вот такую едва ль отуманишь,
И не хочешь пойти, да пойдешь,
Ну, а ты даже в сердце не вранишь
Напоенную ласкою ложь.

Но и все же, тебя презирая,
Я смущенно откроюсь навек:
Если б не было ада и рая,
Их бы выдумал сам человек.

1 декабря 1925

* * *

Ты меня не любишь, не жалеешь,
Разве я немного не красив?

Не смотря в лицо, от страсти млеешь,
Мне на плечи руки опустив.

Молодая, с чувственным оскалом,
Я с тобой не нежен и не груб.
Расскажи мне, скольких ты ласкала?
Сколько рук ты помнишь? Сколько губ?

Знаю я — они прошли, как тени,
Не коснувшись твоего огня,
Многим ты садилась на колени,
А теперь сидишь вот у меня.

Пусть твои полузакрыты очи,
И ты думаешь о ком-нибудь другом,
Я ведь сам люблю тебя не очень,
Утопая в дальнем дорогом.

Этот пыл не называй судьбою,
Легкодумна вспыльчивая связь, —
Как случайно встретился с тобою,
Улыбнусь, спокойно разойдясь.

Да и ты пойдешь своей дорогой
Распылять безрадостные дни,
Только нецелованных не трогай,
Только негоревших не мани.

И когда с другим по переулку
Ты пройдешь, болтая про любовь,
Может быть, я выйду на прогулку,
И с тобою встретимся мы вновь.

Отвернув к другому ближе плечи
И немного наклонившись вниз,
Ты мне скажешь тихо: «Добрый вечер...»
Я отвечу: «Добрый вечер, miss».

И ничто души не потревожит,
И ничто ее не бросит в дрожь, —
Кто любил, уж тот любить не может,
Кто сгорел, того не подожжешь.

4 декабря 1925

* * *

Может, поздно, может, слишком рано,
И о чем не думал много лет,
Походить я стал на Дон-Жуана,
Как заправский ветреный поэт.

Что случилось? Что со мною сталось?
Каждый день я у других колен.
Каждый день к себе теряю жалость,
Не смиряясь с горечью измен.

Я всегда хотел, чтоб сердце меньше
Билось в чувствах нежных и простых,
Что ж ищу в очах я этих женщин —
Легкодумных, лживых и пустых?

Удержи меня, мое презренье,
Я всегда отмечен был тобой.
На душе холодное кипенье
И сирени шелест голубой.

На душе — лимонный свет заката,
И все то же слышно сквозь туман, —
За свободу в чувствах есть расплата,
Принимай же вызов, Дон-Жуан!

И, спокойно вызов принимая,
Вижу я, что мне одно и то ж —
Чтить метель за синий цветень мая,
Звать любовью чувственную дрожь.

Так случилось, так со мною сталось,
И с того у многих я колен,
Чтобы вечно счастье улыбалось,
Не смиряясь с горечью измен.

13 декабря 1925

* * *

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,
Перстень счастья ищущий во мгле,

Эту жизнь живу я словно кстати,
Заодно с другими на земле.

И с тобой целуюсь по привычке,
Потому что многих целовал,
И, как будто зажигая спички,
Говорю любовные слова.

«Дорогая», «милая», «навеки»,
А в уме всегда одно и то ж,
Если тронуть страсти в человеке,
То, конечно, правды не найдешь.

Оттого душе моей не жестко
Ни желать, ни требовать огня,
Ты, моя ходячая березка,
Создана для многих и меня.

Но, всегда ища себе родную
И томясь в неласковом плену,
Я тебя нисколько не ревную,
Я тебя нисколько не кляну.

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,
Синь очей утративший во мгле,
И тебя любил я только кстати,
Заодно с другими на земле.

<1925>

* * *

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

<1925>

СТИХИ НА СЛУЧАЙ. ЧАСТУШКИ

* * *

«Пророк» мой кончен, слава Богу.
Мне надоело уж писать.
Теперь я буду понемногу
Свои ошибки разбирать.

<1913>

* * *

Перо не быльница,
Но в нем есть звон.
Служи, чернильница,
Лесной канон.
О мати вечная,
Святой покров.
Любовь заречная —
Без слов.

6 октября 1915

* * *

Любовь Столица, Любовь Столица,
О ком я думал, о ком гадал.
Она как демон, она как львица, —
Но лик невинен и зорьно ал.

<1915>

ЧАСТУШКИ

(О поэтах)

Я сидела на песке
У моста высокова.
Нету лучше из стихов
Александра Блокова.

Сделала свистулечку
Из ореха грецкого.
Веселее нет и звонче
Песен Городецкого.

Неспокойная была,
Неспокой оставила.
Успокоили стихи
Кузмина Михаила.

Шел с Орехова туман,
Теперь идет из Зуева.
Я люблю стихи в лаптях
Миколая Клюева.

Дуют ветры от реки,
Дуют от околицы.
Есть и ситец и парча
У Любови Столицы.

Заливается в углу
Таракан, как пеночка.
Не подумай, что растешь,
Таня Ефименочка.

Ах, сыпь, ах, жарь,
Маяковский — бездарь.
Рожа краской питана,
Обокрал Уитмана.

Пляшет Брюсов по Тверской
Не мышом, а крысиной.
Дяди, дяди, я большой,
Скоро буду с лысиной.

<1915—1917>

Ох, батюшки, ох-ох-ох,
Есть поэт Мариенгоф.
Много кушал, много пил,
Без подштанников ходил.

Квас сухарный, квас янтарный,
Бочка старо-новая.
У Васятки у Каменского
Голова дубовая.

<1918—1919>

* * *

Не надо радости всем ласкостям дешевым,
Я счастлив тем, что выпил с Мурашевым.

Пасха, 1916 г.,
10 ап<реля>, 12 $^1/_2$ ч. ночи

* * *

Не стихов златая пена
И не Стенькина молва, —
Пониковская Елена
Тонко вяжет кружева.
Лес в них закутался,
Я — запутался.

<1918>

КАК ДОЛЖНА РЕКОМЕНДОВАТЬСЯ МАРИНА

Скажу вам речь не плоскую,
В ней все слова важны:
Мариной Ивановскою
Вы звать меня должны.

Меня легко обрамите:
Я маленький портрет.
Сейчас учусь я грамоте,
И скоро мне шесть лет.

Глазенки мои карие
И щечки не плохи.
Ах, иногда в ударе я
Могу читать стихи.

Перо мое не славится,
Подчас пишу не в лад,
Но больше всего нравится
Мне кушать «шыколат».

19 января 1924

* * *

Если будешь
Писать так же,
Помирай лучше
Сейчас же!

1924

* * *

За все,
        что минуло, —
Целую в губы
Сокола милого.

1924

* * *

Эх, жизнь моя,
Улыбка девичья.
За Гольдшмита пьем
И за Галькевича.

Будет пуст стакан,
Как и жизнь пуста.
Прижимай, Муран,
Свой бокал к устам.

5 октября 1924
Баку

* * *

Милая Пераскева,
Ведь Вы не Ева!
Всякие штуки бросьте,
Любите Костю.
Дружбой к Вам нежной осенен,
Остаюсь — Сергей Есенин.

P.S.
Пьем всякую штуку.
Жму Вашу руку.

<1924>

КЛАВДИИ АЛЕКСАНДРОВНЕ ЛЮБИМОВОЙ

Из всякого сердца вынется
Какой-нибудь да привет.
Да здравствует именинница
        На много лет!

Я знаю Вас очень недавно,
        Клавдия Александровна,
Но жить Вам — богатеть,
Кунеть да — мохнатеть!

К следующему году —
Прибавок к роду.
А через два годы, —
Детей, как ягоды.

<1924>

* * *

Калитка моя
        Бревенчатая.
Девки, бабы
Поют о весне.

Прыгает грач
Над пашнею.
Проклинайте вы все
Долю вчерашнюю.

Довольно гнуть
        Спины.
Я встретился с ней
        У овина.

Говорил ей словами
        О своей судьбе.
Умирающая деревня,
        Вечная память тебе.

<1924—1925>

* * *

Никогда я не забуду ночи,
Ваш прищур, цилиндр мой и диван.

И как в вас телячьи пучил очи
Всем знакомый Ванька и Иван.

Никогда над жизнью не грустите,
У нее корявых много лап,
И меня, пожалуйста, простите
За ночной приблудный пьяный храп.

19 марта 1925

* * *

Пускай я порою от спирта вымок,
Пусть сердце слабеет, тускнеют очи,
Но, Гурвич! взглянувши на этот снимок,
Ты вспомни меня и «Бакинский рабочий».

Не знаю, мой праздник иль худший день их,
Мы часто друг друга по-сучьи лаем,
Но если бы Фришберг давал всем денег,
Тогда бы газета была нам раем.

25 апреля 1925
Баку

* * *

Самые лучшие минуты
Были у милой Анюты.
Ее взоры, как синие дверцы,
В них любовь моя,
в них и сердце.

12 июня 1925

* * *

Милый Вова,
Здорово.
У меня не плохая
«Жись»,
Но если ты не женился,
То не женись.

<26 июля 1925>

* * *

Пил я водку, пил я виски,
Только жаль, без вас, Быстрицкий.

Нам не нужно адов, раев,
Только б Валя жил Катаев.

Потому нам близок Саша,
Что судьба его как наша.

<1925>

* * *

И так всегда. За пьяною пирушкой,
Когда свершается всех дней круговорот,
Любой из нас, приподнимая кружку,
В нее слезу нечаянно прольет.

Мы все устали. Да, устали очень.
И потому наш голос за тобой —
За васильковые, смеющиеся очи
Над недовольною и глупою судьбой.

<1925>

ОТРЫВКИ. НЕОКОНЧЕННОЕ

* * *

Ты на молитву мне ответь,
В которой я тебя прошу.
Я буду песни тебе петь,
Тебя в стихах провозглашу.

<1911>

И. Д. РУДИНСКОМУ

по поводу посещения им нашей школы 17-го ноября 1911 г.

Вы к нам явилися, как солнце
Среди тумана серых туч,
И, заглянув в души моей оконце,
Свой бросили животворящий луч.

Тот луч согрел во мне остывшие...

<1911>

* * *

Кто скажет и откроет мне,
Какую тайну в тишине
Хранят растения немые
И где следы творенья рук?
Ужели все дела святые
Ужели всемогущий звук
Живого слова сотворил?

<1913>

* * *

Холодней, чем у сколотой проруби,
Поджидаешь ты томного дня.
Проклевали глаза твои — голуби
Непрощенным укором меня.

<1916>

* * *

Не пора ль перед новым Посемьем
Отплеснуться вам, слова, от Каялы.
Подымайтесь малиновым граем,
Сполыхните сухояловый омеж,
Скряньте настно белесые обжи,
Оборатуйте кодолом Карну.
Что шумит, что звенит за курганом,
Что от нудыша мутит осоку?
Распевает в лесу лунь-птица,
Причитает над тихим Доном.
Не заря оседлала вечер
Аксамитником алым, расшитым,
Не туман во степи белеет
Над сукроем холмов сохатых —
Оторочилось синее небо,
Оск<л>обляет облако зубы.
К<а>к сидит под ольхой дорога,
Натирает зеленые скулы,
Чешет пуп человеческим шагом...

<1917>

* * *

При луне хороша одна,
При солнце зовет другая.
Не пойму я, с какого вина
Захмелела душа молодая?

<До 1919>

* * *

Вот они, толстые ляжки
Этой похабной стены.
Здесь по ночам монашки
Снимают с Христа штаны.

<1919>

* * *

Возлюбленную злобу настежь —
И в улицы душ прекрасного зверя.
Крестами убийств крестят вас те же,
Кто кликал раньше с другого берега...

Говорю: идите во имя меня
Под это благословенье!
Ирод — нет лучше имени —
А я ваш Ирод, славяне.

<1919>

* * *

Не жалею вязи дней прошедших,
Что прошло, то больше не придет.
И луна, как солнце сумасшедших,
Тихо ляжет в голубую водь...

<1925>

СИНИЙ ДЕНЬ. ДЕНЬ ТАКОЙ СИНИЙ

I

Чтоб не ругалась больная мать,
Я приду, как... сука,
У порога околевать.

Ты ведь видишь, что ночь хорошая,
Нет ни холода, ни тепла.

Так зачем же под лунной порошею
В эту ночь ты совсем не спала?

Не спала почему? Скажи мне,
Я все [вынесу], все перенесу [переживу].
И хоть месяцем желтым выжну
Непосеянную полосу.

Весне зима есть,
Да, зима!
Ты ее ведь видела, любимая, сама.
Береза, как в метель с зеленым рукавом,
Хотя печалится, но не по мне живом.

Скажи же, милая, когда она печалится?
Кругом весна, и жизнь моя кончается.
Но к гробу уходя и смерть приняв постель
древесную метель.

Вот потому всегда, когда мой глаз остер,
Мне душу греет так рябиновый костер,
Но все пройдет навек, как этот жар в груди,
Береза милая, постой, не уходи.

II

Сани. Сани. Конский бег.
Поле. Петухи да ветер.
Полюбил я русский снег
Тем, что чист и светел.

Сам я русский и далек,
Никогда не скрою:
Та звезда, что дал мне рок,
Пропадет со мною.

*

Ночь проходит. Свет потух.
За окном поет петух.

И зачем в такую рань
Он поет — дурак и дрянь?

Но коль есть в том смысл и знак,
Я такой, как он, дурак.

*

Небо хмурое. Небо сурится.
К голосам я привычен и глух.
Лишь тебя только, доброй курицы,
Я желаю, далекий петух.

Нам ведь нечего делать и надо ли?
Сдохну я, только ты не ложись.
У моей, я хотел бы, падали
Процветала куриная жизнь.

III

Ты ведь видишь, что небо серое
Так и виснет и липнет к очам.
Ты прости, что я в Бога не верую —
Я молюсь ему по ночам.

Так мне нужно. И нужно молиться.
И, желая чужого тепла,
Чтоб душа, как бескрылая птица,
От земли улететь не могла.

<Октябрь 1925>

* * *

Буря воет, буря злится,
. . . .
Из-за туч луна, как птица,
Проскользнуть крылом стремится,
Освещая рыхлый снег.
. . . .
. . . .
Страшно хочется подраться
С пьяным тополем в саду.
. . . .
. . . .
...дверь откроешь на крыльцо,
Буря жесткой горстью снега
Саданет тебе в лицо.

. . . .
. . . .
Ну, да разве мне расстаться
С этой негой и теплом.
С недопитой рюмкой рома
Побеседуем вдвоем.

<1925>

КОЛЛЕКТИВНОЕ

КАНТАТА[1]

1

Сквозь туман кровавый смерти,
Чрез страданье и печаль
Мы провидим, — верьте, верьте —
Золотую высь и даль.

Всех, кто был вчера обижен,
Обойден лихой судьбой,
С дымных фабрик, черных хижин
Мы скликаем в светлый бой.

Пусть последней будет данью
Наша жизнь и тяжкий труд.
Верьте, верьте, там за гранью
Зори новые цветут.

2

Спите, любимые братья,
Снова родная земля
Неколебимые рати
Движет под стены Кремля.

Новые в мире зачатья,
Зарево красных зарниц...
Спите, любимые братья,
В свете нетленных гробниц.

---

[1] Первая часть произведения написана М. Герасимовым, вторая — С. Есениным, третья — С. Клычковым.

Солнце златою печатью
Стражей стоит у ворот...
Спите, любимые братья,
Мимо вас движется ратью
К зорям вселенским народ.

3

Сойди с креста, народ распятый,
Преобразись, проклятый враг,
Тебе грозит судьба расплатой
За каждый твой неверный шаг.

В бою последнем нет пощады,
Но там, за гранями побед,
Мы вас принять в объятья рады,
Простив неволю долгих лет.

Реви, земля, последней бурей,
Сзывай на бой, скликай на пир.
Пусть светит новый день в лазури,
Преображая старый мир.

Осень 1918

ПРОЗА

ЯР

Повесть

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

По оконцам кочкового болота скользили волки. Бурый вожак потянул носом и щелкнул зубами. Примолкшая ватага почуяла добычу.

Слабый вой и тихий панихидный переклик разбудил прикурнувшего в дупле сосны дятла.

Из чапыги с фырканьем вынырнули два зайца и, взрывая снег, побежали к межам.

По коленкоровой дороге скрипел обоз; под обротями тропыхались вяхири, и лошади, кинув жвачку, напрянули уши.

Из сетчатых кустов зловеще сверкнули огоньки и, притаившись, погасли.

— Волки, — качнулась высокая тень в подлунье.

— Да, — с шумом кашлянули притулившиеся голоса. В тихом шуме хвои слышался морочный ушук ледяного заслона...

Ваньчок на сторожке пел песни. Он сватал у Филиппа сестру Лимпиаду и, подвыпивши, бахвалился своей мошной.

На пиленом столе в граненом графине шипела сивуха. Филипп, опоражнивая стакан, прислонял к носу хлеб и, понюхав, пихал за поросшие, как мшаниной, скулы. На крыльце залаяла собака, и по скользкому катнику заскрипели полозья.

— Кабы не лес крали, — ухватился за висевшее на стенке ружье Филипп и, стукнув дверью, нахлобучил лосиную шапку.

В запотевшие щеки дунуло ветром.

Забрякавшая щеколда скользнула по двери и с инистым визгом стукнула о пробой.

— Кто едет? — процедил его охрипший голос.

— Овсянники, — кратко ответили за возами.

— То-то!

К кружевеющему крыльцу подбег бородатый старик и, замахав кнутовищем, указал на дорогу.

— В чапыжнике, — глухо крякнул он, догоняя сивого мерина.

Филипп вышел на дорогу и упал ухом на мятущие порошни. В ухо, как вата, втыкался пуховитый налет.

— Идут, — позвенел он ружьем по выбоине и, не затворив крыльца, вбежал в избу.

Ваньчок дремал над пустым стаканом. На пол капал огуречный сок и сливался с жилкой пролитого из махотки молока.

— Эй, Фанас, — дернул его Филипп за казенотовую поддевку. — Волки пришли на свадьбу.

— Никакой свадьбы не будет, — забурукал Ваньчок. — Без приданого бери да свадьбу играй.

Филипп, засмехнувши, вынул из запечья старую берданку и засыпал порохом.

— Волки, говорю, на яру.

— Ась? — заспанно заерзал Ваньчок и растянулся на лавке. Над божницей горевшая лампадка заморгала от шумовитого храпа. Филипп накинул кожух и, опоясав пороховницу, заложил в карман паклю.

— Чукан, Чукаӊ, — кликнул он свернувшуюся под крыльцом собаку и вынул, громыхая бадьей, прицепленный к притолке нацепник. Собака, зачуяв порох, ерзала у ног и виляла хвостом.

Отворил дверь и забрызгал теплыми валенками по снегу.

Чукан, кусая ошейник, скулил и царапался в пострявшее на проходе ведро.

Филипп свернул на бурелом и, минуя коряжник около чапыги, притулился в яме, вывороченной корнями упавшей сосны.

По лещуге, шурша, проскользнул матерый вожак. В коряжнике хрястнули сучья, и в мути месяца закружились распыленные перья.

Курок щелкнул в наскребанную селитру, и кверху с дымом взвился вожак и веснянка-волчиха.

К дохнувшей хмелем крови, фыркая, подбежал огузлый самец.

Филипп поднял было на приклад, но пожалел наскреб.

В застывшей сини клубилась снежная сыворотка. Месяц в облаке качался, как на подвесках. Самец потянул в себя изморозь и, поджав хвост, сплетаясь с корягами, нырнул в чащу.

Вскинул берданку и поплелся домой. С помятого кожуха падал пристывший снег.

Оследил кругом для приметы место и вывел пальцем ружье.

На снегу мутнела медвежья перебежка; след вел за чапыгу.

Вынул нож и с взведенным курком, скорчившись, пополз, приклоняясь к земле.

Околь бурыги, посыпаясь белою пылью, валялся черно-рыжий пестун.

По спине пробежала радостью волнующая дрожь, коленки опустились и задели за валежник.

Медведь, косолапо повернувшись на левую лопатку, глухо рыкнул и, взрыв копну снега, пустился бежать.

«Упустил», — мелькнуло в одурманенной голове, и, кидая бивший в щеки чапыжник, он помчал ему наперескок.

Клубоватой дерюгой на снегу застыли серые следы. Медведь, как бы догадавшись, повернул в левую сторону.

На левой стороне по еланке вспорхнули куропатки, он тряхнул головой и шарахнулся назад, но грянул выстрел, и Филипп, споткнувшись, упал на кочку.

«Упустил-таки», — заколола его проснувшаяся мысль.

С окровавленной головой медведь упал ничком и опять быстро поднялся.

Грянули один за другим еще два выстрела, и тяжелая туша, выпятив язык, задрыгала ногами.

Из кустов, в коротком шубейном пиджаке, с откинутой на затылок папахой, вынырнул высокого роста незнакомец.

Филипп поднял скочившую шапку и робко отодвинул кусты.

Незнакомец удивленно окинул его глазами и застыл в ожидающем молчанье.

Филипп откинул бараний ворот.

— Откулева?

— С Чухлинки.

— Далеконько забрел.

— Да.

Над носом медведя сверкнул нож, и Филипп, склонившись на ружье, с жалостью моргал суженными глазками.

— Я ведь гнал-то.

— Ты?

— Я...

Тяжелый вздох сдул с ворота налет паутинок. Под захряслыми валенками зажевал снег.

— Коли гнал, поделимся.

Филипп молчал и с грустной улыбкой нахлобучивал шапку.

— Скидывай кожух-то?

— Я хотел тебе сказать — не замай.

— А что?

— Тут недалече моя сторожка. Я волков только тудылича бил.

Незнакомец весело закачал головою.

— Так ты, значит, беги за салазками?

— Сейчас сбегаю.

Филипп запахнул кожух и, взяв наперевес ружье, обернулся на коченелого пестуна.

— А как тебя зовут-то?

— Карев, — тихо ответил, запихивая за пояс нож.

Филипп вошел в хату, и в лицо ему пахнуло теплом. Он снял голицы и скинул ружье.

Под иконами ворочался Ваньчок и, охая, опускал под стол голову.

— Блюешь?..

— Брр... — задрыгал ногами Ваньчок и, приподнявшись, выпучил посовелые глаза. — Похмели меня...

— Вставай... проветришься...

Приподнявшись, шаркнул ногами и упал головою в помойную лохань.

Филипп, поджав живот, катался, сдавленный смехом, по кровати и, дергая себя за бороду, хотел остановиться.

Ваньчок барахтался и, прислонясь к притолке, стирал подолом рубахи прилипшие к бороде и усам высевки.

Прикусив губу, Филипп развязал кушак и, скинув кожух, напялил полушубок.

— Медведя убили...

— Самдели?

— Без смеха.

Посовелые глаза заиграли волчьим огоньком, но прихлынувший к голове хмель погасил их.

— Ты идешь?

— Иду...

— И я пойду.

Подковылял к полатям и вытащил свою шубу.

— Пойдем... подсобишь.

Ваньчок нахлобучил шапку и подошел к окну; на окне, прикрытая стаканом, синела недопитая бутыль.

— Там выпьем.

Шаги разбудили уснувшего Чукана, и он опять завыл, скребя в подворотню, и грыз ошейник; с губ его кружевом сучилась пена.

Карев сидел на остывшей туше и, вынув кисет, свертывал из махорки папиросу. С коряжника дул ветер и звенел верхушками отточенных елей.

С поникших берез падали, обкалываясь, сосульки и шуршали по обморози.

Месяц, застыв на заходе, стирался в мутное пятно и бросал сероватые тени.

По снегу, крадучись на кровь, проползла росомаха, но почуяла порох, свернулась клубком и, взрывая снег, покатилась, обеленная, в чапыгу и растаяла в мути. По катнику заскрипели полозья, и сквозь леденелые стволы осинника показались Ваньчок и Филипп.

— Ух, какой! — протянул, покачиваясь, Ваньчок и, падая, старался ухватиться за куст. — Ну и лопатки!

— Ты лучше встань, чем мерить лопатки-то, — заговорил Филипп, — да угости пришляка тепленьким.

— А есть разве?

— Есть.

Ваньчок подполз к Кареву и вынул бутыль.

— Валяй прям из горлышка.

Тушу взвалили на салазки и закрепили тяжем.

Ваньчок, растянувшись, спал у куста и бредил о приданом.

— Волков я тоже думаю взвалить.

— А где они?

— Недалече.

В протычинах взвенивал коловшийся под валенками лед.

Филипп взял матерого вожака, а Карев закинул за спину веснянку.

С лещуги с посвистом поднялись глухари и кольцом упали в осинник.

— Пугаются, — крякнул Филипп и скинул ношу на салазки.

Крученый тяж повернулся концом под грядку.

— Эй, вставай, — крикнул он над ухом Ваньчка и потянул его за обвеянный холодом рукав.

— Не встану, — кричал Ваньчок и, ежась, подбирал под себя опустившиеся лыками ноги.

Ветер тропыхал корявый можжевельник и сыпал обдернутой мшаниной в потянутые изморосью промоины.

В небе туманно повис черемуховый цвет и поблекший месяц нырял за косогором расколовшейся половинкой.

Филипп и Карев взяли подцепки, и полозья заскрипели по катнику.

Щеки горели, за шеями таял засыпанный снег и колол растянутые плечи холодом.

Под валенками, как ржаной помол, хрустел мягкий нанос; на салазках верхом на медведе, укрывши голову под молодую волчиху, качался уснувший Ваньчок.

Глава вторая

Анисим Карев загадал женить сына Костю на золовке своей племянницы.

Парню щелкнул двадцать шестой год, дома не хватало батрачки, да и жена Анисима жаловалась на то, что ей одной скучно и довериться некому.

На Преображенье сосватали, а на Покров сыграли свадьбу.

Свадьба вышла в дождливую погоду; по селу, как кулага, сопела грязь и голубели лужи.

После обедни к попу подъехала запряженная в колымагу пара си-

ваков. Дымовитые гривы тряхнули обвешанными лентами, и из головней вылез подвыпивший дружко.

Он вытащил из-под сена вязку кренделей, с прижаренной верхушкой лушник и с четвертью вина окорок ветчины. Из сеней выбег попов работник, помог ему нести и ввел в сдвохлую от телячьей вони кухню.

Из горницы, с завязанным на голове пучком, вышел поп, вынул берестяную табакерку и запустил щепоть в расхлябанную ноздрю.

— Чи-их! — фыркнуло около печки, и с кособокой скамьи полетела куча пыли.

— К твоей милости, — низко свесился дружко.

— Зубок привез?

— Привез.

Поп глянул на сочную, только вынутую из рассола ветчину и ткнул в красниковую любовину пальцем.

— Хорошая.

Вошла кухарка и, схватив за горлышко четверть, понесла к открытому подполью.

— Расколешь, — заботливо поддерживая донышко, крикнул работник.

— Небось, — выпятив отвислую грудь, ответила кухарка и, подоткнув подол, с оголенными икрами полезла в подпол.

— Смачная! — лукаво мигнул работнику дружко и обернулся к попу:

— Так ты, батюшка, не мешкай.

В заслюделую дверь, спотыкаясь на пороге, ввалились грузной походкой дьячок и дьякон.

— На колымагу! — замахал рукою дружко. — Выходит сейчас.

— На колымагу так на колымагу, — крякнул дьякон и, подбирая засусленный подрясник, повернул обратно.

— Есть, — щелкнул дьячок под салазки.

— Опосля, опосля, — зашептал дружко.

— Чего опосля?..

С взбитой набок отерханной шапкой и обгрызанным по запяткам халатом, завернув в ворот редкую белую бороденку, вышел поп.

— Едем.

Дьякон сидел на подостланной соломе и, свесив ноги, кшикал облепивших колымагу кур.

Куры, с кудахтаньем и хлопая крыльями, падали наземь, а сердитый огнеперый петух, нахохлившись, кричал на дьякона и топорщил клювом.

— Ишь ты, какой сурьезный, — говорил, шепелявя, дьякон, — в засычку все норовишь не хуже попа нашего, того и гляди в космы вцепишься.

Батюшка облокотился на дьячка и сел подле дьякона.

— Ты больно широко раздвинулся, — заметил он ему.

Дьякон сполз совсем на грядку, прицепил за дышло ноги и мысленно ругался: «Как петух, черт сивый!»

— Эй, матушка, — крикнул дружко на коренного, но колесо зацепило за вбитый кол. — Н-но, дьявол! — рванул он крепко вожжи, и лошади, кидая грязь, забрякали подковами.

— А ты, пожалуй, нарочно уселся так, — обернулся поп опять к дьякону, — грязь-то вся мне в лицо норовит.

— Это, батюшка, Бог шельму карает, — огрызнулся дьякон, но, повернувшись на грядке, полетел кубарем в грязь.

— Тпру, тпру! — кричал взбудораженный дружко и хлестанул остановившихся лошадей кнутовищем.

Лошади рванули, но уже не останавливались.

Подъехав к крыльцу, дружко суматошно ссадил хохотавшего с дьячком попа и повернул за дьяконом.

Дьякон, склонясь над лужей, замывал грязный подрясник.

— Не тпрукай, дурак, когда лошади стали, — искоса поглядел на растерявшегося дружка и сел на взбитую солому.

Молодых вывели с иконами и рассадили по телегам. Жених поехал с попом, а невеста — с крестной матерью.

Впереди, обвязанные накрест рушниками, скакали верховые, а позади с приданными сундуками гремели несправленные дроги.

Перед церковью на дорогу выбежала толпа мужиков и, протянув на весу жердь, загородила дорогу.

Сваха вынесла четверть с водкой и, наливая бражный стакан, приговаривала:

— Пей, гусь, да пути не мочи.

Выпившие мужики оттащили жердь в канаву и с криком стали бросать вверх шапки.

Дьячок сидел с дьяконом и косился — как сваха, не заткнув пробки, болтала пузырившееся вино.

Из калитки церковной ограды вышел сторож и, отодвигая засов, отворил ворота. Поп слез и, подведя жениха к невесте, сжал их правые руки.

Около налоя краснел расстеленный полушалок, и коптело пламя налепок.

Не в охоту Косте было жениться, да не захотелось огорчать отца.

По селу давненько шушукали, что он присватался к вдове-соседке.

Слухи огорчали мать, а обозленный отец называл его ёрником!

— Женится — переменится, — говорил Анисиму уважительный кум. — Я сам такой смолоду олахарь был.

Молодайка оказалась приглядная; после загула свекровь показала ей все свое имущество и отдала сарайные ключи.

Костя как-то мало смотрел на жену. Он только узнал, что ходившие о невесте слухи оправдались.

До замужества Анна спуталась со своим работником.

Сперва в утайку заговаривали, что она ходит к нему на сеновал, а потом говор пошел чуть не открыто.

Костя ничего не сказал жене. Не захотелось опечалить мать и укорить отца, да и потом ему самое Анну сделалось жалко. Слабая такая, в одной сорочке стояла она перед ним. На длинные ресницы падали густые каштановые волосы, а в голубых глазах светилась затаенная боль.

Вечерами Костя от скуки ходил с ребятами на улицу и играл на тальянке. Отец ворчал, а жена кротко отпирала ему дверь.

В безмолвной кротости есть зачатки бури, которая загорается слабым пламенем и свивается в огненное половодье.

Анна полюбила Костю, но любовь эта скоро погасла и перешла в женскую ласку; она не упрекала его за то, что он пропадал целыми ночами, и даже иногда сама посылала.

Там, где отперты двери и где нет засовов, воры не воруют.

Но бывает так, что постучится запоздалый путник и, пригретый, забывает, что он пришел на минуту, и остается навсегда.

Анисим вздумал арендовать у соседнего помещика землю. Денег у него не было, но он думал сперва занять, а потом перевернуться на обмолоте.

На Рождество пришел к нему из деревни Кудашева молодой парень, годов двадцати, и согласился на найм.

Костя пропал где-то целую неделю на охоте, и от знакомых стрелков о нем не было слуху.

Анна с батраком ходила в ригу и в два цепа молотили овес.

Парень ударял резко, колос перебивался пополам, а зерна с визгом впивались в разбросанную солому.

После хрестца он вынимал баночку и, завернув накосо бумажку, насыпал в нее, как опилки, чистую полукрупку.

Анна любовалась на его вихрастые кудри, и она чувствовала, как мягко бы щекотали его пуховитые усы губы.

Парень тоже засматривал ей в глаза и, улыбаясь, стряхивал пепел.

— Ну, давай, Степан, еще хрестец обмолотим, — говорила она и, закинув за подмышки зарукавник, развязывала снопы.

Незаметно они сблизились. Садились рядышком и говорили, сколько можно вымолотить из копны.

Степан иногда хватал ее за груди и, щекоча, валил на солому. Она не отпихивала его. Ей было приятно, как загрубелые и скользкие от цепа руки твердо катились по ее телу.

Однажды, когда Костя вернулся и уехал на базар, он повалил ее в чан и горячими губами коснулся щеки.

Она обняла его за голову, и пальцы ее утонули в мягких кудрях...

Вечером на Масленицу Костя ушел в корогод и запевал с бабами

песни; Анна вышла в сени, а Степан, почистив кирпичом уздечку, перевязал поводья и вынес в клеть.

На улице громко рассыпались прибаски и слышно, как под окнами хрустел снег. Анисим с бабкой уехал к куму в гости, а оставшийся саврасый жевал в кошелке овес.

Анна, кутаясь в шаль, стояла, склонясь грудью на перила крыльца.

Степан повесил уздечку и вышел на крыльцо. Он неслышно подкрался и закрыл ей ладонями глаза.

Анна обернулась и отвела его руки.

— Пойдем, — покраснев, как бы выплеснула она слово и закрылась рукавом...

В избу вошел с веселой улыбкой Костя.

Степан, побледнев, выбежал в сени, а Анна, рыдая, закопала судорожно вздрагивающие губы в подушку.

Костя сел на лавку и закачал ногами; теперь еще ясней показалось ему все.

Он обернулся к окну и, поманув стоявшего у ветлы Степана, вышел в сени.

— Ничего, Степан, не бойся, — подошел он к нему и умильно потрепал за подбородок, — ты парень хороший...

Степан недоверчиво вздрагивал. Ему казалось, что ласкающие его руки ищут место для намыленной петли.

— Я ничего, Степан... стариков только опасайся... ты, может быть, думаешь, я сержусь? Нет!.. Оденься и пойдем посидим в шинке.

Степан вошел в избу и, не глядя на Анну, вытащил у нее из-под головы нанковый казакин.

Нахлобучил стогом барашковую шапку и хлопнул дверью.

Вечером за ужином Анна видела, как Костя весело перемаргивался с Степаном. На душе у нее сделалось легче, и она опять почувствовала, что любит только одного Костю.

Заметил Анисим, что Костя что-то тоскует, и жене сказал. Мать заботливо пытала, уж не с женой ли, мол, вышел разлад, но Костя, только махнув рукой, грустно улыбался.

Он как-то особенно нежен стал к жене.

На Прощеный день она ходила на реку за водой и, поскользнувшись на льду, упала в конурку.

Домой ее привезли на санях, сарафан был скороблен ледяным застывом.

Ночью с ней сделался жар, он мочил ее красный полушалок и прикладывал к голове.

Анна брала его руку и прижимала к губам. Ей легко было, когда он склонялся к ней и слушал, как билось ее сердце.

— Ничего, — говорил он спокойно и ласково. — Завтра к вечеру все, как рукой, снимет.

Анна смотрела, и из глаз ее капали слезы.

На первой неделе поста Костя причастился и стал собираться на охоту.

В кошель он воткнул кожаные сапоги, онучи, пороховницу и сухарей, а Анна сунула ему рушник.

Достал висевший на гвоздике у бруса обмотанный паутиной картуз и зазязал рушником.

Опешила, но спросить не посмела. После чая он сел под иконы и позвал отца с матерью.

Анна присела с краю.

— Благословите меня, — сказал он, нагнувши голову, и подпер локтем бледное красивое лицо. Отец достал с божницы икону Миколы Чудотворца. Костя вылез и упал ему в ноги. В глазах его колыхалась мутная грусть.

Связав пожитки, передернул кошель за плечи и нахлобучил шапку.

— К Страстной вертайся, — сказал отец и, взяв клин, начал справлять топорище.

Покрестился, обнял мать и вышел с Анной наружу. Дул ветер, играла поземка, и снег звенел.

Костя взял Анну за руку и зашагал по кустарниковому подгорью.

Анна шла, наклонив голову, и захлестывала от ветра каратайку.

У озера, где начинался лес, остановился и встряхнул кошелем.

Хвои шумели.

— Ну, прощай, Анна! — проговорил тихо и кротко. — Не обижай стариков, — немного задумался и гладил ее щеку.

— Совсем я...

Анна хотела крикнуть и броситься ему на шею, но, глянув сквозь брызгавшие слезы, увидела, что он был уж на другом конце оврага.

— Костя! — гаркнула она. — Вернись!

— Ись... — ответило в стихшем ветре эхо.

Глава третья

— Очухайся! — кричал Филипп, снимая с Ваньчка шубу. Ваньчок, опустив руки, ослаб, как лыко.

Гасница прыгающим отсветом выводила на белой печи тень повисшего на потолке крюка. За печурками фенькал сверчок, а на полатях дремал, поджав лапы калачиком, сивоухий кот.

— Снегом его, — тихо сказал Карев.

— И то снегом...

Филипп сгорстал путровый окоренок и, помыв над рукомойником, принес снегу.

Ваньчка раздели наголо, дряблое тело, пропитанное солнцем, вывело синие жилы. Карев разделся и начал натирать. Голова Ваньчка, шлепая губами, отвисла и каталась по полу.

В руках снег сжимался, как вата, и выжатым творогом капал.

От Ваньчка пошел пар, зубы его разжались, и глухо он простонал:

— Пи-ить...

Вода плеснула ему в глаза, и, потирая их корявыми руками, он стал подыматься.

Шатаясь, сел на лавку и с дрожью начал напяливать рубаху.

Филипп подсобил надеть ему порты и, расстелив шубу, уложил спать его.

— С перепою, — тихо сказал он, вешая на посевку корец, и стал доставать хлеб.

Карев присел к столу и стал чистить водяниковую наволочку картошки.

Отломив кусочек хлеба, он посолил его и зажевал.

Пахло огурцами, смешанной с клюквой капустой и моченой брусникой.

Филипп вынул с полки сороковку и, ударяя ладонью по донышку, выбил пробку.

— Пей, — поднес он стакан Кареву. — Небось, не как ведь Ваньчок.

— Самовар бы поставить, — почесался Филипп и вышел в теплушку.

— Липа? Лип?.. — загукал его сиповатый голос. — Проснися!

Немного погодя в красном сборчатом сарафане вошла девушка.

Косы ее были растрепаны и черными волнами обрамляли лицо и шею.

Карев чистил ружье и, взведя курок, нацелил в нее мушку.

— Убью, — усмехнулся он и спустил щелкнувший курок.

— Не боюсь, — тихо ответила и зазвенела в дырявой махотке березовыми углями.

Лимпиаду звали лесной русалкой, она жила с братом в сторожке, караулила Чухлинский лес и собирала грибы.

Она не помнила, где была ее родина, и не знала ее. Ей близок был лес, она и жила с ним.

Двух лет потеряла отца, а на четвертом году ее мать, как она помнила, завернули в белую холстину, накрыли досками и унесли.

Память ее прояснилась, как брат привез ее на яр.

Жена его Аксинья ходила за ней и учила, как нужно складывать пальцы, когда молишься Богу.

Потом, когда под окном синели лужи, Аксинья пошла к реке и не вернулась. Ей мерещились багры, которыми Филипп тыкал в воду, и рыбацкий невод.

— Тетенька ушла, — сказал он ей, как они пришли из церкви. — Теперь мы будем жить с Чуканом.

Филипп сам мыл девочку и стирал белье.

Весной она бегала с Чуканом под черемуху и смотрела, как с черемухи падал снег.

— Отчего он не тает? — спрашивала Чукана и, положив на ладонь, дула своим теплом.

Собака весело.каталась около ее ног и лизала босые, утонувшие в мшанине, скользкие ноги.

Когда ей стукнуло десять годов, Филипп запряг буланку и отвез ее в Чухлинку, к теще, ходить в школу.

Девочка зиму училась, а летом опять уезжала к брату.

На шестнадцатом году за нее приезжал свататься сын дьячка, но Филипп пожалел, да потом девка сама заартачилась.

— Лучше я повешусь на ветках березы, — говорила она, — чем уйду с яра.

Она знала, что к ним никто не придет и жить с ними не останется, но часто сидела на крыльце и глядела на дорогу. Когда поднималась пыль и за горой ныряла, выплясывая, дуга, она бежала, улыбаючись, к загородке и отворяла околицу.

Нынче вечером с соседнего объезда приехал вдовый мужик Ваньчок и сватал ее без приданого.

Весной она часто, бродя по лесу, натыкалась на его коров и подолгу говорила с его подпаском, мальчиком Юшкой.

Юшка вил ей венки и, надевая на голову, всегда приговаривал:

— Ты ведь русалка лесная, а я тебя не боюсь.

— А я возьму тебя и съем, — шутила она и, посадив его на колени, искала у него в рыжих волосах гниды.

Юшка вертелся и не давался искаться.

— Пусти ты, — отпихивал он ее руки.

— Ложись, ложись, — тянула она его к себе. — Я расскажу тебе сказку.

— Ты знаешь про Аленушку и про братца-козленочка Иванушку? — пришлепывая губами, выговаривал Юшка. — Расскажи мне ее... мне ее, бывало-ча, мамка рассказывала.

Самовар метнул на загнетку искрами.

— Готов, — сдунув золу, сказала Лимпиада и подошла к желтой полке за чашками.

— Славная штука, — ухмыльнулся Филипп, — Рублев двести смоем...

— Чтой-то я тебя, братец, не знаю, — обернулся он к Кареву: — Говоришь, с Чухлинки, а тебя и не видывал.

— Я пришляк, у просфирни проживаю.

— Пономарь, что ль, какой?

— Охотник.

Лимпиада расстелила скатерть, наколола крошечными кусочками сахар и поставила на стол самовар.

Ободнялая снеговая сыворотка пряжей висела на ставне и шомонила в окно.

— Зорит... — поднял блюдце Карев. — Вот сейчас на глухарей-то хорошо.

От околицы заерзал скрип полозьев. Ваньчок, охая, повернулся на другой бок и зачесал спину.

— Ишь наклюкался, — рассмеялась Лимпиада и накрыла заголившуюся спину халатом. — Гусь жареный, тоже свататься приехал!

— Ох, — застонал Ваньчок и откинул полу.

— Кто там? — отворил дверь Филипп.

— Свои, — забасил густой голос.

Засов, дребезжа, откатился в сторону, и в хату ввалились трое скупщиков.

— Есть дичь-то? — затеребил бороду брюхатый, низенького роста барышник.

— Есть.

— А я тут проездом был, да вижу огонь, дай, мол, заверну наудалую.

— Ты, Кузьмич, отродясь такого не видывал; одно слово, пестун четвертной стоит.

Карев, поворачивая тушу, улыбался, а Лимпиада светила гасницей.

— Бейся не бейся, меньше двух с половиной не возьмем.

Кузьмич, поворачивая и тыча в лопатки, щупал волков.

— Ну, так, знычит, Филюшка, двести с четвертью да за волков четверть.

— Коли не обманываешь, ладно.

Влез за пазуху и вынул туго набитый бумажками кошелек.

— Получай, — слюнявя пальцы, отсчитывал он.

— Счастлив, брат, ты, — ткнул в бок Филипп Карева, — и скупщик, как нарочито, пожаловал.

Карев весело помаргивал глазами и глядел на Лимпиаду. Она, кротко потупив голову, молчала.

— Так ты помоги, — скинул тулуп Кузьмич.

Карев приподнял задние ляжки и поволок тушу за дверь.

— Ишь, какой здоровый! — смеялись скупщики.

— Мерина своротил, — щелкнул кушаком Филипп. — Как дерболызнул ему, так ан навзничь упал.

— Он убил-то?..

— Он...

На розвальни положили пестуна и обоих волков. Филипп вынул из головней рогожу и, накрыв, затянул веревкой.

— Н-но, — крикнул Кузьмич, и лошади, дернув сани, засемно поплелись шагом.

Умытое снегом утро засмеялось окровавленным солнцем в окно.

Кузьмич шагал за возом и сопел в трубку.

— Не надуешь проклятого.

— Хитрой мужи́к, — подхватили скупщики и задергали башлыками.

— Дели, — выбросил Филипп на стол деньги.

— Сам дели.

— Ну, не ломайся.

Ваньчок встал, свесил разутые ноги и попросил квасу.

— Кто это? — мотнул он на согнувшегося над кучей денег Карева.

— Всю память заспал, — ухмыльнулся Филипп.

— Нет, самдели?

— Забыл, каналья?

— Эй, дядя, — поднялся Карев, — аль и впрямь запамятовал, как мы тебя верхом на медведе везли?

— Смеетесь, — поднес к губам корец.

— А нам и смеяться нечего, коли снегом тебя оттирали.

К столу подошла Лимпиада. Ваньчок нахлобучил одеяло и, скорчившись, ухватился за голову.

— Тебе полтораста, а мне сто, — встал Карев и протянул руку.

— Как же так?

— Так... я один... А ты с сестрой, вишь.

Ваньчок завистливо посмотрел на деньги.

— Ай и скупщики были?..

— Были.

— Вон оно что...

Карев схватил шапку, взмахнул ружье и вышел.

— Погоди, — останавливал Филипп, — выспишься.

— Нет, поторапливаться надо.

В щеки брызнуло солнце и пахнуло тем весенним ветром, который высасывает сугробы.

На крыльцо выбегла Лимпиада.

— Заходи, — крикнула она, махая платком.

— Ладно.

Шел примятой стежкой и норовил напрямик. На кособокой сосне дятел чистил красноватое, как раненое, крыло.

На засохшую ракиту вспорхнул снегирь и звонко рассыпался свистом.

С дальних полян курилась молочная морока и, как рукав, обвивала одинокие разбросанные липы.

— Садись, касатик, подвезу! — крикнула поравнявшаяся на порожняке баба.

— И то думаю.

— Знамо, лучше... ишь как щеки-то разгорелись.

Хлестнула кнутом, и лошадь помчала взнамет, разрывая накат и поморозь.

— Что ж пустой-то?

— Продал.

— Ишь, Бог послал. У меня намедни сын тоже какого ухлопал матерого, четвертную, не стуча по рукам, давали.

— Да, охота хорошая.

За косогором показалась деревня.

— Раменки, — крикнула баба и опять хлестнула трусившую лошадь.

Около околицы валялась сдохлая кобыла, по деревне пахло блинным дымом.

На повороте он увидел, как старуха, несшая вязанку дров, завязла в снег и рассыпала поленья.

На плетне около крайней хаты висела телячья шкура.

— Подбирай, бабушка, — крикнул весело и припал на постельник.

За деревней подхватил ветер и забили крапины застывающего в бисер дождя.

Баба накинула войлоковую шаль и поджала накрытые соломой ноги под поддевку, ветер дул ей в лицо.

Карев, свернувшись за ее спиною, свертывал папиросу, но табак от тряски и ветра рассыпался.

Ствол гудел, и казалось, где-то далеко-далеко кого-то провожали на погост.

— Остановись, тетенька, закурю.

Лошадь почувствовала, как над взнузданными губами натянулись вожжи, и, фыркнув, остановилась.

Свернув папиросу, он чиркал, закрывая ладонями, спичку, но она тут же, не опепеля стружку, гасла.

— Экай ты какой, — крикнула укоризненно баба, — погоди уж.

Стряхнув солому, она обернулась к нему лицом и расстегнула петли.

— Закуривай, — оттопырила на красной подкладке полы и громко засмеялась.

Спичка чиркнула, и в лицо ударил смешанный с мятой запах махорки.

Баба застегнулась и поправила размотавшуюся по мохрастым концам шаль.

Туман припадал к земле и зарывался в голубеющий по лощинам снег.

Откуда-то с ветром долетел благовест и уныло растаял в шуме хвой.

За санями кружилась, как липовый цвет, снежная пыль, а на высокую гору, погромыхивая тесом, карабкался застрявший обоз.

Глава четвертая

Старый мельник Афонюшка жил одиноко в покосившейся мельнице, в яровой долине.

В заштопанной мешками поддевке его были зашиты истертые денежные бумажки и медные кресты. Когда-то он пришел сюда батраком, но через год хозяин его, пьянчужка, скопырнулся как-то в плотину и утоп.

Жена его Фетинья не могла заплатить ему зажитое и приписала мельницу. С тех пор мельница получила прозвище «Афонин перекресток».

Афонюшка, девятнадцатигодовалый парень, сделался мельником и скоро прослыл по округе как честный помолотчик.

Из веселого и беспечного он обернулся в задумчивого монаха.

Первые умолотные деньги положил на божницу за Егория и прикрыл тряпочкой.

В сумерки, когда нечего было делать, сидел часто на крылечке и смотрел, как невидимая рука зажигала звезды.

Бор шумел хвойными макушками и с шелестом на поросшие стежки осыпал иглы и шишки.

— Фюи, фюи, — шныряла, шаря по сочной коре, желтохвостая иволга.

— Ух, ух, — лазушно хлопал крыльями сыч.

Нравилось Афоньке сидеть так.

Он все ждал кого-то неизвестного. Но к нему не шли.

— Придут, — говорил он, гладя мухортую собаку. — Где-нибудь и нас так поджидают.

Так прожил он десять лет, но тут с ним случилось то, что заставило его призадуматься.

На пятом году хозяйничанья Афонька поехал к сестре взять к себе на прокорм шалыгана Кузьку.

Мать Кузькина с радостью отдала его брату; на ней еще была обуза — шесть человек.

Она оторвала от кудели ссученную нитку, сделала гайтан, надела крест и повесила Кузьке на шею.

— Мотри, Богу молись, — наказывала ему.

Кузька, попрощавшись с сестренками, щипнул маленького братишку и весело вскочил на телегу.

— А далеко будем ехать-то? — спросил Афоньку и, лукаво щуря глазенки, забрыкал по соломе.

— Две ночи спать будешь, — ухмыльнулся он, — а на половину третьей приедем...

Первое время Кузька боялся бора. Ему казалось, что за каждым кустом лежит медведь и под каждой кочкой черным кольцом свернулась змея.

Потихонечку он стал привыкать и ходил искать на еланках пьянику.

— Заблудишь, — ворчал Афонька, — не броди далеко.

— Я, дяденька, не боюсь теперь, — смышлено качал желтой курчавой головой Кузька. — Ты разя не знаешь сказку про мальчика с пальчик? Когда его отвели в лес, он бросал белые камешки, а я бросаю калину, она красная, кислая, и птица ее не склюет.

— Ишь какой догадливый, — смеялся Афонька и гладил его по загорелой щеке.

По праздникам они ходили на охоту, Афонька припадал к земле и заставлял Кузьку лечь...

Утро щебетало в лесу птичий молебен и умывало зеленый шелк росою.

Кузька ложился в траву и смотрел в небо.

Синь, как вода, застыла в воздухе; алели паутинки, и висли распластанные коршуны.

Над сосной шумно повис взъерошенный косач; Афонька спустил курок... Облаком заклубился дым.

— Где он, где он? — крикнул, вскакивая, Кузька и побежал к кустам.

За кустами, под спуском, голубело озеро; по озеру катились круги...

— Вот он, вот он! — кричал Кузька и, скинув портчонки, суматошно вытащил из узкой кумачной рубахи голову и прыгнул в воду.

Вода брызнула разбитым стеклом, и лилии, покачиваясь, зачерпывали головками струйки.

Косач был подстрелен в оба крыла, но левое крыло, может быть, было обрызгано кровью или только задето.

Когда Кузька подплыл к нему, он замахал крылом и затрепыхал по воде на другой конец.

— Лови, лови! — кричал Афонька.

— Эх ты, сопляк, — протянул он и, сняв картуз, полез в озеро сам.

— Гони в кусты! — кричал он, плеская брызгами.

Косач кидался в обратную сторону и ловко проскальзывал за Кузькиной спиною.

— Погоди, — сказал Афонька, — я нырну, а ты гони на кусты, а то опять улизнет.

Потянул губами воздух, и вихрастая голова скрылась под водою.

— Буль, буль, — забулькало над головами лилий.

— Кши, дьявол! — гонялся Кузька и подымал, шлепая ладонью, брызги к небу.

Косач замахал к кустам и, озираясь, глядел на противоположную сторону.

Запыхавшись, он залез на высунувшуюся корягу и глядел на Кузьку.

У кустов показалась вихрастая голова Афоньки, он осторожно высунул руку и схватил косача за хвост.

Косач забился, и с водяными кругами завертелись черные перья.

Один раз вечером Кузька взял ружье и пошел по тетеревам.

— Не нарвись! — крикнул ему Афонька и поплелся с кузовком за брусникой.

Кузька вошел в калиновый кустарник и сел, схолясь, в листовую опаду.

Как застывшая кровь, висели гроздья ягод; чиликали стрекозы, и удушливо дергал дергач.

Кузька ждал и, затаенно выпятив глаза, глядел, оттопыривая зенки, в частый ельник.

— Тех, тех, тех, — щелкал в березняке соловей. — Тинь, тинь, тинь, — откликались ему желтоперые синицы.

В густом березняке вдруг что-то тяжело заухало, и раздался хряст сучьев.

На окропленную кровяной брусникой мшанину выбежал лось, и ветвистые рога затрепали где-то подхваченным поветелем.

Кузька спокойно, как стрелок, высунул за ветку ствол и нацелил в лоб.

Ружье трахнуло, и лось, как подкошенный, упал на мшанину.

Красные капельки по черным губам застыли в розоватую ленту.

«Убил!» — мелькнуло в его голове, и, дрожа радостным страхом, он склонился обрезать для спуска задние колешки.

Но случилось то, чего испугалась даже повисшая на осине змея и, стукнувшись о землю, прыснула кольцом за кочковатую выбень.

Лось вдруг наотмашь поднял судорожно вздрагивающие ноги и с силой размахнул назад.

Кузька не успел повернуться, как костяные копыта ударили ему в череп и застыли.

Пахло паленым порохом, на синих рогах случайно повисшая фуражка трепыхалась от легкого, вздыхающего ветра.

Долго Афонька не показывался на мельницу.

Сельчане, приезжавшие с помолом, думали — он к сестре уехал.

Он глубоко забрался в глушь, свил, как барсук, себе логово и полночью ходил туда, где лежали два смердящие трупа.

Потом он очнулся.

«Господи, не помешался ли я?»

Перекрестился и выполз наружу.

В голове его мелькали, как болотные огоньки, мысли; он хватался то за одну, то за другую, то связывал их вместе и, натянув казакин, побежал в Чухлинку за попом.

Осунулся Афонька и лосиные рога прибил, вместе с висевшей на них фуражкою, около жернова.

Крепко задумался он — не покинуть ли ему яр, но в крови его светилась, с зеленоватым блеском, через черные, как омут, глаза, лесная глушь и дремь. Он еще крепче связался Кузькиной смертью с лесом и боялся, что лес изменит ему, прогонит его.

В нем, ласковая до боли, проснулась любовь к людям, он уж не ждал, а тосковал по ком-то и часто, заслоняя от света глаза, выбегал на дорогу, падал наземь, припадал ухом, но слышал только, как вздрагивала на вздыхающем болоте чапыга.

Как-то в бессонную ночь к нему пришла дума построить здесь, в яровой лощине, церковь.

Он обвязался, как путом, круг этой мысли и стал копить деньги.

Каждую тысячу он зашивал с крестом Ивана Богослова в поддевку и спал в ней, почти не раздеваясь.

Деньги с умолота он совсем отказался тянуть на прожитье.

Колол дрова, пилил тес и отдавал скупщикам.

Зимой частенько, когда все выходило до последней картошки, он убегал на болото, рыл рыхлый снег, разгребал скорченными пальцами и жевал мерзлый, спутанный с клюквой мох.

В один из мрачных его дней к нему, обвешанный куропатками, пришел Карев.

С крыши звенели капли, около ставень, шмыгая по карнизу, ворковали голуби и чирикали воробьи.

— Здорово, дедунь, — крикнул он, входя за порог и крестясь на иконы.

Афонюшка слез с печи, лицо его было сведено морщинами, как будто кто затянул на нем швы. Белая луневая бородка клином лезла за пазуху, а через расстегнутый ворот на обсеянном гнидами гайтане болтался крест.

— Здорово, — кашлянул он, заслоняясь рукой, и скинул шубу: — нет ли, родненький, сухарика; второй день ничего не жевал.

Карев ласково обвел его взглядом и снял шапку.

— Мы с тобой, дедушка, куропатку зажарим...

Ощипал, выпотрошил и принес беремя дров.

Печка-согревушка засопела березняком, и огоньки запрыгали, свивая бересту в свиной высушенный пузырь.

Когда Карев собрался уходить, Афонюшка почуял, так почуял, как он ждал кого-то, что этот человек к нему не вернется.

— Останься, — грустно поникнул он головою. — Один я...

Карев удивленно поднял завитые на кончиках веки и остановился.

На Фоминой неделе Афонюшка позвал Карева на долину и показал место, где задумал строить церковь. Поддевка его дотрепалась, он высыпал все скопленные деньги на стол и, отсчитав маленькую кучку, остальное зарыл на еланке под старый вяз.

— Глух наш яр-то, жисть надо поджечь в нем, — толковал он с Каревым. — Всю молодость свою думал поставить церковь; трать, — вынул он пачку бумаг, — ты, как Кузька, стал мне... словно век я тебя ждал.

Лес закурчавился. В синеве повис весенний звон.

Оба сидели на заваленке; Афонюшка, захлебываясь, рассказывал лесные сказки. — Не гляди, что мы ковылем пахнем, — грустно усмехнулся он, — мы всю жисть, как вино, тянули...

— Что ж, захмелел?..

— Нема, только икота горло мышью выскребла.

К двору, медленно громыхая колесами, подполз скрипящий обоз, пахло овсом и рожью... лошадиным потом.

С телеги вскочил, махая голицами, мужик и, сняв с колечка дуги повод, привязал лошадь у стойла.

Баба задзенькала ведром и, разгребая в плотине горстью воду, зачерпнула, едва закрыв пахнувшее замазкой дно. Опрокинула ведро набок и заглотала.

Большой кадык прыгал то в пазуху, то за подбородок.

Афонюшка подбежал к столбам и, падая бессильной грудью на рычаг, подымал обитый жестью спущенный заслон.

Рыжебородый сотский, сдвинув на грядки мешок и подымая за голову руку, кряхтя, потащил на крутую лестницу.

Жернов вертелся и свистел. За стеной с дробным звоном слышался рев воды.

Карев смотрел, как на притолке около жернова на лосиных рогах моталась желтая фуражка.

В сердце светилась тихая, умиленная грусть.

В его глазах стоял с трясущейся бородкой и дремными глазками Афонюшка.

— Чтоб те пусто взяло, — выругался сотский, спуская осторожно мешок. — Не мудрено и брыкнуться...

— Крута лестница-то, крута... — зашамкал, упыхавшись, Афонюшка. — Обвалилась намедни плоская-то; новую заказал.

Карев дернул рычаг, и жернов, хрустя о камень, брызнул потоками искр.

— Сыпь! — крикнул он сотскому и открыл замучнелые совки.

Рожь захрустела, запылилась, и из совков посыпалась мука.

Афонюшка зацепил горсть, высыпал на ладонь и слизнул языком.

— Хруп, — обратился он к Кареву, — спусти еще.

На лестнице показалась баба; лицо ее было красно, спина согнута, а за плечами дыхал травяной мешок. Карев смотрел, как Афонюшка суетливо бегал из стороны в сторону и хватал то совок, то соломенную кошелку.

«Людям обрадовался», — подумал он с нежной радостью и подпустил помолу.

Баба терлась около завьялого в муке и обвязанного паутинником окошка.

— Что такую рваную повесили! — крикнула она со смехом, кидая под жернов фуражку, и задрожала...

— Фуражка, фуражка! — застонал Афонюшка и сунулся под жернов.

Громыхающий поворот приподнял обмучнелый комок и отбросил на ларь.

На полу рассыпались красные ягоды.

Думы смялись... Это, может быть, рухнула старая церковь. Аллилуя, аллилуя...

Глава пятая

Карев застыл от той боли, которую некому сказать и незачем.

Его сожгла дума о постройке церкви, но денег, которые дал ему Афонюшка, хватило бы только навести фундамент.

Он лежал на траве и кусал красную головку колючего татарника.

Рядом валялось ружье и с чесаной паклей кожаная пороховница.

Тихо качались кусты, по хвоям щелкали расперившиеся шишки, и шомонила вода.

Быстро поднялся, вскинул ружье и пошагал к дому. За спиной болтался брусниковый кузов.

Сунулся за божницу, вынул деньги и, лихорадочно пересчитав, кинулся обратывать лошадь.

Пегасый жеребец откидывал раскованные ноги, ощеривал зубы и прядал ушами.

Скакал прямой поляной к сторожке Филиппа. Поводья звякали удилами, а бляхи бросали огонь.

С крутояра увидел, как Лимпиада отворяла околицу.

Она издалека узнала его и махала зарукавником.

Лошадь, тупо уда́рив копытами, остановилась; спрыгнул и поздоровался.

— Дома?

— Тут.

Отворил окно и задымил свернутой папиросой. Филипп чинил прорватое веретье, он воткнул шило в стенку и подбежал к окну.

— Ставь, — крикнул Лимпиаде, указывая на прислоненный к окну желтый самовар.

Лимпиада схватила коромысло и, ловко размахнувшись, ударила по свесившейся сосне.

С курчавых веток, как стая воробьев, в траву посыпались шишки.

— Хватит! — крикнул, улыбаясь, Карев и пошел к крыльцу.

— Вот что, Филюшка, — сказал он, расстегивая пиджак, — Афоня до смерти церковь хотел строить. Денег у него было много, но они где-то зарыты. Дал он мне три тысячи. А ведь с ними каши не сваришь.

Филипп задумался. Волосатая рука забарабанила по голубому стеклу пальцами.

— Что ж надумал? — обернулся он, стряхивая повисшие на глаза смоляные волосы.

— Школу на Раменках выстроить...

— Что ж, это разумно... А то тут у нас каждый год помирают мальцы... Шагай до Чухлинки по открытому полю версты четыре... Одежонка худая, сапожки снег жуют, знамо дело, поневоле схватишь скарлатину или еще что...

— Так и я думаю... сказать обществу, чтоб выгоняло подводы, а за рубку и извоз заплатить мужикам вперед.

От самовара повеяло смольными шишками, приятный запах расплылся, как ладан, и казалось, в избе только что отошла вечерня.

Карев глядел молча на Лимпиаду, она желтым полотенцем вытирала глиняные чашки.

Закрасневшись, она робко вскидывала свои крыльями разведенные брови, и в глазах ее словно голуби пролетали.

Она сама не знала, почему не могла смотреть на пришляка. Когда он появлялся, сердце ее замирало, а горячая кровь пенилась.

Но бывало, он пропадал и не являлся к ним по неделям.

Тогда она запрягала лошадь в таратайку и посылала Филиппа спроведать его.

Филипп чуял, что с сестрой что-то стало неладное, и заботливо исполнял ее приказанья.

Он пришел в лунную майскую ночь. Шмыгнул, как тень, за сосну и притаился.

Карев сидел на крыльце и, слушая соловьев, совал в лыки горбатый кочатыг. Он плел кошель и тоненько завастривал тычинки.

В кустах завозилось, он поднял голову и стал вслушиваться.

В прозрачной тишине ему ясно послышались крадущиеся шаги и сдавленное дыханье.

— Кто там? — крикнул он, откидывая кошель.

— Я... — тихо и кратко было ответом.

— Кто ты?

— Я...

— Я не знаю, кто ты, — смеясь, зашевелил он кудрявые волосы. — А если пришел зачем, так подходи ближе.

Кусты зашумели, и тень прыгнула прямо на освещенное луною крыльцо.

— Чего ж ты таишься?

К крыльцу, ссутулясь, подошел приземистый парень. Лицо его было покрыто веснушками, рыжие волосы клоками висели из-под картуза за уши и над глазами.

— Так, — брызнул он сквозь зубы слюну.

Карев глухо и протяжно рассмеялся. Глаза его горели лунным блеском, а под бородой и усами, как приколотый мак, алели губы.

— Ты бел, как мельник, — сказал отрывисто парень. — Я думал, ты ранен и с губ твоих течет кровь... Ты сегодня не ел калину?

Карев качнул головою:

— Я не сбирал ее прошлый год, а сегодня она только зацветает.

— Что ж ты здесь делаешь? — обернулся он, доставая кочатыг и опять протыкая в петлю лыко.

— Дорогу караулю...

Карев грустно посмотрел на его бегающие глазки и покачал головою.

— Зря все это...

Парень лукаво ухмыльнулся и, раскачиваясь, сел на обмазанную лунью ступеньку.

— Как тебя величают-то?..

— Аксютка.

Улыбнулся и почему-то стал вглядываться в его лицо.

— Правда, Аксютка... Когда крестили, назвали Аксеном, а потом почему-то по-бабьему прозвище дали.

— Чай хочешь пить? — поднялся Карев.

— Не отказываюсь... я так и норовил к тебе ночевать.

— Что ж, у меня места хватит... Уснем на сеновале, так завтра тебя до вечера не разбудишь. Сено-то свежее, вчера самый зеленый побег скосил... она, вешняя отава-то, мягче будет и съедобней...

— Расставь-ка таганы, — указал он на связанные по верхушке три кола.

Аксютка разложил на кулижке плахи, собрал в кучу щепу и чиркнул спичку. Дым потянулся кверху и издали походил на махающий полотенец.

Карев повесил на выструганный крюк чайник и лег.

— Не воруй, Аксютка, — сказал, загораживаясь ладонью от едкого дыма. — Жисть хорошая штука, я тебе не почему-нибудь говорю, а жалеючи... поймают тебя, изобьют... зачахнешь, опаршивеет все, а не то и совсем укокошат.

Аксютка, облокотясь, тянул из глиняной трубки сизый дым и, отплевываясь, улыбался.

— Ладно тебе жалеть-то, — махнул он рукой, — либо пан, либо пропал!

Чайник свистел и белой накипью брызгал на угли.

— Ох, — повернулся Аксютка, — хочешь, я расскажу тебе страшный случай со мною.

— Ну-ка...

Он повернулся, всматриваясь в полыхающий костер, и откинул трубку.

— Пошел я по весне с богомолками в лавру Печерскую. Накинул за плечи чоботы с узлом на палочке, помолился на свою церковь и поплелся.

С богомольцами, думаю, лучше промышлять. Где уснет, можно обшарить, а то и отдыхать сядешь, не дреми.

В корогоде с нами старушка шла. Двохлая такая старушонка, всю дорогу перхала.

Прослыхал я, что она деньжонки с собой несет, ну и стал присватываться к ней.

С ней шла годов восемнадцати али меньше того внучка.

Я и так к девке, и этак, — отвиливает чертовка. Долго бился, половину дороги почти, и все зря.

Потихонечку стала она отставать от бабки, стал я ей речи скоромные сыпать, а она все бурдовым платком закрывалась.

Разомлела моя краля. Подставила мне свои сахарные губы, обвила меня косником каштановым, так и прилипла на шею.

Ну, думаю, теперь с бабкой надо проехать похитрей; да чтоб того... незаметно было.

Идем мы, костылями звеним, воркуем, как голубь с голубкой. А все ж я вперед бабки норовлю:

— Смотри, мол, карга, какой я путевый; внука-то твоя как исповедуется со мной.

Стала и бабка со мной про Божеское затевать, а я начал ей житие преподобных рассказывать.

Помню, как рассказал про Алексея Божьего человека, инда захныкала.

Покоробило исперва меня, да выпил дорогой косушечку, все как рукой сняло.

Пришли все гуртом на постоялый двор, я и говорю бабке... что, мол, бабушка, вшей-то набирать в людской, давай снимем каморочку; я заплачу... Двохлая такая была старушонка, все время перхала.

Полеглись мы кой-как на полу; я в углу, а они посередке.

Ночью шарю я бабкины ноги, помню, что были в лаптях.

Ощупал и тихонечко к изголовью подполз.

Шушпан ее как-то выбился, сунулся я в карман и вытащил ее деньги-то...

А она, старая, хотела повернуться, да почуяла мою руку и крикнула.

Спугался я, в горле словно жженый березовый сок прокатился.

Ну, думаю, услышит девка, каюк будет мне.

Хвать старуху за горло и туловищем налег...

Под пальцами словно морковь переломилась...

Сгреб я свой узелок, да и вышел тихонечко. Вышел я в поле, только ветер шумит... Куда, думаю, бежать...

Вперед пойду — по спросу урядники догадаются; назад — люди заметят... Повернул я налево и набрел через два дня на село.

Шел лесом, с дороги сбился, падал на мох, рвался о пеньки и царапался о щипульник; ночью все старуха бластилась и слышалось, как это морковь переломилась...

Приковылял я за околицу, гляжу, как на выкате трактирная вывеска размалевана...

Вошел, снял картуз и уселся за столик.

Напротив сидел какой-то хлюст и булькал в горлышко «жулика»: «Из своих», — подумал я и лукаво подмигнул.

— А, Иван Яклич! — поднялся он. — Какими судьбами?..

— Такими судьбами, — говорю. — Иду Богу молиться.

Сели мы с ним, зашушукались.

— Дельце, — говорит, — у меня тут есть. Вдвоем, как пить дадим, обработаем.

«Была бы только ноченька сегодня потемней».

Ехидно засмеялся, ощурив гнилые, как суровикой обмазанные зубы.

Сидим, пьем чай, глядим — колымага подъехала, из колымаги вылез в синей рубахе мужик и, привязав лошадь, поздоровался с хозяйкой.

Долго сидели мы, потом мой хлюст моргнул мне, и мы, расплатившись, вышли.

— К яру пойдем, — говорил он мне, — слышал я — ночевать у стогов будет.

Осторожно мы добрались до стогов и укутались в промежках...

Слышим — колеса застучали, зашлепали копыта, и мужик, тпрукая, стал распрягать.

Хомут ерзал, и слышно было, как скрипели гужи.

Ночь и впрямь, как в песне, вышла темная-претемная.

Сидим, ждем, меня нетерпенье жжет, не спит все, — думаю.

Тут я почуял, как по щеке моей проползла рука и, ущипнув, потянула за собой. Подползли к оглоблям; он спал за задком на веретье.

Я видел, как хлюст вынул из кармана чекмень и размахнулся...

Но тут я увидел... я почувствовал, как шею мою сдавил аркан.

Мужик встал, обежал нас кругом и затянул еще крепче.

— Да, — протянул Аксютка, — как вспомнишь, кровь приливает к жилам.

Карев подкладывал уже под скипевший чайник поленьев и, вынув кисет, взял Аксюткину трубку.

— Что же дальше-то было?

Аксютка вынул платок и отмахнул писклявого комара.

— Ну и дока! — прошептал хлюст, когда тот ушел в кустарник, и стал грызть на моих руках веревку.

Вытащил я левую руку, а правую-то никак не могу отвязать от ног.

Принес он крючковатых тычинок, повернул хлюста спиною и начал, подвострив концы, в тело ему пихать...

Заорал хлюст, а у меня, не знаю откуда, сила взялась.

Выдернул я руку, аж вся шкура на веревке осталась, и, откатившись, стал развязывать ноги.

Покуль я развязывал, он ему штук пять вогнал.

Нащупал я нож в кармане, вытащил его и покатился, как будто связанный... к нему... Только он хотел вонзить тычинку, — я размахнулся и через спину угодил, видно, в самое его сердечушко...

Обрезал я на хлюсту веревки, качнул его голову, а он, бедняга, впился зубами в землю, да так... и Богу душу отдал.

Аксютка замолчал. Глаза его как бы заволоклись дымом, а под рубахой, как голубь, клевало грудь сердце.

Лунь лизала траву, дробно щелкали соловьи, и ухал филин.

Глава шестая

На Миколин день Карев с Аксюткой ловил в озере красноперых карасей.

Сняли портки и, свернув их комом, бросили в щипульник. На плече Карева висел длинный мешок. Вьюркие щуки, ударяя в стенки мешка, щекотали ему колени.

— Кто-то идет, — оглянулся Аксютка, — кажись, баба, — и, бросив ручку бредня к берегу, побег за портками.

Карев увидел, как по черной балке дороги с осыпающимися пестиками черемухи шла Лимпиада.

Он быстро намахнул халат и побежал ей навстречу.

— Какая ты сегодня нарядная...

— А ты какой ненарядный, — рассмеялась она и брызнула снегом черемухи в его всклокоченные волосы.

Улыбнулся своей немного грустной улыбкой и почуял, как радостно защемило сердце. Взял нежно за руку и повел показывать рыбу.

— Вот и к разу попала. Растагарю костер и ухи наварю...

— Во-во! — замахал весело ведром Карев и, скатывая бредень, положил конец на плечо, а другой подхватил Аксютка.

— Ведь он ворища, — указала пальцем на него. — Ты, небось, думаешь, какой прохожий?..

— Нет, — улыбнулся Карев, — я знаю.

Аксютка вертел от смеха головою и рассучивал рукав. — Я пришла за тобой к празднику. Ты разве не знаешь, что сегодня в Раменках престол?

— К кому ж мы пойдем?

— Как к кому?.. Там у меня тетка...

— Хорошо, — согласился он, — только вперед Аксютку накормить надо. Он сегодня ко мне на заре вернулся.

Лимпиада развела костер и, засучив рукава, стала чистить рыбу.

С губастых лещей, как гривенники, сыпалась чешуя и липла на лицо и на волосы. Соль, как песок, обкатывала жирные спины и щипала заусенцы.

— Ну, теперь садись с нами к костру, — шумнул Карев. — Да выбирай зараня большую ложку.

Лимпиада весело хохотала и указывала на Аксютку. Он, то приседая, то вытягиваясь, ловил картузом бабочку.

— Аксютка, — крикнула, встряхивая раскосмаченную косу, — иди поищу.

Аксютка, запыхавшись, положил ей на колени голову и зажмурил глаза.

Рыба кружилась в кипящем котле и мертво пучила зрачки.

Солнце плескалось в синеве, как в озере, и рассыпало огненные перья.

Карев сидел в углу и смотрел, как девки, звякая бусами, хватались за руки и пели про царевну.

В избу вкатился с расстегнутым воротом рубахи, в грязном фартуке сапожник Царек.

Царька обступили корогодом и стали упрашивать, чтоб сыграл на губах плясовую.

Он вынул из кармана обгрызанный кусок гребешка и, оторвав от численника бумажку, приложил к зубьям.

«Подружки-голубушки, — выговаривал, как камышовая дудка, гребешок. — Ложитесь спать, а мне, молодешеньке, дружка поджидать».

— Будя, — махнула старуха, — слезу точишь.

Царек вытер рукавом губы и засвистал плясовую. Девки с серебряным смехом расступились и пошли в пляс.

— В расходку, — кричал в новой рубахе Филипп, — ходи веселей, а то я пойду.

Лимпиада дернула за рукав Карева и вывела плясать.

На нем была белая рубашка, и черные плюшевые штаны широко спускались на лаковые голенища.

С улыбкой щелкнул пальцами и, приседая, с дробью ударял каблуками.

В избу ввалился с тальянкой Ваньчок и, покачиваясь, кинулся в круг.

— Ух, леший тебя принес! — засуетился обидчиво Филипп, — весь пляс рассыпал.

Ваньчок вытаращил покраснелые глаза и впился в Филиппа.

— Ты не ругайся, — сдавил он мехи. — А то я играть не буду.

— Ты чей же будешь, касатик? — подвинулась к Кареву старуха.

— С мельницы, — ласково обернулся он.

— Это что школу строишь?..

— Самый.

— Надоумь тебя царица небесная. Какое дело-то ты делаешь... Ведь ты нас на воздуси кинаешь; звезды, как картошку, сбирать.

Карев перебил и, отмахиваясь руками, стал отказываться.

— Я тут, как кирпич, толку... Деньги-то ведь не мои.

— Зрящее, зрящее, — зашамкала прыгающим подбородком. — Ведь тебе оставил-то он...

Лимпиада стояла и слушала. В ее глазах сверкал умильный огонек.

За окном в матовом отсвете грустили вербы и целовали листьями голубые окна.

Аксютка запер хату и пошел в Раменки.

Ему хотелось напиться пьяным и побуянить. Он любил, когда на него смотрели как на страшного человека.

Однажды покойная Устинья везла с ярмарки спившегося Ваньчка и, поровнявшись с Аксюткой, схватила мужа за голову и ударила о постельник.

— Чтоб тебя где-нибудь уж Аксютка зарезал! — крикнула она и пнула в лицо ногой.

Ребятишки, собираясь по кулижкам, часто грезили о нем, каждый думал — как вырастет, пойдет к нему в шайку.

— Вот меня-то уж он наверняка возьмет в кошевые, — говорил с белыми, как сметана, волосами Микитка, — потому знает, что я крепче всех люблю его.

— А я кашеваром буду, — тянул однотонно Федька, — Ермаком сделаюсь и Сибирь завоюю.

— Сибирь, — передразнивал Микитка. — А мы, пожалуй, вперед тваво возьмем Сибирь-то, уж ты это не говори.

— Ты все сычишься наперед, — обидчиво дернул губами Федька. — Твоя вся родня такая... твой отец, мамка говорит — только губами шлепает. А мы все время на Чухлинке лес воруем. Нам Ваньчок, что хошь, сделает.

— Поди-ка, съешь кулака, — волновался Микитка. — А откуда у нас жерди-то, чьи строги-то на телегах?.. это вы губами-то шлепаете, мы у вас в овине всю солому покрали, а вы и не знаете... накось...

Аксютка вошел в избу сотского и попросил бабку налить ему воронка.

Бабка в овчинной шубенке вышла в сени и, отвернув кран, нацедила глубокий полоник.

— Где ж Аким-то? — спросил, оглядывая пустую лежанку.

— У свата.

— Обсусоливает все, — смеясь, мотнул головой.

— Что ж делать, касатик, скучно ему. Вдовец ведь...

Надел фуражку и покачнулся от ударившего в голову хмеля.

— Не обессудь, ягодка, дала бы тебе драченку, да все вышли. Оладьями, хошь, угощу?

Вынесла жарницу от загнетки и открыла сковороду.

Аксютка выглядел, какие порумяней, и, сунув горсть в карман, выбег на улицу.

У дороги толпился народ. Какой-то мужик с колом бегал за сотским и старался ударить ему в голову.

Нахлынувшие зеваки подзадоривали драку. Ухабистый мужик размахнулся, и переломившийся о голову сотского кол окунулся расщепленным концом в красную, как воронок, кровь.

Аксютка врезался в толпу и прыгнул на мужика, ударяя его в висок рукояткой ножа.

Народ зашумел, и все кинулись на Аксютку.

— Бей живореза! — кричал мужик и, ловко подняв ногу, ударил Аксютку по пяткам.

Упал и почуял, как на грудь надавились тяжелые костяные колени.

Расчищая кулаками дорогу, к побоищу подбег какой-то парень и ударил лежачему обухом около шеи.

Побои посыпались в лицо, и сплюснутый нос пузырился красночерной пеной...

— Эх, Аксютка, Аксютка, — стирал кулаком слезу старый пономарь, — подломили твою бедную головушку!..

— Что ж ты стоишь, чертовка! — ругнул он глазеющую бабу. — Принесла бы воды-то... живой, чай, человек валяется.

Опять собрался народ, и отрезвевший мужик бледно тряс губами.

— Подкачнуло тебя, окаянного, мою душу загубил и себя потерял до срока.

— То-то не надо бы горячиться, — укорял пономарь. — Оно, вино-то, что хошь, сделает.

Аксютка поднялся слабо на колени и, свесив голову, отирал слабой рукой прилипшую к щеке грязь.

— На... а... мель... — дрогнул он всем телом и упал навзничь.

— На мельницу, вишь, просится, — жалобно заохала бабка. — Везите его скорей...

Парень, бивший топором Аксютку, болезно смотрел на его заплывшие глаза и, отвернувшись, смахнул каплю слезы.

Мужик побежал запрягать лошадь, а он взял черпак и начал поливать голову Аксютки водой.

Вода лилась с подбородка струей и, словно подожженная, брызгала на кончике алостью...

Положили бережно на сено и помчали на мельницу. Дорогой он бредил о Кареве, пел песни, ругался и срывал повязку.

Карев сидел с Лимпиадой у окна и смотрел, как розовый закат

поджигал черную, клубившуюся дымом тучу. По дороге вдруг громко загремели бубенцы и к крыльцу подъехали с Аксюткой.

Он почуял, как в сердце у него закололо шилом. Взял Аксютку, обнял и понес в хату.

— Ложись, ложись, — шептал бледный, как снег...

Лимпиада тряслась, как осина, и рыданья кропили болью скребущую тишину.

Аксютка встал и провел по губам рукой...

— Поди... — глухо прошептал, поманув Карева. — Хвастал я... никого не убивал, — закашлялся он. — Это я так все... выдумал...

Карев прислонил к его голове мокрую тряпку.

Сумерки грустно сдували последнее пламя зари, и за косогором показался, как желтая дыня, месяц.

На плесе шомонили вербы, и укромно шнырял ветерок.

— Липа, — крикнул Аксютка, хватаясь за грудь. — Сложи мне руки... помирать хочу...

Лимпиада с красными глазами подбежала к постели и опустилась на колени.

— Крест на меня надень... — опять глухо заговорил он. — В кармане... оторвался... Мать надела.

Судорожно всхлипывая, сунула в карман руку и, вынув из косы алый косник, продела в ушко креста.

Аксютка горько улыбнулся, вздрогнул, протягивая свесившиеся ноги, и замер.

За окошком кугакались совы.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

Покосилась изба Анисима под ветрами, погнулся и сам старый Анисим.

Не вернулся Костя с охоты, а после Пасхи пришло письмо от Вихлюйского стрелка.

Почуял старый Анисим, что неладное принесло это письмо, еще не распечатывая.

«Посылаю свое почтение Анисиму Панкратьеву, я знал хорошо твоего сына и спяшу с скорбью поведать, что о второй день Пасхи он переправлялся через реку и попал в полынью.

На льду осталась его шапка с адристом, а его, как ни тыкали баграми, не нашли».

Жена Анисима слегла в постель и, прохворав полторы недели, совсем одряхлела.

Анна с бледной покорностью думала, что Костя покончил с собой нарочно, но отпихивала эту думу и боялась ее.

Степан прилип к ней, и смерть Кости его больше обрадовала, чем опечалила.

Старушка-мать на Миколу пошла к обедне и заказала попу сорокоуст.

Вечером на дом пришел дьякон и отслужил панихиду.

— Мать скорбящая, — молился Анисим, — не отступись от меня.

В седых волосах его зеленела вбившаяся трава и пестиками щекотала шею.

Анисим махал над шеей рукой и думал, что его кусает муха.

— Жалко, жалко, — мотал рыжей бородой дьякон, — только женили и на, поди, какой грех.

— Стало быть, Богу угодно так, — грустно и тихо говорил Анисим, с покорностью принимая свое горе. — Видно, на роду ему было написано. От судьбы, говорится, на коне не ускачешь.

Запечалилась Наталья по сыну. Не спалось ей, не елось.

— Пусти меня, Анисим, — сказала она мужу. — Нет моей мочи дома сидеть. Пойду по монастырям православным поминать новопреставленного Константина.

Отпустил Анисим Наталью и пятерку на гайтан привязал.

«Тоскует Наталья, — думал он, — не успокоить ей своей души. Пожалуй, помрет дома-то».

Помаленьку стала собираться. Затыкала в стенку веретена свои, скомкала шерсть на кудели и привесила с донцем у бруса.

Пусть, мол, как уйду, поминают.

Утром, в Петровское заговенье, она истопила печь, насушила жаровню сухарей и связала их в холщовую сумочку.

Анна помогала ей и заботливо совала в узел, что могло понадобиться.

В обеды старуха гаркнула рубившему дрова Анисиму, присела на лавку и со слезами упала перед иконами на колени.

От печи пахло поджаренными пирогами, на загнетке котенок тихонько звенел заслоном.

— Прости Христа ради, — обняла она за шею Анисима. — Не знаю, ворочусь ли я.

Анисим, скомкав шапку, утирал заголубевшую на щеке слезу.

— А ты все-таки того... — ласково обернулся к ней. — Помирать-то домой приходи.

Наталья, крестясь, подвязала сумочку и взяла камышовый костыль.

— Анна, — позвала она бледную сноху, — поди, я тебя благословлю.

Анна вышла и, падая в ноги, зарукавником прикрыла опухшие глаза.

— Господь тебя благословит. Пройдет сорокоуст, можешь замуж итить... Живи хорошенько.

— Пойдем, — крикнула она Анисиму, — за околицу проводить надо.

Анна надела коротайку и тихо побрела, поддерживая ей сумку, к полю.

— А ты нет-нет и вестку пришли, — тягуче шептал Анисим, — оно и нам веселей станет. А то ведь одни мы...

Тихо, тихо... В смолкших травах чудилось светлое успокоение... Пошла, оборачиваясь назад, и, приостановившись, махала костылем, чтобы домой шли.

От сердца как будто камень отвалился.

С спокойной радостью взглянула в небо и, шамкая, прошептала:

— Мати Дево, все принимаю на стези моей, пошли мне с благодатной верой покров твой.

Анисим стоял с покрытой головой и, закрываясь от солнца, смотрел на дорогу.

Наталья утонула в лоску, вышла на бугор и сплелась с космами рощи; он еще смотрел, и застывшие глаза слезились.

— Пойдем, папаша, — дернула его за рукав Анна. — Теперь не воротишь ведь.

Шли молча, но ясно понимали, что печаль их связала в один узел.

— Не надо мне теперь землю, — говорил он, безнадежно оглядывая арендованное поле. — Затянет она меня и тебя разорит. Ты молодая еще, жить придется. Без приданого-то за вдовой не погонятся, а так весь век не проживешь, выходить все равно придется.

— Тебе видней, — отвечала Анна. — Знамо, теперь нам мускорно.

Покорился Анисим опутавшей его участи. Ничего не спихнул со своих ссутуленных плеч.

Залез только он ранее срока на печь и, свесив голову, как последней тайны, ждал конца.

Анна позвала Степана посмотреть выколосившуюся рожь.

Степан взял назубренный серп и, заломив картуз, пошел за Анной.

— Что ты думаешь делать? — спросила она его.

— Не знаю, — тихо качнул головою и застегнул ослаблый ремень.

— Я тоже не знаю, — сказала она и поникла головою.

Вошла в межу, и босые ноги ее утонули в мягкой резеде.

— Хорош урожай, — сказал, срывая колос, Степан. — По соку видно, вишь, как пенится.

Анна протянула руку за синим васильком и, поскользнувшись с межи, потонула, окутанная рожью.

— Ищи, — крикнула она Степану и поползла в соседнюю долю.

— Где ты? — улыбаясь, подымался Степан.

— Ау, — звенел ее грудной голос.

— Вот возьму и вырву твои глаза, — улыбался он, посадив ее на колени. — Вырву и к сердцу приколю. Они синей васильков у тебя.

— Не мели зря, — зажимала она ему ладонью губы. — Ведь я ослепну тогда.

— А я тебя водить стану, — отслонял он ее руку, — сумочку надену, подожочек вытешу, поводырем пойду стучать под окна: подайте, мол, Аннушке горькой, которая сидела тридцать три года над мертвым возлюбленным и выплакала оченьки.

Вечером к дому Анисима прискакал без фуражки верховик и, бросив поводья, без привязи, вбежал в хату.

— Степан, — крикнул он с порога, — скорей, мать помирает!

Степан надел картуз и выбежал в сени.

— Погоди, — крикнул он, — сейчас обратаю.

Лошади пылили и брызгали пенным потом.

Когда они прискакали в село, то увидели, что у избы стояла попова таратайка.

В избе пахло воском, копотливой гарью и кадильным ладаном.

Акулина лежала на передней лавке. Глаза ее, как вшитая в ложбинки вода, тропыхались.

Степан перекрестился и подошел к матери.

Родные стояли молча и плакали.

— Степан, — прохрипела она, — не бросай Мишку...

Желтая свечка задрожала в ее руках и упала на саван.

Одна осталась Анна. Анисим слез с печи, надел старую хламиду и поплелся на сход. Она оперлась на подоконник и задумалась. Слышно, как тоненько взвенивала осокой река и где-то наянно бухал бучень.

«Одна, совсем одна, — вихрились в голове ее думы, — свекор в могилу глядит, а у Степана своя семья, его так и тянет туда.

Теперь, как померла мать, жениться будет и дома останется. Может быть, остался бы, если не Мишка... Подросток, припадочный... ему без Степана живая могила.

Бог с ним, — гадала она, — пускай делает, как хочет». В душе ее было тихое смирение, она знала, что боль, которая бередит сердце, пройдет скоро, и все пойдет по новому руслу.

К окну подошел столяр Епишка. От него пахло водкой и саламатой.

— Ты, боярышня круглолицая, что призадумалась у окна?

— Так, Епишка, — грустно улыбнулась она. — Невесело мне.

— Али Иван-царевич покинул?

— Все меня бросили... А может, и я покинула.

— Не тужи, красавица! Прискачет твой суженый, недолго тебе томиться в терему затворчатом.

— Жду, — тихо ответила она, — только, видно, серые волки его разорвали.

— Не то, не то, моя зоренька, — перебил Епишка, — ворон живой воды не нашел.

Кис Анисим на печи, как квас старый, да взыграли дрожжи, кровь старая; подожгла она его старое тело, и не узнала Анна своего свекра.

Ходил старик на богомолье к Сергию Троице, пришел оттолева и шапки не снял.

— Вот что, — сказал он Анне, — нечего мне дома делать. Иди замуж, а я в монахи; не вернется наша бабка. Почуял я.

Ушел старый Анисим, пришел в монастырь и подрясник надел.

Возил воду, колол дрова и молился за Костю.

— На старости спасаться пришел, — шамкал беззубый, седой игумен, — путево, путево, человече... В Писании сказано: грядущего ко мне не изжену вон, — Бог видит душу-то. У него все мысли ее записаны.

Анисим откидывал колун и, снимая с кудлатой головы скуфью, с благоговением чмокал жилистую руку игумена.

По субботам он с богомолками отсылал Анне просфорочку и с потом выведенную писульку.

«Любая сношенька, живи хорошенько, горюй помалу и зря не крушинься.

Я молюсь за тебя Богу, дай тебе Он, Милосердный, силы и крепости.

Житье мое доброе и во всем благословение Божьей Матери.

Вчера мне приснилась Натальюшка. Она пришла ко мне в келью с закрытым лицом. Гадаю, не померла ли она... утиральник твой получил... спасибо... посылаю тебе артус, девятичиновную просфору, положи их на божницу и пей каждое утро со святой водой, это тебе хорошо и от всякого недуга пользительно».

Анна радостно клала письмо за пазуху и ходила перечитывать по базарным дням к лавочнику Левке.

По селу загуторили, что она от Степки забрюхатела.

Глава вторая

Филипп запряг лошадь, перекрестил Лимпиаду и, тронув вожжи, помчал на дорогу.

Он ехал в Чухлинку сказать, что приехали инженеры и отрезали к казенному участку, который покупал какой-то помещик, Чухлинский пасик.

Пасик — еланка и орешник, место буерачное и неприглядное.

Но мужики каждой осенью дробились на выти и почти по мешку на душу набирали орехов.

Весной там паслись овцы, и в рытых землянках жили пастухи.

Филипп досадовал, что чухлинцы не могли приехать по наказу сами.

Спустился в долину и увидел вбивавшего колья около плотины Карева.

— Далеко?

— Да в Чухлинку, — сердито махнул он, заворачивая к мельнице.

— Отрезали ведь, — поморщился и стер со лба остывающий пот.

— Плохое дело...

— Куда хуже.

— Ты погоди ехать в Чухлинку, — сказал Карев. — Попьем чай, погуторим, а потом и я с тобой поеду.

День был ветряный, и сивые тучи, как пакля, трепались и, подхваченные ветром, таяли.

Филипп отпустил повод, завязал его за оглоблю и отвел лошадь на траву.

Летняя томь кружила голову, он открыл губы и стал пить ветер.

— Ох, — говорил Карев, — теперь война пойдет не на шутку. Да и нельзя никак. Им, инженерам-то, что! Подкупил их помещик, отмерили ему этой астролябией без лощин, значит, и режь. Ведь они хитрые бестии. Думают: не смекнут мужики.

— Где смекнуть второпях-то, — забуробил Филипп, — тут все портки растеряешь.

— Я думаю нанять теперь своих инженеров и перемерить участки... Нужно вот только посмотреть бумаги — как там сказано, с лощинами или без лощин. Если не указано — плевое дело. У нас на яру ведь нет впадин и буераков, кроме этой долины, а в старину земли делили не как сейчас делят.

— Говоришь — война будет, значит, не миновать... Кто их знает: целы ли бумаги.

Тучи клубились шерстью и нитками сучили дождь.

Карев надел кожан, дал Филиппу накрыться веретье, и поехали на Чухлинку.

Дорога кисла киселем, и грязь обдавала седоков в спины и в лицо.

Лес дымил как задавленным пожаром; в щеки сыпал молодятник-мох, и веяло пролетней вялостью.

Переехали высохший ручей и стали взбираться на бугор.

Сотский вырезал из орясника палку, обстрогал конец и, нахлобучив шапку, вышел на кулижку.

— На сход, — кричал он, прислоняясь к мутно-голубым стеклам.

Скоро оравами затонакали мужики, и следом за ними шли, поникнув, пожилые вдовы.

Староста встал с крыльца и пошел с корогодом в пожарный сарай.

— Православные, — заговорил он, — Филипп приехал сказать, что инженеры отрезали у нас Пасик.

Мужики завозились, и с нырявшим кашлем кой-где зашипел ропот.

Обсуждали, как их обманывают и как доказать, что оба участка равны по старой меже.

Порешили выписать инженеров и достать бумаги.

Карев опасался, как бы бумаги не пропали.

Он искал старожилов и расспрашивал, с кем дружил покойный барин и живы ли те, при ком совершался акт.

Тяжба принимала серьезный характер; он разузнал, что и сам помещик был свидетелем, когда барин одну половину отмежевал казне, а другую — крестьянам.

— Уж ты выручи нас, — говорили мужики, — мы тебя за это попомним...

Карев, усмехаясь, вынимал кисет и, отрывая листки тоненькой бумаги, угощал мужиков куревом.

— Ничего мне не надо; табак пока у меня завсегда свой, а коли, случится на охоте, кисет забуду, так тут попросил бы одолжить щепоть.

Смеялись и с веселым размахиваньем шли в трактирчик.

— Одурачить-то мы их одурачим, — возвращался он к старому разговору, — вот только б бумаги не подкашляли...

Лимпиада, покрыв стол, стала ждать брата и, прислонясь к окну, засверкала над варежкой спицами.

Ставни скрипели, как зыбка.

Она задумалась и не заметила, как к крыльцу подкатила таратайка.

Ворота громыхнули, Чукан с веселым лаем выскочил наружу, и Лимпиада, встрепенувшись, отбросила моток.

— Ты что ж это околицу-то прозевала, — весело поздоровался Карев.

Лимпиада, закрасневшись, выставила свои, как берестяные, зубы и закрылась рукавом.

— Забылася, — стыдливо ответила она.

— Эх ты, разепа, — шутливо обернулся он, засматривая ей в глаза.

Вошел Филипп и внес мокрый хомут; с войлока катился бисер воды и выводил змеистую струйку.

— Гыть-кыря! — пронеслось над самым окном.

— Кто это? — встрепенулся Филипп. — Никак пастухи...

— Федот, Федот, — замахал он высокому, безбородому, как чухонец, пастуху, — ай прогнали?

— Прогнали, — сердито щелкнул кнутом на отставшую ярку пастух.

— Вот, сукин сын, что делает, — злобно вздохнул Филипп, — убить не грех.

— На Афонин перекресток гоним, — крикнул опять пастух, — измокли все из кобеля борзого... петлю бы ему на шею.

Лимпиада искоса глядела на Карева, и когда он повертывался, она опускала глаза.

Тучи прорванно свисли над верхушками елей, и голубые просветы бражно запенились солнцем. По траве серебряно белела мокрость.

— Пойдем в лес сходим, — сказал Филипп. — Нужно на перемет посмотреть, в куге на озере я жерлику поставил; теперь, после дождя, самый клев.

Сосны пряно кадили смолой; красно-желтая кора вяло вздыхала, и на обдире висли дождевые бусы.

— Ау, — крикнула Лимпиада, задевая за руку Карева.

— У-у-у! — прокатилось гаркло по освеженному лесу.

Карев отбежал и тряхнул сосну, с веток посыпался бисер и, раскалываясь, обсыпал Лимпиаду. Волосы ее светились, на ресницах дрожали капли, а платок усыпали зеленые иглы.

— Недаром тебя зовут русалка-то, — захохотал он, — ты словно из воды вышла.

Лимпиада, смеясь, смотрела в застывшую синь озера...

Помещик узнал через работника, что крестьяне вызывают на перемер инженеров и подали в суд.

— Проиграет твое, — говорил робко работник. — Там за них какой-то охотник вступился; бедовая, говорят, голова.

Помещик угрюмо кусал ус и обозленно стучал ногами.

— Знаю я вас, мошенников... михрютки вы сиволапые! Так один за другого и тянете.

— Я ничего, — виновато косился работник, — я сказать тебе... может, сделаешь что...

Помещик, косясь, уходил на конюшню и, щупая лошадь, кричал на конюха:

— Деньги только драть с хозяина. Опять не чистил, скотина... Заложи живо овса!..

Конюх, суетясь, тыкался в ларь, разгребал куколь и, горстью просеивая, насыпал в меру.

Мякина сыпалась прямо в глаза вилявшей собаке и щекотала ей ноздри.

— Ты еще что мешаешься, — ткнул ее помещик ногой, — вон пошла, стерва!

«Ишь, черт дурковатый, — думал конюх, — не везет ни в чем, так и зло на всех срывает!»

— А где он живет? — обратился к вошедшему за метлой работнику.

— Он живет в долине, на Афонином перекрестке помол держит.

— Так, так, — кивал головой конюх, — сказывают, охотой занимается еще.

— Так ты вот что, Прохор, — обратился помещик к конюху. — Заложи нам гнедого в тарантас и сена положи. А ты, брат, пей поскорей чай да со мной поедешь.

Карев увидел, как к мельнице подкатил тарантас и с сиденья грузно вывалился барин.

Он, поздоровавшись, сел на лавку и заговорил о помоле.

«Хитрит, — подумал Карев, — не знает, с чего начать».

— Трудно, трудно ужиться с мужиками, — говорил он, качая трость. — Я, собственно... — начал он, заикнувшись на этом слове, — приехал...

— Я знаю, — перебил Карев.

— А что?

— Хотите сказать, чтобы я не совался не в свои сани, и пообещаете наградить.

— Н-да, — протянул тот, шевеля усом, — но вы очень резко выражаетесь.

— Я говорю напрямую, — сказал Карев, — и если б был помоложе, то обязательно дал бы вам взбучку.

Помещик сузил глазки и стал прощаться.

Работник насмешливо прикусил губы и хлестал лошадь. Тарантас летел, как паровоз.

— Гони сильней, — ткнул он его ногой.

— Больше некуда гнать, — оглянулся работник, — а ежели будешь тыкаться, так я так тыкну, что ты ребер не соберешь.

Глава третья

Стояла июльская жара. Пахло ожогом трав и сухой соломой. Колосился овес.

Мужики собрались на сходку и порешили косить луга.

Десятские взяли общественные канаты и пошли за реку отыскивать занесенные в половодье на делянках ямы.

Они осторожно, не сминая травы, становились на раскосы и прикидывали веревку.

К вечеру у парома заскрипели с шалашами телеги и забренчали косы.

По лугу потянулись гуськом подводы и, покачиваясь, ехали за песчаную луку.

За лукой, на бугорке, считая свою выть от ямы, они скидывали, окосив траву, шалаши, уставляли их поплотней и устилали сочной травой.

Из телег летели вилы, грабли, связки дров и хламная рухлядь.

Потом, осторожно взяв косы, вешали их на попки шалаша и втаскивали во внутрь сундучок с посудой и снедью.

Шалаши лицом друг к другу ставили в два ряда и позади, распрягая лошадей, подняв оглобли, притыкали накрытые веретьями телеги.

В это утро к Кареву пришел Филипп и стал звать на покос.

— А я и работника не наймал, — говорил он, улыбаясь издалека. — На тебя надеялся... Ты не бойся, нам легко будет, на семь душ всего; а ежели Кукариху скинуть — и того меньше...

Карев весело поднял голову и всадил в дровосеку топор.

— А я уж вилы готовлю.

Филипп по порядку отыскал четвертую стоянку и завернул на край.

У костра с каким-то стариком сидел Карев и, подкладывая плах, говорил о траве.

— Трава хорошая, — зашептал Филипп, раздувая костер. — Один медушник и кашка.

— А по лугам один клевер, — заметил старик. — И забольно так по впадинам чесноком череда разит.

Небо щурилось и морщилось. В темной сини купола шелестели облака.

Мигали звезды, и за бугром выкатывался белый месяц.

Где-то замузыкала ливенка, и ухабистые канавушки поползли по росному лугу.

Милый в ливенку играет,
Сам на ливенку глядит,
А на ливенке написано:
В солдатушки итить.

Карев пил из железной кружки чай и, обжигая губы, выдувал колечко.

Пели коростели, как в колотушку, стучал дупель, и фыркали лошади.

Филипп постелил у костра кожух, накрылся свиткой и задремал.

Старик, лежа, согнув кольцом над головой руки, отсвистывал носом храповитую песню, и на шапку его сыпался пепел.

Карев на корточках вполз в шалаш и, не стеля, бросился на траву.

Зарило.

— У... роса-то, — зевнул Филипп, — пора будить.

Было свежо и тихо. Погасшие костры светились неподмоченной золой.

— Костя... а Кость... — трепал он за ногу, — Кость...

Карев вскочил и протер глаза. Во рту у него было плохо от вчерашней выпивки, он достал чайник и стал полоскать.

— Ого-го-го... вставать пора, — протянулось по стоянке.

Филипп налил брусницы водой, заткнул клоком скошенной травы и одну припоясал, свешивая на лопатку, сам, а другую подал Кареву.

Косы звякнули, и косари разделились на полувыти.

— Наша вторая полувыть, — подошел к Филиппу вчерашний старик. — Меримся, кому от краю.

Филипп ухватился за окосье, и стали перебираться руками.

— Мой конец, — сказал старик, — мне от краю.

— Ну, а моя околь, — протянул Филипп, — самая удобь. Бабы лучше в чужую не сунутся.

— Бреди за ним по чужому броду, — указал он Кареву на старика, — меряй да подымай косу.

Карев побрел, и сапоги его как вымазались в деготь; на них прилип слет трав и роса.

— А коли побредешь, — пояснил старик, — так держи прям и по цветкам норови, лучше в свою не зайдешь и чужую не тронешь.

Они пошли вдоль по чужой выти и стали отмерять. Карев прикинул окосьем уже разделенную им со стариком луговину и отмерил себе семь, а старику — три; потом он стал на затирку и, повесив на обух косы и фуражку, поднял ее.

По росе виднелся широкой прошвой вырезанный след.

Карев снял косу, вынул брус и, проводя с обуха, начал точить.

Филипп шагнул около брода, и трава красиво прилегла к старикову краю, как стояла, частой кучей.

На рассвете ярко, цветным гужом, по лугу с кузовами и ведрами потянулись бабы и девки и весело пели песни.

Карев размахивал косой, и подрезанная трава тихо вжикала.

— Вж... Вж... — неслось со всех концов, и запотелые спины, через мокрые рубахи, обтяжно вырезали плечи и хребет.

Пахло травой, потом и, от слюнявых брусниц, глиной.

— Ох, и жара! — оглянулся Филипп на солнце. — До спада надо скосить. С росой-то легче.

Карев снял брусницу, подошел к маленькому, поросшему травой, озеру и стал ополаскивать.

Зачерпнув, он прислонил к губам потный подол рубахи и стал пить через него.

Потом выплеснул с букашками на траву и пошел опять на конец.

Филипп гнал уж ряд к озеру. Вдруг на косу его легло, как плеть, что-то серое и по косе алой струйкой побежала кровь.

— Утка, — поднял он, показывая ее Кареву, за синие лапы.

Из горла капала кровь и падала на мысок сапога.

С двумя работницами пришла Лимпиада и, сбросив кузов, достала с повети котел.

— Прось, — обратилась к высокой здоровенной бабе, — ты сходи за водой, а мы здесь кашу затогарим.

Костры задымили, и мужики бросили косить.

Карев подошел к старику и поплелся, размахивая фуражкой, за ним следом.

— Дед Иен, погоди, — крикнул отставший Филипп, — дакось понюхаем из табатерки-то.

К вечеру по окошенному лугу выросли копны и бабы пошагали обратно домой.

Дед Иен подошел к костру, где сидел Карев, и стал угощать табаком.

Мужики, махая кисетами, расселись кругом и стали уговаривать деда рассказать сказку.

— Эво, что захотели! — тыкал в нос щепоть зеленого табаку. — Вот кабы вы Петруху Ефремова послухали, так он вам наврал бы — приходи любоваться.

— Ну и ты соври что-нибудь, — засмеялся Филипп, — ты думаешь — мы поверять, что ль, будем.

Дед Иен высморкался, отер о полу халата сопли и очистил об траву.

— Имелася у одного попа собака, такая дотошная, ин всех кур у дьякона потяпала. Сгадал поп собаку поучить говорить по-челове-

чьи. Позвал поп работника Ивана и грить ему так: «Пожжай, балбес, в Амирику, обучи пса по-людски гуторить. Вот тебе сто рублев, ин нехватки, так займи там. У меня оттулева много попов сродни есть». Хитрой был попина. Прихлопывал он за кухаркой Анисьей. Да тулился, как бы люди не мекали. Пшел Иван, знычит, в яр, надел собаке оборку на шею и бух в озер. Минул год, к попу стучится: «Отоприде, поп, ворота». Глазеет поп. Иван почесал за ухом и грить попу: «Эх, батько, вышколили твою собаку, хлеще монаха псалтырь читала, только, каналья, и зазналась больно, не исть хлебушка, а давай-подавай жареного мяса; так и так, грю ей, батько, мол, наш не ахти богач, зря, касатка, не хрындучи. Никаких собака моих делов не хочет гадать. «К ирхирею, гарчит, побегу, скажу про него, гривана, что он с кухаркой ёрничает». Спугался я за тебя и порешил ее». — «Молодчина, — похвалил его поп. — Вот тебе еще сто рублей».

Дед Иен кончал и совал в бок соседа.

— Ну-с, Кондак, это только присказка, а ты сказку кажи.

Мужики слухали и, затаив дыхание, сопели трубками.

Полночь проглотила гомон коростелей. Карев поднялся и пошел в копну. В лицо пахнуло приятным запахом луга, и синее небо, прилипаясь к глазам, окутало их дремью.

Просинья тыкала в лапти травяниковые оборки и, опустив ногу на пенек, поправляла портянку.

Дед Иен подошел сзади и ухватил ее за груди.

— Ай да старик! — засмеялись бабы. — Ах ты, юрлов купырь! — ухмыльнулась Просинья. — Одной ногой в гроб глядишь, а другой в сметану тычешь. Ну, погоди, я тебе сделаю.

Дед Иен взял, не унимаясь от смеха, косу и сел на втулке отбивать.

Из кармана выпала табакерка и откатилась за телегу.

Просинья подошла к телеге, взяла впотайку ее двумя пальцами и пошла на дорогу.

С муканьем проходили коровы, и на скосе дымился помет.

Просинья взяла щепку и, открыв табакерку, наклала туда помету.

Крадучись, она положила опять ее около его лаптей и отошла.

Дед слюнявил молоток и тонко оттягивал лезвие.

Он сунул руку в карман и, не замечая табакерки, пошел в шалаш.

Перетряхивал все белье, смотрел в котлы и чашки, но табакерки не было.

«Не выскочила ли? — подумал он. — Кажется, никуды не ховал».

Просинья, спрятавшись за шалаш, позвала народ, и, сквозь дырочки, стали смотреть...

— Ишь, где оставил, — гуторил про себя Иен, — забывать стал... Эх-хе-хе!

Он открыл крышку и зацепил щепоть... Глаза его обернулись на запутавшуюся на веревке лошадь, и он не заметил, что в пальцах его было что-то мягкое.

В нос ударило поганым запахом, он поглядел на пальцы и растерянно стал осматривать табакерку.

— Ах ты, нехолявая, — ругал он Просинью, — погоди, отдыхать ляжешь, я с тобой не то сделаю. Ты от меня огонь почуешь в жилах.

— Сено перебивать! — закричали бабы и бросились врассыпную по долям. Карев взял грабли и побежал с Просиньей.

Лимпиада побегла за ним и на ходу подтыкала сарафан.

— Ты куда же? — крикнул ей Филипп. — Там ведь Просинья. — Она замешливо и неохотно побегла к другой работнице и зашевелила ряды.

— Труси, труси, — кричал ей издалека Карев, — завтра навильники швырять заставим.

Лимпиада оглядывалась и, не перевертывая сена, метила, как бы сбить Просинью и стать с Каревым.

Она сгребла остальную копну и бросилась помогать им.

— Ты ступай вперед, — сказала она ей, — а я здесь догребу.

— Ишь какая балмошная! — ответила Просинья. — Так и норовит по-своему.

— Девка настойчивая, — шутливо кинул Карев.

— Молчи, — крикнула она и, подбежав, пихнула его в копну.

Карев увидел, как за копной сверкнули ее лапти и, развеваясь, заполыхал сарафан.

— Догонит, догонит! — кричала Лимпиаде с соседней гребанки баба.

Он ловко подхватил ее на руки и понес в копну.

Лимпиада почувствовала, как забилось ее сердце, она, как бы отбиваясь, обняла его за шею и стала сжимать.

В голове закружилось, по телу пробежала пена огня. Испугался себя и, отнимая ее руки, прошептал:

— Будя...

Глава четвертая

Карев лежал на траве и кусал тонкие усики чемерики.

Рядом высвистывал перепел и кулюкали кузнечики.

Солнце кропило горячими каплями, и по лицу его от хворостинника прыгали зайчики.

Откуда-то выбежал сельский дурачок и, погоняя хворостинного коня, помчал к лесу.

Приподняв картуз, Карев побрел за ним.

Был праздник, мужики с покоса уехали домой, и на недометанные стога с криком садились галки.

Около чащи с зарябившегося озера слетели утки и, со свистом на полете, упали в кугу.

Дурачок сидел над озером и болтал ногами воду.

— Пей, — нукал он свою палку, — волк пришел, чуешь — пахнет?

— Поди сюда, — поманул он пальцем Карева. Отряхивая с лица накусанную траву, Карев подошел и снял фуражку.

— Ты поп? — бросил он ему, сверкая глазами.

— Нет, — ответил Карев, — я мельник.

— Когда пришел? — замахал он раздробленной палкой по траве.

— Давеча.

— Дурак.

Красные губы подернулись пьяникой, а подбородок задергал скулами.

— Разве есть давеча? Когда никогда — нонче.

— Дурак, — крикнул он, злобно вытаскивая затиснутую палку, и, сунув ее меж ног, поскакал на гору.

— Отгадай загадку, — гаркнул он, взбираясь на верхушку. — За белой березой живет тарарай.

— Эх, мужик-то какой был! — сказал, проезжая верхом, старик. — Рехнулся, сердечный, с думы, бают, запутался. Вот и орет про нонче. Дотошный был. Все пытал, как земля устроена...

«Это, грил, враки, что Бог на небе живет».

Попортился. А може, и Бог отнял разум: не лезь, дескать, куды не годится тебе.

Озорной, кормилец, народ стал. Книжки стал читать, а уже эти книжки — сохе пожар. Мы, бывалоча, за меру картошки к дьячку ходили аз-буки узнать, а болей не моги.

Ин, можа, и к лучшему, только про Бога и шамкать не надо.

Желтой шалью махали облака, и тихо-тихо таял, замирая, чей-то напевающий голос:

Догорай, моя лучина, догорю с тобой и я.

С Горки шли купаться на бочаг женихи, и, разводя ливенку на елецкую игру, гармонист и попутники кружились, выплясывая казачка.

Кто-то, махая мотней, нес, сгорбившись, просмоленный бредень и, спотыкаясь, звенел ведром.

На скошенной луговине, у маленького высыхающего озера, кружились с карканьем вороны и плакали цыбицы.

Карев взял палку и побежал, пугая ворон, к озерку. На дне желтела глина, и в осоке, сбившись в кучу, копошились жирные, с утиными носами, щуки.

«Ух, сколько!» — ужахнулся он про себя и стал раздеваться.

Разувшись, он снял подштанники, а концы завязал узлом.

Подошел к траве и, хватая рыбу, стал кидать в них.

Щуки бились, и надутые половинки означались, как обрубленные ноги.

— Вот и уха, — крякнул он, — да тут, кажется, лини катаются еще.

Не спалось в эту ночь Кареву.

«Неужели я не вернусь?» — удивлялся он на себя, а какой-то голос так и пошептывал: «Вернись, там ждут, а ты обманул их». — Перед ним встала кроткая и слабая перед жизнью Анна.

«Нет, — подумал он, — не вернусь. Не надо подчиняться чужой воле и ради других калечить себя. Делать жисть надо, — кружилось в его голове, — так делать, как делаешь слеги к колымаге».

Перед ним встал с горькой улыбкой Аксютка. «Так я хвастал...» — кольнула его предсмертная исповедь.

Ему вспоминался намеднишний вечер, как дед Иен переносил с своего костра плахи к ихнему огню, костер завился сильней и обгоревшие полена дольше, как он заметил, держали огонь и тепло.

Из соседней копны послышался кашель и сдавленный испугом голос.

— Горим, — крикнул, почесываясь, парень, — пожар!

Карев обернулся на шалаш, и в глаза ударило пламя с поселка Чухлинки.

Бешено поднялся гвалт. Оставшиеся мужики погнали лошадей на село.

— Эй, э-эй! — прокатилось. — Вставай тушить!

К шалашу подъехал верхом Ваньчок. — Филипп! — гаркнул он над дверью. — Ай уехали?

— Кистинтин здесь. — Прошамкал, зевая, дед Иен. — Что горит-то?

— Попы горят, — кинул Ваньчок. — Разве не мекаешь по кулижке?

— Ано словно и так, да слеп я, родной, стал, плохо уж верю глазам.

— Ты что, разве с пожара? — спросил Карев, приподнимая, здороваясь, картуз.

— Там был, из леса опять черт носил, целый пятерик срубили в покос-то.

— Кто же?

— Да, бают, помещик возил с работниками, ходили обыскивать. А разве сыщешь... он сам семь волков съел. Проведет и выведет... На сколько душ косите-то, — перебил разговор он, — на семь или на шесть?

— На семь с половиной, — ответил Карев. — Да тут, кажется, Белоборку наша выть купила.

— Ого, — протянул Ваньчок, — попаритесь; Липка-то, чай, все за ребятами хлыщет, — потянул он, разглаживая бороду.

— Не вижу, — засмеялся Карев. — Плясать вот — все время пляшет.

— Играет, — кивнул Ваньчок. — Как кобыла молодая.

Пахло рассветом, клубилась морока, и заря дула огненным ветерком.

— Чайничек бы догадался поставить, — обернулся он, слезая с лошади.

— Ано на зорьке как смачно выйдет: чай-то, что мак, запахнет.

Филипп положил в грядки сенца и тронулся в Чухлинку. Нужно было закупить муки и пшена.

Он ехал не по дороге, а выкошенной равниной.

Труском подъехал к перевозу и стал в очередь.

Мужики, столпившись около коровьих загонов на корточках, разговаривали о чем-то и курили.

Вдруг от реки пронзительно каркнул захлебывающийся голос: «Помогите!»

Мужики опрометью кинулись бегом к мосту и на середке реки увидели две барахтающиеся головы.

Кружилась корова и на шее ее прилипший одной рукой человек.

— Спасайте, — крикнул-кто-то, — чего ж глазеть-то будем!

Но, как нарочно, в подводе ни одной не было лодки.

Перевозчик спокойно отливал лейкой воду и чадил, вытираясь розовым рукавом, трубкой.

Филипп скинул с себя одежу и телешом бросился на мост.

Он подумал, что они постряли на канате, и потряс им.

Но заметить было нельзя; их головы уже тыкались в воду.

Легким взмахом рук он пересек бурлившую по крутояру струю и подплыл к утопающим; мужик бледно-мертвенно откидывал голову, и губы его ловили воздух.

Он осторожно подплыл к нему и поднял, поддерживая правой рукой за живот, а левой замахал, плоско откидывая ладонь, чтобы удержаться на воде.

Корова поднялась и, фыркнув ноздрями, поплыла обратно к селу.

Шум заставил обернуться перевозчика, и он, бросив лейку, побежал к челну.

Филипп чуял, как под ложечкой у него словно скреблась мышь и шевелила усиками.

Он задыхался, быстрина сносила его, кружа, все дальше и дальше под исток.

Тихий гуд от воды оглушился криками, и выскочившая на берег корова задрала хвост, вскачь бросилась бежать на гору.

Невод потащили, и суматошно все тыкались посмотреть... Тут ли?

Белое тело Филиппа скользнуло по крылу невода и слабо закачалось.

— Батюшки, — крикнул перевозчик, — мертвые!

Как подстреленного сыча, Филиппа вытащили с косоруким на дно лодки и понеслись к берегу.

На берегу, засучив подолы, хныкали бабы и, заламывая руки, тянулись к подплывающей лодке.

В лодке, на беспорядочно собранном неводе, лежали два утопленника.

С горы кто-то бежал, размахивая скатертью, и, все время спотыкаясь, летел кубарем.

— Откачивай, откачивай! — кричали бабы и, разделившись на две кучи, взяв утопленников за руки и ноги, высоко ими размахивали.

Какой-то мужик колотил Филиппа колом по пятке и норовил скопырнуть ее.

— Что ты, родимец те сломай, уродуешь его, — подбежала какая-то баба. — Дакось я те стану ковырять морду-то!

— Уйди, сука, — замахнулся мужик кулаком. — Сам знаю, что делаю.

Он поднял палку еще выше и ударил с силой по ляжкам.

Из носа Филиппа хлынула кровь.

— Жив, жив! — замахали сильней еще бабы и стали бить кругом ладошами.

— Что, стерва, — обернулся мужик на подстревшую к нему бабу, — каб не палка-то, и живому не быть! Измусолить тебя надыть.

— А за что?

— Не лезь куда не следует.

Филипп вдруг встал и, кашлянув, стал отплевываться.

— Рубахи? — обернулся он к мужику.

— Там они, не привозили еще.

Жена перевозчика выбежала с бутылкой вина и куском жареной телятины.

— Пей, — поднесла она, наливая кружку Филиппу. — Уходился, ин лучше станет.

Филипп дрожащими руками прислонил кружку к губам и стал тянуть.

Бабы, ободренные тем, что одного откачали, начали тоже колотить косорукого палкой.

Филипп телешом стал, покачиваясь, в сторонку и попросил мужика закурить.

Мимо, болезно взглядывая, проходили девки и бабы.

— Прикрой свои хундры-мундры-то, — подошла к нему сгорбившаяся старушонка и подала свою шаль.

Его трясло, и солнцепек, обжигая спину, лихорадил, но выпитая водка прокаливала застывшую кровь, горячила.

С подтянутого парома выбегли приехавшие с той стороны, и плечистый парень подал ему рубахи.

С шумом в голове стал натягивать на себя подштанники и никак не мог попасть ногой.

— Ничего, ничего, — говорил, поддерживая его, мужик, — к вечеру все пройдет.

Народ радостно заволновался: косорукий вдруг откинул голову и стал с кровью и водой блевать.

Глава пятая

— Ой, и дорога, братец мой, кремень, а не путь! — говорил, хлебая чай, Ваньчок.

— Болтай зря-то, — вылез из шалаша дед Иен.

— Сичас только Ляля приехал.

— Кочки, сказывает, да прохлябы. Это ты, видно, с вина катался так.

— Эй, заспорили! — гаркнул с дороги мужик. — Не слыхали, что Филька-то утонул.

— Мели, — буркнул дед.

— Пра.

Мужик сел, ковыляя, на плаху и стал завертывать папироску.

— Не верите, псы... Вот и уговори вас. А ведь на самом деле тонул.

И начал рассказывать по порядку, как было.

— И ничего, — заметил он. — Я пошел, а он на пожаре там тушит вовсю. Косорукий, баил аптешник, полежит малость.

— Полежит, это рай! — протянул дед Иен. — А то б навечно отправился лежать-то. Со мной такой случай тоже был. В Питере, знычит, на барках ходили мы. Всю жисть помню и каждый час вздрагиваю. Шутка ли дело, достаться черту воду возить. Тогда проклянешь отца и матерю.

— А вправду это черт возит воду на них? — прошептал подползший малец.

— Вправду? Знамо не нароком.

— Мне так говорил покойный товарищ... водоливом были вместе, — что коли тонет человек, то, знычит, прямо норовит за горло схватить, если обманывает.

— Кто это? — переспросил малец.

— Кто?.. Про кого говорить нельзя на ночь.

Дед поднял шапку и обернулся к зареву.

— А прогорело, — сказал он, зевая.

— А как же обманывает-то? — спросил Ваньчок. — Ведь, небось, не сразу узнаешь.

— Эва, — протянул дед Иен. — Разве тут помнишь чего!

Ехали мы этось в темь, когда в Питере были; на барке нас было человек десять, а водоливов-то — я да Андрюха Сова. Качаю я лейку и не вижу, куды делся Сова. Быдто тут, думаю. А он вышел наверх да с лоцманом там нализался, как сапожник. Гляжу я так. Вдруг сверху как бултыхнет что-то. Оглянулся — нет Совы. Пойду, спрошу, мол, не упало ли что нужное. Только поднялся, вижу — лоцман мой руками воду разгребает. «Ты что делаешь?» — спрашиваю его. «Дело, грить, делаю: Сова сичас утопился». Я туды, я сюды, как на грех, нигде багра не сыщу. Кричу, махаю: кидайте якорь, мол, человек утоп. Смекнули накладники, живо якорь спустили, стали мы шарить, стали нырять, де-то, де-то и напали на него у затона.

Опосля он нам и начал рассказывать. Так у меня по телу муравьи бегали, когда я слушал.

«Упал, — говорит, — я как будто с неба на землю; гляжу: сады, все сады. Ходят в этих садах боярышни чернобровые, душегрейками машут. Куды ни гляну, одна красивей другой. Провалиться тебе, думаю, вот где лафа-то на баб». А распутный был, — добавил дед Иен, кутаясь в поддевку. — Бывало, всех кухарок перещупает за все такие места... ахальник.

«Эх! — говорит. — Взыграло мое сердечушко, словно подожгли его. Гляжу, как нарочно, идет ко мне одна, да такая красивая, да такая пригожая, на земле, видно, такой и не было. Идет, как павочка, каблуками сафьяновыми выстукивает, кокошником покачивает, серьгами позвякивает и рукавом алы губки свои от меня заслоняет. Подошла и тихо молвит на ушко, как колокольчик синенький звенит: «Напейся, Иван-царевич, тебя жажда берет». Как назвала она меня Иван-царевичем, сердце мое закатилось. «Что ж, говорю, Василиса моя премудрая, я попью, да только из рук твоих». Только было прислонился губами, только было обнял колени лебяжьи, меня и вытащили»... Вот она как обманывает-то. Опосля сказывал ему поп на селе: «Служи, грить, молебен, такой-сякой, это царица небесная спасла тебя. Как бы хлебнул, так и окадычился».

— Тпру, — гаркнул, слезая с телеги, Филипп и запутал на колесо вожжи.

— Вот он, — обернулись они. — На помине легок.

— Здорово, братец, — крикнул, подбегая, Карев.

— З-з-дорово, — заплетаясь пьяным языком, ответил Филипп. — От-от-отвяжи п-поди воз-жу-у...

— Ну, крепок ты, — поднялся дед Иен. — Вишь, как не было сроду ничего.

Филипп, приседая на колени, улыбался и старался обнять его, но руки его ловили воздух.

— Ты ложись лучше, — уговаривал дед Иен. — Угорел, чай, сердешный, ведь. Это не шутка ведь.

Дед Иен отвел его в шалаш и, постелив постель, накрыл, перекрестив, веретьем.

Филипп поднимался и старался схватить его за ноги.

— Голубчик, — кричал он, — за что ты меня любишь-то, ведь я тебя бил! Бил! — произнес он с восхлипываньем.

— Из чужого добра бил... лесу жалко стало...

— Будя, будя, — ползал дед Иен. — Это дело прошлое, а разве не помнишь, как ты меня выручил, когда я девку замуж отдавал. Вся свадьба на твои деньги сыгралась.

Кадила росяная прохлада. Ночь шла под уклон.

От пожара нагоревшее облако поджигало небо.

Карев распряг лошадь и повесил дугу на шалаш. Оброть звякала и шуршала на соломе.

— За что он бил-то тебя? — переспросил около дверки деда Иена.

— За лес. Пустое все это... прошлое напоминать-то, пожалуй, и грех, и обидно. Перестраивал я летось осенью двор, да тесин-то оказалась нехватка. Запряг я кобылу и ночью поехал на яр, воровать, знычит.

Ночь темная... ветер... валежник по еланке так и хрипит орясинами. Не почует, гадал я, Филипп, срублю две-три сосны, и не услышит при ветре-то. Свернул лошадь в кусты, привязал ее за березу и пошел с топором выглядывать. Выбрал я четыре сосны здоровых-праздоровых. — Срублю, думаю, а потом уж ввалю как-нибудь. — Только я стал рубить, хвать он меня за плечо и давай валтузить. Я в кусты, он за мной, я к лошади, и он туды; сел на дроги и не слезает. — Все равно пропадать, жалко ведь лошадь-то, узнает общество, и поминай как звали. «Филипп, — говорю, затулившись в мох, — пусти ради Бога меня». — Услышит это он мой голос — и шасть искать. А я прикутаю голову мохом, растянусь пластом и не дышу. Раза два по мне проходил, инда кости хрустели.

Потом, слышу, гарчет он мне: «Выходи, сукин сын, не то лошадь погоню старосте».

Вышел я да бух ему в ноги, не стал бить ведь боле. Потращал только. А потом, чудак, сам стал со мной рубить. Полон воз наклали. Насилу привез.

«Прости, — говорил мне еще, — горяч я очень». Да я и не взыскивал. За правду.

В частый хворостник, в половодье, забежали две косули. Они приютились у кореньев старого вяза и, обгрызывая кору, смотрели на небо.

Как из сита моросил дождь, и дул порывистый с луговых полян ветер.

В размашистой пляске ветвей они осмотрели кругом свое место и убедились, что оно надежно. Это был остров затерявшегося рукава реки. Туда редко кто заглядывал, и умные звери смекнули, что человеческая нога здесь еще не привыкла крушить коряги можжевеля.

Но как-то дед Иен пошел драть лыки орешника и переплыл через рукав рек на этот остров.

Косули услышали плеск воды и сквозь оконца курчавых веток увидели нагое тело. На минуту они застыли, потом вдруг затопали по твердой земле копытцами, и перекатная дробь рассыпалась по воде.

Дед Иен вслушался, ему почудилось, что здесь уже дерут лыки, и он, осторожно крадучись по тине, вышел на бугорок; перед ним, пятясь назад, вынырнула косуля, а за кустом, доставая ветку с листовыми удилами, стояла другая.

Он повернул обратно и ползком потянулся, как леший, к воде.

Косуля видела, как бородатый человек скрылся за бугром, и затаенно толкнула свою подругу; та подняла востро уши и, потянув воздух, мотнула головой и свесилась за белевшим мохрасто цветком.

Дед Иен вышел на берег и, подхватив рубашки, побежал за кусты; на ходу у него выпал лапоть, но он, не поднимая его, помчал к стоянке.

Филипп издали увидел бегущего деда и сразу почуял запах дичи.

Он окликнул согнувшегося над косой Карева и вытащил из шалаша два ружья.

— Скорей, скорей, — шепотом зашамкал дед Иен, — косули на острове. Бегим скорей.

У таганов ходила в упряжи лошадь Ваньчка, а на телеге спал с похмелья Ваньчок.

Они быстро уселись и погнали к острову; вдогонь им засвистали мужики, и кто-то бросил принесенное под щавель решето.

Решето стукнулось о колесо и, с прыгом взвиваясь, покатилось обратно.

— Шути, — ухмыльнулся дед, надевая рубаху, — как смажем этих двух, и рты разинете.

— Куда? — поднялся заспанный Ваньчок.

— За дровами, — хихикнул Филипп. — На острове, кажут, целые груды пятериков лежат. — Но Ваньчок последних слов не слышал, он ткнулся опять в сено и засопел носом.

— И к чему человек живет, — бранился дед, — каждый день пьяный и пьяный.

— Это он оттого, что любит, — шутливо обернулся Карев. — Ты разве не слыхал, что сватает Лимпиаду.

— Лимпиаду, — членораздельно произнес дед. — Сперва нос утри, а то он у него в коровьем дерьме. Разве такому медведю эту кралю надо? Вот тебе это еще под стать.

Карев покраснел и, замявшись, стал заступаться за Ваньчка.

Но в душе его гладила, лаская, мысль деда, и он хватал ее, как клад скрытый.

— Брось, — сказал дед, — я ведь знаю его, он человек лесной, мы все медведи, не он один. Ты, вишь, говоришь, всю Росею обходил, а мы дальше Питера ничего не видали, да и то нас таких раз-два и обчелся.

Подвязав ружья к голове, Карев и Филипп, чтобы не замочить их, тихо отплыли, отпихиваясь ногами от берега.

Плыть было тяжело, ружья сворачивали головы набок, и бечевки резали щеки.

Филипп опустил правую ногу около куги и почувствовал землю.

— Бреди, — показал он знаком и вышел, горбатясь, на траву.

— Ты с того бока бугра, а я с этого, — шептал он ему, — так пригоже, по-моему.

Косули, мягко взбрыкивая, лизали друг друга в спины и оттягивали ноги.

Вдруг они обернулись и, столкнувшись головами, замерли.

Тихо взвенивала трава, шелыхались кусты, и на яру одиноко грустила кукушка.

— Ваньчок, Ваньчок, — будил дед, таская его за волосы. — Встань, Ваньчок!

Ваньчок потянулся и закачал головою.

— Ох, Иен, трещит башка здорово.

— Ты глянь-кась, — повернул его дед, указывая на мокрую, с полосой крови на лбу, косулю. — Другую сейчас принесут. А ты все спишь...

Ваньчок слез с телеги и стал почесываться.

— Славная, — полез он в карман за табаком. — Словно сметаной кормленная.

С полдня Филипп взял грабли и пошел на падины.

— Ты со мной едем, — крикнул он Ваньчку. — Навивать копна станешь.

— Ладно, — ответил Ваньчок, заправляя за голенище портянку.

Лимпиада с работницами бегала по долям и сгребала сухое сено.

— Шевелись, шевелись! — гаркала ей Просинья. — Полно оглядываться-то. Авось не подерутся.

С тяжелым возом Карев подъехал к стогу и, подворачивая воз так, чтобы он упал, быстро растягивал с него веревку.

После воза метчик обдергивал граблями осыпь и, усевшись с краю, болтал в воздухе ногами.

Скрипели шкворни, и ухали подтянутые усталью голоса.

К вечеру стога были огорожены пряслом и приятно манили на отдых.

Мужики стали в линию и, падая на колени, замолились на видневшуюся на горе чухлинскую церковь.

— Шабаш, — крякнули все в один раз, — теперь, как Бог приведет, до будущего года.

Роса туманом гладила землю, пахло мятой, ромашкой, и около озера дымилась покинутая с пеплом пожня.

В бору чуть слышно ухало эхо и шомонил притулившийся в траве ручей.

Карев сел на пенек и, заряжая ружье, стал оглядываться на осыпанную иглами стежку.

Отстраняя наразмах кусты, в розовом полушалке и белом сарафане с расшитой рубахой, подобрав подол зарукавника, вышла Лимпиада.

На каштановых распущенных космах бисером сверкала роса, а в глазах плескалось пролитое солнце.

— Ждешь?

— Жду! — тихо ответил Карев и, приподнявшись, облокотился на ствол ружья.

«Фюи, фюи», — стучала крошечным носиком по коре березы иволга...

Шла по мягкой мшанине и полушалком глаза закрывала.

«Где была, где шаталась?» — спросит Филипп, думала она и, краснея от своих дум, бежала, бежала...

«Дошла, дошла, — стучало сердце. — Где была, отчего побледнела? Аль молоком умывалась?»

На крыльце, ловя зубами хвост, кружился Чукан.

Филипп, склонясь над телегой, подмазывал дегтем оси.

— Ты бы, Липка, грибов зажарила, — крикнул он, не глядя на нее, — эво сколища я на окне рассыпал, люли малина!

Лимпиада вошла в избу и надела черный фартук; руки ее дрожали, голова кружилась словно с браги.

Тоненькими ломтиками стала разрезать желтоватые масленки и клала на сковороду.

Карев скинул ружье и повесил на гвоздь, сердце его билось и щемило. Он грустно смахивал с волос насыпь игл и все еще чувствовал, как горели его губы.

К окну подошел Ваньчок и стукнул кнутовищем в раму.

— Тут Лимпиада-то? — кисло поморщился он. — Я заезжал; их никого не было.

— Нет, — глухо ответил Карев. — Она была у меня, но уж давеча и ушла.

— Ты что ж стоишь там, наружи-то? Входи сюда.

— Чего входить, — ответил Ваньчок. — Дела много: пастух мой двух ярок потерял.

— Найдутся.

— Какой найдутся, хоть бы шкуру-то поднять, рукавицы и то годится заштопать.

— Ишь какой скупой! — засмеялся, глухо покачиваясь всем телом.

— Будешь скупой... почти три сотни в лето ухлопал.

Все выпить и выпить. Сегодня зарок дал. На год. Побожился — ни капли не возьму в рот.

— Ладно, ладно, посмотрим.

— Так я, знычит, поеду, когда ушла. Нужно поговорить кой о чем.

Когда Ваньчок подъехал, Филипп, сердито смерив его глазами, вдруг просиял.

— Да ты трезвый никак! — удивился он.

Ваньчок кинул на холку поводья и, вытаскивая кошель, рассыпал краснобокую клюкву.

— Не вызрела еще, — нагнулась Лимпиада, — зря напушил только. Целую поставню загубил.

— Мало ли ее у нас, — кинул с усмешкой Филипп, — о крошке жалеть при целом пироге нечего.

— Ну, как же? — мигнул Ваньчок в сторону Лимпиады.

Филипп закачал головой, и он понял, что дело не клеится. По щекам его пробежал нитками румянец и погас...

Лимпиада подняла недопряденную кудель и вышла в клеть.

— Не говорил еще, — зашептал Филипп, — не в себе что-то она. Погоди, как-нибудь похлопочу.

— А ты мотри за ней, кабы того... мельник-то ведь прощалыга. Живо закрутит.

Филипп обернулся к окну и отворил.

— Идет, — толкнул он заговорившегося Ваньчка.

Лимпиада внесла прялку и поставила около скамейки мотальник.

— Распутывай, Ваньчок, — сказала, улыбаясь, она. — Буду ткать, холстину посулю.

— Только не обманывать, — сел на корточки он. — Уж ты так давно мне даешь.

— Мы тогда сами отрежем, — засмеялся Филипп. — Коли пояза-но, так давай подавай.

Лимпиада вспомнила, что говорили с Каревым, и ей сделалось страшно при мысли о побеге.

Всю жизнь она дальше яра не шла. Знала любую тропинку в лесу, все овраги наперечет пересказывала и умела находить всегда во всем старом свежее.

И любовь к Кареву в ней расшевелил яр. Когда она увидела его впервые, она сразу почуяла, что этот человек пришел, чтобы покинуть ее, — так ей ее сердце сказало. Она сперва прочла в глазах его что-то близкое себе и далекое.

Не могла она идти с ним потому, что сердце ее запуталось в кустах дремных черемух. Она могла всю жизнь, как ей казалось, лежать в траве, смотреть в небо и слушать обжигающие любовные слова Карева; идти с ним, она думала, это значит растерять все и расплескать, что она затаила в себе с колыбели.

Ей больно было потерять Карева, но еще больней было уходить с ним.

Ветры дорожные срывают одежду и, приподняв путника с вихрем, убивают его насмерть...

— Стой, стой! — крикнул Ваньчок. — Эк ты, сиверга лесная, оборвала нитку-то. Сучи теперь ее.

Лимпиада остановила веретеном гребешки и стала ссучивать нитку.

— Ты долго меня будешь мучить? — закричал Филипп. — Видишь, кошка опять лакает молоко.

— Брысь, проклятая! — подбежал Ваньчок и поднял махотку к губам. — А славно, как настоящая сметана.

— И нам-то какой рай, — засмеялся Филипп. — Вытянул кошкин спив-то, а мы теперь без всякой гребости попьем.

— Ладно, — протер омоченные усы. — Ведь и по муке тоже мыши бегают, а ведь все едят и не кугукнут. Было бы, мол, что кусакать.

В отворенное окно влетел голубь и стал клевать разбросанные крохи.

Кошка приготовила прыжок и, с шумом повалив мотальник, прижала его когтями.

— Ай, ай, — зашумел Филипп и подбежал к столу, но кошка, сверкнув глазами, с сердитым мяуканьем схватила голубя за горло и выпрыгнула в окно.

Лимпиада откинула прялку и в отворенную дверь побежала за нею.

— Чукан, — крикнула она собаку. — Вчизи, Чукан!

Собака погналась по кулижке вдогонь за кошкой напересек, но она ловко повернула назад и прыгнула на сосну.

Позади с Филиппом бежал Ваньчок и свистом оглушал тишину бора.

— Вон, вон она! — указывая на сосну, приплясывала Лимпиада. — Скорей, скорей лезьте!

Ваньчок ухватился за сук и начал карабкаться.

Кошка злобно забиралась еще выше и, положив голубя на ветвистый сук, начала пронзительно мяукать.

— А, проклятая! — говорил он, цепляясь за сук. — Заскулила. Погоди, мы те напарим. — Он уцепился уже за тот сук, на котором лежал голубь, вдруг кошка подпрыгнула и, метясь в его голову, упала наземь.

Чукан бросился на нее и с визгом отскочил обратно.

— Брысь, проклятая, брысь! — кинул в нее камень Филипп и притопнул ногами.

Кошка, свернув крючком хвост, прыгнула в чащу и затерялась в траве.

— Вот, проклятая-то, — приговаривал, слезая, Ваньчок, — прямо в голову норовила.

Лимпиада взяла голубя и, положив на ладони, стала дуть в его окровавленный клюв.

Голубь лежал, подломив шейку, и был мертв.

— Заела, проклятая, заела, — проговорила она жалобно. — Не ходи она лучше теперь домой и не показывайся на мои глаза.

— Да, кошки бывают злые, — сказал Филипп. — Мне рассказывал Иенка, как один раз он ехал на мельницу. «Еду, — говорит, — гляжу, кошка с котом на дороге. Я кнутом и хлыстнул кота, повернулся мой кот, бежит за мной — не отстает. Приехал на мельницу — и он тут; пошел к сторожу — и он за мной. Лег на печь и лежит, а глаза так и пышут.

Спугался я, подсасывает сердце, подсасывает. Я и откройся сторожу — так, мол, и так. «Берегись, — грить, — человече; постелю я тебе на лавке постель, а как стану тушить огонь, так ты тут же падай под лавку».

Когда стали ложиться — то я прыг да под лавку скорей. Вдруг с печи кот как взовьется и прямо в подушку, так когти-то и заскрипели. «Вылезай, — кличет сторож. — Наволоку за это с тебя да косушку». Глянул я, а кот с прищемленным языком распустил хвост и лежит околетый».

Вечером Лимпиада накинула коротайку и вышла на дорогу.

— Куда? — крикнул Филипп.

— До яру, — тихо ответила она и побежала в кусты.

Она шла к той липе, где обещала встретиться с Каревым; щеки ее горели, и вся она горела как в лихорадке, сарафан цеплялся за кусты, и брошками садились на концы подола репьи.

«Что я скажу? — думала она. — Что скажу? Сама же я сказала ему, куды хошь веди».

Коротайка расстегивалась и цеплялась за сучья. Коса трепалась, но она ничего не слышала, а все шла и шла.

— Пришла? — с затаенным дыханием спросил он.

— Пришла, — тихо ответила она и бросилась к нему на грудь.

Он гладил ее волосы и засматривал в голубые глаза.

— Ну, говори, моя зазуленька, — прислонился губами к ее лбу. — Я тебя буду слушать, как ласточку.

— Ох, Костя, — запрокинула она голову, — люблю, люблю я тебя, но не могу уйти с тобой. Будь что будет, я дождусь самого страшного, но не пойду.

— Что ж, — грустно поник Карев, — и я с тобой буду ждать.

Она обвилась вкруг его колен и, опустившись на траву, зарыдала.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая

Тяжба с помещиком затянулась, и на суде крестьянам отказали.

— Подкупил, — говорили они, сидя по завалинкам, — как есть подкупил. Мыслимо ли — за правду в глаза наплевали! Как Бог свят, подкупил.

Ходили, оторвав от помела палку, огулом мерить. Шумели, спорили и глубокую-глубокую затаили обиду.

На беду появился падеж на скотину.

— Сибирка, — говорили бабы. — Все коровы передохнут.

Стадо пригнали с луга домой; от ящура снадобьем аптешника коровам мазали языки и горла.

Молчаливая боль застудила звенящим льдом на сердцах всех крестьян раны.

Пошли к попу, просили с молебном кругом села пройти. Поп, дай не дай, четвертную ломит.

— Ты, батюшка, крест с нас сымаешь, — кричали мужики. — Мы будем жаловаться ирхирею.

— Хоть к митрополиту ступайте, — ругался поп. — Задаром я вам слоняться не буду.

Шли с открытыми головами к церковному старосте и просили от церкви ключи. Сами порешили с пеньем и хоругвями обойти село.

Староста вышел на крыльцо и, позвякивая ключами, заорал на все горло:

— Я вам дам такие ключи, сволочи!.. Думаете — вас много, так с вами и сладу нет... Нет, голубчики, мы вас в дугу согнем!

— Ладно, ребята, — с кроткой покорностью сказал дед Иен, — мы и без них обойдемся.

Жила на краю села стогодовалая Параня, ходила, опираясь на костыль, и волочила расшибленную параличом ногу, и видела, знала она порядки дедов своих, знала — обидели кровно крестьян, но молчала и сказать не могла, немая была старуха. Знала она, где находилась копия с бумаг.

Лежала тайна в груди ее, колотила стенки дряблого закоченевшего тела, но, не находя себе выхода, замирала.

Проиграли мужики на суде Пасик, забилась старуха головой о стенку и с пеной у рта отдала Богу душу.

Разговорившись после похорон Парани о старине, некоторые вспомнили, что при падеже на скотину нужно опахивать село.

Вечером на сходе об опахиванье сказали во всеуслышанье и не велели выходить на улицу и заглядывать в окна.

При опахиванье, по сказам стариков, первый встречный и глянувший — колдун, который и наслал болезнь на скотину.

Участники обхода бросались на встречного и зарубали топорами насмерть.

В полночь старостина жена позвала дочь и собрала одиннадцать девок.

Девки вытащили у кого-то с погреба соху, и дочь старосты запрягла с хомутом свою мать в соху.

С пением и заговором все разделись наголо, и только жена старосты была укутана и увязана мешками.

Глаза ее были закрыты, и, очерчивая на перекрестке круг, каждый раз ее спрашивали:

— Видишь?

— Нет, — глухо она отвечала.

После обхода с сохой на селе болезнь приутихла и все понемногу угомонились.

Но однажды утром в село прибежал с проломленной головой какой-то мужик и рассказал, что его избил помещик.

— Только хотел орешину сорвать, — говорил он, — как подокрался и цапнул железной тростью.

Мужики, сбежавшись, заволновались.

— Кровь, подлец, нашу пьет! — кричали они, выдергивая колья.

На кулижку выбежал дед Иен и стал звать мужиков на расправу.

— Житья нет! — кричал он. — Так теперь и терпеть все!..

Собравшись ватагой с кольями, побежали на Пасик. Брань и ругань царапали притихший овраг Пасика.

Помещик злобно схватил пистолет и побежал навстречу мужикам.

— Моя собственность! — грозил он кулаком. — Права не имеете входить; и судом признано — моя!..

— Бей его! — крикнул дед Иен. — Ишь, мошенник, как клоп нажрался нашего сока! Пали, ребята, его!

Он поднял булыжник и, размахнувшись, бросил в висок ему.

Взмахнул руками и, как подкошенный, упал в овраг.

— Бегим, бегим! — шумели мужики. — Кабы не увидали!

По лесу зашлепал бег, и косматые ели замахали верхушками.

На дне оврага, в осыпанной глине, лежал с мертвенными совиными глазами их ястреб. Руки крыльями раскинулись по траве, а голова была облеплена кровавой грязью.

Филипп взял посох и пошел на Чухлинку погуторить со старостой. Он выкатился на бугор и стал спускаться к леску.

Вдруг до него допрянул рассыпающийся топот и сдавленные голоса.

«Лес воруют», — подумал он и побежал, что силы, вдогон.

Топот смолк, и голоса проглотил шелест отточенных хвой.

Он побежал дальше и удивился, что ни порубки, ни людей не видно.

— Зря спугались, — пробасил неожиданно кто-то за его спиной. — Выходи, ребята, свой человек.

Из кустов вышли с кольями мужики, и сзади, с разорванным рукавом рубахи, плелся дед Иен.

— Молчи, не гуторь! — подошли все, окружив его. — Помещика укокошили. В овраге лежит.

Филипп пожал плечами, и по спине его закололи булавки.

— Как же теперь? — глухо открыл он губы и затеребил пальцами бороду.

— Так теперь, — отозвался худощавый старик, похожий на Ивана Богослова. — Не гуторить, и все... Станут приставать — видом не видали.

— Следы тогда надо скрыть, — заговорил Филипп. — Вместе итить не гоже. Кто-нибудь идите по Мельниковой дороге, с Афонина перекрестка, а кто — стежками, и своим показываться нельзя. Выдадут жены работников.

— Знамо, лучше разбресться, — зашушукали голоса. — Теперь, небось, спохватились.

По дороге вдруг раздался конский топот. Все бросились в кусты и застыли.

. . . .

К помещику по Чухлинке прокатил на тройке пристав, после тяжбы с крестьянами он как-то скоро завязал дружбу с полицией и приглашал то исправника, то пристава в гости.

Конюх стоял у ограды и, приподняв голову, видел, как к имению, клубя пыль, скакали лошади.

Он поспешно скинул запорку, отворил ворота, снял, заранее приготовившись, шапку и стал ждать.

Когда пристав подъехал, он поклонился ему до земли, но тот, как бы не замечая, отвернулся в сторону.

— Где барин? — спросил он выбежавшую кухарку, расстилавшую ему ковер.

— В Пасике, ваше благородие, — ответила она. — Послать или сами пойдете?

— Сам схожу.

— Борис Петрович! — крикнул он, выпятив живот и погромыхивая саблей.

По оврагу прокатилось эхо, но ответа не последовало.

В глаза ему бросилась ветка желтых крупных орехов, он протянул руку и, очистив от листьев, громко прищелкивая языком, клал на зуб.

— Борис Петрович! — крикнул он опять и стал спускаться в овраг.

Глаза его застыли, а поседелые волосы поднялись ершом.

В овраге на осыпанной глине лежал Борис Петрович.

Он кубарем скатился вниз и стал осматривать, поворачивая, труп.

Рядом валялся со взведенным курком пистолет.

— Горячий еще! — крикнул вслух. — Мужики проклятые, не кто иной, как мужичье!

— Проехали, — свистнул чуть слышно Филипп, толкая соседа. — Трое, кажись, проскакали.

Впереди всех без куртуза пристав.

— Теперь, ребята, беги кто куды знает, поодиночке. Не то схватят, помилуй Бог.

Выскочив на дорогу, шмыгая по кустам, стали добираться до села.

Филипп проводил их глазами и пошел обратно к дому.

У окна на скамейке рядом с Лимпиадой он увидел Карева и, поманув пальцем, подошел к нему.

— Беда, Костя! — сказал он. — Могила живая.

— Что такое?

— Помещика убили.

Карев затрясся, и на лбу его крупными каплями выступил пот.

— Пристав поехал.

— Пристав, — протянул Карев и бросился бежать на Чухлинку.

Лимпиада почуяла, как упало ее сердце; она соскочила со скамьи и бросилась за ним вдогон.

— Куда, куда ты? — замахал переломленным посохом Филипп и, приставив к глазам от солнечного блеска руку, стал всматриваться на догонявшую Карева Лимпиаду.

— Вот сумасшедшие-то! — ворчал он, сердито громыхая щеколдой. — Видно, нарваться хотят.

Пристав, запалив лошадь, прискакал с работниками прямо под окно старосты.

— Живо сход, живо! — закричал он. — Ах вы, оглоеды, проклятые убийцы, разбойники!

Десятские бегом пустились стучать под окна.

— А... пришли! — кричал он на собравшуюся сходку. — Пришли, живодеры ползучие!.. Живо сознавайтесь, кто убил барина? В Сибирь вас всех сгоню, в остроге сгною сукиных детей! Сознавайтесь!

Мужики растерянно моргали глазами и не знали, что сказать.

— А... не сознаетесь, нехристи! — скрипел он зубами. — Пасик у вас отняли... Пиши протокол на всех! — крикнул он уряднику. — Завтра же пришлю казаков... Я вам покажу! — тряс он кулаком в воздухе.

Из кучки вылез дед Иен и, вынув табакерку, сунул щепоть в ноздрю.

— Понюхай, моя родная, — произнес он вслух. — Может, боле не придется.

— Ты чего так шумишь, — подошел он, пристально глядя на пристава. — У тебя еще матерно молоко на губах не обсохло ругаться по матушке-то. Ты чередом говори с неповинными людьми, а не собачься. Ишь ты тоже, какой липоед!

— Тебе что надо? — гаркнул на него урядник.

— Ничего мне не надо, — усмехнулся дед. — Я говорю, что я убил его и никого со мной не было.

Глава вторая

— Не тоскуй, касаточка, — говорил Епишка Анне. — Все перемелется в муку. Пускай гуторят люди, а ты поменьше слухай да почаще с собой говори. Ты ведь знаешь, что мы на свете одни-одинешеньки. Не к кому нам сходить, некому пожалиться.

— Ох, Епишка, хорошо только речи сыпать. Ты один, зато водку пьешь. Водка-то, она все заглушает.

— Пей и ты.

— Пью, Епишка, дурман курю... Довела меня жизнь, домыкала.

В зыбке ворочался, мусоля красные кулачонки, первенец.

— Ишь какой! — провел корюзлым пальцем по губам его Епишка. — Глаза так по-Степкину и мечут.

Анна вынула его на руки и стала перевивать.

— Что пучишь губки-то? — махал головой Епишка. — Есть хочешь, сосунчик? Сейчас тебе соску нажую.

Взял со стола черствый крендель и стал разжевывать.

Зубы его скрипели, выплюнул в тряпочку, завязал узелок и поднес к тоненьким зацветающим губам.

— У-ю-ю, пестун какой вострый! Гляди, как схватил. Да ты не соси, дурень, палец-то дяди, он ведь грязный. В канаве седня дядя ночевал.

Анна кротко улыбалась и жала в ладонь высунувшиеся ножки.

— Ничего, подлец, не понимаешь, — возился на коленях Епишка. — Хоть и смотришь на меня... ты ведь еще чередом не знаешь, хочется тебе есть али нет. А уж я-то знаю... Горе у матери молоко твое пролило... Ох, ты, сосунчик мой... Так, так, раба Божия Аннушка, — встал он. — Все мы люди, все человеки, а сердце-то у кого свиное, а у кого собачье.

Нету в нас, как говорится, ни добра, ни совести; правда-то, сказано, в землю зарыта... У него, у младенца-то, сердца совсем нету... Вот когда вырастет большой, Бог ему и даст по заслугам... Ведь я говорю не с проста ума. Жисть меня научила, а судьбина моя подсказала.

Анна грустно смотрела на Епишку и смахивала выкатившиеся слезы.

— Он-то ведь, бедный, несмысленный... Ничего не знает, ни в чем не виноват.

— Аннушка бедна, Аннушка горька, — приговаривал Епишка, — сидеть тебе над царем над мертвым тридцать три года... Нескоро твой ворон воды принесет... Помнишь?

Старая, плечи вогнуты, костылем упирается, все вдаль глядит. Коротайка шубейная да платок от савана завязаны. В Киев идет мощам поклониться.

В красной косыночке просфора иерусалимская... У Гроба Господня склонялась.

Солнце печет, пыль щекочет, а она знай идет и ни на минуту не задумается, не пожалеет. У куста села, сумочку развязывает... сухарики гложет с огурчиком.

— Зубов нет, — шамкает побирушка, — деснами кусаю, кровью жую...

— Телом своим причащаешься, — говорит побирушка. — Так ин

лучше Богу заслужишь... — Ходят морщины желтые, в ушах хруптит, заглушает.

— Берегешь копеечку-то? — спрашивает искоса побирушка.

— Берегу — всю жисть пряла, теперь по угодникам разношу. Трудовая-то жертва дорога.

По верхушкам сосен ветерок шуршит.

— Соснуть бы не мешало, — крестится побирушка.

Приминая траву, коротайку под голову положила. Мягка она, постель травяная, кости обсосанные всякому покою рады. О Киеве думает, ризы божеские бластятся.

«Ни сумы, ни сапог, ни поясов кожаных...» — Голос дьякона соборного в ушах звенит...

«О-ох, грешная я», — думает.

«Фюи, фюи», — гарчет плаксиво иволга. Тени облачные веки связывают.

По меже храп свистит, побирушка на сучье привалилась.

Тихо кусты качаются... Тень Господня над бором ползает.

— Господи, — шепчут выцветшие губы, — помилуй меня, грешную.

«Ни сумы, ни сапог, ни поясов кожаных», — гудит в ушах.

— Тетенька, — будит прикурнувшую побирушку, — встань, тетенька.

— А-ат, — поднимается нищенка.

— Бедная ты, бездомная, возьми вот сумочку-то. Деньги тут.

— Ни сумы, ни сапог, в Писании сказано... — плачет. Упокоилось сердце. Комочком легла. Глаза поволоклись морокой.

«Фюи, фюи», — гарчет плаксиво иволга.

— Идем, — подвязывает лапти побирушка, — провожу... До Маркова доберемся, а там заночуешь.

В осиннике шаги аукают.

— Это, я думаю, ты не от сердца дала мне... Лишние они у тебя.

Глядит вдаль, а в глазах замерла безответность.

— Что молчишь-то? — дергает ее за руку.

— Ни сумы, ни сапог, тетенька, камни с души своей скинаю.

— То-то... камни... знаем мы вас, прохожалок. Нахапите с чужой крови-то, а потом раздаете.

— Ишь, и глаза, как озеро, пышут... Знаем мы вас, знаем!..

— Лазарь, ты мой Лазарь, — срывается кроткий шепот.

— Ничего у Бога нет непутевого, — ударяет клюкой по траве. — Все для человека припас Он... От всего оградил. Человек только жадничает. Вишь, мушки мокреть всю спили с травы. Прошли бы, обfroснились.

— Чай, с снохами-то неладно жила? — пытливо глядит ей в глаза побирушка.

— Нет, родная, никого не обижала.

— Врешь, поди.

— Я к мощам иду, — тихо шепчет. — Что мне душу грязнить свою, непутевое говоришь. Не гневи Бога, не введи во искушение, — поют на клиросе.

— То-то, вот вы такие и искушаете, — сердито машет палкой. — Святоши, а деньги кроете.

— О-ох... Устала... — спускается на траву. — Прогневаю Бога ропотом. Прости ты меня, окаянную.

Побирушка, зажав палку, прыгнула, как кошка. — У-у-у, — защелкала зубами.

Зычный хряст заглушил шелест трав. Кусты задрожали.

— Отдай деньги, проклятущая...

«Фюи, фюи», — гарчет иволга.

Глаза подернулись дымкой. К горлу подползло сдавленное дыханье, под стиснутыми руками как будто скреблась мышь.

Старый Анисим прилежным покаяньем расположил к себе игумена монастырского.

— Как ты, добрый человек, надоумил мир-то покинуть? Ведь старая кровь-то на подъем, ох, как слаба.

— Так, святой отец, — говорил Анисим. — Остался один, что ж, думаю, зря лежать на печи, лучше грехи замаливать.

Сын, вишь, у меня утонул. Старуха не стерпела, странствовать ушла. Дома молодайка есть, пусть, как хочет, живет. Сказывают, будто она несчастная была, и сын-то, может, погинул с неудачи... А мне дела до этого нет, такая она все-таки добрая, слова грубого не сказала, не обидчица была.

Похоронил Степан мать, сходил к Анисиму, получил с него деньги и дома остался жить. Оставила мать припадочного братишку; зорко заставила следить.

— Нет тебе счастья и талана, — сказала она. — Ползай, как червь по земле, если бросишь его.

Побоялся Степан остаться с Анной, а жениться на ней, гадал, — будут люди пенять.

«Что, мол, девок тебе, что ль, не хватает, бабу-то берешь».

Поехал он как-то в Коростово к тетке на праздник да остался заночевать. На улице девчата под окнами слонялись, парни в ливенку канавушки пиликали.

— Поди, — сказала ему тетка, — тебя девки-то зманывают.

Степан надел поддевку, заломил набекрень шапку, пошел к девкам.

Девки с визгом рассыпались и скрылись.

— Кто? — окрикнули его парни.

— Свой.

— Нет, не свой, — заговорил кто-то. — По ухватке видно — не свой... У нас, брат, так девок не щупают. Больно хлесток...

— Невесту, что ль, взглядываешь? — спросил гармонист.

— Невесту, — тихо ответил Степан.

— Так ты, брат, видно, сам знаешь... у нас положение водится... четверть водки поставь.

— Ладно, — сказал Степан, — поставлю, только не четверть, а три бутылки... Денег не хватает...

— Не хватает, не надо, — кивнул гармонист. — Мы не такие уж глоты, — завозился на каблуках.

Степан отдал деньги ребятам и пошел к девкам.

Девки сидели на оглоблях пожарной бочки и, опершись на багор, играли песни.

Степан приглядывался, какая покрасивее, и, сильно затягивая папиросу, светил.

В середках одна все закрывалась рукавом, и он смекнул, что он ей нравится.

Зашел сзади и, потягивая к себе на колени, свалил.

Девка смеялась и, обхватив его за грудь, старалась повалить.

Закружив, начал целовать ее в щеки и отвел в сторону.

— Пусти ты, — отпихивалась она. — У, какой безотвязный... пусти!..

— Не пущу, — прижимался к ней Степан. — Хоть кричи, не пущу.

Прижал ее к плетню и силился расстегнуть коротайку.

— Ты, тетенька, меньше ста рублей не бери, — говорил он утром о приданом. — Ведь я не бобыль: две лошади, три коровы да овец сколько...

— Да чья она? — спрашивала тетка. — Куда идти-то мне?

— Черноглазая такая. Кудри на лоб выбиваются.

— А, ну теперь знаю, ишь, какую метишь, — она ведь писарева...

— Отдадут — сама говорила.

— То-то...

Она надела новую шубейку, покрыла белую тужильную по покойному мужу косынку и пошла свахой.

— Ты что, Марьяна, — спросила писариха и поманула ее ладонью.

— Посвататься, касатка, пришла, за племянника. Может, знавала Степку-то, без порток все у волости бегал махоньким.

— А, — протянула писариха. — Что ж, разве он не женат еще?

— Нет.

— Мы было хотели ведь погодить, с приданым никак не собрались.

— Да мы и немного берем-то.

— Сколько?

— Да как тебе сказать, не меней сотни.

— Ладно, — кинула в заслон мочалку, — сговорено.

— А он-то, — указала она на спящего на лавке писаря, — как же?..

Писариха подняла ногу и плюнула на каблук.

— В пятках он у меня, я с ним и разговаривать не стану.

Марьяна поклонилась и, подвязавшись, пошла обратно.

Глава третья

Откулева-то выползло на востоке черное пятнышко и, закружившись, начало свертываться в большой моток.

По яру дохнувший ветерок трепыхнул листочки кленов, и вдогон зашептал вихорь.

Шнырявшая в сединах осины синица соскользнула с ветки и, расплескав крылышки, упала в синь.

Карев сидел у плеса и слушал, как шумели вербы.

Волосы его трепались, и в них впутывалась мягкая сыпучая мшанина.

Он чувствовал на щеках своих брызги с плеса, и водяное кружево кидало в него оборванные клочья.

Сердце его кружилось с вихрем, думал, как легко бы и привольно слиться с грозою и унестись далеко-далеко, так далеко, чтобы потерять себя.

Яр зашумел, закачался, и застонала земля.

Протягивая к ветру руки навстречу, побежал, как ворон, к сторожке.

«Не шуми, мати зеленая дубравушка, дай подумать, погадать». Упал на траву. «Что ты не видел там, у околицы, чего ждешь? — шептал ему какой-то тайный голос. — В ожиданьях только погибель; или силы у тебя не хватает подняться и унестись отсюда, как вихорь?»

«Нет, все не то, — подумал он. — Это на бред похоже. Надо связать себя, заставить или сильней натянуть нить с початка кудели, или уж оборвать».

Яр шумел...

Черная навись брызнула дождем, и капли застучали, как дробь, по широким листьям лопушника.

Карев встал и, открыв рот, стал ловить дождь губами.

С бородки его, как веретено, сучилась холодноватая струйка, шел

босиком по грязи, махал сапогами и осыпал с зеленых пахучих кустов бисер.

В прорванных тучах качалось солнце, и по дороге голубели лужи.

С околицы выбежала Лимпиада и зазвенела серебряным смехом.

Она была мокрая, и с косы ее капала роса.

— Дождь фартуком собирала, — сказала она и, приподнявшись на цыпочки, подставила ему алые губы.

Карев повесил перед солнцем на колья сапоги и стал отряхать с мокрых штанов грязь.

— Иди, замою... Филиппа нет, — обняла его за плечи. — Тес пилит.

Обмыл ноги и, сжав горсть, плеснул на нее. По щекам ее с черными мушками грязи покатилась вода, она подбежала к луже, хотела брызнуть ногой, но, поскользнувшись, упала.

Поднял и со смехом понес на крыльцо.

Лимпиада стирала рукавом рубахи грязь и, закрасневшись, качала ногами.

— Костя, — пристиснула она его голову, — милый, не уходи. Как хорошо-то!

Навстречу, повиливая хвостом, выбежал с веселым лаем Чукан и, оскаливая зубы, ловил мотавшийся на ноге Лимпиады башмак.

К вечеру в сторожку вернулся Филипп и стал рассказывать, как били деда Иена в холодной.

— В остроге сидит, сердешный, — говорил он. — Скоро, наверно, погонят.

— Жалко, — вздыхала Лимпиада, — хороший мужик был.

Прояснившееся небо опять заволоклось тучами, и сверкавшая молния клевала космы сосен.

Филипп чиркнул спичку и, подлезая под божницу, засветил лампадку.

В дверь кто-то заскребся; Лимпиада отворила и увидела кошку.

— Милая, — нежно протянула руки, — где ты пропадала? Я давно уж не сержусь на тебя.

Посадила на колени, стала гладить.

Облезлые волосы спадали на сарафан и белели, как нитки.

Кошка пучила глаза и, мурлыча, сама гладилась об ее руки.

— Ты убил... — покосился с пеной у рта пристав, — ты убил...

— Я, — отозвался дед Иен. — Говорю, что я.

— Связать его! — крикнул он мужикам. — Да с понятыми в холодную отправить.

Дед Иен сам протянул руки и заложил их назад.

— Вяжи покрепче, Петро, — сказал он мужику, — а то левая рука выскочит.

— Ладно, — мотнул головой Петро, — ты больно-то не горячись, мы ведь для близиру.

Спотыкаясь, пошел вперед, и на губах его застыла светлая улыбка.

Пристав толкнул его на крыльцо «холодной» и ударил по голове тростью.

По щеке зазмеилась полоска крови.

— Эй, — крикнул грозно Петро, — ты что делаешь! — и, схватив замахнувшуюся трость, сломал о худощавое колено пополам.

— Ты не хрундучи! — затопал пристав. — Я тебя, сукин сын, в остроге сгною!

— Видал?.. — показал ему кулак Петро. — Мы такую шваль-то видывали.

— Молчать, — крикнул, покраснев, как вареный рак, и ударил его по щеке.

Петро размахнулся, и кулак его попал прямо в глаз приставу.

Покачнулся и упал с крыльца в грязь. Над бровью вскочила набухшая шишка, и заплывший глаз сверкнул, как кровяное пятно.

— Ой, караул! — закричал он и, поднявшись на корточки, побежал к Пасику.

— Ну, дед, сиди, — сказал Петро, — а я теперь скроюсь, а то, пожалуй, найдут, по обличию узнают.

— Прощай, Петро, — обернулся дед, подавая развязать руки. — Мне теперь, видно, капут — дух вон и лапти кверху.

— Прощай, дед. Спасибо тебе за все доброе, век не забуду, как ты выручил меня в Питере.

— Помнишь?

— Не забуду.

Обнявшись, с кроткой печалью сняли шапки и расстались.

— Жалко, — ворчал Петро, — таких и людей немного остается.

Дед Иен велел сторожу открыть дверцу «холодной» и, присев на скамейку, стал перевертывать онучи.

— Бабка-то теперича у кого твоя останется? — болезно гуторил сторож.

— Э, родной, об этом тужить неча, общество знает свое дело. Не помрет с голоду.

— Так-то так, а как постареет, кто ходить за ней станет?

— Найдутся добрые люди, касатик. Не все ведь такие хамлеты.

Говор смолк. Слышно было, как скреблась за переборкой мышь. В запаутинившееся окно билась бабочка.

Наутро к селу с гудом рожков подъехали стражники. В руках их были плети и свистки.

Впереди ехал исправник и забинтованный пристав. Подъехали к окну старосты, собрали народ и стали читать протокол.

«Мы обязываем крестьян села Чухлинки выдать нам провожатого при аресте крестьянина Иена Иеновича Кавелина, — громко и раздельно произнес исправник. — В противном случае общество понесет наказание за укрывательство».

— На вас креста нет, — зашумели мужики. — Неужели мы будем смотреть, кого кто-либо из вас посылает с каким поручением. Гляди на нас, — обернулись все лицами к приставу, — узнавай, кого посылал вчера.

— Мошенники, — кричал пристав, — мы вас на поселение сошлем!

— Куды хошь ссылай, нам все одно. Кому Сибирь, а нам мать родная.

Деда Иена привели на допрос под конвоем.

— Так ты заявляешь, Кавелин, что совершил убийство без посторонних?

— Да.

— В какую пору дня вы его убили?

— В полдень.

— Имеешь ли оправдания, при каких обстоятельствах совершилось убийство?

— Все имеем, — закричали мужики.

— Молчать! — застучал кулаком исправник.

— Вам известно, — сказал дед Иен, — болей я говорить не стану.

— Тридцать горячих ему! — закричал пристав и, вынув зеркало, поглядел на распухшую, с кровоподтеками губу.

Два стражника повалили его на землю и, расстегнув портки, навалились на ноги и плечи.

Взмахнула плеть, и по старому, желтому телу вырезалась кровяная полоса.

— Кровопийцы! — кричали мужики, налезая на стражников и выламывая колья.

— Прошу не буянить, — обратился исправник. — Староста, вы должны подчинить их порядку. Остановите.

— Братцы, — крикнул староста, — все равно ничего не поделаешь. Угомонитесь на минутку.

— Ишь, какой братец заявился, — крикнул кто-то. — Сказали ему, а он и рад стараться.

Деда Иена подняли и развязали руки. Дрожа и путаясь руками, он стал застегивать портки.

— Прощайте, братцы, — кричал он, снимая шапку, — больше не свидимся.

— Прощай, — как стон, протянули мужики и с поникшими головами смотрели, как два стражника, посадив его на телегу, повезли в город.

Карев, прощаясь, сунул в руку деду пачку денег.

— Возьми обратно, — крикнул стражник. — Не полагается. Опосля суда...

Лимпиада стояла на колымаге и, закрывшись руками, вздрагивала от рыданий.

— Поедем, — сказал он ей, когда стражники скрылись за селом.

— Едем, — сказала она и, дернув вожжи, поворотила лошадь на проулки.

День заутренне гудел, и с бора несся неугомонный шум.

— Ну и изверги! — говорил Карев. — В глазах хватают за горло, кровь сосать.

По дороге летели звенящие паутинки и пряжей обвивали космы верб.

— Н-но, родная, — потрагивал Карев вожжами. — Тут, чай, за спуском недалече.

— Ну, как же ты думаешь? — спросил, обернувшись, заглядывая Лимпиаде в глаза. — Ведь ждать, кроме плохого, ничего не дождешься.

Лимпиада молчала, и ей как-то сделалось холодно от этого вопроса. Она сжалась комочком и привалилась к головням.

— Какое бесцветное небо, — сказала она после долгого молчания. — Опять гроза будет.

Глава четвертая

Карев решил уйти. Загадал выплеснуть всосавшийся в его жилы яровой дурман.

В душе его подымался ветер и кружил, взбудораживая думы.

Жаль ему было мельницы старой.

Но какая-то грусть тянула его хоть поискать, не оставил ли он чего нужного, что могло пригодиться ему в дороге.

«Сходи, взгляни и, не показываясь, уходи обратно. Так надо, так надо».

После этого, на другой день, Лимпиада заметила на лбу его складку, которой никогда не видела.

— Милый, ты о чем-нибудь думаешь? — спросила она. — Перестань думать. Ты видишь, я тебя люблю, ничего не требую от тебя, останься только здесь, послушай хоть раз меня, ты уйдешь, я сама скажу, когда почую, что тебе уходить надо.

— Любая моя белочка, — говорил, лаская ее, Карев. — Ты словно плотвичка из тесного озера синего, которая видит с мелью ручей на истоке и, боясь погибели, из того не хочет через него выплеснуться в многоводную речку. Послушай ты меня хоть раз, выпутай свои космы из веток сосен, отрежь их, если крепко они запутались. Я ведь и без кудрей твоих красивых буду любить тебя, оденься ты странницей, возьми из своего закадычного друга яра посох и иди. Ты можешь ведь

весь этот яр унести с собою. Ты не бойся, что что-нибудь забудешь, — сердце ничего не теряет.

— Яр аукает, отвечает эхом, но никогда не принимает, что говорят ему. Он отдает слова обратно, — сказала Лимпиада. — Если бы я была водяницей, я бы заманула тебя в омут и мертвого стала бы ласкать. Но я, лесная русалка, полюбила тебя живого, тут и я несчастлива, и ты.

— Эй вы, голуби! — крикнул Филипп. — Полно вам ворковать, помогли бы мне побросать на сушило сено, я бы вам спасибо сказал и чаем напоил.

— Дешево же ты, воробей, платишь, — засмеялся Карев и, подпоясав кушак, надел пахнущие кирпичом желтые рукавицы.

Анна спеленала своего первенца свивальником, надела на бессильную головку расшитую калпушку и пошла к бабке на зорю.

Не спал мальчик, по ночам все плакал и таял, как свечка.

Вошла в низенькую, с короткими сенцами хату и, став около порога, помолилась Богу.

— Здорово, бабушка.

— Поди здорово, касатка. Чего скажешь?

— Не спит он. Заговорить пришла, просто никак за ним не уходишь.

— Погоди, погоди, родимая, сейчас бросим камешки, жив ли он будет...

Боялась, что последняя радость покинет ее.

Бабка налила в полоник воды и бросила туда из жаровни засопевшие угли.

— С глазу, с глазу дурного, касатка, мучается младенчик. Люди злые осудили.

Достала из сумочки, пришитой к крестовому гайтану, три камешка и, посупив их, кинула в воду.

— Помрет, — сказала. — Не жилец на белом свету.

Анна побледнела и ухватилась за сердце.

— Бабушка, обмани хоть меня, — рыдая, судорожно забилась. — Не отнимай надежду мою.

— Погоди, касатка, сейчас на зорю сходим, может, ему и полегчает.

Вышли на крыльцо. Багрянец пенился в сини и красил кровью облака.

Бабка взяла ребенка и, повернув лицом на закат, стала заговаривать:

«Заря-зоряница, красная девица. Перва заря вечорошная, вторая полуношная, третья утрошная. Вынь, Господи, бессонницу у Алек-

сея-младенца. Спаси его, Господи, от лихова часу, от дурнова глазу, от ночнова часу. Вынь, Господи, его скорби изо всех жил, изо всех член».

«Умрет, умрет, — колола тоска Анну. — Опять одна... опять покинутая...»

— Ты не болезнуй, сердешная, может, с наговору-то и ничего не будет.

Прижала к груди, ножки его в кулачок и грела... в закрытые глаза засматривала.

— Милый, милый, малюсенький.

Шла, как ветер нес. Вдруг Епишка повстречался.

— Где была, куда Бог носил? — подошел он, заглядывая на ребенка.

— На заговор ходила.

— Ути, мой месяц серебряный, как свернулся-то... Один носик остался.

— Ты не плачь, Аннушка, — обратился он к ней, — а то и я плакать буду, ведь он мне что сын родной.

— Ох, Епишка, сердце мое не вынесет, если помрет он. Утоплюсь я тогда в любой канаве.

— Ты, голубушка, не убивайся так, может, Господь пожалеет его. Ты себя-то береги, пока жив он.

— Карев ушел, — сказал Филипп. — Он тебе, Липа, не говорил, когда вернется?

— Он, вишь, пристал к варнакам охотиться, — ответила Лимпиада. — Верно, после выручки.

— Экий расслоняй, все время бегает по ветру.

Лимпиада сидела за столом и ткала холсты.

— Я хотел с тобой поговорить, Липа, — начал Филипп. — За Карева, я чую, ты не пойдешь замуж, а оставаться в девках тебе невозможно... Ваньчок вот все просит твоего согласия, а то хоть завтра играй свадьбу...

— Что ты привязался с своим Ваньчком, разве мне еще женихов нету?

— Вот чудная такая! Ведь я знаю, что тебе советую. Ваньчок возьмет тебя, ты опять при мне останешься. Случись что со мной, если ты не выйдешь, тебя погонят ведь отсюда. А с ним... У него деньги...

— На что мне они, его деньги? — бросила Лимпиада. — Ими горло ему надо засыпать.

— Ну, как хошь, я тебя не насилую...

Филипп стал на лавочку и обмел на потолке копотные паутины. Веник осыпал березовые листья и разносил пряный пах. В окно стучался ветер.

С крыши срывалась солома и, закружившись, ныряла в чащу.

Летели листья, листья, листья и, шурша, о чем-то говорили.

— Пожар, — сказал Филипп, указывая на огненную осину. — Вот что делает холодная пора-то.

«Хорошо, — с сверкающими глазами подумала Лимпиада. — Лучше сгореть с этим бором, чем уйти от него...»

Ветер подсвистывал.

Карев ушел... Он выбрал темные ночи бабьего лета, подлинней расчесал свою бороду и надел ушастую шапку.

Сердце его билось, когда он подходил к своему селу; под окнами сидели девки и играли с ребятами в жгуты.

Боялся, оглядывался и нерешительными шагами стал подходить к дому. Подкрался к вербе и стал всматриваться; горел огонь.

Из окна выглянула соседка.

— Епишка, — окрикнула она его, — поди, почитай письмецо.

Пристыл, но, спохватившись, быстро замахал на конец села.

Было тихо, и лишь изредка лаяли собаки. С реки подымался туман и застилал землю.

Сел околь гумна и глядел на жевавшую желтую траву лошадь.

«Дзинь-дзинь», — позвякивала она, прыгая, железным путом и, подняв голову, гривой махала.

— Коняш, коняш, — захрипел за плетнем старческий голос, и зашлепала оброть.

Как будто обжог почуял и бросился, зарывшись с головой, на солому.

Старик тпрукал лошадь и, кряхтя, отчаливал путо.

Стук копыт стал таять, и звенящая тишина изредка нарушалась петушьим криком.

Свежо, здорово, стелился туман.

Когда Анна вернулась, мальчику сделалось еще хуже. Она байкала его, качала, прижимая к груди, но он метался и опускал свислую головку.

Подстелив подушечку, положила на лавку и заботливо прислоняла к головке руку.

Что-то пугало ее, что-то грозило, и она вся трепетала при мысли, что останется одна.

Мальчик качнул головкой, дернул, вздрагивая ножками, и пустил пенистую слюну.

— Ах, — вскрикнула она и ухватилась за сердце.

Ноги ее сползли, и вся она грохнулась на пол.

Подбежал котенок и, покачивая бессильные пальцы, начал играть.

Через минуту она встала и уставилась в одну точку.

Понемногу она успокаивалась, но по крови ее желчью разливалась горечь и будила какую-то страшную решимость.

Она случайно повернулась к окну и вся похолодела. У окна, прилепившись к стеклу, на нее смотрело мертвое лицо Кости и, махнув туманом, растаяло.

— Зовет, — крикнула она, — умереть зовет, — и выбежала наружу.

Рассвет кидал клочья мороки, луга курились в дыму, и волны плясали.

В камышах краснел мокрый сарафан, и на берегу затона, постряв на отцветшем татарнике, трепался на ветру платок.

Черная дорога, как две тесьмы, протянулась, резко выдолбив колеи, и вилась змеей на гору.

С горы, гремя бадьей и бочкой, спускался водовоз.

Глава пятая

Сказал старый Анисим игумену:

— Пусти меня домой, ради Бога, ноет вот тут, — указывал он на грудь. — Так и чую, что случилось неладное...

— Иди, Бог с тобой, — благословил его игумен. — Святые отцы и те ворачивались заглянуть на своих родных.

Накинул Анисим подрясник, заломил свою смятую скуфью и поплелся, сгорбившись, зеленями шелковыми.

Идет, костылем упирается, в небо глядит, о рае поет, а у самого сердце так и подсасывает... что-то там дома творится?

Проезжие смотрят — всем кланяется и вслед глядит ласково-ласково.

На тройке барин какой-то едет, поровнялся, спрашивать стал:

— Разве ты меня знаешь — кланяешься-то?

— Нет, не знаю, и не тебе кланяюсь — лику твоему ангельскому поклон отдаю.

Улыбнулся барин, теплая улыбка сердце согрела. Может быть, черствое оно было сердце, а тут растопилось от солнца, запахло добром, как цветами.

— Прощай, старичок, помолись за меня угодникам да вот тебе трешница, вынимай каждый день просфору за раба Божьего Сергея.

«Не весна, а весной пахнет. Свете тихий, вечерний свет моей родины, приими наши святые славы», — шепчет он.

И опущенные белые усы ясно вырезают разрез посинелых губ.

— Здорово, дедушка, — встретили его у околицы ребятишки. — Анны-то нету дома... утопилась намедни она, как парень ее помер; заколочен дом-то ваш.

Вдруг почувствовал, ноги подкашиваются, и опустился.

— Устал, дедушка, посиди, мы тебе табуретку принесем.

— Спасибо, родные, спасибо, немного осталось, хоть на корточках доползу.

Встал и, еще более сгорбившись, поплелся мимо окон; ребятишки растерянными глазами провожали. Прохожие останавливались.

— Ой, Анисим, Анисим, не узнаешь тебя, — встретила у ворот соседка. — Поди, закуси малость, небось ведь замытарился, болезный.

Слезу утирает, на закат молится.

— Как тебя Бог донес такую непуть? Ведь холод, чичер, а ты шел.

Ничего Анисим не ответил, застыл от печали глубокой.

С пьяной песней в избу взошел Епишка.

— «Я умру на тюремной постели, похоронят меня кое-как...» Мое почтенье, челом бью, дедушка Анисим, прости, что пою песню, я ведь теперь все на панихидный лад перевожу...

— Присаживайся, — подставила хозяйка скамью. — Гостем будешь, вместе горе поделим, мы все ведь какие-то бесталанные.

— Про то и пою, тетень, эх-а!.. «А, судьба ль ты моя роковая, до чего ж ты меня довела...» Не могу, ей-Богу, не могу... Слезы катятся, а умирать не хочется. Ведь могила-то, когда хошь, приют даст, жить бы надо, да что-то, как жестянка, ломается жизнь моя, и не моя одна.

— Ты, дедушка, меня в монахи возьми, можа, я там хоть пить перестану. Ведь там нет вина, стены да церковь.

— Убежишь, — засмеялась старуха. — Не лезь уж, куды не надо. Так живи.

— Не хочу я так-то жить, мочи моей не хватает, с тоски помру.

Епишка был пришляк на село, он пришел как-то сюда вставлять рамы и застрял здесь. Десять лет уж минуло.

Где-то в дальней губернии у него осталась жена, которая пустила его на заработки.

Каждый год Епишка собирался набрать денег и отослать жене на перестройку хаты, но деньги незаметно переходили к шинкарке Лексашке, и хата все откладывалась.

Каждое Рождество он писал домой, что живет слава Богу, что скоро пришлет денег и заживет, как пан.

Но опять выпадал какой-нибудь невеселый для него день, и опять домой писалось коротенькое письмо с одним и тем же содержанием.

Жена его знала эту слабость, она писала ему, чтоб он вернулся, что дом давно перестроен, но он никогда не читал дальше поклонов. Не хотел, а может быть, и наперед чуял, что пишут.

— Возьми меня, дедушка, ради Бога возьми, там ведь жалованье платят, может, скоплю сколько-нибудь, домой пошлю.

Анисим молчал и грустно покачивал головою.

— Ты сегодня, Епишка, пьян, завтра ты по-другому скажешь. Ты лучше, вот что я тебе посоветую, выписывай сюда жену да живи на моей усадьбе. Дом-то мой ведь первый на селе. Я подпишу тебе все, ничего не оставлю. А коли помру, если хватит доброй совести, поставь мне крест на могилу.

— Родной ты мой, — упал Епишка на колени. — Спаситель, как мне тебя благодарить?

— Встань, Епишка, — сказал Анисим. — Пустое все это, ведь мне все равно ничего не надо. Ты закусывай лучше сейчас, ведь небось после Анны тебя никто не накормил.

— Нет, — всхлипнул Епишка, — разве я пойду просить... Стыдно... Была Анна, так она все понимала... Царство ей небесное, хорошая баба была.

Хозяйка начала рассказывать, как вытащили Анну из воды.

— Отец ты мой родной, — приговаривала, пришлепывая губами. — Как положили два гроба-то рядом, инда сердце кровью обливалось.

— Ты посмотри, — указал Епишка на разрубленный палец. — Гроб делал... Как вспомню, что делаю для Анны, топор из рук валится, и рубанок не стругает, отцапал ведь до самой кости.

Анисим решил пождать жену Епишкину. «Пропьет еще все, — думал он. — Баба-то лучше удержит».

Через неделю им пришел ответ, что жена Епишки три года тому назад померла, а оставшаяся вдовой дочь продала все пожитки и едет.

— «Как же так? — думал Епишка. — Неужели я три года не писал?..»

Он как-то состарился, съежился и жалел, что Анисим подписал ему свое имущество.

«Охо-хо! — думал он. — Уехал, девке-то десять годов было, уж вдова стала. Вот она какая жисть-то, самому сорок годов стукнуло, а я все думал — тридцать».

«Как же она замуж вышла? — спрашивал себя. — И откуда набрали денег, когда присылу не было?.. Впрочем, что же, баба была здоровая, за семерых работать могла...»

Через два дня Епишка встретил на телеге молодую бабу и с слезами бросился целовать ее.

Старый Анисим сам не одну смахнул слезу. Жалко ему было Епишку... Мыканец он.

«И в кого она у меня такая красивая, — думал Епишка, — ни на меня, ни на мать не похожа».

— Ты теперь брось пить-то, — говорил Анисим. — А ты, родная, поудерживай его, слаб он...

— Дедушка, ей-Богу, одну рюмочку, с радости. Ведь я сейчас словно причастился, весь мир бы обнял, да головы у него нет.

Дочь Епишки улыбалась и, налив себе рюмку, почомкалась.

— Ты ведь у меня единая, ненаглядная моя. Мы теперь тебе такого жениха сыщем, какой тебе и во сне не снился.

Погорбился старый Анисим за эту неделю, щеки ввалились, а подбородок качался, будто шептал.

Простился с Епишкой и дочерью его и пошел опять с костылем, сгорбившись еще ниже.

— Ты как-нибудь, папаша, лошадь купи, — говорила Марфа отцу, — пахать станем.

— Теперь мы с тобой заживем, Марфунька, — говорил Епишка. — Земли у нас много, хлеба много, скота семь голов рогатого, лошадей только, жаль, увели. Недоглядки.

Плетется Анисим, на солнце поглядывает, до захода в монастырь надо попасть.

По дорожке воронье каркает, гуси в межах на отлет собираются.

Пришел в келью, к игумену, пыльный с дороги, постучался.

— Благослови, отче... Вернулся. Теперь не пойду.

— Ну что, не обмануло тебя сердце твое?

— Нет, отче, сноха утонула. Господь меня надоумил сходить... Господь.

— Ты отдохни поди, вишь, как выглядишь плохо. А что ж старуха-то твоя, не вернулась?

— Нима, отче; видно, к угодникам в подножие улеглась. Сильная духом была, знал я, что ей не вернуться.

В келью пришел свою, на столе просфора зачерствелая, невынутая.

Кусает зубами качающимися, молитву хлебу насущному читает.

И опять все, как было: на стене скуфья на гвоздике, у окошка на подставочке цветы доморощенные не поливаны.

На мешочном тюфяке в дырки солома выбилась, в коричневых выструганных сучьях клопы гнездятся.

— Слава Тебе, Христе Боже наш, Слава Тебе.

Около рукомойника рушничок висит, покойная сноха вышивала.

— Всех похоронил, теперь самому на покой пора. Ой, как тяжело хоронить!

Захолодало. По селу потянулись с капустой обозы.

Хорошо молиться в осень темной ночи за чью-нибудь непутевую душу.

Обронили вербы четки зеленые, краснотой подернулись листья — удила шелковые.

Вечер. Голоса на дороге про темную ноченьку поют.

Прощай, ты, пора нудная, томящая. Вылила ты из пота нашего колосья зернистые, кровью нашей напоила ягоды свои.

Марфа принялась за хозяйство. Сперва ей казалось все как-то почудному. Ночью она не могла дверь найти спросонья, вместо порога к загнетке печной забиралась.

Стало подсасывать что-то опять Епишку, не сиделось ему дома, горько было на чужое добро смотреть. Чужое несчастье на счастье пошло.

Ходил в лес, осин с кореньями натаскал, а потом у окошка стал рассаживать.

— Марфунька, — кричал он, запихивая в землю скрябку, — воды неси поливать.

Люди засматривали, головой покачивали.

— Что это с Епишкой-то сталось: дочь привез, вино бросил пить и в церковь ходит.

В монастырь бегал причащаться, всю дорогу без отдышки бежал.

— Так ин, — говорит, — лучше Бог простит все... да и думы грешные в голову не полезут.

Старый Анисим просфорочку ему дал, советовал лучше кобылку купить, чем мерина.

— Ты кобылу-то купишь — через три года две лошади, ой-ой, каких будешь иметь!

Послухался Епишка старого Анисима, пришел домой и сказал Марфе, что хочет кобылу купить.

В базарный день повели продавать двух коров и выручили три сотни.

— Теперь ты, папаша, в город иди, там-то, чай, лучше купишь.

Снарядила Марфа отца в дорогу, зашила деньги в подштанники и проводила.

Приковылял Епишка в город, в трактирчик зашел отогреться. Люди винцо попивают, речи деловые гуторят. Подсела к Епишке девка какая-то, наянная такая, целоваться лезет.

— Жисть свою пропиваю, — кричит Епишка. — Хорошая ты моя, жалко мне тебя, пей больше, заливай свою тоску, не с добра, чай, гулять пошла.

Когда на другое утро Епишка полез в кошелек купить калачика, там валялась закрытая бумажкой единая заплесневелая старинная копейка.

Ждала Марфа отца и ждать отказалась, уж замуж успела выйти, мужа к себе приняла, а он как в воду канул.

Через два года, в такое же время, она получила письмо от него:

«Добрая доченька, посылаю тебе свое родительское благословение, которое может существовать по гроб твоей жизни и навеки нерушимо.

Дорогая Марфинька, об деньгах прошу тебя не сумлеваться, скоро приеду домой. Кобыла тут у меня на примете есть хорошая, о двух сосунков. Как только вернуся, заживем опять с тобой на славу».

Карев запер хату и пошел в другой раз к сторожке. Лимпиада просила оставить на память вырезанную им солоницу.

Филипп окапывал завалинку и возил на тачке с подгорья загрубелую землю.

— Отослал Иенке денег ай нет? — спросил он, не оборачиваясь, поправляя солому.

— Отослал... сам возил, прощаться ездил.

— То-то долго-то.

— Да.

— Ну, входи, — сказал Филипп, — Ваньчок приехал, чай пьют, дожидаются.

Ваньчок сидел в углу с примасленными, расчесанными на ряд волосами и жевал пышку.

Когда Карев ступил на порог, он недовольно поглядел на него и, приподняв руками блюдечко, чуть-чуть кивнул головой.

— Принес? — спросила Лимпиада и с затаенной болью, нагнувшись, стала рассматривать рисунки.

На крышке было вырезано заходящее солнце и волны реки.

Незатейливый рисунок очень много говорил Лимпиаде, и, положив солонку на окно, она задумалась.

Карев подвинул стакан к чайнику и налил чаю.

— Ну, ты что ж молчишь? — обратился он к Ваньчку. — Рассказывай что-нибудь.

— Чего рассказывать-то? — протянул Ваньчок. — Все пересказано давно.

— Ну, — засмеялся Карев, — это ты, наверно, не в духе сегодня. Ты бы послухал, как ты под «баночкой» говоришь, ты себя смехом кропишь и других заражаешь.

— Лучше Фильке пойду подсоблю, — сказал он, надевая картуз и затягивая шарф.

Когда Ваньчок вышел, Карев поднял на Лимпиаду глаза.

— Идешь? — спросил глухо он. — Я ухожу послезавтра. Пойдем. Жалеть нечего.

Лимпиада свесила голову и тихо, безжизненно прошептала:

— Иди, я не пойду.

— Прощай, больше, я думаю, говорить тебе нечего.

Лимпиада загородила ему дорогу и повисла, схватившись за него, на руках.

— Не уходи, милый Костя, — ради всего святого, пожалей меня.

— Нет, я не могу оставаться, — сказал Карев и отдернул ее руку.

На пороге показался Филипп.

— Ты что же, совсем уходишь?

— Да, совсем, проститься зайду. Не поминайте лихом, а если сделал чего плохого, то прошу прощенья...

Когда Карев ушел, Лимпиада проводила Филиппа к Ваньчку, а сама побежала на мельницу.

Хата была заперта, и на крыльце на скамейке лежала пустая пороховница.

«Куда же ушел?» — подумала она и повернула обратно. Вечерело. Оступилась в колею и вдруг, задрожав, почувствовала, что под сердцем зашевелился ребенок.

— Ох, — вскрикнула тихо и глухо, побежала к дому, щеки горели, платок соскочил на плечи, но она бежала и ничего не замечала.

В открытых глазах застыл ужас, губы подергивались как бы от боли.

Прибежала и, запыхавшись, села у окна.

«Зачем же я бежала? Господи, откуда эта напасть? Что делать мне... что делать?..»

Думы вспыхивали пламенем и, как разбившаяся на плесе волна, замирали.

«Вытравить, избавиться», — мелькнула мысль. Она поспешно подбежала к печурке.

«Преступница», — шептал какой-то голос и колол, как шилом, в голову.

«Господи, — упала она перед иконой, — научи».

На брусе — для мора тараканов, в синей бумажке — в глаза ей бросилась спорынья.

С лихорадочной дрожью наскребла спичек и смешала с спорыньей.

Когда цедила из самовара воду, в ней была какая-то неведомая ей дотоле решимость.

Без страха поднесла к губам запенившуюся влагу и выпила.

Чашка, разбившись, зазвенела осколками, и, свалившись на пол плашмя, Лимпиада забилась, как в судороге.

Волосы, сбившись тонкими прядями, рассыпались по полу и окропились бившей клочьями с губ пеной; под окном ворковали голуби, и затихший бор шептался о чем-то зловещем.

Лицо ее было, как мел, и на нем отражалась лесная зеленая дремь.

Филипп не поехал к Ваньчку, он встретил чухлинского старосту и пошел оглядывать намеднишнюю вырубку.

Щепа пахла ладаном, на голых корнях в вырубях сверкала вода.

— Тут надо бы примерить, — сказал староста. — Сбегай-ка до дому за рулеткой.

Филипп сломил ветку калинника и побег к сторожке.

Чукан, свернувшись в кольцо у ворот, хотел схватить его за ногу.

В голову ударило мертвечиной, на полу в луже крови валялась Лимпиада и около нее разбитая чашка.

— Отравилась!.. — крикнул, как журавль перед смертью, и побежал к колодцу за холодной водой.

Поливал ей на грудь, пальцем разжимал стиснутые зубы.

Холодел.

Склонившись на колени, закрылся руками и заголосил по-бабьему.

— Ой, не ходила бы девка до мельника, не развивала бы свою кудрявую косу, не выскакивала бы в одной сорочке по ночам, не теряла бы ты девичью честь.

Ползал, подымал осколки чашки и подносил к носу.

— Ох ты, бесталанная головушка, при тебе спорынья в поле вызрела, и на погибель ты свою ее пожинала.

Ваньчок трепал за ухо своего подпаска.

— Ты опять, негодяй, потерял ярку. Ищи, харя твоя поганая, до смерти захлыщу.

— Я, дя-аденька, ни при чем, — плакал Юшка. — Вот те Христос, не виноват...

— Я те, сволочь, покажу, как отказываться. Ишь, сопляк какой подхалимный!

Возбужденный опять неудачей, напился к вечеру пьян и поехал опять сватать Лимпиаду.

Около околицы ему послышалось, что Филипп поет песню.

Он слез с телеги и, качаясь, выгаркивал осипло «Веревочку»:

Эх, да как на этой на веревочке
Жисть покончит молодец...

С концом песни ввалился в избу и остолбенел.

— Это он, — крикнул с брызгами пены у рта. — Это он... Он весь яр поджег, дымом задвашил...

Красные глаза увидели прислоненную к запечью берданку.

Голова закружилась безумием и хмелем.

Схватив берданку, осмотрел заряды и выбежал на дорогу.

Ветер ерошил на непокрытой голове волосы и спускал на глаза.

Хвои шумели.

Вечерело. Карев ходил набрать грибов. Заготавливал на отход.

Шел с грустной думой о Лимпиаде и незаметно подошел к дому.

В хате светился огонь, и на полу сырой картошкой играл кот.

На крыльце он увидел темную тень и подумал, что его кто-то ожидает.

Прислоненная к перилам тень взмахнула ружьем.

«Филипп, — подумал Карев, — на охоту, видно, напоследок зовет...»

Грянул выстрел, и почуял, как что-то кольнуло его и разлилось теплом.

Упал... по телу пробегла дремная слабость. Показалось еще теплее, но вдруг к горлу хлынуло как бы расплавленное олово, и, не имея силы вздохнуть, он забился, как косач.

Стихало... От дороги слышались удаляющиеся шаги. Месяц, выкатившись из-за бугра долины, залил лунью крыльцо и крышу.

— Ку-гу, ку-гу... — шомонила за мельницей сова.

<1916>

У БЕЛОЙ ВОДЫ

1

Лето было тихое и ведряное, небо вместо голубого было белое, и озеро, глядевшее в небо, тоже казалось белым; только у самого берега в воде качалась тень от ветлы да от избы Корнея Бударки. Иногда ветер подымал по песку целое облако пыли, обдавал ею воду и избу Корнея, а потом, когда утихал, из песка, чернея, торчали камни на выветренном месте; но от них тени не было.

Корней Бударка ловил по спуску реки рыбу, а жена его Палага изо дня в день сидела на крылечке и смотрела то в ту <сторону, где,> чернея, торчали камни на выветренном ме<сте, то> на молочное небо.

Одинокая ветла под окошком роняла пух, вода еще тише обнимала берег, и не то от водяного зноя, не то оттого, что у нее самой во всем теле как бы переливалось молоко, Палага думала о муже, думала, как хорошо они проводили время, когда оба, прижавшись друг к другу, ночевали на сеновале, какие у него синие глаза, и вообще обо всем, что волновало ей кровь.

Рыбаки уплывали вниз по реке с Петрова дня вплоть до зимних холодов. Палага считала дни, когда Корней должен был вернуться, молила св. Магдалину, чтобы скорей наставали холода, и чувствовала, что кровь в ней с каждым днем начинает закипать все больше и больше. Губы сделались красными, как калина, груди налились, и когда она, осторожно лаская себя, проводила по ним рукой, она чувствовала, что голова ее кружится, ноги трясутся, а щеки так и горят.

Палага любила Корнея. Любила его здоровую грудь, руки, которыми он сгибал дуги, и особенно ей нравились его губы.

Перебирая прошлое, Палага так сливалась с Корнеем мысленно, что даже чувствовала его горячее дыхание, теплую влагу губ, и тело ее начинало ныть еще сильнее, а то, что так было возможно, казалось ей преступлением. Она помнила, как она клялась Корнею, что хотя раз оборвешь, то уже без узла не натянешь, и все-таки, скрывая это внутри себя, металась из стороны в сторону, как связанная, и старалась найти выход.

Опустив голову на колени, она смотрела, как за высокой горой тонуло солнце. Свечерело уже совсем, и по белой воде заскользила

на песчаный островок, поросший хворостом, утлая маленькая лодочка. Мужик сидел в лодке, вылез и, изгибаясь, стал ползать по песку.

В Палаге проснулось непонятное для нее решение... Она отвязала причало от челна, руки ее дрожали, ноги подкашивались, но все-таки она отправилась на островок. Взмахнув веслами, она почти в три удара обогнула островок и, стоя на носу, заметила, что мужик на песке собирает ракуши. Она глядела на него и так же, как в первый раз, трепетала вся.

Когда мужик обернулся и, взглянув на нее своими рыбьими холодными глазами, ехидно прищурился, Палага вся похолодела, сжалась, страсть ее, как ей показалось, упала на дно лодки. «Окаянный меня смущаить!» — прошептала она. И, перекрестившись, повернула лодку обратно и, не скидавая платья с себя, бросилась у берега в воду.

Был канун Ильина дня. С сарафана капала вода, когда она вошла в избу, а губы казались синими. Мокрыми руками она достала с божницы спички, затеплила лампадку и, упав на колени, начала молиться. Но ночью, когда она легла в мокрой рубашке на кровать, тело ее снова почувствовало тепло, и снова защемило под оголенными коленями. Она встала, сбегала к реке, окунула горячую голову в воду и, чтобы забыться, начала вслушиваться, как шумит ветер. «Наваждение, — думала она, — молиться надо и пост на себя наложить!» Ветер крутил песок, вода рябилась, холодела, и, глядя на реку, Палага шептала:

«Господи, да скорея бы, скорея бы заморозки!»

Утром чуть свет она отправилась на деревню к обедне. Деревня была верстах в шести от белой воды, дорога вилась меж ржи, и идти было по заре, когда еще было легко и прохладно.

Ноги ее приустали, она сняла с себя башмаки, повесила на ленточке через плечо, нарочно норовила, сверкая белыми икрами, идти по росе, и огонь, мучивший ее тело, утихал. В церкви она молилась тоже только об одном, чтобы скорее настали холода, и, глядя на икону прикрытой рубищем Марии Египетской, просила у нее ее крепости одолеть свою похоть, но молитвенные мысли ее мешались с воспоминаниями о жгучей любви, она ловила себя на этом и, падая на колени, стукалась лбом о каменный пол до боли.

2

По дороге обратно идти ей казалось труднее, с томленого тела градом катился пот, рубаха прилипала к телу, а глаза мутились и ничего не видели. Она не помнила, как дошла до перекрестка объезжих дорог, и очнулась лишь тогда, когда догнавший ее попутчик окликнул и ухватил за плечо.

— Ты, эфто, бабенка, дыляко пробираисси-то... а? — спросил он, лукаво щуря на нее глаза, — а то, можа, вместе в лощинке и отдохнем малость?

Палага не слышала его слов, но стало приятно идти с ним, она весело взглянула ему в глаза и улыбнулась. Лицо его было молодое, только что покрывшееся пухом, глаза горели задором и смелостью. Можно было подумать, что он не касался ни одной бабы, но и можно было предположить, что он ни одной не давал проходу.

— Таперича я знаю — ты чья, — сказал он, пристально вглядываясь в лицо, — ты эфто, знычить, жена Корнея Бударки будешь... так оно и есть... Я тибе ище со свадьбы вашиной помню. Славная ты, как я ны тибе пыглижу. Эн лицо-то какое смазливое.

Палага подозрительно смерила его с ног до головы и сказала:

— Жинитца пора тибе, чем по полю прохожих-то ловить. За этакое дело в острог сажают.

Парень обидчиво приостановился и выругался:

— Сибе дороже стоить, чем ломать на всяку сволочь глаза свои!

Палага, обернувшись, захохотала:

— А ты и вправду думаешь, што я боюсь тибе?

Сказав, она почувствовала, как груди ее защемили снова, глаза затуманились. Она забыла, зачем ходила в церковь, ночью выскакивала окунать свою голову в воду. Когда парень взял ее за руку, она не отняла руки, а еще плотней прижалась к нему и шла, запрокинув голову, как угорелая; кофточка на ней расстегнулась, платок соскочил.

— А должно, плохо биз мужа живетца-то, — говорил он, — я, хошь, к тибе приходить буду?

— Приходи!

Солнце уже клонилось к закату, тени от кустов были большие, но в воздухе еще висел зной, пахнущий рожью.

Палага опустилась на колени и села. Она вся тянулась к земле и старалась, чтобы не упасть, ухватиться за куст. Парень подполз к ней ближе, обнял ее за шею.

Уже в душе ее ничего не было страшного, и не было больно за то, что вот что-то порывается в ее жизни; она прилегла на траву и закрыла глаза. Чувствовала, как парень горячими щеками прилипал к ее груди, его немного горькие от табаку губы, и когда почувствовала его жесткие руки, приподнялась и отпихнула его в сторону.

— Не нужно, — сказала она, задыхаясь, и, запрокинув голову, опустилась опять на траву. — Не нужно, тибе говорю!

Когда она ударила парня по лицу, он опешил, и, воспользовавшись этим, она побежала, подобрав подол, к дому.

Парень отстал. На повороте она заметила только один его мель-

кавший картуз, пригнулась и быстро шмыгнула в рожь. Прижалась к земле и старалась не проронить ни звука.

Уже погасла заря, месяц выплыл с белыми рогами над полем, и небо из белого обратилось в темно-голубое, а она все сидела и не хотела вставать.

Когда ночь стала совсем голубая, когда уже звёзды тухли, она осторожно приподняла голову и посмотрела на дорогу. Дымился туман, и свежесть его пахла парным молоком. Ей страшно было идти, — казалось, парень где-нибудь притаился во ржи у дороги и ждет.

Небо светлело, ветерок, налетевший с восхода, поднялся к облакам и сдул последние огоньки мигающих звезд; над рожью вспыхнула полоса зари, где-то заскрипели колеса. Очнувшись от страха, Палага вышла на тропинку и, прислушавшись, откуда скрип колес, пошла навстречу.

Поравнявшись с подводами, она попросила, чтоб ее подвезли немного, до белой воды. Баба, сидевшая на передней телеге, остановила лошадь и покачала головой:

— Как же это ты ни пужаисси-то? Ночь, а ты Бог знаить анкедова идешь... По ржам-то ведь много слоняютца, лутчай подождать бы.

— Я ждала, — тихо ответила Палага, — привязался тут ко мне один еще с вечера. Все во ржи сидела, ждала, хто поедить...

— То-то, ждала.

Когда баба под спуском на белую воду повернула в левую сторону, Палага слезла, поблагодарила ее и пошла к дому. Башмаки от росы промокли, пальцы на ногах озябли, но она не обращала на это внимания, ей было приятно сознавать, что грех она все-таки поборола.

Вдруг вся она похолодела: парень сидел на крылечке ее избы и, завидя ее, быстро и ловко стал взбираться на гору. Пока она пришла в себя, уже был подле нее и схватил за руки.

— Ты штошь эфто, — говорил он, осклабивая зубы, — сперва дразнишь, а потом хоронисси?.. Типерь ни отпущу уж тибе, кричи не кричи — моя.

Палага стояла с широко раскрытыми глазами; то, что ее давило, снова стало подыматься от сердца; и вдруг разлилось по всем жилам. Она поняла, взглянув на парня, что бежала не от него, скрывалась во ржи не от него. Оттолкнув его руки, она бессильно опустилась на землю. Парень навалился на ее колени; она плотно прикусила губу, и на подбородок ее скатилась алая струйка крови.

— Да ты штошь, этакая-разэтакая, долго будишь ныда мной издяватца-то?! — крикнул парень и, размахнув рукой, ударил ее по лицу. И боль в ней вытесняла то, чего она боялась. Посыпавшимся на

нее ударам она подставляла грудь, голову; виски ее заломили, она тихо застонала.

Ее опухшее в кровоподтеках лицо испугало парня, и, ткнув ее ногой в живот, он поднял свой соскочивший картуз, вытер со лба градом катившийся пот и пошел по дороге в поле.

Солнце поднялось высоко над водой, песок, на котором она лежала, сделался горячим, голова ныла от жары еще больше, губы спекались.

Приподнявшись кое-как на локти, она стала сползать к воде; руки царапались о камни, сарафан рвался. У воды, тыкаясь лицом, она обмыла запекшуюся на коже кровь, немного попила и побрела домой. На крыльце валялись окурки, спички и позабытый кисет. Взобравшись на верхнюю ступеньку, она села и обессиленно вздохнула.

3

Вода от холода посинела, ветла, стоявшая у избы Корнея, нагнулась и стряхнула в нее свои желтые листья. Небо подернулось облаками, река уже не так тихо бежала, как летом, а пенилась и шумела; Палага каждый день ждала мужа, и, наконец, он вернулся.

В тот день по воде шел туман. Когда Корней чалил у берега свою лодку, Палага не видела его из окна; она узнала лишь тогда, что он приехал, когда собака залаяла и радостно заскулила. Сердце перестало биться, ноги подкосились, и, задыхаясь, Палага выбежала ему навстречу.

Но она взглянула на него, и руки ее опустились. Корней был как скелет, из заросшего лица торчал один только длинный нос, щеки провалились, грудь ушла в плечи.

— Што с тобой?! — чуть не вскрикнула она и, скрестив руки от какого-то страшного предчувствия, остановилась на месте.

— Ничего, — болезненно улыбнулся Корней, — захворал малость, вот и осунулся!

В словах его была скрытая грусть.

Они вошли в избу. Он, не снимая шапки, лег на кровать и закрыл глаза. Палага легла с ним рядом, сердце ее билось. Прижимаясь к нему, она понимала, что делает совсем не то, что нужно, но остановить себя не могла.

Почувствовав ее дрожь, Корней приподнялся и с горькою улыбкой покачал головой:

— Силы у меня нет, Палага, болесть, вишь, — и, глядя на ее сочную грудь, на красные щеки, гладил ее плечи и сбившиеся волосы.

С тех дней, как Корней не вставал с постели, Палага побледнела

и даже подурнела, глаза глубоко ввалились, над губами появились две дугообразные морщины, кожа пожелтела.

— Надоел я тебе, — говорил, свешивая голову с кровати, Корней, — измаялась ты вся, так што и лица на тибе ни стало.

Палага ничего не отвечала ему на это, но ей было неприятно, что он мог так говорить. За ту любовь, какую она берегла ему, она могла перенести гораздо больше...

Корней догадывался, отчего гас ее румянец, отчего белели губы, и ему неловко и тяжело было.

Когда же река стала опруживать заволокой льда окраины и лодки пришло время вытаскивать на берег, Палага наняла на деревне для этого дела сына десятского Юшку. Приходило время поправлять попортившиеся за лето верши, и Юшка принялся за починку.

Подавая ему нитки, Палага ненароком касалась его рук; руки от работы были горячие, приятно жгли, и Палагу снова стало беспокоить. Стала она часто сидеть у кровати, на которой лежал Корней, и еще чаще сердце ее замирало, когда Юшка, как бы нечаянно проходя, задевал ее плечи рукою.

Однажды ночью, когда Корней бредил своим баркасом, она осторожно слезла с лавки, на которой лежала, и поползла к Юшке в угол на пол.

За окном свистел ветер, рубашка на ее спине прыгала от страха. Юшка спал; грудь его то подымалась, то опускалась, а от пушистого и молодого, еще ребяческого лица пахло словно распустившейся мятой. Подобравшись к его постели, она потянула с него одеяло, Юшка завозился и повернулся на другой бок.

В висках у нее застучало. Она увидела в темноте его обнажившиеся плечи. Осторожно взобралась она на постель. Юшка проснулся. В первый момент на лице его отразилось удивление, но он понял и, вскочив, обвился вокруг нее, как вьюн.

Палага ничего уже не сознавала, тряслась как в лихорадке.

Когда она лежала снова на лавке, ей казалось, что все, что было несколько минут назад, случилось уже давно, что времени этому уже много, и ее охватила жалость, ей показалось, что она потеряла что-то. Затуманенная память заставила ее встать, она зажгла лампу и начала шарить под столом, на печи и под печью, но везде было пусто.

«Это в душе у меня пусто», — подумала она как-то сразу и, похолодев, опустилась с лампой на пол.

До рассвета она сидела у окна и бессмысленно глядела, как по воде, уже обмерзшей, стелился снег. Но как только она начинала приходить в себя, сердце ее занывало, она вспоминала, что жизнь ее с Корнеем оборвалась, что на радости их теперь лег узел, и, глядя на сонного Юшку, ей хотелось впиться ногтями в его горло и задушить.

Лицо Юшки было окаймлено невидимой, но все же понятной для нее бледностью, и, вглядываясь в него, она начинала понимать, что то, что отталкивало ее от него, было не в нем, а внутри нее, что задушить ей хочется не его, а соблазн, который в ее душе. Несколько раз она приближалась к спящему Корнею, но, глядя на его спокойно закрытые глаза, вздрагивала и, заложив руки за голову, начинала ходить по избе.

Когда рассвет уже совсем заглянул в окно, она испугалась наступающего дня; пока было темно, пока никто не видел ее лица и бледных щек, ей было легче; и вдруг ей захотелось уйти, уйти куда глаза глядят, лишь бы заглушить мучившее ее сознание.

Отворив дверь, Палага вышла на крыльцо и взглянула на реку. То место, где она обмывала свои побои, было занесено снегом. Она вспомнила, насколько она была тогда счастливее, когда подставляла под взмахивающие кулаки грудь и голову, и, обхватив за шею стоявшую подле нее собаку, зарыдала.

Собака сперва растерялась, завиляла хвостом, но, почувствовав, что в горле у нее щекочет, завыла; и вой ее слился в один горький и тяжелый крик утраты.

<1916>

БОБЫЛЬ И ДРУЖОК

(Рассказ, посвященный сестре Катюше)

Жил на краю деревни старый Бобыль. Была у Бобыля своя хата и собака. Ходил он по миру, сбирал куски хлеба, так и кормился. Никогда Бобыль не расставался с своей собакой, и была у нее ласковая кличка Дружок. Пойдет Бобыль по деревне, стучит под окнами, а Дружок стоит рядом, хвостом виляет. Словно ждет свою подачку. Скажут Бобылю люди: «Ты бы бросил, Бобыль, свою собаку, самому ведь кормиться нечем...» Взглянет Бобыль своими грустными глазами, взглянет — ничего не скажет. Кликнет своего Дружка, отойдет от окна и не возьмет краюшку хлеба.

Угрюмый был Бобыль, редко с кем разговаривал.

Настанет зима, подует сердитая вьюга, заметет поземка, надует большие сугробы.

Ходит Бобыль по сугробам, упирается палкой, пробирается от двора ко двору, и Дружок тут бежит рядом. Прижимается он к Бобылю, заглядывает ласково ему в лицо и словно хочет вымолвить: «Никому мы с тобою не нужны, никто нас не пригреет, одни мы с тобою». Взглянет Бобыль на собаку, взглянет, и словно разгадает ее думы; и тихо-тихо скажет:

— Уж ты-то, Дружок, меня, старика, не покинь.

Шагает Бобыль с собакой, доплетется до своей хаты, хата старая, нетоплена. Посмотрит он по запечке, посмотрит, по углам пошарит, а дров — ни полена. Глянет Бобыль на Дружка, а тот стоит, дожидается, что скажет хозяин.

Скажет Бобыль с нежной лаской:

— Запрягу я, Дружок, тебя в салазки, поедем мы с тобой к лесу, наберем там мы сучьев и палок, привезем, хату затопим, будем греться с тобой у лежанки.

Запряжет Бобыль Дружка в салазки, привезет сучьев и палок, затопит лежанку, обнимет Дружка, приголубит. Задумается Бобыль у лежанки, начнет вспоминать прожитое. Расскажет старик Дружку о своей жизни, расскажет о ней грустную сказку, доскажет и с болью молвит:

— Ничего ты, Дружок, не ответишь, не вымолвишь слова, но глаза твои серые, умные... знаю, знаю... ты все понимаешь...

Устала плакать вьюга. Реже стали метели, зазвенела капель с крыши. Тают снега, убывают.

Видит Бобыль — зима сходит, видит — и с Дружком беседует:

— Заживем мы, Дружок, с весною.

Заиграло красное солнышко, побежали ручьи-колокольчики. Смотрит Бобыль из окошка, под окном уж земля зачернела.

Набухли на деревьях почки, так и пахнут весною. Только годы Бобыля обманули, только слякоть весенняя старика подловила.

Стали ноги его подкашиваться, кашель грудь задавил, поясница болит-ломит, и глаза уж совсем помутнели.

Стаял снег. Обсушилась земля. Под окошком ветла распустилася. Только реже старик выходил из хаты. Лежит он на полатях, слезть не может.

Слезет Бобыль через силу, — слезет, закашляется, загрустит, Дружку скажет:

— Рано, Дружок, мы с тобою тогда загадали. Скоро уж, видно, смерть моя, только помирать — оставлять тебя неохота.

Заболел Бобыль, не встает, не слезает, а Дружок от полатей не отходит, чует старик — смерть подходит, — чует, Дружка обнимает, — обнимает, сам горько плачет:

— На кого я, Дружок, тебя покину. Люди нам все чужие. Жили мы с тобой... всю жизнь прожили, а смерть нас разлучает. Прощай, Дружок, мой милый, чую, что смерть моя близко, дыханье в груди остывает. Прощай... да ходи на могилу, поминай своего старого друга!.. — Обнял Бобыль Дружка за шею, крепко прижал его к сердцу, вздрогнул — и душа отлетела.

Мертвый Бобыль лежит на полатях. Понял Дружок, что хозяин его умер. Ходит Дружок из угла в угол, — ходит, тоскует. Подойдет Дружок, мертвеца обнюхает, — обнюхает, жалобно завоет.

Стали люди промеж себя разговаривать: почему это Бобыль не выходит. Сговорились, пришли — увидали, увидали — назад отшатнулись. Мертвый Бобыль лежит на полатях, в хате запах могильный — смрадный. На полатях сидит собака, сидит — пригорюнилась.

Взяли люди мертвеца, убрали, обмыли, — в гроб положили, а собака от мертвого не отходит. Понесли мертвого в церковь, Дружок идет рядом. Гонят собаку от церкви, гонят — в храм не пускают. Рвется Дружок, мечется на церковной паперти, завывает, от горя и голода на ногах шатается.

Принесли мертвого на кладбище, принесли — в землю зарыли. Умер Бобыль никому не нужный, и никто по нем не заплакал.

Воет Дружок над могилой, воет, — лапами землю копает. Хочет

Дружок отрыть своего старого друга, отрыть — и с ним лечь рядом. Не сходит собака с могилы, не ест, тоскует. Силы Дружка ослабели, не встает он и встать не может. Смотрит Дружок на могилу, смотрит, жалобно стонет. Хочет Дружок копать землю, только лапы свои не поднимает. Сердце у Дружка сжалось... дрожь по спине пробежала, опустил Дружок голову, опустил, тихо вздрогнул... и умер Дружок на могиле...

Зашептались на могиле цветочки, нашептали они чудную сказку о дружбе птичкам. Прилетала к могиле кукушка, садилась она на плакучую березу. Сидела кукушка, грустила, жалобно над могилой куковала.

<1917>

ЖЕЛЕЗНЫЙ МИРГОРОД

I

Я не читал прошлогодней статьи Л. Д. Троцкого о современном искусстве, когда был за границей. Она попалась мне только теперь, когда я вернулся домой. Прочел о себе и грустно улыбнулся. Мне нравится гений этого человека, но видите ли?.. Видите ли?..

Впрочем, он замечательно прав, говоря, что я вернусь не тем, чем был.

Да, я вернулся не тем. Много дано мне, но и много отнято. Перевешивает то, что дано.

Я объездил все государства Европы и почти все штаты Северной Америки. Зрение мое переломилось особенно после Америки. Перед Америкой мне Европа показалась старинной усадьбой. Поэтому краткое описание моих скитаний начинаю с Америки.

ВОТ «PARIS»[1]

Если взять это с точки зрения океана, то все-таки и это ничтожно, особенно тогда, когда в водяных провалах эта громадина качается своей тушей, как поскользающийся... (Простите, что у меня нет образа для сравнения, я хотел сказать — как слон, но это превосходит слона приблизительно в 10 тысяч раз. Эта громадина сама — образ. Образ без всякого подобия. Вот тогда я очень ясно почувствовал, что исповедуемый мною и моими друзьями «имажинизм» иссякаем. Почувствовал, что дело не в сравнениях, а в самом органическом.) Но если взглянуть на это с точки зрения того, на что способен человек, то можно развести руками и сказать: «Милый, да что ты наделал? Как тебе?.. Да как же это?..»

Когда я вошел в корабельный ресторан, который площадью немного побольше нашего Большого театра, ко мне подошел мой спутник и сказал, что меня просят в нашу кабину.

Я шел через громадные залы специальных библиотек, шел через комнаты для отдыха, где играют в карты, прошел через танцевальный зал, и минут через пять чрез огромнейший коридор спутник подвел

---

[1] Пароход «Париж» *(искаж. англ.)*.

меня к нашей кабине. Я осмотрел коридор, где разложили наш большой багаж, приблизительно в 20 чемоданов, осмотрел столовую, свою комнату, две ванные комнаты и, сев на софу, громко расхохотался. Мне страшно показался смешным и нелепым тот мир, в котором я жил раньше.

Вспомнил про «дым отечества», про нашу деревню, где чуть ли не у каждого мужика в избе спит телок на соломе или свинья с поросятами, вспомнил после германских и бельгийских шоссе наши непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся за «Русь» как за грязь и вшивость. С этого момента я разлюбил нищую Россию.

Милостивые государи!

С того дня я еще больше влюбился в коммунистическое строительство. Пусть я не близок коммунистам как романтик в моих поэмах, — я близок им умом и надеюсь, что буду, быть может, близок и в своем творчестве. С такими мыслями я ехал в страну Колумба. Ехал океаном шесть дней, проводя жизнь среди ресторанной и отдыхающей в фокстроте публики.

ЭЛИС-АЛЕНД

На шестой день, около полудня, показалась земля. Через час глазам моим предстал Нью-Йорк.

Мать честная! До чего бездарны поэмы Маяковского об Америке! Разве можно выразить эту железную и гранитную мощь словами?! Это поэма без слов. Рассказать ее будет ничтожно. Милые, глупые, смешные российские доморощенные урбанисты и электрификаторы в поэзии! Ваши «кузницы» и ваши «лефы» как Тула перед Берлином или Парижем.

Здания, заслонившие горизонт, почти упираются в небо. Над всем этим проходят громаднейшие железобетонные арки. Небо в свинце от дымящихся фабричных труб. Дым навевает что-то таинственное, кажется, что за этими зданиями происходит что-то такое великое и громадное, что дух захватывает. Хочется скорее на берег, но... но прежде должны осмотреть паспорта...

В сутолоке сходящих подходим к какому-то важному субъекту, который осматривает документы. Он долго вертит документы в руках, долго обмеривает нас косыми взглядами и спокойно по-английски говорит, что мы должны идти в свою кабину, что в Штаты он нас впустить не может и что завтра он нас отправит на Элис-Аленд.

Элис-Аленд — небольшой остров, где находятся карантин и всякие следственные комиссии. Оказывается, что Вашингтон получил сведения о нас, что мы едем как большевистские агитаторы. Завтра на Элис-Аленд... Могут отослать обратно, но могут и посадить...

В кабину к нам неожиданно являются репортеры, которые уже зна-

ли о нашем приезде. Мы выходим на палубу. Сотни кинематографистов и журналистов бегают по палубе, щелкают аппаратами, чертят карандашами и всё спрашивают, спрашивают и спрашивают. Это было приблизительно около 4 часов дня, а в $5^1/_2$ нам принесли около 20 газет с нашими портретами и огромными статьями о нас. Говорилось в них немного об Айседоре Дункан, о том, что я поэт, но больше всего о моих ботинках и о том, что у меня прекрасное сложение для легкой атлетики и что я наверняка был бы лучшим спортсменом в Америке. Ночью мы грустно ходили со спутником по палубе. Нью-Йорк в темноте еще величественнее. Копны и стога огней кружились над зданиями, громадины с суровой мощью вздрагивали в зеркале залива.

Утром нас отправили на Элис-Аленд. Садясь на маленький пароход в сопровождении полицейских и журналистов, мы взглянули на статую свободы и прыснули со смеху. «Бедная, старая девушка! Ты поставлена здесь ради курьеза!» — сказал я. Журналисты стали спрашивать нас, чему мы так громко смеемся. Спутник мой перевел им, и они засмеялись тоже.

На Элис-Аленде нас по бесчисленным комнатам провели в комнату политических экзаменов. Когда мы сели на скамьи, из боковой двери вышел тучный, с круглой головой, господин, волосы которого немного были вздернуты со лба челкой кверху и почему-то напомнили мне рисунки Пичугина в сытинском издании Гоголя.

— Смотри, — сказал я спутнику, — это Миргород! Сейчас прибежит свинья, схватит бумагу, и мы спасены!

— Мистер Есенин, — сказал господин. Я встал. — Подойдите к столу! — вдруг твердо сказал он по-русски. Я ошалел.

— Подымите правую руку и отвечайте на вопросы.

Я стал отвечать, но первый вопрос сбил меня с толку:

— В Бога верите?

Что мне было сказать? Я поглядел на спутника, тот мне кивнул головой, и я сказал:

— Да.

— Какую признаете власть?

Еще не легче. Сбивчиво я стал говорить, что я поэт и что в политике ничего не смыслю. Помирились мы с ним, помню, на народной власти. Потом он, не глядя на меня, сказал:

— Повторяйте за мной: «Именем Господа нашего Иисуса Христа обещаюсь говорить чистую правду и не делать никому зла. Обещаюсь ни в каких политических делах не принимать участия».

Я повторял за ним каждое слово, потом расписался, и нас выпустили. (После мы узнали, что друзья Дункан дали телеграмму Гардингу. Он дал распоряжение по легком опросе впустить меня в Штаты.) Взяли с меня подписку не петь «Интернационала», как это сделал я в Берлине.

Миргород! Миргород! Свинья спасла!

НЬЮ-ЙОРК

Сломя голову я сбежал с пароходной лестницы на берег. Вышли с пристани на стрит, и сразу на меня пахнуло запахом, каким-то знакомым запахом. Я стал вспоминать: «Ах, да это... это тот самый... тот самый запах, который бывает в лавочках со скобяной торговлей». Около пристани на рогожах сидели или лежали негры. Нас встретила заинтригованная газетами толпа.

Когда мы сели в автомобиль, я сказал журналистам: «Mi laik Amerika...»[1]

Через десять минут мы были в отеле.

Москва, 14 августа 1923 г.

II

БРОДВЕЙ

На наших улицах слишком темно, чтобы понять, что такое электрический свет Бродвея. Мы привыкли жить под светом луны, жечь свечи перед иконами, но отнюдь не пред человеком.

Америка внутри себя не верит в Бога. Там некогда заниматься этой чепухой. Там свет для человека, и потому я начну не с самого Бродвея, а с человека на Бродвее.

Обиженным на жестокость русской революции культурникам не мешало бы взглянуть на историю страны, которая так высоко взметнула знамя индустриальной культуры.

Что такое Америка?

Вслед за открытием этой страны туда потянулся весь неудачливый мир Европы, искатели золота и приключений, авантюристы самых низших марок, которые, пользуясь человеческой игрой в государства, шли на службу к разным правительствам и теснили коренной красный народ Америки всеми средствами.

Красный народ стал сопротивляться, начались жестокие войны, и в результате от многомиллионного народа краснокожих осталась горсточка (около 500 000), которую содержат сейчас, тщательно огородив стеной от культурного мира, кинематографические предприниматели. Дикий народ пропал от виски. Политика хищников разложила его окончательно. Гайавату заразили сифилисом, опоили и загнали догнивать частью на болота Флориды, частью в снега Канады.

Но и все же, если взглянуть на ту беспощадную мощь железобе-

[1] Мне нравится Америка... *(искаж. англ.).*

тона, на повисший между двумя городами Бруклинский мост, высота которого над землей равняется высоте 20-этажных домов, все же никому не будет жаль, что дикий Гайавата уже не охотится здесь за оленем. И не жаль, что рука строителей этой культуры была иногда жестокой.

Индеец никогда бы не сделал на своем материке того, что сделал «белый дьявол».

Сейчас Гайавата — этнографический киноартист; он показывает в фильмах свои обычаи и свое дикое несложное искусство. Он все так же плавает в отгороженных водах на своих узеньких пирогах, а около Нью-Йорка стоят громады броненосцев, по бокам которых висят десятками уже не шлюпки, а аэропланы, которые подымаются в воздух по особо устроенным спускным доскам; возвращаясь, садятся на воду, и броненосцы громадными рычагами, как руками великанов, подымают их и сажают на свои железные плечи.

Нужно пережить реальный быт индустрии, чтобы стать ее поэтом. У нашей российской реальности пока еще, как говорят, «слаба гайка», и потому мне смешны поэты, которые пишут свои стихи по картинкам плохих американских журналов.

В нашем литературном строительстве со всеми устоями на советской платформе я предпочитаю везти телегу, которая есть, чтобы не оболгать тот быт, в котором мы живем. В Нью-Йорке лошади давно сданы в музей, а в наших родных пенатах...

Ну да ладно! Москва не скоро строится. Поговорим пока о Бродвее с точки зрения великих замыслов. Эта улица тоже ведь наша.

Сила Америки развернулась окончательно только за последние двадцать лет. Еще сравнительно не так давно Бродвей походил на наш старый Невский, теперь же это что-то головокружительное. Этого нет ни в одном городе мира. Правда, энергия направлена исключительно только на рекламный бег. Но зато дьявольски здорово! Американцы зовут Бродвей, помимо присущего ему названия «окраинная дорога», — «белая дорога». По Бродвею ночью гораздо светлее и приятнее идти, чем днем.

Перед глазами — море электрических афиш. Там, на высоте 20-го этажа, кувыркаются сделанные из лампочек гимнасты. Там, с 30-го этажа, курит электрический мистер, выпуская электрическую линию дыма, которая переливается разными кольцами. Там, около театра, на вращающемся электрическом колесе танцует электрическая Терпсихора и т. д., все в том же роде, вплоть до электрической газеты, строчки которой бегут по 20-му или 25-му этажу налево беспрерывно до конца номера. Одним словом: «Умри, Денис!..» Из музыкальных магазинов слышится по радио музыка Чайковского. Идет концерт в Сан-Франциско, но любители могут его слушать и в Нью-Йорке, сидя в своей квартире.

Когда все это видишь или слышишь, то невольно поражаешься возможностям человека, и стыдно делается, что у нас в России верят до сих пор в деда с бородой и уповают на его милость.

Бедный русский Гайавата!

БЫТ И ГЛУБЬ ШТАТОВ

Тот, кто знает Америку по Нью-Йорку и Чикаго, тот знает только праздничную или, так сказать, выставочную Америку.

Нью-Йорк и Чикаго есть не что иное, как достижения в производственном искусстве. Чем дальше вглубь, к Калифорнии, впечатление громоздкости исчезает: перед глазами бегут равнины с жиденькими лесами и (увы, страшно похоже на Россию!) маленькие деревянные селения негров. Города становятся похожими на европейские, с той лишь разницей, что если в Европе чисто, то в Америке все взрыто и навалено как попало, как бывает при постройках. Страна все строит и строит.

Черные люди занимаются земледелием и отхожим промыслом. Язык у них американский. Быт — под американцев. Выходцы из Африки, они сохранили в себе лишь некоторые инстинктивные выражения своего народа в песнях и танцах. В этом они оказали огромнейшее влияние на мюзик-холльный мир Америки. Американский фокстрот есть не что иное, как разжиженный национальный танец негров. В остальном негры — народ довольно примитивный, с весьма необузданными нравами. Сами американцы — народ тоже весьма примитивный со стороны внутренней культуры.

Владычество доллара съело в них все стремления к каким-либо сложным вопросам. Американец всецело погружается в «Business»[1] и остального знать не желает. Искусство Америки на самой низшей ступени развития. Там до сих пор остается неразрешенным вопрос: нравственно или безнравственно поставить памятник Эдгару По. Все это свидетельствует о том, что американцы — народ весьма молодой и не вполне сложившийся. Та громадная культура машин, которая создала славу Америке, есть только результат работы индустриальных творцов и ничуть не похожа на органическое выявление гения народа. Народ Америки — только честный исполнитель заданных ему чертежей и их последователь. Если говорить о культуре электричества, то всякое зрение упрется в этой области в фигуру Эдисона. Он есть сердце этой страны. Если бы не было этого гениального человека в эти годы, то культура радио и электричества могла бы появиться гораздо позже, и Америка не была бы столь величественной, как сейчас.

---

[1] Дела *(англ.)*.

Со стороны внешнего впечатления в Америке есть замечательные курьезы. Так, например, американский полисмен одет под русского городового, только с другими кантами.

Этот курьез объясняется, вероятно, тем, что мануфактурная промышленность сосредоточилась главным образом в руках эмигрантов из России. Наши сородичи, видно, из тоски по родине, нарядили полисмена в знакомый им вид формы.

Для русского уха и глаза вообще Америка, а главным образом Нью-Йорк, — немного с кровью Одессы и западных областей. Нью-Йорк на 30 процентов еврейский город. Евреев главным образом загнала туда нужда скитальчества из-за погромов. В Нью-Йорке они осели довольно прочно и имеют свою жаргонную культуру, которая ширится все больше и больше. У них есть свои поэты, свои прозаики и свои театры. От лица их литературы мы имеем несколько имен мировой величины. В поэзии сейчас на мировой рынок выдвигается с весьма крупным талантом Мани-Лейб.

Мани-Лейб — уроженец Черниговской губ. Россию он оставил лет 20 назад. Сейчас ему 38. Он тяжко пробивал себе дорогу в жизни сапожным ремеслом и лишь в последние годы получил возможность существовать на оплату за свое искусство.

Переводами на жаргон он ознакомил американских евреев с русской поэзией от Пушкина до наших дней и тщательно выдвигает молодых жаргонистов с довольно красивыми талантами от периода Гофштейна до Маркиша. Здесь есть стержни и есть культура.

В специфически американской среде — отсутствие всякого присутствия.

Свет иногда бывает страшен. Море огня с Бродвея освещает в Нью-Йорке толпы продажных и беспринципных журналистов. У нас таких и на порог не пускают, несмотря на то что мы живем чуть ли не при керосиновых лампах, а зачастую и совсем без огня.

Сила железобетона, громада зданий стеснили мозг американца и сузили его зрение. Нравы американцев напоминают незабвенной гоголевской памяти нравы Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича.

Как у последних не было города лучше Полтавы, так и у первых нет лучше и культурней страны, чем Америка.

— Слушайте, — говорил мне один американец, — я знаю Европу. Не спорьте со мною. Я изъездил Италию и Грецию. Я видел Парфенон. Но все это для меня не ново. Знаете ли вы, что в штате Теннесси у нас есть Парфенон гораздо новей и лучше?

От таких слов и смеяться и плакать хочется. Эти слова замечательно характеризуют Америку во всем, что составляет ее культуру внутреннюю. Европа курит и бросает, Америка подбирает окурки, но из этих окурков растет что-то грандиозное.

<1923>

ПРИЛОЖЕНИЕ

СТАТЬИ

ЯРОСЛАВНЫ ПЛАЧУТ

«Внимая ужасам войны», в унисон зазвенели струны больших и малых поэтов. На страницах газет и журналов пестреют имена Бальмонта, Брюсова, Сологуба, Городецкого, Липецкого и др. Все они трогают одинаковую струну «грянувшего выстрела». Даже «сладко лиричный» Цензор заплясал под солдатскую песню.

Я не стану останавливаться на разборе этих поэтов, перейду прямо к определению того, что дали нам женщины-поэтессы.

Этих избранниц у нас очень немного. И они большею частью закатывались «золотой звездой» на расцвете своего таланта, как Мирра Лохвицкая. Мы еще не успели забыть и «невесту в атласном белом платье» Надежду Львову, но, не уклоняясь от своей цели, я буду продолжать мотать тот клубок мыслей, который я начал.

Плачут серые дали об угасшей весне, плачут женщины, провожая мужей и возлюбленных на войну, заплакала и Зинаида Х. Плачет, потому что:

...Сердце смириться не хочет,
Не хочет признать неизбежность холодной разлуки.
И плачет, безумное, полное гнева и муки...

Но это еще ничего. Хорошо плакать, когда нечего бояться за свои слезы, но вот плачет молодая замужняя женщина, у которой за спиной свекровь, а спереди: «Новую сплетню готовя, две ядовитые дамы».

Она плачет без слез, плачет сердцем, а сердце плачет кровью. Разве не больно на слова милого «Завтра наш полк выступает» «молча к стене прислониться».

Нет, очень больно.

Это ведь та самая плачет, которую «выдавала матушка далече замуж».

Зинаида Х. не выступила с кличем: «На войну!» Она поет об оставшихся, плачет об ушедшем на войну и в этих слезах прекрасна, как «Ярославна».

Пусть «так надо... так надо»... Но она за свою малую просьбу у судьбы с этим смириться не хочет.

Плачет Щепкина-Куперник... ее слезы тоже слезы оставшейся возлюбленной!

Выводя свою ровную строчку,
Просижу я всю ночь напролет.
Всю-то долгую зимнюю ночку
Сон усталых очей не сомкнет.
Сердце мое надрывается.
Кровью оно обливается...
Что я могу еще дать?
Только плакать, молиться и ждать.

Это плачет швея за работой, и ее берет раздумье:

Вот уж скоро работа готова,
Уж немного осталося мне...
Ах, кому ты придешься, обнова,
На далекой, на страшной войне?
Кто тебя, как под праздник, наденет,
Собираясь бестрепетно в бой,
Или после окопов заменит
Всю измокшую ветошь тобой?

Жутко становится от представления, как эту белоснежную холщовую рубаху смочит алая кровь.

Но тихой нежной лермонтовской колыбельной песней веет от слов:

Кто бы ни был мой воин безвестный,
Но с надеждой в работу мою
Я с молитвой Царице Небесной
Образок освященный зашью.

Но дальше снова слышна печаль, может быть, этот белый холст прикроет ее милого грудь. Но эту сентиментальность она побивает твердым решением:

Не его — не его, так другого...
Для него пусть другая сошьет.

Он не останется неприкрытым, потому что она знает:

Сколько женщин от края до края
Наклоняются нынче к шитью,
И дрожит в них душа, замирая,
О любимых далеких в бою...

Но Щепкина-Куперник плачет вообще. Но ее слезы больше слезы матери. Она по большей части томится «в безутешном ожидании» и молится перед иконой. Ее вздохи — вздохи матери Андрия и Остапа, и она, грустная, с заплаканными глазами, молится о их спасении.

Тихо взгрустнула «у воинского поезда» Белогорская, отдала дань серым шинелям, как женщина, поклонилась до земли и прошептала: «Вы уезжаете»...

А сердце мое, как раненая птица.
Как раненая птица в крови.

Я подслушал, как плачут Ярославны. Но я и услышал, как загремели с призывом Жанны д'Арк. Лишь только разнеслись наши победы казаков, как по струнам своей лиры ударила Любовь Столица.

Так ширяй, казак, и гикай
И неси с победной пикой
В глубь чужих туманных стран
Дух наш орлий, взгляд соколий,
Золотую птицу воли
Из земли младых славян!

Громко крикнула Мария Трубецкая:

Поэты, вам ли теперь молчать?

Могучий голос зазвенел, как набат:

Великой брани мечта, воскресни!

Эта Жанна д'Арк предлагает встать всем поэтам в общем кличе и служить той святыне, за которую

Полки стремятся врага встречать.

Красиво сказала Хмельницкая:

Вы над орлами, разбившими грудь,
В жаркой борьбе не рыдайте.
Здесь, правда, слезы ни к чему, ибо
Гордые птицы не знают преград,
Бурь никаких не страшатся.

Она гордо и сильно говорит в путь ушедшим:

Смело ж, родные, идите вперед —
Головы выше держите!
Ночь умирает, уж близок восток,
Скоро врага вы сразите.

* * *

Я отметил только те стихотворения, которые ясно определили отношения к войне тех и других поэтесс. Я разделил их на два лагеря. В каждом лагере свои законченные взгляды на ушедших. Говорить о высоком достоинстве преимущества тех или иных не приходится.

Нам одинаково нужны Жанны д'Арк и Ярославны. Как те прекрасны со своим знаменем, так и эти со своими слезами.

<1914—1915>

ОТЧЕЕ СЛОВО

(По поводу романа Андрея Белого «Котик Летаев»)

Мы очень многим обязаны Андрею Белому, его удивительной протянутости слова от тверди к вселенной. Оно как бы вылеплено у него из пространства, с Божьим «туком» и вонями плащаницы.

В «Котике Летаеве» — гениальнейшем произведении нашего времени — он зачерпнул словом то самое, о чем мы мыслили только тенями мыслей, наяву выдернул хвост у приснившегося ему во сне голубя и ясно вырисовал скрытые в нас возможности отделяться душой от тела, как от чешуи.

Речь наша есть тот песок, в котором затерялась маленькая жемчужина — «отворись». Мы бьемся в ней, как рыбы в воде, стараясь укусить упавший на поверхность льда месяц, но просасываем этот лед и видим, что на нем ничего нет, а то желтое, что казалось так близко, взметнулось еще выше. И вот многое такое, что манит нас так, схвачено зубами Белого за самую пуповину... Истинный художник не отобразитель и не проповедник каких-либо определенных в нас чувств, он есть тот ловец, о котором так хорошо сказал Клюев:

В затонах тишины созвучьям ставит сеть.

Слово изначала было тем ковшом, которым из ничего черпают живую воду. Возглас «Да будет!» повесил на этой воде небо и землю, и мы, созданные по подобию, рожденные, чтобы найти ту дверь, откуда звенит труба, предопределены, чтобы выловить ее «отворись». «Прекрасное только то — чего нет», — говорит Руссо, но это еще не значит, что оно не существует. Там, за гранию, где стоит сторож, крепко поддерживающий завесу, оно есть и манит нас, как далекая звезда. Меланхолическая грусть по отчизне, неясная память о прошлом говорят нам о том, что мы здесь только в пути, что где-то есть наш кровный кров, где

У златой околицы
Доит Богородица
Белых коз...

Но к крыльцу этого крова мы с земли, живя и волнуясь зрением и памятью в вещах, приближаемся только через Андрее-Беловское «выкусыванье за спиной».

Футуризм, пропищавший жалобно о «заумном языке», раздавлен под самый корень достижениями в «Котике Летаеве», и извивы форм его еще ясней показали, что идущие ему вслед запрягли лошадь не с головы, а с хвоста...

«Выбирайте в молитвах своих такие слова, над которыми горит язык Божий, — говорил Макарий Желтоводский своим ученикам, — в них есть спасение грешников и рай праведных...» И такие слова почти сплошь пронизали творение Андрея Белого.

Суть не в фокусе преображения предметов, не в жесте слов, а в том самом уловлении, в котором — если видишь ночью во сне кисель, то утром встаешь с мокрыми сладкими губами от его сока...

Но есть и горбатые слова, у которых перебит позвоночник. Они тоже имеют потуги, пыжатся снести такое же яйцо, какое несет «Кува — красный ворон», но достижения их ограничиваются только скорлупой.

Они таят в себе что-то вроде подглядывания из-под угла, могут залезть в карман небу, обкусать края облаков, «через мудрены вырезы» пройдут мурашами, в озере ходят щукой, в чистом поле оленем скачут, за тучами орлом летят, но все это только фокус того самого плоского преображения, в котором, как бы душа ни тянулась из чешуи, она все равно прицеплена к ней, как крючком, оттого что горбата.

В мире важен беззначный язык, потому что у прозревших слово есть постижение огня над ним. Но для этого нужен тот самый дар, при котором Гете, не обладая швабским наречием, понимал Гебеля без словаря...

Слово, прорывающее подпокрышку нашего разума, беззначно. Оно не вписывается в строку, не опускается под тире, оно невидимо присутствует. Уму, не сгибающему себя в дугу, надо учиться понимать это присутствие, ибо ворота в его рай узки, как игольное ухо, только совершенные могут легко пройти в них. Но тот, кому нужен подвиг, сдерет с себя четыре кожи и только тогда попадет под тень «словесного дерева». «Туга по небесной стране посылает мя в страны чужие», — отвечал спрашивающим себя Козьма Индикоплов на спрос, зачем он покидает Руссию. И вот слишком много надо этой «туги», чтоб приобщиться, — «Слетит мне звездочка на постельку, усиком поморгает...» — не как к образу, а именно как к неводу того, что «природа тебя обстающая — ты», и среди ее ущелий тебе виден младенец. Потому и сказал Клюев:

Приложитесь ко мне, братья,
К язвам рук моих и ног,
Боль духовного зачатья
Рождеством я перемог...

«Слова поэта уже суть дела его», — писал когда-то Пушкин. Да, дела, но не те, о которых думал Жуковский, а те, от которых есть «упоение в бою, и бездны мрачной на краю». Свободный в выборе предмета не свободен выйти из него. Разрывая пальцами мозга завесу грани, он невольно проскажет то, что увидят его глаза, и даже желал бы скрыть, но не может.

В этом вся цель завоеваний наших духовных ценностей. И только смелые, только сильные, которые не боятся никакого дерзания, найдут то «отворись», на пороге которого могут сказать себе: «О слово, отчее слово, мы ходили с тобой на крыле ветрянем и устне наши не возбраним во еже звати тебе...»

<*1918*>

О «ЗАРЕВЕ» ОРЕШИНА

Петр Орешин. «Зарево». Книга стихов.
Издательство «Революционный социализм»

Кто любит родину?
Ветер-бродяга ответил Господу:
— Кто плачет осенью
Над нивой скошенной и снова радостно
Под вешним солнцем
В поле босой и без шапки
Идет за сохой —
Он, Господи, больше всех любит родину.

Вот такими простыми и теплыми словами, похожая на сельское озеро, где отражается и месяц, и церковь, и хаты, наполнена книга Петра Орешина. В наши дни, когда «Бог смешал все языки», когда все вчерашние патриоты готовы отречься и проклясть все то, что искони составляло «родину», книга эта как-то особенно становится радостной.

Даже и боль ее, щемящая, как долгая, заунывная русская песня, приятна сердцу, и думы ее в четких и образных строчках рождают милую памяти молитву, ту самую молитву, которую впервые шептали наши уста, едва научившись лепетать: «Отче наш, иже еси...»

Петр Орешин уже знаком читающей публике. Имя его пестрело по многим петроградским газетам и журналам, но те, которые знают его отрывочно, конечно, имеют о нем весьма неполное представление. У каждого поэта есть свой общий тон красок, свой ларец слов и образов. Пусть во многих местах глаз опытного читателя отмечает промахи и недочеты, пусть некоторые образы сидят на строчках, как тараканы, объедающие корку хлеба, в стихе, — все-таки это свежести и пахучести книги нисколько не умаляет, а тому, кто видит, что «зори над хатами вяжут широченные сети», кто слышит, что «красный петух в облаках прокричал», — могут показаться образы эти даже стилем мастера всех этих коротких и длинных песенок, деревенских идиллий.

Перед Орешиным еще широкое будущее. Гадать о том, разовьется он или завянет, сейчас довольно трудно, но услышавшие от него через «Зарево» о том, что

Месяц ушел в облака
За туманный плетень,
Синие чешет бока
За лачугами день —

будут помнить об этом, как о черемуховом запахе, долго.

<1918>

КЛЮЧИ МАРИИ[1]

Посвящаю с любовью
Анатолию Мариенгофу

1

Орнамент — это музыка. Ряды его линий в чудеснейших и весьма тонких распределениях похожи на мелодию какой-то одной вечной песни перед мирозданием. Его образы и фигуры — какое-то одно непрерывное богослужение живущих во всякий час и на всяком месте. Но никто так прекрасно не слился с ним, вкладывая в него всю жизнь, все сердце и весь разум, как наша древняя Русь, где почти каждая вещь через каждый свой звук говорит нам знаками о том, что здесь мы только в пути, что здесь мы только «избяной обоз», что где-то вдали, подо льдом наших мускульных ощущений, поет нам райская сирена и что за шквалом наших земных событий недалек уже берег.

Прежде чем подойти к открывшимся нам тайнам орнамента в слове, мы коснемся его линий под углами разбросанной жизни обихода. За орнамент брались давно. Значение и пути его объясняли в трудах своих Стасов и Буслаев, много других, но никто к нему не подошел так, как надо, никто не постиг того, что

...на кровле конек
Есть знак молчаливый, что путь наш далек.
Н. Клюев.

Все ученые, как гробокопатели, старались отыскать прежде всего влияние на нем, старались доказать, что в узорах его больше колдуют ассирийские заклинатели, чем Персия и Византия.

Конечно, никто не будет отрицать того, что наши древние рукописи XIII и XIV веков носят на себе явные признаки сербско-болгарского отражения. Византийские и болгарские проповедники христианских идей наложили на них довольно выпуклый отпечаток. Никто не скажет, что новгородская и ярославская иконопись нашли себя в своих композициях самостоятельно. Все величайшие наши мастера зависели всецело от крещеного Востока.

Но крещеный Восток абсолютно не бросил в нас в данном случае никакого зерна. Он не оплодотворил нас, а только открыл лишь те двери, которые были заперты на замок тайного слова.

---

[1] Мария на языке хлыстов шелапутского толка означает душу.

Самою первою и главною отраслью нашего искусства с тех пор, как мы начинаем себя помнить, был и есть орнамент. Но, просматривая и строго вглядываясь во все исследования специалистов из этой области, мы не встречаем почти ни единого указания на то, что он существовал раньше, гораздо раньше приплытия к нашему берегу миссионеров из Греции.

Все, что рассматривается извне, никогда не рождается в ясли с лучами звезд в глазах и мистическим ореолом над головой. Звезды и круг — знаки той грамоты, которая ведет читающего ее в сад новой жизни и нового просветленного чувствования. Наши исследователи не заглянули в сердце нашего народного творчества. Они не поняли поющего старца:

«Как же мне, старцу
Старому, не плакать,
Как же мне, старому, не рыдать:
Потерял я книгу золотую
Во темном бору,
Уронил я ключ от церкви
В сине море».
Отвечает старцу Господь Бог:
«Ты не плачь, старец, не воздыхай,
Книгу новую я вытку звездами,
Золотой ключ волной выплесну».

Из чувства национальной гордости Равинский подчеркивал *нечто* в нашем орнаменте, но это *нечто* было лишь бледными словами о том, что у наших переписчиков выписка и вырисовка образов стояли на первом месте, между тем как в других странах это стояло на втором плане.

Все говорили только о письменных миниатюрах, а ключ истинного, настоящего архитектурного орнамента так и остался невыплеснутым, и церковь его стоит запечатана до сего времени.

Но весь абрис хозяйственно-бытовой жизни свидетельствует нам о том, что он был, остался и живет тем самым прекрасным полотенцем, изображающим через шелк и канву то символическое древо, которое означает «семью». Совсем не важно, что в Иудее это древо носило имя Маврикийского дуба и потому вместе с христианством перешло, как название, бесплатным приложением к нам. Скандинавская Иггдразиль — поклонение ясеню, то древо, под которым сидел Гаутама, и этот Маврикийский дуб были символами «семьи» как в узком, так и широком смысле у всех народов. Это древо родилось в эпоху пастушеского быта. В древности никто не располагал временем так свободно, как пастухи. Они были первые мыслители и поэты, о чем свидетельствуют показания Библии и апокрифы других направлений. Вся языческая вера в переселение душ, музыка, песня и тонкая, как

кружево, философия жизни на земле есть плод прозрачных пастушеских дум. Само слово *пас-тух* (=пас-дух, ибо в русском языке часто *д* переходит в *т*, так же как *е* в *о*, есень — осень, и *а* в *я*, аблонь — яблонь) говорит о каком-то мистически помазанном значении над ним. «Я не царь и не царский сын, — я пастух, а говорить меня научили звезды», — пишет пророк Амос. Вот эти-то звезды — золотая книга странника — и вырастили наше вселенское символическое древо. Наши бахари орнамента без всяких скрещиваний с санскритством поняли его, развязав себя через пуп, как Гаутама. Они увидели через листья своих ногтей, через пальцы ветвей, через сучья рук и через ствол — туловища с ногами, — обозначающими коренья, что мы есть чада древа, семья того вселенского дуба, под которым Авраам встречает Святую Троицу. На происхождение человека от древа указывает и наша былина «о хоробром Егории»:

У них волосы — трава,
Телеса — кора древесная.

Мысль об этом происхождении от древа породила вместе с музыкой и мифический эпос.

Происхождение музыки от древа в наших мистериях есть самый прекраснейший ключ в наших руках от дверей закрытого храма мудрости. Без всякого Иовулла и Вейнемейнена наш народ через простой лик безымянного пастуха открыл две скрытых силы воздуха вместе. Этот пастух только и сделал, что срезал на могиле тростинку, и уж не он, а она сама поведала миру через него свою волшебную тайну: «Играй, играй, пастушок. Вылей звуками мою злую грусть. Не простую дудочку ты в руках держишь. Я когда-то была девицей. Погубили девицу сёстры. За серебряное блюдечко, за наливчатое яблочко». Здесь в одном образе тростинки слито три прозрения.

Узлом слияния потустороннего мира с миром видимым является скрытая вера в переселение души.

Ничто не дается без жертвы. Ни одной тайны не узнаешь без послания в смерть. Конечно, никакие сестры не убивали своей сестры; это убил ее в своем сердце наш творчески-жестокий народ, чтоб легче слить себя с тайной звуков и слова и овладеть ею как образом.

Всё от древа — вот религия мысли нашего народа, но празднество этой каны и было и будет понятно весьма немногим. Исследователи древнерусской письменности и строительного орнамента забыли главным образом то, что народ наш живет больше устами, чем рукою и глазом, устами он сопровождает почти весь фигуральный мир в его явлениях, и если берется выражать себя через средство, то образ этого средства всегда конкретен. То, что музыка и эпос родились у нас вместе через знак древа, — заставляет нас думать об этом не как о случайном факте мифического утверждения, а как о строгом выме-

рянном представлении наших далеких предков. Свидетельство этому наш не поясненный и не разгаданный никем бытовой орнамент.

Все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на князьке крыльца, цветы на постельном и тельном белье вместе с полотенцами носят не простой характер узорочья, это великая значная эпопея исходу мира и назначению человека. Конь как в греческой, египетской, римской, так и в русской мифологии есть знак устремления, но только один русский мужик догадался посадить его к себе на крышу, уподобляя свою хату под ним колеснице. Ни Запад и ни Восток, взятый вместе с Египтом, выдумать этого не могли, хоть бы тысячу раз повторили себя своей культурой обратно. Это чистая черта скифии с мистерией вечного кочевья. «Я еду к тебе, в твои лона и пастбища», — говорит наш мужик, запрокидывая голову конька в небо. Такое отношение к вечности как к родительскому очагу проглядывает и в символе нашего петуха на ставнях. Известно, что петух встает вместе с солнцем, он вечный вестник его восхода, и крестьянин не напрасно посадил его на ставню, здесь скрыт глубокий смысл его отношения и восприятия солнца. Он говорит всем проходящим мимо избы его через этот символ, что «здесь живет человек, исполняющий долг жизни по солнцу. Как солнце рано встает и лучами-щупальцами влагает в поры земли тепло, так и я, пахарь, встаю вместе с ним опускать в эти отепленные поры зерна труда моего. В этом благословение моей жизни, от этих зерен сыт я и этот на ставне петух, который стоит стражем у окна моего и каждое утро, плеском крыл и пением встречая выкатившееся из-за горы лицо солнца, будит своего хозяина». Голубь на князьке крыльца есть знак осенения кротостью. Это слово пахаря входящему: «Кротость веет над домом моим, кто б ты ни был, войди, я рад тебе». Вырезав этого голубя над крыльцом, пахарь значением его предупредил и сердце входящего. Изображается голубь с распростертыми крыльями. Размахивая крыльями, он как бы хочет влететь в душу того, кто опустил свою стопу на ступень храма-избы, совершающего литургию миру и человеку, и как бы хочет сказать: «Преисполнясь мною, ты постигнешь тайну дома сего». И действительно, только преисполнясь, можно постичь мудрость этих избяных заповедей, скрытых в искусах орнамента. Если б хоть кто-нибудь у нас понял в России это таинство, которое совершает наш бессловесный мужик, тот с глубокой болью почувствовал бы мерзкую клевету на эту мужичью правду всех наших кустарей и их приспешников. Он бы выгнал их, как торгующих из храма, как хулителей на Святого Духа...

Нет, не в одних только письменных свитках мы скрываем культуру наших прозрений через орнаментику букв и пояснительные миниатюры. Мы заставили жить и молиться вокруг себя почти все предметы. Вглядитесь в цветочное узорочье наших крестьянских простынь и наволочек. Здесь с какой-то торжественностью музыки переплетаются кресты, цветы и ветви. Древо на полотенце — значение нам уже

известное, оно ни на чем не вышивается, кроме полотенца, и опять-таки мы должны указать, что в этом скрыт весьма и весьма глубокий смысл.

Древо — жизнь. Каждое утро, восстав от сна, мы омываем лицо свое водою. Вода есть символ очищения и крещение во имя нового дня. Вытирая лицо свое о холст с изображением древа, наш народ немо говорит о том, что он не забыл тайну древних отцов вытираться листвою, что он помнит себя семенем надмирного древа и, прибегая под покров ветвей его, окунаясь лицом в полотенце, он как бы хочет отпечатать на щеках своих хоть малую ветвь его, чтоб, подобно древу, он мог осыпать с себя шишки слов и дум и струить от ветвей-рук тень-добродетель.

· Цветы на постельном белье относятся к кругу восприятия красоты. Означают они царство сада или отдых отдавшего день труду на плодах своих. Они являются как бы апофеозом как трудового дня, так и вообще жизненного смысла крестьянина.

Таким образом разобрав весь, казалось бы, внешне непривлекательный обиход, мы наталкиваемся на весьма сложную и весьма глубокую орнаментичную эпопею с чудесным переплетением духа и знаков. И «отселе», выражаясь пушкинским языком, нам видно «потоков рожденье».

2

За культурой обиходного орнамента на неприхоженных снегах русского поля начинают показываться следы искусства словесного. Уже в X и XI веках мы встречаем целый ряд мифических и апокрифических произведений, где лепка слов и образов поражает нас не только смелостью своих выискиваемых положений, но и тонким изяществом своего построения. Конечно, и это не обошлось без вмешательства некоторой цивилизации западных славян, разъезжавших тогда на осле христианства, но ярчащая, сверкающая переливами всех цветов русская жизнь смыла его при первом же погружении в купель словесного творчества.

Первое, что внесли нам западные славяне, это есть письменность. Они передали нам знаки для выражения звука. Но заслуга их в этом небольшая. Через некоторое время мы нашли бы их сами, ибо у нас уже были найдены самые главные ключи к человеческому разуму, это — знаки выражения духа, те самые знаки, из которых простолюдин составил свою избяную литургию.

Изба простолюдина — это символ понятий и отношений к миру, выработанных еще до него его отцами и предками, которые неосязаемый и далекий мир подчинили себе уподоблениями вещам их кротких очагов. Вот потому-то в наших песнях и сказках мир слова

так похож на какой-то вечно светящийся Фавор, где всякое движение живет, преображаясь.

Красный угол, например, в избе есть уподобление заре, *потолок* — небесному своду, а *матица* — Млечному Пути. Философический план помогает нам через такой порядок разобрать машину речи почти до мельчайших винтиков.

В нашем языке есть много слов, которые как «семь коров тощих пожрали семь коров тучных», они запирают в себе целый ряд других слов, выражая собой иногда весьма длинное и сложное определение мысли. Например, слово *умение (умеет)* заперло в себе *ум, имеет* и несколько слов, опущенных в воздух, выражающих свое отношение к понятию в очаге этого слова. Этим особенно блещут в нашей грамматике *глагольные* положения, которым посвящено целое правило *спряжения*, вытекшее из понятия «запрягать», то есть надевать сбрую слов какой-нибудь мысли на одно слово, которое может служить так же, как лошадь в упряжи, духу, отправляющемуся в путешествие по стране представления. На этом же пожирании тощими словами тучных и на понятии «запрягать» построена почти и вся наша образность. Слагая два противоположных явления через сходственность в движении, она родила метафору:

Луна=заяц,
Звезды=заячьи следы.

Происхождение этого главным образом зависит от того, что наших предков сильно беспокоила тайна мироздания. Они перепробовали почти все двери, ведущие к ней, и оставили нам много прекраснейших ключей и отмычек, которые мы бережно храним в музеях нашей словесной памяти. Разбираясь в узорах нашей мифологичной эпики, мы находим целый ряд указаний на то, что человек есть ни больше, ни меньше, как чаша космических обособленностей. В «Голубиной книге» так и сказано:

У нас помыслы от облак Божиих...
Дух от ветра...
Глаза от солнца...
Кровь от черного моря...
Кости от камней...
Тело от сырой земли...

Живя, двигаясь и волнуясь, человек древней эпохи не мог не задать себе вопроса, откуда он, что есть солнце и вообще что есть обстающая его жизнь? Ища ответа во всем, он как бы искал своего внутреннего примирения с собой и миром. И, разматывая клубок движений на земле, находя имя всякому предмету и положению, научившись

защищать себя от всякого наступательного явления, он решился теми же средствами примирить себя с непокорностью стихий и безответностью пространства. Примирение это состояло в том, что кругом он сделал, так сказать, доступную своему пониманию расстановку. Солнце, например, уподобилось колесу, тельцу и множеству других положений, облака взрычали, как волки, и т. д. При такой расстановке он ясно и отчетливо определял всякое положение в движении наверху.

В наших северных губерниях про ненастье до сих пор говорят:

Волцы задрали солнечко.

Сие заставление воздушного мира земною предметностью существовало еще несколько тысяч лет до нас и в Египте. Эдда построила мир из отдельных частей тела убитого Имира. Индия в Ведах через браман утверждает то же самое, что и Даниил Заточни́к: «Тело составляется жилами, яко древо корением. По ним же тече секерою сок и кровь, иже память воды». Как младшее племя в развитии духовных ценностей, мы можем показаться неопытному глазу талантливыми отобразителями этих пройденных до нас дорог. Но это будет просто слепотой неопытного глаза.

Прежде всего, всякая мифология, будь то мифология египтян, вавилонян, иудеев и индийцев, носит в чреве своем образование известного представления. Представление о воздушном мире не может обойтись без средств земной обстановки, земля одинакова кругом, то, что видит перс, то видит и чукот, поэтому грамота одинакова, и читать ее и писать по ней, избегая тожественности, невозможно почти совсем.

Самостоятельность линий может быть лишь только в устремлении духа, и чем каждое племя резче отделялось друг от друга бытовым положением, тем резче вырисовывались их особенности. Это ясно подчеркнул наш бытовой орнамент и романский стиль железных орлов, крылья которых победно были распростерты на запад и подчеркивали устремление немцев к мечте о победе над всей бегущей перед ними Европой. Устремление не одинаково. В зависимости от этого, конечно, не одинаковы и средства. Вавилонянам через то, что на пастбищах туч Оаннес пас быка-солнце, нужна была башня. Русскому же уму через то, что Перун и Даждьбог пели стрелами Стрибога о вселенском дубе, нужен был всего лишь с запрокинутой головой в небо конек на кровле. Но то, что средства земли принадлежат всем, так же ясно, как всем равно греет солнце, дует ветер и ворожит луна.

Вязь поэтических украшений подвластна всем. Если Гермес Трисмегист говорил о том, что «что́ вверху, то внизу, что внизу, то вверху. Звезды на небе и звезды на земле», если Гомер мог сказать о слове, что оно, «как птица, вылетает из-за городьбы зубов», то и наш Боян

не мог не дать образа перстам и струнам, уподобляя первых десяти соколам, а вторых стае лебедей, не мог он и себя не опрокинуть так же, как Трисмегист, в небо, где мысль, как древо, а сам он, «Бояне вещий Велесов внуче», соловьем скачет по ветвям этого древа мысли, ибо то и другое рождается в одних яслях явления музыки и творческой картины по законам самой природы.

Древние певцы, трубадуры, менестрели, сказители и бояны в звуках своих часто старались передавать по тем же законам заставочной образности пение птиц, и недаром народ наш заморского музыканта назвал в песнях своих Соловьем Будимировичем. Вглядитесь в слова Гомера, ведь он до ясности подчеркивает в себе приобретенное мастерство от пернатых царевичей звуков. Если слово — птица, значит, звук его есть клекот и пение этой птицы. Если зубы — городьба, то жилы, уж наверное, есть уподобление ветвям опущенного подсознательно древа, на которых эта птица вьет себе гнездо. Здесь все оправдано, здесь нет ни единой лишней черты, о которую воспринимающая такое построение мысль спотыкалась бы, как об осеннюю кочку. Здесь мы видим, что образ рождается через слагаемость. Слагаемость рождает нам лицо звука, лицо движения пространства и лицо движения земного. Через строго высчитанную сумму образов, «соловьем скакаше по древу мысленну», наш Боян рассказывает, так же как и Гомер, целую эпопею о своем отношении к творческому слову. Мы видим, что у него внутри есть целая наука как в отношении к себе, так и в отношении к миру. Сам он может взлететь соколом под облаки, в море сплеснуть щукою, в поле проскакать оленем, но мир для него есть вечное неколеблемое древо, на ветвях которого растут плоды дум и образов.

Обоготворение сил природы, выписанное лицо ветра именем Стрибога или Борея в мифологиях земного шара есть не что иное, как творческая ориентация наших предков в царстве космических тайн. Это тот же образ, который родит алфавит непрочитанной грамоты. Мысль ставит чему-нибудь непонятному ей рыбачью сеть, уловляет его и облекает в краску имени. Начальная буква в алфавите ***а*** есть не что иное, как образ человека, ощупывающего на коленях землю. Опершись на руки и устремив на землю глаза, он как бы читает знаки существа ее.



Буква ***б*** представляет из себя ощупывание этим человеком воздуха. Движение его уже идет от ***а*** обратно. (Ибо воздух и земля по отношению друг к другу опрокинутость.) Знак сидения на коленях означает то, что между землей и небом он почувствовал мир пространства. Поднятые руки рисуют как бы небесный свод, а согнутые колени, на которые он присел, — землю.



Прочитав сущность земли и почувствовав над нею прикрытое синим сводом пространство, человек протянул руки и к своей сущности. *Пуп* есть узел человеческого существа, и поэтому, определяя себя или ощупывая, человек как-то невольно опустил свои руки на эту завязь, и получилась буква ***в***.



Дальнейшее следование букв идет с светом мысли от осознания в мире сущности. Почувствовав себя, человек подымается с колен и, выпрямившись, протягивает руки снова в воздух. Здесь его движения через символы знаков, тех знаков, которыми он ищет своего примирения с воздухом и землею, рождают весь дальнейший порядок алфавита, который так мудро оканчивается фигурою буквы ***Я***. Эта буква рисует человека, опустившего руки на пуп (знак самопознания), шагающим по земле. Линии, идущие от средины туловища буквы, есть не что иное, как занесенная для шага правая нога и подпирающая корпус левая.



Через этот мудро занесенный шаг, шаг, который оканчивает обретение знаков нашей грамоты, мы видим, что человек еще окончательно себя не нашел. Он мудро благословил себя, с скарбом открытых ему сущностей, на вечную дорогу, которая означает движение, движение и только движение вперед.

Если таким образом мы могли бы разобрать всю творческо-мыслительную значность, то мы увидели бы почти все сплошь составные части в строительстве избы нашего мышления. Мы увидели бы, как лежит бревно на бревне образа, увидели бы, как сочетаются звуки, постигли бы тайну гласных и согласных, в спайке которых скрыта печаль земли по браке с небом. Нам открылась бы тайна, самая многозначная и тончайшая тайна той хижины, в которой крестьянин так нежно и любовно вычерчивает примитивными линиями явления пространства. Мы полюбили бы мир этой хижины со всеми петухами на ставнях, коньками на крышах и голубками на князьках крыльца не простой любовью глаза и чувственным восприятием красивого, а полюбили бы и познали бы самою правдивою тропинкой мудрости, на которой каждый шаг словесного образа делается так же, как узловая завязь самой природы.

Искусство нашего времени не знает этой завязи, ибо то, что она жила в Данте, Гебеле, Шекспире и других художниках слова, для представителей его от сегодняшнего дня прошло мертвой тенью. Звериные крикуны, абсолютно безграмотная критика и третичный период идиотического состояния городской массы подменили эту завязь безмозглым лязгом железа Америки и рисовой пудрой на выпитых щеках столичных проституток. Единственным расточительным и неряшливым, но все же хранителем этой тайны была полуразбитая отхожим промыслом и заводами деревня. Мы не будем скрывать, что этот мир крестьянской жизни, который мы посещаем разумом сердца через образы, наши глаза застали, увы, вместе с расцветом на одре смерти. Он умирал, умирал, как живое существо, умирал, как выплеснутая волной на берег земли рыба. В судорожном биении он ловил своими жабрами хоть струйку родного ему воздуха, но вместо воздуха в эти жабры впивался песок и, словно гвозди, разрывал ему кровеносные сосуды.

Мы стояли у смертного изголовья этой мистической песни человека, которая единственно, единственно от жажды впивала в себя всякую воду из нечистых луж сектантства, вроде охтенских богородиц или белых голубей. Этот вихрь, который сейчас бреет бороду старому миру, миру эксплуатации массовых сил, явился нам как ангел спасения к умирающему. Он протянул ему, как прокаженному, руку и сказал: «Возьми одр твой и ходи».

Мы верим, что чудесное исцеление родит теперь в деревне еще более просветленное чувствование новой жизни. Мы верим, что пахарь пробьет теперь окно не только *глазком* к Богу, а целым огромным, как шар земной, глазом. Звездная книга для творческих записей теперь открыта снова. Ключ, оброненный старцем в море, от церкви духа, выплеснут золотыми волнами. Народ не забудет тех, кто взбурлил эти волны, он сумеет отблагодарить их своими песнями, и мы, видевшие жизнь его творчества, умирание и воскресение, услышим снова тот ответный перезвон узловой завязи природы с сущностью человека в ряду таких же строк и, может быть, еще сильнее и красивее, как:

Завила кудри,
Завила русы
Родна сестрица,
На светёл месяц
Она глядючи,
Со воды у́зор
Сонимаючи.

Будущее искусство расцветет в своих возможностях достижений как некий вселенский вертоград, где люди блаженно и мудро будут хороводно отдыхать под тенистыми ветвями одного преогромнейше-

го древа, имя которому социализм, или рай, ибо рай в мужицком творчестве так и представлялся, где нет податей за пашни, где «избы новые, кипарисовым тесом крытые», где дряхлое время, бродя по лугам, сзывает к мировому столу все племена и народы и обносит их, подавая каждому золотой ковш, сычёною брагой.

Но дорога к этому свету искусства, помимо смываемых препятствий в мире внешней жизни, имеет еще целые рощи колючих кустов шиповника и крушины в восприятии мысли и образа. Люди должны научиться читать забытые ими знаки. Должны почувствовать, что очаг их есть та самая колесница, которая увозит пророка Илью в облака. Они должны постичь, что предки их не простыми завитками дали нам фиту и ижицу. Они дали их нам как знаки открывающейся книги в книге нашей души. Человек по последнему знаку отправился искать себя. Он захотел найти свое место в пространстве и обозначил это пространство фигурою буквы Ѳ. За этим знаком пространства, за горою его северного полюса, идет рисунок буквы Ѵ, которая есть не что иное, как человек, шагающий по небесному своду. Он идет навстречу идущему от фигуры буквы ***я*** (закон движения — круг).



Волнообразная линия в букве Ѳ означает место, где оба идущих должны встретиться. Человек, идущий по небесному своду, попадет головой в голову человеку, идущему по земле. Это есть знак того, что опрокинутость земли сольется в браке с опрокинутостью неба. Пространство будет побеждено, и в свой творческий рисунок мира люди, как в инженерный план, вдунут осязаемые грани строительства. Воздушные рифы глазам воздушных корабельщиков будут видимы так же, как рифы водные. Всюду будут расставлены вехи для безопасного плавания, и человечество будет перекликаться с земли не только с близкими ему по планетам спутниками, а со всем миром в его необъятности.

Но для этого перед нами лежит огромнейшая внутренняя работа. Мы должны ясней изучить свою сущность, проверить себя не по годам тела, а по возрасту души, ибо убеленный сединами старец иногда по этому возрасту души равняется всего лишь пятнадцатилетнему отроку, которого за его стихи Феб приказал выпороть. У нас многие заслуживают ровно такого же отношения к себе, но и многие пребывают просто в слепоте нерождения. Их глазам нужно сделать какой-то надрез, чтобы они видели, что небо не оправа для алмазных звезд, — а необъятное, неисчерпаемое море, в котором эти звезды живут, как многочисленные стаи рыб, а месяц для них все равно что закинутая рыбаком вёрша.

Для этого прежде всего мы должны до точности проследить пути

нашего настоящего творчества и творчества заблудившегося, должны разбить образы на законы определений, подчеркнуть родоспособность их и поставить в хоровой чин, так же как поставлены по блеску луна, солнце и земля.

3

Существо творчества в образах разделяется так же, как существо человека, на три вида — душа, плоть и разум.

Образ от плоти можно назвать *заставочным*, образ от духа *корабельным* и третий образ от разума *ангелическим*.

Образ заставочный есть, так же как и метафора, уподобление одного предмета другому или крещение воздуха именами близких нам предметов.

Солнце — колесо, телец, заяц, белка.
Тучи — ели, доски, корабли, стадо овец.
Звезды — гвозди, зерна, караси, ласточки.
Ветер — олень, Сивка Бурка, метельщик.
Дождик — стрелы, посев, бисер, нитки.
Радуга — лук, ворота, верея, дуга
и т. д.

Корабельный образ есть уловление в каком-либо предмете, явлении или существе струения, где заставочный образ плывет, как ладья по воде. Давид, например, говорит, что человек словами течет, как дождь, язык во рту для него есть ключ от души, которая равняется храму вселенной. Мысли для него струны, из звуков которых он слагает песню Господу. Соломон, глядя в лицо своей красивой Суламифи, прекрасно восклицает, что зубы ее «как стадо остриженных коз, бегущих с гор Галаада».

Наш Боян поет нам, что «на Немизе снопы стелют головами, молотят цепы харалужными, на тоце живот кладут, веют душу от тела. Немизе кровави брези не бологомь бяхуть посеяни, — посеяни костьми русьскых сынов».

Ангелический образ есть *сотворение* или пробитие из данной заставки и корабельного образа какого-нибудь окна, где *струение* являет из лика один или несколько новых ликов, где и зубы Суламифи без всяких как, стирая всякое сходство с зубами, становятся настоящими живыми, сбежавшими с гор Галаада козами. На этом образе построены почти все мифы от дней египетского быка в небе вплоть до нашей языческой религии, где ветры, стрибожи внуци, «веють с моря стрелами», он пронзает устремление почти всех народов в их лучших произведениях, как «Илиада», Эдда, Калевала, «Слово о полку Игореве», Веды, Библия и др. В чисто индивидуалистическом творчестве Эдгар По построил на нем свое «Эльдорадо», Лонгфелло —

«Песнь о Гайавате», Гебель — свой «Ночной разговор», Уланд — свой «Пир в небесной стороне», Шекспир — нутро «Гамлета», ведьм и Бирнамский лес в «Макбете». Воздухом его дышит наш русский «Стих о Голубиной книге», «Златая цепь», «Слово о Данииле Заточнике» и множество других произведений, которые выпукло светят на протяжении долгого ряда веков.

Наше современное поколение не имеет представления о тайне этих образов. В русской литературе за последнее время произошло невероятнейшее отупение. То, что было выжато и изъедено вплоть до корок рядом предыдущих столетий, теперь собирается по кусочкам, как открытие. Художники наши уже несколько десятков лет подряд живут совершенно без всякой внутренней грамотности. Они стали какими-то ювелирами, рисовальщиками и миниатюристами словесной мертвенности. Для Клюева, например, все сплошь стало идиллией гладко причесанных английских гравюр, где виноград стилизуется под курчавый порядок воинственных всадников. То, что было раньше для него сверлением облегающей его коры, теперь стало вставкой в эту кору. Сердце его не разгадало тайны наполняющих его образов, и вместо голоса из-под камня Оптиной пустыни он повеял на нас безжизненным кружевным ветром деревенского Обри Бердслея, где ночи-вставки он отливает в перстень яснее дней, а мозоль, простой мужичий мозоль, вставляет в пятку, как алтарную ладанку. Конечно, никто не будет спорить о достоинствах этой мозаики. Уайльд в лаптях для нас столь же приятен, как и Уайльд с цветком в петлице и лакированных башмаках. В данном случае мы хотим лишь указать на то, что художник пошел не по тому лугу. Он погнался за яркостью красок и «изрони женьчужну душу из храбра тела, чрез злато ожерелие», ибо луг художника только тот, где растут цветы целителя Пантелимона.

Создать мир воздуха из предметов земных вещей или рассыпать его на вещи — тайна для нас не новая. Она характеризует разум, сделавший это, лишь как ларец, где лежат приборы для более тонкой вышивки. Это есть сочинительство загадок с ответом в средине самой же загадки. Но в древней Руси, да и по сию пору в народе, эта область творчества гораздо экспрессивнее. Там о месяце говорят:

Сивко море перескочил,
Да копыт не замочил.

* * *

Лысый мерин через синее
Прясло глядит.

Роса там определяется таким словесным узором, как

Заря-заряница,
Красная девица,

В церковь ходила,
Ключи обронила.
Месяц видел,
Солнце скрало.

Вслед Клюеву свернул себе шею на своей дороге и подглуповатый футуризм. Очертив себя кругом Хомы Брута из сказки о Вие, он крикливо старался напечатлеть нам имена той нечести (нечистоты), которая живет за задними углами наших жилищ. Он сгруппировал в своем сердце все отбросы чувств и разума и этот зловонный букет бросил, как «проходящий в ночи», в наше, с масличной ветвью ноевского голубя, окно искусства. Голос его гнойного разложения прозвучал еще при самом таинстве рождения урода. Маринетти, крикнувший клич войны, первый проткнулся о копье творческой правды. Нашим подголоскам Маяковскому, Бурлюку и другим, рожденным распоротым животом этого ротастого итальянца, движется, вещуя гибель, Бирнамский лес — открывающаяся в слове и образе доселе скрытая внутренняя сила русской мистики. Бессилие футуризма выразилось главным образом в том, что, повернув сосну кореньями вверх и посадив на сук ей ворону, он не сумел дать жизнь этой сосне без подставок. Он не нашел в воздухе не только озера, но даже маленькой лужицы, где б можно было окунуть корни этой опрокинутой сосны. Рост в высь происходит по-иному, в нее растет только то, что сбрасывает с себя кору или, подобно Андрее-Беловскому «Котику Летаеву», вытягивается из тела руками души, как из мешка.

Когда Котик плачет в горизонт, когда на него мычит черная ночь и звездочка слетает к нему в постельку усиком поморгать, мы видим, что между Белым земным и Белым небесным происходит некое сочетание в браке. Нам является лик человека, завершаемый с обоих концов ногами. Ему уже нет пространства, а есть две тверди. Голова у него уж не верхняя точка, а точка центра, откуда ноги идут, как некое излучение. Наш пуп в этом отношении самый наилучший толкователь символа этой головы и о послании нас слить небо с землею. Туловище человека не напрасно разделяется на два световых круга, где верхняя часть от пупа подлежит солнечному влиянию, а нижняя — лунному. Здесь в мудрый узел завязан ответ значению тяготения человека к пространству, здесь скрываются знаки нашего послания, прочитав грамоту которых, мы разгадаем, что в нас пока колесо нашего мозга движет луна, что мы мыслим в ее пространстве и что в пространство солнца мы начинаем только просовываться. С теми средствами, с которыми шел футуризм в это солнечное пространство, он мог просунуться так же легко, как и верблюд в игольное ухо, ибо эта радость вознесения была предначертана целыми тысячелетиями до него мистам. Он не мог просунуться и потому, что существом своим не благословил и не постиг

Голгофы, которая для духа закреплена не только фактическим пропятием Христа, но и всею гармонией мироздания, где на законах световых скрещиваний построены все зримые и не видимые нами формы. Мист же идет на это пропятие, провидя и терновый венок, и гвоздиные язвы. Он знает, что идущий по небесной тверди, окунувшись в темя ему, образует с ним знак того же креста, на котором висела вместе с телом доска с надписью І. Н. Ц. І.



Но он знает и то, что только фактом восхода на крест Христос окончательно просунулся в пространство от луны до солнца, только через Голгофу он мог оставить следы на ладонях Елеона (луны), уходя вознесением ко отцу (то есть солнечному пространству). Буря наших дней должна устремить и нас от сдвига наземного к сдвигу космоса. Мы считаем преступлением устремляться глазами только в одно пространство чрева. Тени неразумных, не рожденных к посвящению слышать царство солнца внутри нас, стараются заглушить сейчас всякий голос, идущий от сердца в разум, но против них должна быть такая же беспощадная борьба, как борьба против старого мира.

Они хотят стиснуть нас руками про́клятой смоковницы, которая рождена на бесплодие. Мы должны кричать, что все эти пролеткульты есть те же самые по старому образцу розги человеческого творчества. Мы должны вырвать из их звериных рук это маленькое тельце нашей новой эры, пока они не засекли ее. Мы должны им сказать так же, как сказал придворному лжецу Гильденштерну Гамлет: «Черт вас возьми! Вы думаете, что на нас легче играть, чем на флейте? Назовите нас каким угодно инструментом — вы можете нас *расстроить*, но не играть на нас». Человеческая душа слишком сложна для того, чтоб заковать ее в определенный круг звуков какой-нибудь одной жизненной мелодии или сонаты. Во всяком круге она шумит, как мельничная вода, просасывая плотину, и горе тем, которые ее запружают, ибо, вырвавшись бешеным потоком, она первыми сметает их в прах на пути своем. Так на этом пути она смела монархизм, так рассосала круги классицизма, декаданса, импрессионизма и футуризма, так сметет она и рассосет сонм кругов, которые ей уготованы впереди.

Задача человеческой души лежит теперь в том, как выйти из сферы лунного влияния. Уходя из мышления старого капиталистического обихода, мы не должны строить наши творческие образы так, как построены они хотя бы, например, у того же Николая Клюева:

Тысчу лет и Лембэй пущей правит,
Осеньщину дань сбирая с тварей:
С зайца шерсть, буланый пух с лешуги,
А с осины пригоршню алтынов.

Этот образ построен на заставках стертого революцией быта. В том, что он прекрасен, мы не можем ему отказать, но он есть тело покойника в нашей горнице обновленной души и потому должен быть предан земле. Предан земле потому, что он заставляет Клюева в такие священнейшие дни обновления человеческого духа благословить убийство и сказать, что «убийца святей потира». Это старое инквизиционное православие, которое, посадив Святого Георгия на коня, пронзило копьем вместо змия самого Христа.

Средства напечатления образа грамотой старого обихода должны умереть вообще. Они должны или высидеть на яйцах своих слов птенцов, или кануть отзвеневшим потоком в море Леты. Вот потому-то нам так и противны занесенные руки марксистской опеки в идеологии сущности искусств. Она строит руками рабочих памятник Марксу, а крестьяне хотят поставить его корове. Ей непонятна грамота солнечного пространства, а душа алчущих света не хочет примириться с давно знакомым ей и изжитым начертанием жизни чрева. Перед нами встает новая символическая черная ряса, очень похожая на приемы православия, которое заслонило своей чернотой свет солнца истины. Но мы победим ее, мы так же раздерем ее, как разодрали мантию заслоняющих солнце нашего братства. Жизнь наша бежит вихревым ураганом, мы не боимся их преград, ибо вихрь, затаенный в самой природе, тоже задвигался нашим глазам. И прав поэт, истинно прекрасный народный поэт Сергей Клычков, говорящий нам, что

Уж несется предзорняя конница,
Утонувши в тумане по грудь,
И березки прощаются, клонятся,
Словно в дальний собралися путь.

Он первый увидел, что земля поехала, он видит, что эта предзорняя конница увозит ее к новым берегам, он видит, что березки, сидящие в телеге земли, прощаются с нашей старой орбитой, старым воздухом и старыми тучами.

Да, мы едем, едем потому, что земля уже выдышала воздух, она зарисовала это небо, и рисункам ее уже нет места. Она к новому тянется небу, ища нового незаписанного места, чтобы через новые рисунки, через новые средства протянуться еще дальше. Гонители Святого Духа-мистизма забыли, что в народе уже есть тайна о семи небесах, они осмеяли трех китов, на которых держится, по народному представлению, земля, а того не поняли, что этим сказано то, что земля

плывет, что ночь — это время, когда киты спускаются за пищей в глубину морскую, что день есть время продолжения пути по морю.

Душа наша Шехеразада. Ей не страшно, что Шахриар точит нож на растленную девственницу, она застрахована от него тысяча одной ночью корабля и вечностью проскваживающих небо ангелов. Предначертанные спасению тоскою наших отцов и предков чрез их иаковскую лестницу орнамента слова, мысли и образа, мы радуемся потопу, который смывает сейчас с земли круг старого вращения, ибо мéста в ковчеге искусства нечистым парам уже не будет. То, что сейчас является нашим глазам в строительстве пролетарской культуры, мы называем: «Ной выпускает ворона». Мы знаем, что крылья ворона тяжелы, путь его недалек, он упадет, не только не долетев до материка, но даже не увидев его. Мы знаем, что он не вернется, знаем, что масличная ветвь будет принесена только голубем — образом, крылья которого спаяны верой человека не от классового осознания, а от осознания обстающего его храма вечности.

Сентябрь-ноябрь 1918

БЫТ И ИСКУССТВО

(Отрывок из книги «Словесные орнаменты»)

Сии строки я посвящаю своим собратьям по тому течению, которое исповедует Величию образа.

Собратьям моим кажется, что искусство существует только как искусство. Вне всяких влияний жизни и ее уклада. Мне ставится в вину, что во мне еще не выветрился дух разумниковской школы, которая подходит к искусству, как к служению неким идеям.

Собратья мои увлеклись зрительной фигуральностью словесной формы, им кажется, что слова и образ — это уже все.

Но да простят мои собратья, если я им скажу, что такой подход к искусству слишком несерьезный, так можно говорить об искусстве поверхностных напечатлений, об искусстве декоративном, но отнюдь не о том настоящем строгом искусстве, которое есть значное служение выявления внутренних потребностей разума.

Каждый вид мастерства в искусстве, будь то слово, живопись, музыка или скульптура, есть лишь единичная часть огромного органического мышления человека, который носит в себе все эти виды искусства только лишь как и необходимое ему оружие.

Искусство — это виды человеческого управления. Словом, звуками и движениями человек передает другому человеку то, что им поймано в явлении внутреннем или явлении внешнем. Все, что выходит из человека, рождает его потребности, из потребностей рождается быт, из быта же рождается его искусство, которое имеет место в нашем представлении.

Понимая искусство во всем его размахе, я хочу указать моим собратьям на то, насколько искусство неотделимо от быта и насколько они заблуждаются, увязая нарочито в тех утверждениях его независимости.

Виды искусства, как я уже сказал, весьма многообразны. Прежде чем подойти к искусству слова, подойдем к самому несложному и поверхностному искусству, искусству одежды человека, перенесемся мыслями хотя бы к нашей скифской эпохе. Вспомним тавров, будинов и сарматов.

Описывая скифов, Геродот прежде всего говорит о их обычаях и одежде. Скифы носят на шеях гривны, на руках браслеты, на голову надевают шлем, накрываются сшитыми из конских копыт плащами,

которые служат им панцирями. Нижняя одежда состоит из шаровар и коротких саков. Всматриваясь в это коротенькое описание, вы сразу уже представляете себе всю причинность обряда, и перед вами невольно встает это буйное, и статное, и воинственное племя. Вы уже сразу чувствуете, что гривна ему нужна для того, чтоб защитить от меча врага шею, шлемом они защищают череп, браслетом — кисть руки, плащ же охраняет его бока и спину.

Так же, как и в одежде, человек выявил себя своими требованиями и в музыке. Мы знаем, что мелодии родились так же, как щит и оружие.

Действие музыки, главным образом, отражается на крови. Звуки как-то умеют и беспокоить и усмирять ее. Эту тайну знали как древние заклинатели змей, играющие на флейтах, так бессознательно знают ее и по сей день наши пастухи, играя на рожке коровам. Недаром монголы говорят, что под скрипку можно заставить плакать верблюда. Звуки умеют привязывать и развязывать, останавливать и гнать бурей. Все это уже известно давно, и на этом давно уже построены определения песен героических, эпических, надгробных и свадебных.

Подходя к слову, мы также видим, что значение его одинаково с предыдущими видами требований человека.

Слова — это образы всей предметности и всех явлений вокруг человека; ими он защищается, ими же и наступает. Нет слова беспредметного и бестелесного, и оно так же неотъемлемо от бытия, как и все многорукое и многоглазое хозяйство искусства. Даже то искусство одежды, музыки и слова, которое совсем бесполезно, все-таки есть прямой продукт бытовых движений. Оно попутчик быта.

Что такое теперешние ожерелья, перстни и браслеты, как не сколок с воинственных лат наших далеких предков? Что такое чувствительные романсы, вгоняющие в половой жар и в грусть девушек и юношей, как не действие над змеей или коровой? И что такое слова, как не синие трупики обстановочных предметов первобытного человека? Нет, быт и искусство неотделимы. Фигуры — это уже быт, а искусство есть самая яркая фигуральность.

Собратья мои не признают порядка и согласованности в сочетаниях слов и образов. Хочется мне сказать собратьям, что они не правы в этом.

Жизнь образа огромна и разливчата. У него есть свои возрасты, которые отмечаются эпохами. Сначала был образ словесный, который давал имена предметам, за ним идет образ заставочный, мифический, после мифического идет образ типический, или собирательный, за типическим идет образ корабельный, или образ двойного зрения, и, наконец, ангелический, или изобретательный, о которых нам отчасти пришлось говорить в нашей книге «Ключи Марии».

Пример словесного образа таков. Сначала берем образ без слова. Перед нами неотчеканенные массы звуков пчелы:

у-у-у-у,
бу-бу-бу.

Перед сознанием человека встает действие, которое определяется звуком «бу»; предмет пойман в определение и уже неподвижен, определение это есть образ слова.

Образ заставочный, или мифический, есть уподобление одного предмета или явления другому:

Ветви — руки,
сердце — мышь,
солнце — лужа.

Мифический образ заключается и в уподоблении стихийных явлений человеческим бликам.

Отсюда Даждьбог, дающий дождь, и ветреная Геба, что

Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.

На нем построены все божественные фигуры, а также именные клички героев у дикарей: «Пятнистый Олень», «Красный Ветер», «Сова», «Сычи», «Обкусанное Солнце» и т. д.

Типический образ, или собирательный, есть образ сумм внешних или внутренних фигур при человеке. Внешний образ: «нос, что перевоз». Внутренний образ:

Тверд, как камень.
Блудлив, как ветер.

Корабельный образ, образ двойственного положения:

Взбрезжи, полночь, луны кувшин
Зачерпнуть молока берез.

Он очень родственен заставочному с тою лишь разницей, что заставочный неподвижен. Этот же образ имеет вращение.

Образ ангелический, или изобретательный, есть воплощение движения или явления, так же как и предмета, в плоть слова. На чувстве этого образа построена вся техническая предметная изобретательность, а также и эмоциональная. Образ предметного ангелизма: ковер-самолет и аэроплан, перо жар-птицы и электричество, сани-самокаты и автомобиль. На образе эмоционального ангелизма держатся имена незримого и имматериального, когда они, только еще предчувствуемые, облекаются уже в одежду имени, например, чувство не-

зримой страны «Инония», чувство незримого и неизвестного прихода, как-то: «Гость чудесный».

Итак, подыскав определения текучести образов, уложив их в формы, для них присущие, мы увидим, что текучесть и вращение их имеет согласованность и законы, нарушения которых весьма заметны.

Вся жизнь наша есть не что иное, как заполнение большого, чистого полотна рисунками.

Сажая под окошком ветлу или рябину, крестьянин, например, уже делает четкий и строгий рисунок своего быта со всеми его зависимостями от климатического стиля. Каждый шаг наш, каждая проведенная борозда есть необходимый штрих в картине нашей жизни.

Смею указать моим собратьям, что каждая линия в этом рисунке строго согласуется с законами общего. Климатический стиль нашей страны заставляет меня указать моим собратьям на то, насколько необходимы и непреложны эти законы. Собратья мои сами легли черточками в этот закон и вращаются так, как им предназначено. Что бы они ни говорили в противовес, сила останется за этим так же, как и за правдой календарного абриса в хозяйственном обиходе нашего русского простолюдина.

Северный простолюдин не посадит под свое окно кипариса, ибо знает закон, подсказанный ему причинностью вещей и явлений. Он посадит только то дерево, которое присуще его снегам и ветру.

Вглядитесь в календарные изречения Великороссии, там всюду строгая согласованность его с вещами и с местом, временем и действием стихий. Все эти «Марьи зажги снега, заиграй овражки», «Авдотьи подмочи порог» и «Федули сестреньки» построены по самому наилучшему приему чувствования своей страны.

У собратьев моих нет чувства родины во всем широком смысле этого слова, поэтому у них так и несогласовано все. Поэтому они так и любят тот диссонанс, который впитали в себя с удушливыми парами шутовского кривляния ради самого кривляния.

У Анатоля Франса есть чудный рассказ об одном акробате, который выделывал вместо обыкновенной молитвы разные фокусы на трапеции перед Богоматерью. Этого чувства у моих собратьев нет. Они ничему не молятся, и нравится им только одно пустое акробатничество, в котором они делают очень много головокружительных прыжков, но которые есть не больше, не меньше как ни на что не направленные выверты.

Но жизнь требует только то, что ей нужно, и так как искусство только ее оружие, то всякая ненужность отрицается так же, как и несогласованность.

<1920>

ВСТУПЛЕНИЕ

<К сборнику «Стихи скандалиста»>

Я чувствую себя хозяином в русской поэзии и потому втаскиваю в поэтическую речь слова всех оттенков, нечистых слов нет. Есть только нечистые представления. Не на мне лежит конфуз от смелого произнесенного мной слова, а на читателе или на слушателе. Слова — это граждане. Я их полководец. Я веду их. Мне очень нравятся слова корявые. Я ставлю их в строй как новобранцев. Сегодня они неуклюжи, а завтра будут в речевом строю такими же, как и вся армия.

Стихи в этой книге не новые. Я выбрал самое характерное и что считаю лучшим. Последние 4 стихотворения «Москва кабацкая» появляются впервые.

20 марта 1923
Берлин

ПРЕДИСЛОВИЕ

В этом томе собрано почти все, за малым исключением, что написано мной с 1912 года. Большие вещи: «Страна негодяев», «Пугачев» и др. отходят во 2-й том.

Все творчество мое есть плод моих индивидуальных чувств и умонастроений. Мне не нужно было бы и писать предисловия, так как всякий читатель поймет это по прочтении всех моих стихов, но некоторые этапы требуют пояснения.

Самый щекотливый этап — это моя религиозность, которая очень отчетливо отразилась на моих ранних произведениях.

Этот этап я не считаю творчески мне принадлежащим. Он есть условие моего воспитания и той среды, где я вращался в первую пору моей литературной деятельности.

На ранних стихах моих сказалось весьма сильное влияние моего деда. Он с трех лет вдалбливал мне в голову старую патриархальную церковную культуру. Отроком меня таскала по всем российским монастырям бабка.

Литературная среда 13—14—15 годов, в которой я вращался, была настроена приблизительно так же, как мой дед и бабка, поэтому стихи мои были принимаемы и толкуемы с тем смаком, от которого я отпихиваюсь сейчас руками и ногами.

Я вовсе не религиозный человек и не мистик. Я реалист, и если есть что-нибудь туманное <во> мне для реалиста, то это романтика, но романтика не старого нежного и дамообожаемого уклада, а самая настоящая земная, которая скорей преследует авантюристические цели в сюжете, чем протухшие настроения о Розах, Крестах и всякой прочей дребедени.

Поклонникам Блока не следует принимать это за то, что я кощунственно бросаю камень на его могилу.

Я очень люблю и ценю Блока, но <на> наших полях он часто глядит как голландец. Все же другие мистики мне напоминают иезуитов.

Я просил бы читателей относиться ко всем моим Исусам, Божьим Матерям и Миколам, как к сказочному в поэзии.

Отрицать я в себе этого этапа вычеркиванием не могу так же, как и все человечество не может смыть периода двух тысяч лет христиан-

ской культуры, но все эти собственные церковные имена нужно так же принимать, как имена, которые для нас стали мифами: Озирис, Оаннес, Зевс, Афродита, Афина и т. д.

В стихах моих читатель должен главным образом обращать внимание на лирическое чувствование и ту образность, которая указала пути многим и многим молодым поэтам и беллетристам. Не я выдумал этот образ, он был и есть основа русского духа и глаза, но я первый развил его и положил основным камнем в своих стихах.

Он живет во мне органически так же, как мои страсти и чувства. Это моя особенность, и этому у меня можно учиться так же, как я могу учиться чему-нибудь другому у других.

1 января 1924

АНКЕТА <ЖУРНАЛА> «КНИГА О КНИГАХ»

К Пушкинскому юбилею

<Ответы>

1. Как Вы теперь воспринимаете Пушкина?

Пушкин — самый любимый мной поэт. С каждым годом я воспринимаю его все больше и больше как гения страны, в которой я живу. Даже его ошибки, как, например, характеристика Мазепы, мне приятны, потому что это есть общее осознание русской истории.

2. Какую роль Вы отводите Пушкину в судьбах современной и будущей русской литературы?

Влияния Пушкина на поэзию русскую вообще не было. Нельзя указать ни на одного поэта, кроме Лермонтова, который был бы заражен Пушкиным. Постичь Пушкина — это уже нужно иметь талант. Думаю, что только сейчас мы начинаем осознавать стиль его словесной походки.

3. Как дать Пушкина современному русскому читателю?

Я не поклонник отроческих стихов Пушкина. По-моему, их нужно просмотреть и некоторые выкинуть. Из зрелых стихов я считаю ненужным все случайные стихотворные письма и эпиграммы, кроме писем к Языкову и Дельвигу.

1924

В. Я. БРЮСОВ

Умер Брюсов. Эта весть больна и тяжела, особенно для поэтов.

Все мы учились у него. Все знаем, какую роль он играл в истории развития русского стиха.

Большой мастер, крупный поэт, он внес в затхлую жизнь после шестидесятников и девятидесятников струю свежей и новой формы.

Лучше было бы услышать о смерти Гиппиус и Мережковского, чем видеть в газете эту траурную рамку о Брюсове.

Русский символизм кончился давно, но со смертью Брюсова он канул в Лету окончательно.

Много Брюсова ругали, много говорили о том, что он не поэт, а мастер. Глупые слова! Глупые суждения!

После смерти Блока это такая утрата, что ее и выразить невозможно.

Брюсов был в искусстве новатором.

В то время, когда в литературных вкусах было сплошное слюнтяйство, вплоть до горьких слез над Надсоном, он первый сделал крик против шаблонности своим знаменитым:

О, закрой свои бледные ноги.

Много есть у него прекраснейших стихов, на которых мы воспитывались.

Брюсов первый раздвинул рамки рифмы и первый культивировал ассонанс.

Утрата тяжела еще более потому, что он всегда приветствовал все молодое и свежее в поэзии. В литературном институте его имени вырастали и растут такие поэты, как Наседкин, Иван Приблудный, Акульшин и др.

Брюсов чутко относился ко всему талантливому.

Сделав свое дело на поле поэзии, он последнее время был вроде арбитра среди сражающихся течений в литературе. Он мудро знал,

что смена поколений всегда ставит точку над юными, и потому, что он знал, он написал такие прекрасные строки о гуннах:

Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном.

Брюсов первый пошел с Октябрем, первый встал на позицию разрыва с русской интеллигенцией. Сам в себе зачеркнуть страницы старого бытия не всякий может. Брюсов это сделал.

Очень грустно, что на таком литературном безрыбьи уходят такие люди.

<1924>

ДАМА С ЛОРНЕТОМ
(Вроде письма. На общеизвестное)

Когда-то я мальчиком, проезжая Петербург, зашел к Блоку. Мы говорили очень много о стихах, но Блок мне тут же заметил, вероятно, по указаниям Иванова-Разумника: «Не верь ты этой бабе. Ее и Горький считает умной. Но, по-моему, она низкопробная дура».

Это были слова Блока. После слов Блока, к которому я приехал, впервые я стал относиться и к Мережковскому и к Гиппиус — подозрительней. Один только Философов, как и посейчас, занимает мой кругозор, которому я писал и говорил то устно, то в стихах; но всё же Клюев и на него составил стихи, обобщая его вместе с Мережковскими.

— Что такое Мережковский?

— Во всяком случае, не Франс.

— Что такое Гиппиус?

— Бездарная завистливая поэтесса.

В газете «Ecler»[1] Мережковский называл меня хамом, называла меня Гиппиус альфонсом, за то, что когда-то я, пришедший из деревни, имел право носить валенки.

— Что это на Вас за гетры? — спросила она, наведя лорнет.

Я ей ответил:

— Это охотничьи валенки.

— Вы вообще кривляетесь.

— —

Потом Мережковский писал: «Альфонс, пьяница, большевик!»

А я ему отвечал устно:

«Дурак, бездарность!»

Клюев, которому Мережковский и Гиппиус не годятся в подметки в смысле искусства, говорил: «Солдаты испражняются. Где калитка, где забор, Мережковского собор». Действительно, колоннады. Мадам Гиппиус! Не хотите ли Лориган? Ведь Вы в «Золотое руно» снимались так же в брюках с портрета Сомова.

---

[1] Точное название газеты «L'Eclair».

Лживая и скверная Вы. Всё у Вас направлено на личное влияние Вас.

Вы пишете:

«Основа партии — общее утверждение ценностей».

Это Вы пишете.

Безмозглая и глупая дама.

Даже Шкловский помнит, что Вы говорили и что опять пишете: «крайнюю» хату, левую или правую, это безразлично, раз он художник. Такое время. Слова Ваши.

Вы продажны и противны в этом, как всякая контрреволюционная дрянь.

Это суждение к нам не подходит. Дорога Ваша ясна с Вашим игнорированием нас (хотя Вы писали обо мне статьи хвалебные).

Пути Вам нет сюда, в Советскую Россию. Все равно Вы будете путешественники по стране СССР с Бедекером.

<1925>

<О РЕЗОЛЮЦИИ ЦК РКП(Б) О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ>

Мне определенно нравится эта резолюция вся. Это не то, что декларация напостовцев. Хороша вся резолюция. Но особенно нравится мне часть, касающаяся литературы «попутчиков», потому что я сам «попутчик» из группы крестьянских поэтов.

Нравится мне то, что партия будет терпеливо относиться к размежеванию идеологических форм, терпеливо помогая эти, неизбежно многочисленные формы, изживать в процессе всё более тесного товарищеского содружества с культурными силами коммунизма.

Как советскому гражданину, мне близка идеология коммунизма и близки наши литературные критики тов. Троцкий и тов. Воронский. Тут я всё понимаю. Тут мне всё ясно. А не вполне ясен мне параграф 8 резолюции, особенно вопрос о стиле и форме художественных произведений и методах выработки новых художественных форм. Возьмем какую-либо группу, предположим, крестьянских писателей. У них общая идеология. Допустим даже, что общий подход к работе. Но их произведения будут глубоко разниться друг от друга, так как у каждого будет свой стиль, своя форма, и чем крупнее дарование, — тем форма будет характернее.

Поэтому мне кажется, что вопрос о выработке новых литературных форм — дело, касающееся исключительно таланта.

<1925>

<ОТВЕТ РЕДАКЦИИ «НОВОЙ ВЕЧЕРНЕЙ ГАЗЕТЫ»>

Каково ваше материальное положение?

Хотелось бы, чтобы писатели пользовались хотя бы льготами, предоставляемыми советским служащим.

Следует удешевить писателям плату за квартиры. Помещение желательно пошире, а то поэт приучается видеть мир только в одно окно.

<1925>

ОТРЫВКИ. НЕОКОНЧЕННОЕ

<О ГЛЕБЕ УСПЕНСКОМ>

...Когда я читаю Успенского, то вижу перед собой всю горькую правду жизни. Мне кажется, что никто еще так не понял своего народа, как Успенский. Идеализация народничества 60-х и 70-х годов мне представляется жалкой пародией на народ. Прежде всего там смотрят на крестьянина, как на забавную игрушку. Для них крестьянин — это ребенок, которым они тешатся, потому что к нему не привилось еще ничего дурного. Успенский показал нам жизнь этого народа без всякой рисовки. Для того чтобы познать народ, не нужно было ходить в деревню. Успенский видел его и на Растеряевой улице. Он показал его не с одной стороны, а со всех. И смеялся Успенский не так, как фальшивые народники — над внешностью, а над сердцем своей правдивой душой, горьким словом Гоголя.

<1915>

<О СБОРНИКАХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ>

...Горького брызнуть водою старого, но твердо спаянного кропила. Жизнь любит говорить о госте и что идет как жених с светильником «во полунощи».

Сборник пролетарских писателей ярко затронул сердца своим первым и робким огнем лампады, пламя которой нежно оберегалось от ветра ладонями его взыскующих душ.

Но зато нельзя сказать того, что на страницах этих обоих сборников с выразителями коллективного духа Аполлон гуляет по-дружески.

Есть благословенная немóта мудрецов и провидцев, есть благое косноязычие символизма, но есть немотá и тупое заикание. Может быть, это и резко будет сказано, но те, которые в сады железа и гранита пришли обвитые веснами на торжественный зов гудков, все-таки немы по-последнему.

Кроме зова гудков, есть еще зов песни и искус в словах. На древних Дагинийских праздниках песнотворцы состязались друг с другом так же, как на праздниках мечей и копий. Но представители новой культуры и новой мысли особенным изяществом и изощрением в своих узорах не блещут. Они очень во многом еще лишь слабые ученики пройденных дорог или знакомые от века хулители старых устоев, неспособные создать что-либо сами. Перед нами довольно громкие, но пустые строки поэта Кириллова:

Во имя нашего завтра сожжем Рафаэля,
Растопчем искусства цветы.

Уже известно, что, когда пустая бочка едет, она громче гремит. Мы не можем, конечно, не видеть и не понимать, что это сказано ради благословения грядущего. Здесь нет того преступного геростратизма по отношению к Софии футуристов с почти вчерашней волчьею мудростью века по акафистам Ницше, но все же это сказано без всякого внутреннего оправдания, с одним лишь чахоточным указанием на то, что идет «завтра», и на то, что «мы будем сыты».

Тот, кто чувствует, что где-то есть Америка, и только лишь чувствует, не стараясь и не зная, с каких сторон опустить на нее свои стопы, еще далек от тени Колумба. Он только лишь слабый луч брезжущего в туман, как соломенный сноп, солнца, того солнца, которое

сходит во ад, родив избавление. Он даже и не предтеча, потому что в предтече уже есть петли, которые могут связать. Но до того лассо, которое сверкает в смуглой руке духовного тодаса, далеко и предтече, и потому все, что явлено нам в этих сборниках, есть лишь слабый звук показавшейся из чрева пространства головы младенца. Конечно, никто не может не приветствовать первых шагов ребенка, но никто и не может сдержать улыбки, когда этот ребенок, неуверенно и робко ступая, качается во все стороны и ищет инстинктивно опоры в воздухе. Посмотрите, какая дрожь в слабом тельце Ивана Морозова.

Этот ребеночек качается во все стороны, как василек во ржи. Вглядитесь, как заплетаются его ноги строф:

Повеяло грустью холодной в ненастные дни листопада,
И чуткую душу тревожит природы тоскующий лик,
Не слышно пленительных песен в кустах бесприютного сада,
И тополь, как нищий бездомный, к окну сиротливо приник.

Здесь он путает левую ногу с правой, здесь спайка стиха от младенческой гибкости выделывает какой-то пятки ломающий танец. Поставьте вторую строку на место третьей и третью на место второй, получается стихотворение совершенно с другой инструментовкой:

Повеяло грустью холодной в ненастные дни листопада,
Не слышно пленительных песен в кустах бесприютного сада,
И чуткую душу тревожит природы тоскующий лик,
И тополь, как нищий бездомный, к окну сиротливо приник.

Этого даже нельзя придумать нарочно. Такая шаткость строк похожа на сосну с корнями вверх, и все же мысль остается почти неизменной. Конечно, это только от бледности ее, оттого, что мысль как мысль здесь и не ночевала. Здесь одни лишь избитые, засохшие цветы фонографических определений, даже и не узор. Но узоры у некоторых, как, например, у Кондратия Худякова, попадаются иногда довольно красивые и свежестью своей не уступают вырисовке многих современных мастеров:

Бабушка вздула светильню,
Ловит в одежине блох.
— Бабушка, кто самый сильный
В свете? — Сильнее всех Бог!...
Лепится кошкой проворной
На стену тень от огня.
— Бабушка, кто это черный
Смотрит в окно на меня?..

Но, увы, это только узор. Того масла, которое теплит душу огнем более крепких поэтических откровений, нет и у Худякова. Он только

лишь слабым крючком вывел первоначальную линию того орнамента, который учит уста провожать слова с *помазанием*.

Творчество не есть отображение и потому так далеко отходит от искусства, в корне которого («искус») — отображение обстающего нас. Искусство — Антика; оно живет тогда, когда линии уже все выисканы, а творчество живет в искании их.

Созидателям нового храма не мешало бы это знать, чтоб не пойти по ложным следам и дать лишь закрепление нового на земле быта. В мире важно предугадать пришествие нового откровения, и мы ценим на земле не то, «что есть», а «как будет».

Вот поэтому-то так и мил ярким звеном выделяющийся из всей этой пролетарской группы Михаил Герасимов, ярко бросающий из плоти своей песню не внешнего пролетария, а того самого, который в коробке мускулов скрыт под определением «я» и напоен мудростью родной ему заводи железа.

А здесь на согнутые спины
Взвалили уголь, шлак и сталь.
О, если б как в волнах дельфины,
Без кочегарок и турбины,
Умчаться в заревую даль!

К сожалению, представлен Герасимов в этом последнем сборнике весьма мало. Такие строки, как, например:

На плащанице звездных гроздий
Лежит луны холодный труп,
И, как заржавленные гвозди,
Вонзились в небо сотни труб,

напечатанные в «Заводе огнекрылом», обещают в нем поэта весьма и весьма не средней величины среди своих собратий.

Художественная проза сборников, увы, не заслуживает почти никакого внимания. Повесть «Вольница». Какой-то мутный и бесформенный лепет приемов Потехина и Засодимского, а мелкие рассказы — не то лирические силуэты, не то просто анекдоты из неприглядной и неприбранной жизни, где все лежит не на своем месте, где люди и вещи светят почти одним светом.

Проза пролетарская еще не нашла своих путей, как поэзия. В ней есть лишь от прошлого бледноликий Бибик и совсем слабый от «ныне» Безсалько.

Заканчивая эти краткие мысли о выявленных ликах сборником пролетарских писателей, мы все-таки скажем, что дорога их в целом пока еще не намечена. Расставлены только первые вехи, но уже хорошо и то, что к сладчайшему причастью тайн через свет их идет Герасимов.

<1918>

РОССИЯНЕ

Не было омерзительнее и паскуднее времени в литературной жизни, чем время, в которое мы живем.

Тяжелое за эти годы состояние государства в международной схватке за свою независимость случайными обстоятельствами выдвинуло на арену литературы революционных фельдфебелей, которые имеют заслуги перед пролетариатом, но ничуть не перед искусством.

Выработав себе точку зрения общего фронта, где всякий туман может казаться для близоруких глаз за опасное войско, эти типы развили и укрепили в литературе пришибеевские нравы.

— Рр-а-сходись, — мол, — так твою так-то! Где это написано, чтоб собирались по вечерам и песни пели?!

Некоторые типы, находясь в такой блаженной одури и упоенные тем, что на скотном дворе и хавронья сходит за царицу, дошли до того, что и впрямь стали отстаивать точку зрения скотного двора.

Сие относится к тому типу, который часто подписывается фамилией Сосновский.

Маленький картофельный журналистик, пользуясь поблажками милостивых вождей пролетариата и имеющий столь же близкое отношение к литературе, как звезда небесная к подошве его сапога, трубит почти около семи лет всё об одном и том же, что русская современная литература контрреволюционна и что личности попутчиков подлежат весьма большому сомнению. Частенько ему, как Видоку Фиглярину, удается натолкнуться на тот или иной факт, компрометирующий некоторые личности, но где же он нашел хоть один факт, компрометирующий так называемых попутчиков? Всё, что он вскрывает, он вскрывает о тех писателях, которые не имеют ничего общего с попутчиками.

В чем же, собственно, дело? А дело, видимо, в том, что, признанный на скотном дворе талантливым журналистом, он этого признания никак не может добиться в писательской и поэтической среде, где на него смотрят хуже, чем на Пришибеева. Уже давно стало явным фактом, как бы ни хвалил и ни рекомендовал Троцкий разных Безымянских, что пролетарскому искусству грош цена, за исключением Герасимова, Александровского, Кириллова и некоторых других, но и этих, кажется, «заехали» — как выражается Борис Волин, еще более кретинистый, чем Сосновский. Бездарнейшая группа мелких интриганов и репортерских карьеристов выдвинула журнал, который называется «На посту»...

<1923>

<О ПИСАТЕЛЯХ-«ПОПУТЧИКАХ»>

За годы революции, когда был разрушен старый быт, а новый быт в вихре событий не мог еще народиться, художественное творчество в нашей стране было также вихревым и взрывчатым, как время революции. Пришло царство хаоса. Невероятный раскол и сногсшибательные объединения. Образовалось бесчисленное количество групп и течений. Те писатели и поэты, которые черпали свою силу в содержании старых укладов, оказались за рубежом или умолкли, а те, которые приняли революцию, пошли рядом с нею. Была и есть группа еще так называемых пролетарских писателей, которые хотели быть зеркалом нового, едва только показывающего ростки быта, но — увы! — на пути своем они настолько оказались бессильны, фальшивы и подражательны, поэтому говорить о них можно только вскользь, отдавая главным образом внимание попутчикам, которые, несмотря ни на какой свист, ни на какие улюлюкания со стороны других групп, действительно оказались единственными талантливыми и способными воспринимать биение пульса нашей эпохи.

Сейчас можно смело сказать, что в беллетристике мы имеем такие имена: Всеволода Иванова, Бориса Пильняка, Вячеслава Шишкова, Михаила Зощенко, Бабеля и Николая Никитина, — которые действительно внесли клад в русскую художественную литературу.

Симпатии к этим писателям в первенстве их одного перед другим могут делиться и не делиться. Пока они живы, неизвестно, кто кого перевесит, да и главное зарыто не в этом, а в том, что они появились, что они есть и каждый из них отражает революцию так, как он видит ее беспристрастными глазами художника.

У нас очень много писалось о Пильняке. Одно время страшно хвалили, чуть ли не до небес превозносили, но потом вдруг ни с того ни с сего стало очень модным ругать его. «Помилуйте, — слышится из уст доморощенных критиков, — да какой же это писатель, если он в революции ничего не увидел, кроме половых органов?»

Этот страшно глупый и безграмотный подход говорит только о невежестве нашей критики или о том, что они Пильняка не читали. Пильняк изумительно талантливый писатель, быть может, немного лишенный дара фабульной фантазии, но зато владеющий самым тонким мастерством слова и походкой настроений. У него есть превосходные места в его «Материалах к роману» и в «Голом годе», которые по описаниям и лирическим отступлениям ничуть не уступают мес-

там Гоголя. Глупый критик или глупый читатель всегда видит в писателе не лицо его, а обязательно бородавки или родинки.

То, что Пильняк сочно описывает на пути своих повестей, как самцы мнут баб по всем рассейским дорогам и пространствам, совсем не показывает его сущность. Это только его отличительная родинка, и совсем не плохая, а, наоборот, — красивая. Эта сочность правдива, как сама жизнь.

Про Всеволода Иванова писали тоже достаточно как в русской, так и заграничной прессе. Его рассказ «Дитё» переведен чуть ли не на все европейские языки и вызвал восторг даже у американских журналистов, которые литературу вообще считают, если она не ремесло, пустой забавой. Об Иванове установилось мнение как о новом бытописателе сибирских и монгольских окраин. Его «Партизаны», «Бронепоезд», «Голубые пески» и «Берег» происходят по ту сторону Урала и отражают не европейскую Россию, а азиатскую. В рассказах его и повестях, помимо глубокой талантливости автора, на нас веет еще и географическая свежесть. Иванов дал Сибирь по другому рисунку, чем его предшественники Мамин-Сибиряк, Шишков и Гребенщиков, и совершенно как первый писатель показал нам необычайную дикую красоту Монголии. Язык его сжат и насыщен образами, материал его произведений свеж и разносторонен. Наряду с своими рассказами и повестями он дал ряд прекрасных алтайских сказок.

Михаил Зощенко в рассказах Синебрюхова и других своих маленьких вещах волнует нас своим необычайным и метким юмором. В нем есть что-то от Чехова и от Гоголя их ранней поры. Будущее этого писателя...

<1924>

<О СМЫЧКЕ ПОЭТОВ ВСЕХ НАРОДНОСТЕЙ>

...делают смычку рабочих и крестьян, то дайте нам смычку поэтов всех народностей. Мы будем об этом писать и говорить ещё не раз. Вот поэтому-то и предстоящий сезон в литературе обещает быть шумным.

13 сентября 1924
Тифлис

КОЛЛЕКТИВНОЕ

ЗОВУЩИЕ ЗОРИ

Сценарий в 4-х частях

Поэтов: Михаила Герасимова
Сергея Есенина
Сергея Клычкова
Надежды Павлович

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Сергей Назаров. Рабочий, бывший эмигрант с революции 1905 г. Интеллиг<ент>, талантливый оратор с лицом и фигурой устремляющейся птицы. С ярко выраженной волей в глазах и складках губ. Высокого роста. В движениях вообще спокоен, но сразу изменяющийся на трибуне, где из спокойного преображается в вихревую птицу. 33 лет.

Петр Молотов. Обыкновенный квалифицированный рабочий. Среднего роста. Худощав. Стремителен. С одинаковой постоянной оживленностью в характере и движениях. Смел и восторжен. 28 лет.

Митрий Саховой. Рабочий, недавно из деревни. Кряжистый, угловатый в движениях. Внешне как будто сонлив и вял, в самом же деле очень наблюдателен и восприимчив. Добродушен и незлоблив. 40 лет.

Владимир Михайлович Рыбинцев. Интеллигент. Белокурый, с ясным, открытым лицом (немного усталым), характер постоянного искания. Это выражается даже в движениях. Бывший офицер царской службы военного времени. 28 лет.

Наташа Молотова (жена Петра Молотова). Работница ткацкой фабрики. Миловидная, но болезненная. Нервная, впечатлительная и экспансивная, занимающаяся самообразованием. 27 лет.

Вера Павловна Рыбинцева (жена Рыбинцева). Интересная, буржуазного воспитания, изнеженная, кокетливая, но не пустая женщина. 25 лет.

Марфа Молотова (мать Петра Молотова). Пятидесятилетняя старуха. С типично русским лицом деревенской женщины.

Рабочие, граждане, солдаты, юнкера, красноармейцы и белогвардейцы. Ученики студии Пролеткульта.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Канун октябрьской революции

1. Внутренность большого металлургического завода. Утро. Работа в полном ходе. На первом плане у токарного станка Молотов и Саховой. Молотов, время от времени жестикулируя, четко и отрывисто разговаривает с Саховым, который углублен в работу. Пробегает юркий, невысокого роста рабочий с кипой прокламаций и раздает их. Молотов бросает работу, подходит к Саховому в упор, кладет ему руку на плечо и трясет его, как будто хочет разбудить. Саховой смущенно стоит перед ним. Молотов читает прокламацию. То же самое происходит у других станков. Машины внезапно останавливаются. Все стремительно выходят.

2. Митинг во дворе завода. Ясный осенний день. На бочке говорит оратор. Через двор спокойно проходит к бочке Назаров. Его речь. Толпа слушает как бы загипнотизированная. Молотов узнает Назарова и показывает на него Саховому. Берет Сахового за рукав, и бегут сквозь толпу рабочих к бочке.

3. Назаров кончил говорить. Рабочие аплодируют. Он спрыгивает с бочки и попадает в объятия к Молотову, радостно и удивленно целуются. Молотов знакомит его с Саховым и, обнимая обоих, выводит их на авансцену. На бочку вскакивает другой оратор. Митинг продолжается. Назаров и Молотов, горячо прерывая друг друга, беседуют. Саховой стоит, слушает.

4. Митинг кончается. Рабочие лавиной устремляются к выходу и начинают петь «Интернационал».

5. Рабочие растекаются. Назаров, Молотов и Саховой, разговаривая, идут по улице.

6. Страстная площадь. Понуро проходят отправляющиеся на фронт роты солдат. Молотов останавливает Назарова. Показывает на них и что-то говорит.

7. Они проходят дальше. Навстречу им попадается с пулеметами взвод юнкеров и студентов. Молотов грозит им вслед кулаком.

8. Рабочий квартал. Все трое входят в квартиру Молотова.

9. Комната Молотова. Довольно скромная, но чистая обстановка. На диване лежит больная, прикрытая пальто Наташа. Молотов подводит Назарова, чтоб познакомить, к жене. Наташа приподымается, узнает Назарова как свою первую любовь и вся проясняется и говорит:

«Ах, да мы давно знакомы!»

После порыва ей становится хуже, она кашляет, хватается за грудь и снова опускается на диван. Назаров подносит ей стакан воды. Саховой укутывает ей ноги, и вместе с Молотовым бегут оба в аптеку.

10. Назаров с Наташей вдвоем. Он берет ее за руку и нежно гладит. Она с большой радостью смотрит ему в глаза и говорит ему:

«Я люблю тебя так же, как и прежде».

Назаров садится к ней на диван.

11. Входит Саховой и спокойно сообщает, что

«Пролетарская революция в Москве началась!»

Назаров вскакивает, лицо его восторженно просветляется, он прощается с Наташей, хочет уходить и на пороге сталкивается с Молотовым, который идет с лекарством и говорит взволнованно и горячо, что

«Рабочая кровь проливается! Идем туда!»

12. Молотов лезет под кровать, достает три винтовки, патронташи и ручные гранаты. Дает Саховому и Назарову. Назаров торжественно трясет винтовку в воздухе. Говорит несколько призывных фраз, и все трое торопливо выходят.

13. Наташа одна и рвется всем существом вслед за ними. Хочет встать, но в это время входит Марфа. Подходит к ней, останавливает ее и спрашивает, почему она так взволнована. Наташа говорит, что

«Началась новая революция!»

Марфа ее успокаивает.

14. Наташа встает с постели, накидывает на плечи шаль и хочет уходить. Марфа плачет. Наташа обнимает ее и утешает. Слегка прислушивается и подбегает к окну.

15. Через окно видна проходящая толпа рабочих и солдат со знаменами. Они останавливаются и образуют летучий митинг. Подъезжает грузовик, останавливается, на него вскакивает Назаров и начинает говорить, потрясая винтовкой. Наташа волнуется.

16. Она подбегает к кровати и достает из-под нее небольшое на древке знамя, энергичным жестом развертывает его, и видны слова:

«Да здравствует мировая социалистическая революция».

Она выскакивает в дверь. Марфа остается одна и плачет.

17. Наташа сквозь толпу проходит к грузовику, вспрыгивает на него к Назарову. Назаров замолкает. Она, обращаясь к толпе, говорит. Назаров дает ей винтовку. Она делает призывный жест. Автомобиль трогается.

18. Толпа разбивается на отряды. Многие заряжают винтовки.

19. Идут к Кремлю. В перспективе улицы вдали выступают очертания Кремля. Начинают свистеть пули. В рядах волнение. Назаров приказывает рассыпаться цепью и открыть огонь. Наташа ложится тоже и стреляет.

20. Другая часть рабочих вытаскивает из ворот доски, бочки, ящики и начинает строить баррикады.

21. Издали перебежками приближается к баррикаде отряд белогвардейцев. Бросают в баррикады несколько ручных гранат. Взрывы. Есть раненые.

22. Молотов вскакивает на баррикаду и тоже по направлению к наступающим бросает ручную гранату.

23. Некоторые, в том числе и Назаров, перескакивают за Молотовым за баррикады.

24. Высокий белогвардеец с винтовкой наперевес подбегает к Назарову, но между ними вырастает фигура Молотова, и удар белогвардейца штыком в грудь опрокидывает его навзничь.

25. Назаров стреляет из браунинга. Белогвардеец падает к ногам лежащего Молотова. Наташа бросается к Молотову.

26. Подъезжает большевистский броневик, белогвардейцы отступают.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Преображение

1. Внутренность Кремля. Белогвардейцы около памятника Александру II устанавливают орудия. Рыбинцев принимает участье, но время от времени глубоко задумывается. Время от времени вспыхивают шрапнельные и другие взрывы.

2. Рыбинцев отделяется и идет к Ивану Великому. Останавливается и размышляюще смотрит на группу юнкеров, которая втаскивает на колокольню Ивана Великого пулеметы.

3. Дежурная комната юнкеров. Жизнь кипит. Телефоны работают. За окнами иногда вспыхивают взрывы гранат. Рыбинцев задумчив и пассивен.

4. Рыбинцев встает и начинает говорить, агитируя за сдачу:

«Господа, наша борьба и сопротивление бесполезны. Революция все равно победит. Во имя спасения храма — красоты Кремля, — предлагаю немедленно сдаться!»

Среди юнкеров возмущение. Один выхватывает браунинг и делает жест застрелить его. Седой полковник отстраняет руку с револьвером и властно зовет патруль.

5. Входят несколько вооруженных с шашками наголо юнкеров, полковник указывает на Рыбинцева и говорит:

«Арестовать этого мерзавца!»

Рыбинцева уводят. Он идет твердо и спокойно.

6. Вечер. Рыбинцева проводят Кремлем в подвал для арестованных.

7. Маленькая подвальная с низким полукруглым сводом и небольшим окном комната. Дверь закрывается. Рыбинцев садится на один из пустых ящиков и глубоко задумывается. Темнеет.

8. Окно освещает красное зарево взрыва. Рыбинцев вздрагивает, встает и смотрит на окно. Опять темнеет. Он подходит к двери и при-

слушивается. Осторожными движениями ставит несколько ящиков один на другой и подымается к окну. Опять вспышка взрыва, во время которой он выдирает раму, осторожно спускается, ставит ее на пол и почти одним движением выскакивает в окно.

9. Темная ночь. В двух-трех местах горят костры, вокруг их темные силуэты белогвардейцев. Рыбинцев пробирается к стене со стороны Москвы-реки. Несколько шрапнельных взрывов. Он подходит к черным силуэтам орудия и зарядных ящиков, находит веревку и идет с ней к стене.

10. Прикрепляет. Спускается по ней вниз и, крадучись, идет вдоль Москвы-реки к мосту. Без фуражки.

11. На мосту его схватывает большевистский патруль и принимает за белогвардейского шпиона.

12. Его приводят на темный двор к стене, приносят факелы. Он начинает волноваться и пытается доказать, что он убежал из Кремля с целью выдать планы белогвардейцев. Начальник говорит:

«Ложь! Он шпион, расстрелять его!»

Рыбинцеву завязывают глаза. Рабочие отходят на тридцать шагов и берут ружья на прицел.

13. Быстро входит Назаров и спрашивает:

«В чем дело?»

Ему объясняют. Рыбинцев узнает его голос и называет по имени. Назаров подходит к нему и срывает повязку. Рыбинцев, тряся его руку, жестикулируя и волнуясь, рассказывает, как он бежал из Кремля из-под ареста. Достает из бокового кармана план и при свете факелов объясняет, что на утренней заре белогвардейцы произведут нападения на важные пункты. Назаров отдает распоряжение и с Рыбинцевым уходит.

14. Рыбинцев входит в парадную своей квартиры.

15. Буржуазная квартира. Рыбинцева, время от времени подходя к окну, взволнованно смотрит в ночную темноту. Входит Рыбинцев. Бледный, с растрепанными волосами и без шапки. Рыбинцева бросается обнимать его и взволнованно спрашивает:

«Что с тобой? Ты ранен?»

Он, слегка отстраняя ее, садится и, подумав немного, начинает говорить о своем духовном переломе:

«Я не могу идти против революции!»

Рыбинцева с удивлением и ужасом отскакивает от него. Энергичными жестами она выражает свое возмущение:

«Ведь это же измена!»

16. Рыбинцев сидит за столом. Жена подходит к нему, иронически улыбается и, круто повернувшись, быстро уходит. Рыбинцев вскакивает и протягивает руки, словно хочет воротить ее назад. Проводит рукой по волосам, схватывает фуражку и тоже поспешно идет к двери.

17. Московский совет. Обычный день советской работы. Рыбинцев, проходя в приемную, встречается с Назаровым. Назаров протягивает ему руку. Оба уходят в кабинет. На кабинете вывеска:

«Военный комиссар».

18. Кабинет. Разговор. Назаров предлагает Рыбинцеву пост своего помощника. Рыбинцев соглашается. Телефон звонит. Назаров у телефона.

19. Военный комиссар у прямого провода. Перед зрителем должны пройти картины боевой жизни Царицынского, Южного, Дутовского фронтов. (Предоставляется режиссеру, в зависимости от наличия интересного материала, разработать эту картину.)

20. Входит секретарь, сообщает о выступлении в городе белогвардейцев. Назаров отдает распоряжение Рыбинцеву немедленно отправиться в район выступления. Рыбинцев, уходя, пожимает руку Назарову.

21. Назаров выходит на двор, где стоят готовые броневики и грузовые автомобили с красногвардейцами.

В один из грузовиков он садится и делает знак следовать за ним остальным. Вооруженные автомобили уезжают.

22. На улице автомобили подвергаются внезапному обстрелу. Красногвардейцы рассыпаются цепью. Броневики открывают огонь из пулеметов и двигаются дальше. Рыбинцева ранят в ногу, он падает на тротуар у подъезда, из которого выглядывает испуганное лицо его жены. Рыбинцева бросается к нему. Он ее успокаивает, его уносят.

23. Квартира Рыбинцевых. Приходит доктор. Делает перевязку. Рыбинцева ухаживает за ним. Когда они остаются одни, она садится около него, гладит ему волосы. Он ей целует руку. Происходит примирение.

24. Утро. Рыбинцев читает в постели. Рыбинцева приготовляет утренний кофе. Входят Наташа и Назаров. Оба жмут руку Рыбинцеву, осведомляясь о здоровье.

25. Рыбинцев, как будто спохватившись, указывает им на жену, представляя ее. Наташа и Назаров подходят к ней и крепко пожимают ей руку. Все трое садятся пить чай у столика, стоящего у изголовья Рыбинцева. Назаров говорит с Рыбинцевым. Рыбинцева время от времени встает из-за стола и приносит им чай. Слушая Назарова, Рыбинцева застывает с чашкой в руке. Наташа весело улыбается, глядя на Рыбинцева и Назарова. В Рыбинцевой скрытая горечь и борьба. Они расстаются друзьями.

26. Рыбинцева приходит к Наташе на квартиру. Наташа показывает ей первомайское знамя, вышитое ею. Приглашает ее идти вместе на демонстрацию.

Они весело уходят. Марфа укоризненно покачивает головой, закрывая за ними дверь.

27. Первомайская демонстрация 1918 года. (Использовать имеющийся в наличии интересный материал.)

28. Назаров встречается в толпе с Наташей и Рыбинцевой.

29. Они проходят мимо московского Пролеткульта. Назаров показывает им на здание. Они входят.

Занавес

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Пролеткульт

1. Мраморная зала. Вечер. Назаров и Рыбинцева сидят на мраморной скамейке. Он говорит ей о красоте, порывах и стремлениях рабочей души. Она пожимается, как от холода, время от времени недоверчиво на него взглядывает. Назаров, увлекаясь, подходит к статуе Венеры и говорит:

«Рабочая душа также способна воспринимать, чувствовать и созерцать красоту!..»

2. Назаров и Рыбинцева идут в столовую, где происходит литературная беседа и диспут учеников литературной студии московского Пролеткульта. Они садятся и слушают.

3. Рабочий поэт М. Герасимов читает свои стихи.

Текст стихотворения

Труба, как факел надмогильный,
Кадит безмерно в небеса,
Но все живей сквозь дым кадильный
Звезд златоокая краса.

На наши поднятые лица
От пыли, пепла и углей
Сквозь светозарные ресницы
Улыбки ласково пролей.

На быстролетное мгновенье
Взлететь от горнов в звездный храм.
Машина, оборви гуденье!
Дай хор светил послушать нам.

А небо, чем земля печальней,
Притягивает и манит.
Какая сила в блеске дальнем,
Какой невиданный магнит!

Какие струны в струях млечных,
Каких миров крылатый клич!
Чудесный звон симфоний вечных
Не охватить и не постичь.

Как черный дождь, слетает сажа,
Сирены окрик дик и груб.
Застыли на могильной страже
Под дымным крепом пики труб.

На плащанице звездных гроздий
Лежит луны холодный труп.
И, как заржавленные гвозди,
Вонзились в небо сотни труб.

4. Рыбинцева напряженно слушает. Перед ней возникает образ ночного завода, где на первом плане стоит она и Назаров, который указывает ей на звезды. Завод весь в огнях и дыме.

5. Начинается горячий диспут, в котором принимает участие и Назаров.

6. После Назаров ведет ее в большое зало, где происходят студийные работы ритмической гимнастики рабочих. Рыбинцева удивленно осматривает танцующих. Назаров ее увлекает дальше.

7. В студии живописи.

8. В студии скульптуры.

9. Они возвращаются в мраморную залу. Рыбинцева взволнована всем увиденным. Назаров говорит с энтузиазмом о творчестве рабочих. Он весь загорается. Рыбинцева, потрясенная его словами и в то же время восхищаясь им, говорит ему:

«Я полюбила ваши порывы».

Он кажется ей героем будущего, ей чудится в нем воплощение творческих сил, заложенных в пролетариате. Он слушает ее растроганный и жмет ей обе руки. Он говорит:

«Я люблю мир, люблю людей, люблю саму любовь, но полюблю только ту женщину, которая способна умереть за свободу человечества».

10. Назаров и Рыбинцева идут площадью Революции. Им попадается конвой красноармейцев, ведущий попа и нескольких буржуев. Рыбинцева останавливает Назарова и показывает пальцем укоризненно. Они выходят на Красную площадь. Рыбинцева указывает на Лобное место, говорит, что по-прежнему льется кровь, что революция по-прежнему несет ужасы террора. Назаров видит афишу на балюстраде Лобного места, на которой написано:

Митинг: «Грядущий мир»
Участвуют тт. Назаров...

Назаров предлагает пойти вместе с ним туда, говоря, что там она почувствует смысл, и чаяния, и огонь Революции. Рыбинцева соглашается, они идут.

11. Театральная площадь. Рыбинцева покупает розу и прикалывает ее Назарову. Подъезжает трамвай. Они садятся и едут на митинг.

12. Назаров и Рыбинцева подходят к заводу. Вход украшен красными флагами и знаменами. Толпы рабочих вливаются в ворота завода. Рыбинцева боязливо оглядывается и, крепко держа под руку Назарова, входит за ним.

13. Зал митинга. На трибуну входит Назаров, Рыбинцева на переднем плане. Во время речи Назарова она волнуется и рвется за его словами. Она в словах Назарова видит картины грядущего.

14. «Вот оно, царство свободы, вот дворец рабочих».

(Картина дворца.)

15. «Мы будем веселиться беспечно, как дети, мы будем плясать на зеленых лугах вокруг изваянья Свободы».

Картина изображает рабочий праздник на лугу, на берегу озера. Фон — фабричные недымящиеся трубы. Танцы грядущего вокруг статуи Свободы.

16. «Голодных не будет — дворцы питания вместят всех».

Общественная столовая, полная народа. Величественный зал, роскошная сервировка и избыток продовольствия.

17. «Работа будет нашим отдыхом, спортом, укрепляющим дух и тело, а не проклятьем».

Дворец работы. На башне часы показывают одиннадцать. Рабочие, хорошо одетые, стекаются к дворцу.

18. Вестибюль дворца работы. Рабочие переодеваются в чистые блузы. Идут в рабочую читальню.

19. Рабочая читальня. Книги. Газеты. Журналы.

20. Часы. Стрелка показывает 12. Часы бьют «Интернационал».

21. Внутренность завода-дворца, украшенная зеленью (пальмами, цветами). Входят рабочие и начинают работать у станков.

22. Часы. Стрелка показывает 3. Часы бьют «Интернационал».

23. Дворец. Выход рабочих.

24. Митинг кончается. Рабочие после аплодисментов Назарову расходятся. Остаются Рыбинцева и Назаров. Рыбинцева подходит к Назарову и говорит, что ей хочется поцеловать те уста, которые говорят такие хорошие слова. Назаров берет с груди своей розу и втыкает ее между шестерен машины. Рыбинцева подходит и жмет его руку.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

На фронт мировой революции

1. Коммуна. Простая, но приветливая квартира. Саховой, Наташа, Назаров, Рыбинцева и многие другие. Сидят за столом с чайным прибором. Идет оживленная, веселая беседа.

2. Входит Рыбинцев с газетой в руках, плохо сложенной, видно, что читал на ходу. На газете виден заголовок:

«ПРАВДА»
«МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
РАЗГОРЕЛАСЬ В ГРОМАДНЫЙ ПОЖАР»

Все тянутся к газете. У Рыбинцева радостное лицо. Он указывает на заголовок.

3. Саховой встает из-за стола, уходит в угол, как будто что-то соображая, потом снимает со стены винтовку и осматривает ее.

«Куда ты, Саховой?» —

спрашивают его. Саховой мнется, потом выпаливает:

«А на фронт».

4. Все вскакивают.

«Он прав», —

говорит Назаров. Наташа вытаскивает из сундука красноармейский костюм. Рыбинцев и Назаров оживленно просматривают газету, делясь впечатлениями. Рыбинцева одинока, видимо, в ней снова происходит внутренняя работа и мучительная борьба. Она время от времени порывается к Наташе, но каждый раз энергичным жестом как бы останавливает себя на полуслове.

5. Назаров отошел от Рыбинцева. Подходит к Саховому. Хлопает его по плечу и пожимает ему руку. Саховой говорит ему:

«Ты приехал из-за границы, и твое место там».

Назаров коротко думает и говорит решительно:

«Да, я еду за границу. Я там нужнее, так как там главный фронт социалистической революции».

6. Все уходят, кроме Рыбинцевой и Назарова. Она просит его взять с собой, не отрывать ее душу от своей.

«Я владею хорошо французским и немецким языками, я буду всюду с тобой, агитировать, сражаться, умирать, если нужно, только возьми меня, я так тебя люблю, милый!»

После краткого раздумья он говорит решительно и властно:

«Нет! Если ты действительно переродилась и веришь в социализм, иди с ними на фронт!»

7. Пристань. Пароход дает последние гудки и медленно отчаливает. На палубе Назаров, он кланяется. Скорбная фигурка Рыбинцевой

вздрагивает, она машет платком, как чайка крылом. Пароход исчезает.

8. Рыбинцева долго еще стоит, как скорбная мадонна на фоне моря. Вдруг вспыхивает, преображается от внутреннего огня и твердыми шагами уходит.

9. Квартира Наташи. Рыбинцева и Наташа собираются красноармейками на фронт. Мать Наташи Марфа плачет, уговаривает их не делать этого безумия, не лезть смерти в лапы.

10. Улица перед вокзалом. Проезжает артиллерия, пулеметы, броневики. Красная Армия пешая и на конях. Знамена, плакаты.

11. Пение толпой и войсками «Интернационала», торжественное и воодушевленное. В это время проходит рота, в первых рядах которой Рыбинцева, Наташа, Саховой. Рыбинцев впереди командиром.

Конец — с концом «Интернационала».

<1918>

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ И МАНИФЕСТЫ

Декларация

Вы — поэты, живописцы, режиссеры, музыканты, прозаики.

Вы — ювелиры жеста, разносчики краски и линии, гранильщики слова.

Вы — наемники красоты, торгаши подлинными строфами, актами, картинами.

Нам стыдно, стыдно и радостно от сознания, что мы должны сегодня прокричать вам старую истину. Но что делать, если вы сами не закричали ее? Эта истина кратка, как любовь женщины, точна, как аптекарские весы, и ярка, как стосильная электрическая лампочка.

Скончался младенец, горластый парень десяти лет от роду (родился 1909 — умер 1919). Издох футуризм. Давайте грянем дружнее: футуризму и футурью — смерть. Академизм футуристических догматов, как вата, затыкает уши всему молодому. От футуризма тускнеет жизнь.

О, не радуйтесь, лысые символисты, и вы, трогательно наивные пассеисты. Не назад от футуризма, а через его труп вперед и вперед, левей и левей кличем мы.

Нам противно, тошно от того, что вся молодежь, которая должна искать, приткнулась своею юностью к мясистым и увесистым соскам футуризма, этой горожанке, которая, забыв о своих буйных годах, стала «хорошим тоном», привилегией дилетантов. Эй, вы, входящие после нас в непротоптанные пути и перепутья искусства, в асфальтированные проспекты слова, жеста, краски. Знаете ли вы, что такое футуризм: это босоножка от искусства, это ницшеанство формы, это замаскированная современностью надсоновщина.

Нам смешно, когда говорят о содержании искусства. Надо долго учиться быть безграмотным для того, чтобы требовать: «Пиши о городе».

Тема, содержание — эта слепая кишка искусства — не должны выпирать, как грыжа, из произведений. А футуризм только и делал, что за всеми своими заботами о форме, не желая отстать от парнаса и символистов, говорил о форме, а думал только о содержании. Все его внимание было устремлено, чтобы быть «погородскее». И вот настает час расплаты. Искусство, построенное на содержании, искусство,

опирающееся на интуицию (аннулировать бы эту ренту глупцов), искусство, обрамленное привычкой, должно было погибнуть от истерики. О, эта истерика сгнаивает футуризм уже давно. Вы, слепцы и подражатели, плагиаторы и примыкатели, не замечали этого процесса. Вы не видели гноя отчаяния, и только теперь, когда у футуризма провалился нос новизны, — и вы, черт бы вас побрал, удосужились разглядеть.

Футуризм кричал о солнечности и радостности, но был мрачен и угрюм.

Оптовый склад трагизма и боли. Под глазами мозоли от слез.

Футуризм, звавший к арлекинаде, пришел к зимней мистике, к мистерии города. Истинно говорим вам: никогда еще искусство не было так близко к натурализму и так далеко от реализма, как теперь, в период третичного футуризма.

Поэзия: надрывная нытика Маяковского, поэтическая похабщина Крученых и Бурлюка, в живописи — кубики да переводы Пикассо на язык родных осин, в театре — кукиш, в прозе — нуль, в музыке — два нуля (00 — свободно).

Вы, кто еще смеет слушать, кто из-за привычки «чувствовать» не разучился мыслить, забудем о том, что футуризм существовал, так же как мы забыли о существовании натуралистов, декадентов, романтиков, классиков, импрессионистов и прочей дребедени. К чертовой матери всю эту галиматью.

42-сантиметровыми глотками на крепком лафете мускульной логики мы, группа имажинистов, кричим вам свои приказы.

Мы, настоящие мастеровые искусства, мы, кто отшлифовывает образ, кто чистит форму от пыли содержания лучше, чем уличный чистильщик сапоги, утверждаем, что единственным законом искусства, единственным и несравненным методом является выявление жизни через образ и ритмику образов. О, вы слышите в наших произведениях верлибр образов.

Образ, и только образ. Образ — ступнями от аналогий, параллелизмов — сравнения, противоположения, эпитеты сжатые и раскрытые, приложения политематического, многоэтажного построения — вот орудие производства мастера искусства. Всякое иное искусство — приложение к «Ниве». Только образ, как нафталин, пересыпающий произведение, спасает это последнее от моли времени. Образ — это броня строки. Это панцирь картичы. Это крепостная артиллерия театрального действия.

Всякое содержание в художественном произведении так же глупо и бессмысленно, как наклейки из газет на картины. Мы проповедуем самое точное и ясное отделение одного искусства от другого, мы защищаем дифференциацию искусств.

Мы предлагаем изображать город, деревню, наш век и прошлые века — это все к содержанию, это нас не интересует, это разберут

критики. Передай что хочешь, но современной ритмикой образов. Говорим современной, потому что мы не знаем прошлой, в ней мы профаны, почти такие же, как и седые пассеисты.

Мы с категорической радостью заранее принимаем все упреки в том, что наше искусство головное, надуманное, с потом работы. О, большего комплимента вы не могли нам придумать, чудаки. Да. Мы гордимся тем, что наша голова не подчинена капризному мальчишке — сердцу. И мы полагаем, что если у нас есть мозги в башке, то нет особенной причины отрицать существование их. Наше сердце и чувствительность мы оставляем для жизни и в вольное, свободное творчество входим не как наивно отгадавшие, а как мудро понявшие. Роль Колумбов с широко раскрытыми глазами, Колумбов поневоле, Колумбов из-за отсутствия географических карт — нам не по нутру.

Мы безраздельно и императивно утверждаем следующие материалы для творцов.

Поэт работает словом, беромым только в образном значении. Мы не хотим, подобно футуристам, морочить публику и заявлять патент на словотворчество, новизну и пр., и пр., и пр., потому что это обязанность всякого поэта, к какой бы школе он ни принадлежал.

Прозаик отличается от поэта только ритмикой своей работы.

Живописцу — краска, преломленная в зеркалах (витрин или озер) фактура.

Всякая наклейка посторонних предметов, превращающая картину в окрошку, — ерунда, погоня за дешевой славой.

Актер — помни, что театр не инсценировочное место литературы. Театру — образ движения. Театру — освобождение от музыки, литературы и живописи. Скульптору — рельеф, музыканту... музыканту ничего, потому что музыканты и до футуризма еще не дошли. Право, это профессиональные пассеисты.

Заметьте: какие мы счастливые. У нас нет философии. Мы не выставляем логики мыслей. Логика уверенности сильнее всего.

Мы не только убеждены, что мы одни на правильном пути, мы знаем это. Если мы не призываем к разрушению старины, то только потому, что уборкой мусора нам некогда заниматься. На это есть гробокопатели, шакалы футуризма.

В наши дни квартирного холода — только жар наших произведений может согреть души читателей, зрителей. Им, этим восприемникам искусства, мы с радостью дарим всю интуицию восприятия. Мы можем быть даже настолько снисходительны, что попозже, когда ты, очумевший и еще бездарный читатель, подрастешь и поумнеешь, — мы позволим тебе даже спорить с нами.

От нашей души, как от продовольственной карточки искусства, мы отрезаем майский, весенний купон. И те, кто интенсивнее живет, кто живет по первым двум категориям, те многое получат на наш манифест.

Если кому-нибудь не лень — создайте философию имажинизма, объясните с какой угодно глубиной факт нашего появления. Мы не знаем, может быть, оттого, что вчера в Мексике был дождь, может быть, оттого, что в прошлом году у вас ощенилась душа, может быть, еще от чего-нибудь, — но имажинизм должен был появиться, и мы горды тем, что мы его оруженосцы, что нами, как плакатами, говорит он с вами.

Передовая линия имажинистов.

Поэты: *Сергей Есенин, Рюрик Ивнев, Анатолий Мариенгоф, Вадим Шершеневич.*

Художники: *Борис Эрдман, Георгий Якулов.*

Музыканты, скульпторы и прочие: ау?

<*1919*>

Манифест

Мы, верховные мастера ордена имажинистов, непрестанно пребывая в тяжких заботах о судьбах нашего стиха российского и болея неразумением красот поэтических форм любезными нам современниками, в тысячный раз громогласно возвещаем чрез тело своих творений о первенстве перед прочим всем в словесном материале силы образа.

В тысячный раз мы выдвигаем значение формы, которая сама по себе есть прекрасное содержание и органическое выявление художника.

Принося России и миру дары своего вдохновенного изобретательства, коему суждено перестроить и разделить орбиту творческого воображения, мы устанавливаем два непреложных пути для следования словесного искусства:

1) пути бесконечности через смерть, т. е. одевания всего текучего в холод прекрасных форм, и

2) пути вечного оживления, т. е. превращения окаменелости в струение плоти.

Всякому известно имя строителя тракта первого и имя строителя тракта второго.

Созрев на почве родины своего языка без искусственного орошения западнических стремлений, одевавших российских поэтов то в романтические плащи Байрона и Гете, то в комедиантские тряпки мистических символов, то в ржавое железо урбанизма, что низвело отечественное искусство на степень раболепства и подражательности, мы категорически отрицаем всякое согласие с формальными достижениями Запада и не только не мыслим в какой-либо мере признания его гегемонии, но сами упорно готовим великое нашествие на старую культуру Европы.

Поэтому первыми нашими врагами в отечестве являются доморощенные Верлены (Брюсов, Белый, Блок и др.), Маринетти (Хлебников, Крученых, Маяковский), Верхарнята (пролетарские поэты — имя им легион).

Мы — буйные зачинатели эпохи Российской поэтической независимости. Только с нами Русское искусство вступает впервые в сознательный возраст.

Сергей Есенин.
Анатолий Мариенгоф.
Дан: в городе Москве
12 сентября 1921 года.

Восемь пунктов

1

На обвинение: — Поэты являются деклассированным элементом! — надо отвечать утвердительно:

— Да, нашей заслугой является то, что мы УЖЕ деклассированы. К деклассации естественно стремятся классы и социальные категории. Осознание класса есть только та лестница, по которой поднимаются к следующей фазе победного человечества: **к единому классу.** Есть деклассация в сторону другого класса — явление регрессивное; есть деклассация в сторону внеклассовости, базирующейся на более новых формах общества; **эта деклассация — явление прогрессивное.** Да, мы деклассированы потому, что мы уже прошли через период класса и классовой борьбы.

2

Аэроплан летит в воздушном пространстве, оторвавшись от земли. Земля нужна ему как точка, от которой он отталкивается. Без земли не было бы полета. Аналогия: искусству **быт нужен только как отправная точка.** Но заставьте искусство валандаться в быте, и вы получите прекрасный аэроплан, который перевозит по земле (некоторые зовут его трамваем).

3

Поспешным шагом создается новое «красное эстетизирование». Маркизы, пастушки, свирели — каноны сентиментальной эпохи. Машины и сумбур — эстетические привычки буржуазно-футуристической эпохи. **Серп, молот, мы, толпа, красный, баррикады — такие же**

атрибуты красного эстетизирования. Примета зловещая. Фабрикаты штампа. Об аэропланах легко писать теперь, надо об них было писать до изобретения. Легко сейчас воспевать серп и молот. Надо было до революции. Эстетизирование не в том, что воспевать (красивость маркизы не более эстетична, чем красивость баррикад); **эстетизирование в том, что воспеваются внешне модные предметы с внешне модной точки зрения.**

4

Упреки — ваше искусство не нужно пролетариату — построены на основании ошибки с марксистской точки зрения: смешивается пролетариат с отдельными рабочими. **То, что не надо Сидорову или Иванову, может быть, как раз нужно пролетариату.** Если встать на точку зрения: это не нужно пролетариату потому, что 100 Ивановых это сказали, поведет к выводу, что пролетариату никакое искусство не нужно: часть рабочих и солдат разорвала гобелены Зимнего дворца на портянки — следовательно, старое не нужно. Часть рабочих отозвалась отрицательно о новом искусстве, следовательно, оно тоже не нужно. То, что нужно пролетариату в 1924 году, выяснится пролетариатом в 2124 году. История учит терпению. **Споры в этой области — прогноз гадалки.**

5

Протестуете против бытописательства? — Да! За что вы? — За быт! Разъясняем:

Быт можно фотографировать — точка зрения натуралистов и «пролетарствующих» поэтов. Быт можно систематизировать — точка зрения футуристов. **Быт надо идеализировать и романтизировать — наша точка зрения.** Мы романтики потому, что мы не протоколисты. Мы наряду с лозунгом: «Борьба за новый быт» выдвигаем лозунг: «Борьба за новое мироощущение».

6

Работа человека складывается из двух моментов: 1) так называемой работы (производство), которая служит непосредственной выработке и которую ограничивают пока 8-ми часовым днем, а потом ограничат и 2-х часовым и 2) **Работы, которая производится беспрестанно в психике (умственная),** которую нельзя ограничить никаким декретом охраны труда, кроме декрета смерти. Помогать первой работе взялись производственники. **Обслуживать** вторую — **беремся мы.**

7

К спору о том: что поэт такой же человек, как все, или он избранник? — Арабский скакун такой же конь, как и все извощичьи лошади. Но почему-то на скачках он бывает впереди других. Кстати: не напоминают ли пролетарствующий **«Леф»** и литературные октябристы из **«На посту» — потемкинские деревни.**

Мы предпочтем даже тундровые мхи Петербургской академии пирамидальным тополям из войлока и мочалы футуро-коммунэров.

8

Октябрьская революция освободила рабочих и крестьян. Творческое сознание еще не перешагнуло 61-ый год.

Имажинизм борется за отмену крепостного права сознания и чувства.

Анатолий Мариенгоф
Вадим Шершеневич
Николай Эрдман
Рюрик Ивнев
Сергей Есенин

Ввиду расхождения с некоторыми выдвигаемыми здесь положениями под *пунктами* отсутствует несколько имажинистских подписей.

<*1924*>

АВТОБИОГРАФИИ

* * *

Есенин Сергей Ал<ександрович>, сын крестьянина Рязанской губ<ернии> и уез<да>, села Константинова Кузьминской волости. Родился в 1895 г. 21 сентября.

Образование получил в учительской школе и два года слушал лекции в Университете Шанявского. Стихи начал писать с 8 лет. Печататься начал 18 лет. Книга вышла через год, как появились стихи, под назван<ием> «Радуница», изд<ание> Аверьянова 1916 г.

<1916>

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Я сын крестьянина. Родился в 1895 году 21 сентября в Рязанской губернии, Рязанского уезда, Кузьминской волости.

С двух лет, по бедности отца и многочисленности семейства, был отдан на воспитание довольно зажиточному деду по матери, у которого было трое взрослых неженатых сыновей, с которыми протекло почти все мое детство. Дядья мои были ребята озорные и отчаянные. Трех с половиной лет они посадили меня на лошадь без седла и сразу пустили в галоп. Я помню, что очумел и очень крепко держался за холку.

Потом меня учили плавать. Один дядя (дядя Саша) брал меня в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня белье и, как щенка, бросал в воду. Я неумело и испуганно плескал руками, и, пока не захлебывался, он все кричал: «Эх, стерва! Ну куда ты годишься?» «Стерва» у него было слово ласкательное. После, лет восьми, другому дяде я часто заменял охотничью собаку, плавая по озерам за подстреленными утками. Очень хорошо я был выучен лазить по деревьям. Из мальчишек со мной никто не мог тягаться. Многим, кому грачи в полдень после пахоты мешали спать, я снимал гнезда с берез, по гривеннику за штуку. Один раз сорвался, но очень удачно, оцарапав только лицо и живот да разбив кувшин молока, который нес на косьбу деду.

Средь мальчишек я всегда был коноводом и большим драчуном и ходил всегда в царапинах. За озорство меня ругала только одна бабка,

а дедушка иногда сам подзадоривал на кулачную и часто говорил бабке: «Ты у меня, дура, его не трожь! Он так будет крепче».

Бабушка любила меня изо всей мочи, и нежности ее не было границ. По субботам меня мыли, стригли ногти и гарным маслом гофрили голову, потому что ни один гребень не брал кудрявых волос. Но и масло мало помогало. Всегда я орал благим матом и даже теперь какое-то неприятное чувство имею к субботе.

По воскресеньям меня всегда посылали к обедне и, чтобы проверить, что я был за обедней, давали 4 копейки: две копейки за просфору и две за выемку частей священнику. Я покупал просфору и вместо священника делал на ней перочинным ножом три знака, а на другие две копейки шел на кладбище играть с ребятами в свинчатку.

Так протекало мое детство. Когда же я подрос, из меня очень захотели сделать сельского учителя и потому отдали в закрытую церковно-учительскую школу, окончив которую шестнадцати лет, я должен был поступить в Московский учительский институт. К счастью, этого не случилось. Методика и дидактика мне настолько осточертели, что я и слушать не захотел.

Стихи я начал писать рано, лет девяти, но сознательное творчество отношу к 16—17 годам. Некоторые стихи этих лет помещены в «Радунице».

Восемнадцати лет я был удивлен, разослав свои стихи по журналам, тем, что их не печатают, и неожиданно грянул в Петербург. Там меня приняли весьма радушно. Первый, кого я увидел, был Блок, второй — Городецкий. Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот, потому что в первый раз видел живого поэта. Городецкий меня свел с Клюевым, о котором я раньше не слыхал ни слова. С Клюевым у нас завязалась, при всей нашей внутренней распре, большая дружба, которая продолжается и посейчас, несмотря на то, что мы шесть лет друг друга не видели.

Живет он сейчас в Вытегре, пишет мне, что ест хлеб с мякиной, запивая пустым кипятком и моля Бога о непостыдной смерти.

За годы войны и революции судьба меня толкала из стороны в сторону. Россию я исколесил вдоль и поперек, от Северного Ледовитого океана до Черного и Каспийского моря, от Запада до Китая, Персии и Индии.

Самое лучшее время в моей жизни считаю 1919 год. Тогда мы зиму прожили в 5 градусах комнатного холода. Дров у нас не было ни полена.

В РКП я никогда не состоял, потому что чувствую себя гораздо левее.

Любимый мой писатель — Гоголь.

Книги моих стихов: «Радуница», «Голубень», «Преображение», «Сельский часослов», «Трерядница», «Исповедь хулигана» и «Пугачев».

Сейчас работаю над большой вещью под названием «Страна Негодяев».

В России, когда там не было бумаги, я печатал свои стихи вместе с Кусиковым и Мариенгофом на стенах Страстного монастыря или читал просто где-нибудь на бульваре. Самые лучшие поклонники нашей поэзии — проститутки и бандиты. С ними мы все в большой дружбе. Коммунисты нас не любят по недоразумению.

За сим всем читателям моим нижайший привет и маленькое внимание к вывеске: «Просят не стрелять!»

14 мая 1922
Берлин

АВТОБИОГРАФИЯ

Родился 1895 г. 3 октября. Сын крестьянина Рязанской губ<ернии>, Рязанского уезда, села Константинова.

Детство прошло среди полей и степей. Рос под призором бабки и деда.

Бабка была религиозная, таскала меня по монастырям. Дома собирала всех увечных, которые поют по русским селам духовные стихи от «Лазаря» до «Миколы». Рос озорным и непослушным, был драчун. Дед иногда сам заставлял драться, чтобы крепче был.

Стихи начал слагать рано. Толчки давала бабка. Она рассказывала сказки. Некоторые сказки с плохими концами мне не нравились, и я их переделывал на свой лад. Стихи начал писать, подражая частушкам.

В Бога верил мало. В церковь ходить не любил. Дома это знали и, чтоб проверить меня, давали 4 копейки на просфору, которую я должен был носить в алтарь священнику на ритуал вынимания частей. Священник делал на просфоре 3 надреза и брал за это 2 копейки. Потом я научился делать эту процедуру сам перочинным ножом, а 2 коп<ейки> клал в карман и шел играть на кладбище к мальчишкам, играть в бабки. Один раз дед догадался. Был скандал. Я убежал в другое село к тетке и не показывался до той поры, пока не простили.

Учился в закрытой учительской школе.

Дома хотели, чтоб я был сельским учителем.

Когда отвезли в школу, я страшно скучал по бабке и однажды убежал домой за 100 с лишним верст пешком.

Дома выругали и отвезли обратно.

После школы с 16 лет до 17 жил в селе. 17 лет уехал в Москву и поступил вольнослушателем в Университет Шанявского. 19 лет попал в Петербург проездом в Ревель к дяде. Зашел к Блоку, Блок свел с Городецким, а Городецкий с Клюевым. Стихи мои произвели большое впечатление.

Все лучшие журналы того времени (1915) стали печатать меня, а осенью (1915) появилась моя первая книга «Радуница». О ней много писали. Все в один голос говорили, что я талант.

Я знал это лучше других.

За «Радуницей» я выпустил «Голубень», «Преображение», «Сельский часослов», «Ключи Марии», «Трерядницу», «Исповедь хулигана», «Пугачев». Скоро выйдет из печати «Страна Негодяев» и «Москва кабацкая».

В революции был отмечен Троцким как попутчик.

Крайне индивидуален.

Со всеми устоями на советской платформе.

В 1916 году был призван на военную службу. При некотором покровительстве полковника Ломана, адъютанта императрицы, был представлен ко многим льготам. Жил в Царском недалеко от Разумника Иванова. По просьбе Ломана однажды читал стихи императрице. Она после прочтения моих стихов сказала, что стихи мои красивые, но очень грустные. Я ответил ей, что такова вся Россия. Ссылался на бедность, климат и проч<ее>.

Революция застала меня на фронте в одном из дисциплинарных батальонов, куда угодил за то, что отказался написать стихи в честь царя. Отказывался, советуясь и ища поддержки в Иванове-Разумнике.

В революцию покинул самовольно армию Керенского и, проживая дезертиром, работал с эсерами не как партийный, а как поэт.

При расколе партии пошел с левой группой и в октябре был в их боевой дружине.

Вместе с советской властью покинул Петроград.

В Москве 18 года встретился с Мариенгофом, Шершеневичем и Ивневым.

Назревшая потребность в проведении в жизнь силы образа натолкнула нас на необходимость опубликования манифеста имажинистов. Мы были зачинателями новой полосы в эре искусства, и нам пришлось долго воевать.

Во время нашей войны мы переименовывали улицы в свои имена и раскрасили Страстной монастырь в слова своих стихов.

19—20—21 <годы> ездил по России: Мурман, Соловки, Архангельск, Туркестан, Киргизские степи, Кавказ, Персия, Украина и Крым.

В 22 году вылетел на аэроплане в Кенигсберг. Объездил всю Европу и Северную Америку.

Доволен больше всего тем, что вернулся в Советскую Россию.

Что дальше — будет видно.

<*1923*>

АВТОБИОГРАФИЯ

Я родился в 1895 году 21 сент<ября> в селе Константинове Кузьминской волости, Рязанской губ<ернии> и Ряз<анского> уез<да>. Отец мой — крестьянин Александр Никитич Есенин, мать — Татьяна Федоровна.

Детство провел у деда и бабки по матери, в другой части села, которое наз<ывается> Матово.

Первые мои воспоминания относятся к тому времени, когда мне было три-четыре года.

Помню: лес, большая канавистая дорога. Бабушка идет в Радовецкий монастырь, который от нас верстах в 40. Я, ухватившись за ее палку, еле волочу от усталости ноги, а бабушка все приговаривает: «Иди, иди, ягодка, Бог счастье даст».

Часто собирались у нас дома слепцы, странствующие по селам, пели духовные стихи о прекрасном рае, о Лазаре, о Миколе и о Женихе, светлом госте из града неведомого.

Нянька, старуха-приживальщица, которая ухаживала за мной, рассказывала мне сказки, все те сказки, которые слушают и знают все крестьянские дети.

Дедушка пел мне песни старые, такие тягучие, заунывные. По субботам и воскресным дням он рассказывал мне Библию и Священную историю.

Уличная же моя жизнь была не похожа на домашнюю. Сверстники мои были ребята озорные. С ними я лазил вместе по чужим огородам. Убегал дня на 2—3 в луга и питался вместе с пастухами рыбой, которую мы ловили в маленьких озерах, сначала замутив воду, руками, или выводками утят.

После, когда я возвращался, мне частенько влетало.

В семье у нас был припадочный дядя, кроме бабки, деда и моей няньки. Он меня очень любил, и мы часто ездили с ним на Оку поить лошадей. Ночью луна при тихой погоде стоит стоймя в воде. Когда лошади пили, мне казалось, что они вот-вот выпьют луну, и радовался, когда она вместе с кругами отплывала от их ртов.

Когда мне сравнялось 12 лет, меня отдали учиться из сельской земской школы в учительскую школу. Родные хотели, чтоб из меня вышел сельский учитель. Надежды их простирались до института, к счастью моему, в который я не попал.

Стихи писать начал лет с 9, читать выучили в 5. Влияние на мое творчество в самом начале имели деревенские частушки. Период учебы не оставил на мне никаких следов, кроме крепкого знания церковнославянского языка. Это все, что я вынес.

Остальным занимался сам под руководством некоего Клеменова. Он знакомил меня с новой литературой и объяснял, почему нужно

кое в чем бояться классиков. Из поэтов мне больше всего нравился Лермонтов и Кольцов. Позднее я перешел к Пушкину.

1913 г. я поступил вольнослушателем в Университет Шанявского. Пробыв там 1 1/2 года, должен был уехать обратно, по материальным обстоятельствам, в деревню.

В это время у меня была написана книга стихов «Радуница». Я послал из них некоторые в петербургские журналы и, не получая ответа, поехал туда сам. Приехал, отыскал Городецкого. Он встретил меня весьма радушно. Тогда на его квартире собирались почти все поэты. Обо мне заговорили, и меня начали печатать чуть ли не нарасхват.

Печатался я: «Русская мысль», «Жизнь для всех», «Ежемесячный журнал» Миролюбова, «Северные записки» и т. д. Это было весной 1915 г. А осенью этого же года Клюев мне прислал телеграмму в деревню и просил меня приехать к нему.

Он отыскал мне издателя М. В. Аверьянова, и через несколько месяцев вышла моя первая книга «Радуница». Вышла она в ноябре 1915 г. с пометкой 1916 г.

В первую пору моего пребывания в Петербурге мне часто приходилось встречаться в Блоком и Ивановым-Разумником, позднее с Андреем Белым.

Первый период революции встретил сочувственно, но больше стихийно, чем сознательно.

1917 году произошла моя первая женитьба на З. Н. Райх.

1918 году я с ней расстался, и после этого началась моя скитальческая жизнь, как и всех россиян за период 1918—1921. За эти годы я был в Туркестане, на Кавказе, в Персии, в Крыму, в Бессарабии, в оренбургских степях, на мурманском побережье, в Архангельске и Соловках.

1921 г. я женился на А. Дункан и уехал в Америку, предварительно исколесив всю Европу, кроме Испании.

После заграницы я смотрю на страну свою и события по-другому. Наше едва остывшее кочевье мне не нравится. Мне нравится цивилизация, но я очень не люблю Америки. Америка — это тот смрад, где пропадает не только искусство, но и вообще лучшие порывы человечества.

Если сегодня держат курс на Америку, то я готов тогда предпочесть наше серое небо и наш пейзаж: изба немного вросла в землю, прясло, из прясла торчит огромная жердь, вдалеке машет хвостом на ветру тощая лошаденка. Это не то что небоскребы, которые дали пока что только Рокфеллера и Маккормика, но зато это то самое, что растило у нас Толстого, Достоевского, Пушкина, Лермонтова и др.

Прежде всего я люблю выявление органического. Искусство для меня не затейливость узоров, а самое необходимое слово того языка, которым я хочу себя выразить. Поэтому основанное в 1919 году тече-

ние имажинизм, с одной стороны, мной, а с другой — Шершеневичем, хоть и повернуло формально русскую поэзию по другому руслу восприятия, но зато не дало никому еще права претендовать на талант. Сейчас я отрицаю всякие школы. Считаю, что поэт и не может держаться определенной какой-нибудь школы. Это его связывает по рукам и ногам. Только свободный художник может принести свободное слово.

Вот все то короткое, схематичное, что касается моей биографии. Здесь не все сказано, но, я думаю, мне пока еще рано подводить какие-либо итоги себе. Жизнь моя и мое творчество еще впереди.

20 июня 1924

О СЕБЕ

Родился в 1895 году, 21 сентября, в Рязанской губернии, Рязанского уезда, Кузьминской волости, в селе Константинове.

С двух лет был отдан на воспитание довольно зажиточному деду по матери, у которого было трое взрослых неженатых сыновей, с которыми протекло почти все мое детство. Дядья мои были ребята озорные и отчаянные. Трех с половиной лет они посадили меня на лошадь без седла и сразу пустили в галоп. Я помню, что очумел и очень крепко держался за холку. Потом меня учили плавать. Один дядя (дядя Саша) брал меня в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня белье и, как щенка, бросал в воду. Я неумело и испуганно плескал руками, и, пока не захлебывался, он все кричал: «Эх! Стерва! Ну куда ты годишься?» «Стерва» у него было слово ласкательное. После, лет восьми, другому дяде я часто заменял охотничью собаку, плавал по озерам за подстреленными утками. Очень хорошо лазил по деревьям. Среди мальчишек всегда был коноводом и большим драчуном и ходил всегда в царапинах. За озорство меня ругала только одна бабка, а дедушка иногда сам подзадоривал на кулачную и часто говорил бабке: «Ты у меня, дура, его не трожь, он так будет крепче!» Бабушка любила меня изо всей мочи, и нежности ее не было границ. По субботам меня мыли, стригли ногти и гарным маслом гофрили голову, потому что ни один гребень не брал кудрявых волос. Но и масло мало помогало. Всегда я орал благим матом и даже теперь какое-то неприятное чувство имею к субботе.

Так протекло мое детство. Когда же я подрос, из меня очень захотели сделать сельского учителя и потому отдали в церковно-учительскую школу, окончив которую, я должен был поступить в Московский учительский институт. К счастью, этого не случилось.

Стихи я начал писать рано, лет девяти, но сознательное творчество отношу к 16—17 годам. Некоторые стихи этих лет помещены в «Радунице».

Восемнадцати лет я был удивлен, разослав свои стихи по журналам, тем, что их не печатают, и поехал в Петербург. Там меня приняли весьма радушно. Первый, кого я увидел, был Блок, второй — Городецкий. Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот, потому что в первый раз видел живого поэта. Городецкий меня свел с Клюевым, о котором я раньше не слыхал ни слова. С Клюевым у нас завязалась, при всей нашей внутренней распре, большая дружба.

В эти же годы я поступил в Университет Шанявского, где пробыл всего 1 $^{1}/_{2}$ года, и снова уехал в деревню.

В Университете я познакомился с поэтами Семеновским, Наседкиным, Колоколовым и Филипченко.

Из поэтов-современников нравились мне больше всего Блок, Белый и Клюев. Белый дал мне много в смысле формы, а Блок и Клюев научили меня лиричности.

В 1919 году я с рядом товарищей опубликовал манифест имажинизма. Имажинизм был формальной школой, которую мы хотели утвердить. Но эта школа не имела под собой почвы и умерла сама собой, оставив правду за органическим образом.

От многих моих религиозных стихов и поэм я бы с удовольствием отказался, но они имеют большое значение как путь поэта до революции.

С восьми лет бабка таскала меня по разным монастырям, из-за нее у нас вечно ютились всякие странники и странницы. Распевались разные духовные стихи. Дед, напротив, был не дурак выпить. С его стороны устраивались вечные невенчаные свадьбы.

После, когда я ушел из деревни, мне долго пришлось разбираться в своем укладе.

В годы революции был всецело на стороне Октября, но принимал все по-своему, с крестьянским уклоном.

В смысле формального развития теперь меня тянет все больше к Пушкину.

Что касается остальных автобиографических сведений, они в моих стихах.

Октябрь 1925

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ НАБРОСКИ

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Родился 1895 г. 21 сентября в селе Константинове Кузьминской волости Рязанской губернии и уезда. Пробуждение творческих дум началось по сознательной памяти до 8 лет. Напечатался впервые в журнале «Новый журнал для всех» и «Голос жизни» с сопроводительной статьей Гиппиус. К стихам расположили песни, которые я слышал кругом себя, а отец мой даже слагал их.

<1915—1916>

* * *

Крестьянин села Константинова Кузьминской волости Рязанского уезда и губ<ернии>.

Родился в 1895 году 21 сентября. Окончил учительскую школу. Учительствовать не пришлось.

<1916>

НЕЧТО О СЕБЕ

1

Родился 1895 г. 21 сентября в селе Константинове Рязанской губ<ернии> Рязанского уезда.

Детство такое же, как у всех сельских ребятишек.

До 12—13 лет жил с дедом и бабкой. Дед был зажиточный.

2

Читать начал с 5 лет под руководством дяди. Стихи с 8 лет. Учился много, но ничего не кончил.

3

В Университете Шанявского в 1913—1914 г. столкнулся с поэтами. Узнал Клюева, Клычкова, Орешина и Наседкина. Печататься начал в «Русской мысли» и «Голосе жизни».

<Сентябрь-октябрь 1925>

ФОЛЬКЛОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЧАСТУШКИ[1]

Девичьи (полюбовные)

*

Из колодца вода льется,
Вода волноватая.
Мил напьется, подерется,
А я виноватая.

*

— Дорогой, куда пошел?
— Дорогая, по воду.
— Дорогой, не простудись
По такому холоду.

*

Сидела на бочке.
Румяные щечки.
Люди скажут — «навелась».
Я ж такая родилась.

*

Милый ходит за сохой,
Машет мне косынкой.
Милый любит всей душой,
А я половинкой.

*

Рассыпься, горох,
По чистому блюду.
Я любила всех подряд,
Теперя не буду.

---

[1] Собраны С. Есениным *(прим. ред.)*.

*

Полоскала я платочек,
Полоскала — вешала.
Не любила я мило́го,
Лишь словами тешила.

*

С гор потоки, с гор потоки,
С гор холодная вода.
Насмеялся дрянь-мальчишка,
А хороший никогда.

*

Ай, лед хрустит,
И вода льется.
Ты не думай, не гадай —
Дело не сойдется.

*

Ах, платочек-летуночек,
Обучи меня летать.
Не высоко, не далеко —
Только милого видать.

*

Милый пишет письмецо:
«Не потеряла ли кольцо?»
А я на толево пишу —
На правой рученьке ношу.

*

Я калоши не ношу,
Поблюду их к лету.
А по совести скажу —
У меня их нету.

*

— Милая подруженька,
Чем ты набелилася?
— Я коровушку доила,
Молочком умылася.

*

Маменька ругается,
Куда платки деваются.
Сама не догадается,
Что милый утирается.

*

С крыши капала вода,
Милый спрашивал года.
— Скажи, милка, сколько лет,
Повенчают али нет?

*

Дайте ходу пароходу,
Натяните паруса.
Не за все дружка любила —
За кудрявы волоса.

*

Не тобой дорога мята,
Не тебе по ней ходить,
Не тобою я занята,
Не тебе меня любить.

*

На оконышке цветочек,
Словно бархатиночка.
Оттого милой не любит,
Что я сиротиночка.

*

Я свои перчаточки
Отдала Васяточке:
Я на то надеюся —
Пойду плясать, согреюся.

*

Я плясала, топала,
Я любила сокола,
Я такого сокола —
Ростом невысокого.

*

Скоро, скоро Троица,
Береза принакроется.
Скоро миленький приедет,
Сердце успокоится.

*

Милая сестрица,
Давай с тобой делиться:
Тебе соху, борону,
Мне чужую сторону.

*

Милая, духаная,
Соломой напиханная,
Лаком наведенная,
Скажи, в кого влюбленная?

*

Милый мой, хороший мой,
Мне с тобой не сговорить.
Отпусти меня пораньше,
Мне коровушку доить.

*

Плясала вприсядку,
Любила Васятку.
Теперя Васятку —
Под левую пятку.

*

Неужели сад завянет,
В саду листья опадут?
Неужели не за Ваню
Меня замуж отдадут!

ПРИБАСКИ

I

(На растянутый лад, под ливенку. Поют парни.)

*

Разлюбимый мой товарищ
С одной ложки ел и пил.
С одной ложки ел и пил,
У меня милку отбил.

*

Девки крали, девки крали,
Шестьдесят рублей украли.
А ребята короли
С завода лошадь увели.

*

Я свою симпатию
Узнаю по платию.
Как белая платия,
Так моя симпатия.

*

Под окошком следа нет,
Видно, кони вымели.
А моей милашки нет,
Видно, замуж выдали.

*

Не стругает мой рубанок,
Не пилит моя пила.
Нас священник не венчает,
Мать совету не дала.

*

Я не сам гармошку красил,
Не сам лаком наводил.
Я не сам милашку сватал —
Отец с матерью ходил.

*

Наши дома работáют.
А мы в Питере живем.
Дома денег ожидают,
Мы в опорочках придем.

*

Дуют ветры, дуют буйны
Из куста орехова.
Ты скажи, моя зазноба,
С кем вчера проехала?

*

Погуляйте, ратнички,
Вам последни празднички.
Лошади запряжены,
Сундуки улажены.

*

Не от зябели цветочки
В поле приувянули.
Девятнадцати годочков
На войну отправили.

*

Сядьте, пташки, на березку,
На густой зеленый клен.
Девятнадцати годочков
Здесь солдатик схоронен.

*

Ты не гладь мои кудерки,
Золоченый гребешок,
За Карпатскими горами
Их разгладил ветерок.

II

(Плясовой лад, под тальянку. Поют бабы и девки.)

*

Ах, Ванька, туз,
Потерял картуз.
А я пол мела —
Картуз подняла.

*

Мой муж арбуз,
А я его дыня.
Он вчера меня побил,
А я его ныня.

*

Мельник, мельник
Завел меня в ельник.
Меня мамка веником:
Не ходи по мельникам!

*

Хоть бы тучка накатила
Или дождичек пошел.
Хоть бы милый догадался,
На вечерушку пришел.

*

Гармонист, гармонист,
Рубаха бурдовая,
Чрез тебя я, гармонист,
Стала нездоровая.

*

Мой миленок в Питери
Поступил в учители,
За дубовым столом
Пишет серебряным пером.

*

Проводила мужа,
Под ногами лужа.
Сердце бьется, коло́тится:
Боюсь, назад воро́тится,

*

А я нынче молода —
На лето невеста.
Ищи, мамка, жениха,
Хорошее место!

*

Пойду плясать,
Ногой топну.
Семерых люблю,
По одном сохну!

*

Рассыпься, горох,
На две половинки...
У попа жена помрет,
Пойду на поминки.

*

Опущу колечко в речку,
Что-нибудь да попадет.
Либо щука, либо лень,
Либо с милого ремень.

*

Дай бог снежку
Завалить стёжку,
Чтобы милый не ходил
К моему окошку.

*

Прокатился лимон[1]
По чистому полю.
Не взяла бы сто рублей
За девичью волю!

СТРАДАНЬЯ

*

За страданье
Мамка бро́нит.
Побить хочет —
Не догонит.

*

Страдатель мой,
Страдай со мной.
Надоело
Страдать одной.

[1] Лимон — образ солнца.

*

— Голубенок!
Возьми замуж.
— Голубушка,
Не расстанусь!

*

В небе звездам
Счету нету.
Всех любить
Расчету нету.

*

Ах, колечко
Мое сине.
На колечке
Твое имя.

*

Пострадала,
Ну, довольно...
От страданья
Сердцу больно.

*

Милый бросил,
А я рада:
Все равно
Расстаться надо.

*

Милый бросил,
А я — ево.
Ему стало
Тошней мово.

*

Ах, какая
Ночь темная.
До свиданья,
Знакомая!

*

Она моя,
Энта, энта.
Голубая
В косе лента.

*

Возьму карты —
Нет валета.
Мил уехал
На все лето.

*

Девки, стойте,
А я пойду.
Примечайте
Мою хотьбу.

*

Не страдай,
Король бубновый,
У меня
Страдатель новый.

*

Не влюбляйся,
Красавица,
Он картежник
И пьяница.

*

По заре
Далеко слышно,
Что Парашка
Замуж вышла.

*

Не боюсь
Тюремных за́мок,
Я боюсь,
Наставят банок.

*

Товарищи,
За что бьете?
Без меня вы
Пропадете.

*

За рекою,
За быстрóю,
Монастырь
Девкам построю.

*

В монастырь
Хотел спасаться,
Жалко с девками
Расстаться.

*

Пойдем, милый,
Стороною,
А то скажут:
Муж с женою.

*

Пролетела
Про нас слава
До самого
Ярослава.

*

Гуляй, милка,
Нам все равно,
Про нас слава
Идет давно.

*

Куда пошел?
Чего делать?
Я ищу
Красивых девок.

*

Твои глаза.
Мои тожа.
Что не женишься,
Сережа.

*

Твои глаза
Больше моих.
Я — невеста,
Ты — мой жених.

СМЕШАННЫЕ

*

Подруженька, идут двое.
Подруженька, твой да мой.
Твой в малиновой рубашке,
А мой в светло-голубой.

*

Височжары высоко,
А месяц-то низко.
Живет милый далеко,
А постылый близко.

*

Пойду плясать,
Весь пол хрястит.
Мое дело молодое,
Меня Бог простит.

*

Дайте, дайте мне пилу,
Я рябинушку спилю.
На рябине тонкий лист,
А мой милый гармонист.

*

Ах, што ж ты стоишь,
Посвистываешь?
Картуз потерял,
Не разыскиваешь!

*

Я ходила по полю,
Мимо кони топали.
Собирала планочки
Ваниной тальяночки.

*

Пали снеги, пали белы,
Пали да растаяли.
Всех хорошеньких забрили,
Шантрапу оставили.

*

Ах, щечки горят,
Алые полыщут.
Не меня ли, молодую,
В хороводе ищут?

*

Ай, мать бро́нится,
И отец бро́нится:
— За каким же непутевым
Наша девка гонится!

*

А я чаю накачаю,
Кофею нагрохаю.
Поведут дружка в солдаты,
Закричу, заохаю.

*

Ах, девки, беда —
Тальянка худа.
Надо денег накопить
Да тальяночку купить.

*

Ах, сад-виноград,
Зеленая роща.
Ах, кто ж виноват —
Жена или теща?

*

Ай, мать, ай, мать,
Накой меня женишь?
Я не буду с женой спать,
Куда ее денешь?

*

Молодой мельник
Завел меня в ельник.
Я думала — середа,
Ныне понедельник!

*

Не трожь меня, Ванька,
Я попова нянька.
В коротенькой баске,
Голубые глазки.

*

Ах, лапти свей
И оборки свей.
Меня милая не любит —
Лихоманка с ней.

*

Я ли не поповна.
Я ли не духовна.
А кто меня поцелует,
Благодарю покорно!

*

Пускай хают, нас ругают,
Что отчайные растем.
А мы чайные-отчайные
Нигде не пропадем!

*

В эту пору, на Миколу,
Я каталася на льду.
Приходили меня сватать,
Я сказала: не пойду!

*

Ах, темный лес,
Подвинься сюда.
Я по этому лесý
Свое горе разнесу.

*

Провожала Коленьку
За нову часовенку.
Провожала за ручей,
Я не знаю, Коля чей.

*

Чик, чик, чикалочки,
Едет мужик на палочке.
Жена на тележке
Щелкает орешки.

*

Уж я рожь веяла
И овес веяла.
Мне сказали — дружка взяли,
А я не поверила.

*

Никому так не досадно,
Как мне, горькой сироте:
Съел я рыбицу живую,
Трепещется в животе!

НИКОЛИНЫ ПРИТЧИ

Записаны С. А. Есениным в селе Константинове. Переданы А. М. Ремизову, в чьей обработке и опубликованы

НИКОЛИН УМОЛОТ

Гнев Ильин, или так тому от Бога быть положено для опамятования людям и разуму, большая была засуха и сгорела рожь и овсы.

Кто побогаче, возили воду и поливали, и у тех на ниве еще кое-что уцелело, а у бедняков ничего — чисто поле.

Сидят мужики на кулишках, о своей беде гуторят.

А шел с поля старичок-странник. Приостановился.

— Что это вы, добрые люди, пригорюнились?

— А видел, чай, на полях-то что деется! Неоткуда нам и помощи ждать.

Посмотрел старичок, головой покивал: пожалел, видно.

— А давайте, детушки, мне ржи горстку! — сказал старик.

А те и не знают, зачем ему рожь? Уж не подшутить ли задумал над ними старик: народ-то нынче всякий и над чужой бедой посмеяться радость себе найдет.

А другие говорят:

— Принесите ржи, может, наговор какой сделает.

И согласились. Кликнули ребят. Полное лукошко принесли.

Взял себе старичок ржи горстку.

— Проведите, — говорит, — меня ко всякому дому, мне посмотреть надобно.

Пошли, повели старика.

И ни одну избу не обошел старик — и везде на загнетках у запечья по зерну клал. А к ночи ушел. Хватились покормить старика, а его уж нет нигде.

Так и легли спать.

Так и прошла ночь.

А когда наутро проснулись — и проснулась с ними горькая дума, — что за чудеса! — глазам не верят: рожь во все устья вызрела и в каждом доме, где положил старик зернышко, колос из трубы выглядывает, и на божницах лампадки горят перед Николою, а на поле посмотришь, залюбуешься, — колос к колосу.

Бог помиловал — уродил хлеб. И умолот был, не запомнят: по полтысячи мер всякий набил. Поминали странника-старичка, Николу Милостивого.

СВЕЧА ВОРОВСКАЯ

Жил-был один человек, а время было трудное, вот он и задумал себе промыслить добра да недобрым делом: что у кого плохо лежит — не обойдет, припрячет, а то накупит дряни какой, выйдет купцом на базар и так заговорит ловко, так выкрутит, совсем тебя с толку собьет и втридорога сбудет, — одно слово, вор.

И всякий раз, дело свое обделав, Николе свечку несет.

Понаставил он свечей, только его свечи и видно.

И пошла молва про Ипата, что по усердию своему первый он человек и в делах его Никола ему помощник. Да и сам Ипат-то уверился, что никто, как Никола.

И однажды хапнул он у соседа, да скорей наутек для безопаски. А там, как на грех, хватились, да по следам за ним вдогонку.

Бежал Ипат, бежал, выбежал за село, бежит по дороге — вот-вот настигнут, — и попадает ему навстречу старичок, так нищий старичок, побиральщик.

— Куда бежишь, Ипат?

— Ой, дедушка, выручи, не дай пропасть, схорони: настигнут, живу не бывать!

— А ложись, — говорит старичок, — вона в ту канавку.

Ипат — в канаву, а там — лошадь дохлая. Он под лошадь, в брюхо-то ей и закопался.

Бегут по дороге люди и прямо по воровскому следу, а никому и невдомек, да и мудрено догадаться: канавка хоть и не больно глубока, да дохлятину-то разнесло, что гора.

Так и пробежали.

Ипат и вышел.

А старичок тут же на дороге стоит.

— Что, Ипат, хорошо тебе в скрыти-то лежать?

— Ой, дедушка, хорошо, — чуть не задохнулся!

— Ну, вот, видишь, задохнулся! — сказал старичок и стал такой строгий, — а мне, как думаешь, от твоих свечей слаще? Да свечи твои, слышишь, мне, как эта падаль! — и пошел такой строгий.

КАЛЕНЫЕ ЧЕРВОНЦЫ

Шел мужик лошадь продавать и хвалился:

— Кого хошь обдую, и умника, и простого, и святого, кого хошь!

И только это сказал он, а ему старичок навстречу.

— Продай лошадку-то!

Посмотрел на него Кузьма, так, старик не из годящих и разговаривать-то с таким — время терять.

— Купи.

— А сколько?

— Сто рублей.

— Да что ты, креста на тебе, что ли, нет? Конь-то твой был конь, да съезжен, десятки не стоит.

— Ну, и проваливай, — огрызнулся Кузьма, — не по тебе цена, не для тебя и конь! — и пошел.

И старичок пошел, ничего не сказал, да остановился, что-то подумал и уж догоняет.

— Уступи!

А тот молчит.

— Уступи, хоть сколько, — просит старик, не отстает.

И вот-вот двинет его Кузьма: надоело.

— Ну, ладно, коли уж так надо, бери сто! — сказал старик и высыпал ему на ладонь червонцы, а сам сел на лошадь и прощай.

У Кузьмы в глазах помутилось — червонцы!

И хотел он их в карман спрятать, а никак и не может с ладони ссыпать: пристали к ладони, не отлипают. Бился, бился, — а ничем не отдерешь, и жжет.

От боли завертелся Кузьма и уж едва до дому добрался.

И дома места себе не находит — жгут червонцы. Извелся весь. Уж кается, да ничего не помогает: жгут червонцы, как угли каленые.

И вот совсем обессилел и заснул.

И приснился ему сон.

«Иди, — говорит, — той дорогой, по которой шел продавать лошадь, встретишь того старика, покупай назад лошадь. Сколько ни спросит старик, давай».

Очнулся Кузьма. Чуть свет вышел на дорогу, — на свет ему поднять глаза трудно, и жжет.

А старик-то и едет.

Поклонился он старику.

— Продай, дедушка, лошадь-то!

Смотрит старик, не признает.

— Лошадку-то продай, дедушка, мою! — едва слова выговаривает несчастный.

— Десять рублей, — сказал старик.

— Бери сто.

— Зачем сто? Десять, — и поехал.

Кузьма стоит на дороге, впору волком завыть.

Старику-то, видно, жалко стало, и вернулся.

— Ну, давай уж сто.

Обрадовался Кузьма, и в ту же минуту отлипли червонцы, так и зазвенели, каленые, о холодный камень. Нагнулся, собрал в горсть, глядь, а перед ним старичок-то, как поп в ризах.

— Батюшка, Никола Угодник!

А старик стоит, и так смотрит: броватый такой, а кротко.

— Прости,родненький!

— Ну, иди с Богом, да не обманывай! — сказал старик, и как не было.

И червонцы пропали, только лошадь одна.

ДОПОЛНЕНИЕ

<СТЕНОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ С. А. ЕСЕНИНА НА ДИСПУТЕ О ПРОЛЕТАРСКОЙ ПОЭЗИИ>

Мы очень многим обязаны тов. Богданову — но его сочинениям по экономике. Но то, что я слышал сейчас в его докладе о поэзии, мне кажется очень шатким и не имеющим никакого основания. Во-первых, тов. Богданов требует от пролетарских поэтов, чтобы они были служителями Маркса, чтобы они были изобразителями тех явлений, которые уже всем надоели. Им не важен талант. Однообразность «Анны Карениной» Толстого проживет, может быть, сто лет. За тысячу лет до революции говорили, что наступит социалистический период и после него придет планетный период. Я сам читал роман тов. Богданова «Красная звезда». Стало быть, тов. Богданов не отрицает чувства в лице человека, только считает ум выше поэзии.

И еще: <Мариенгоф> говорил, что первичность по значительности ума принадлежит поэту, потому что поэт умеет давать мысль нераскрытой; это есть образ, который пойман внутренним или внешним явлением. Создавая новые образы, мы желаем вести к «новому». Мы базируемся на новом только по глубине ума и по изощренности его.

Я думаю, вы должны слушать этих своих учителей только там, где они знатоки, и не слушать там, где они любят, но где не считаются.

<26 января 1920>

<АВТОБИОГРАФИЯ С. А. ЕСЕНИНА, ЗАПИСАННАЯ И. Н. РОЗАНОВЫМ (1921)>

<...> Я крестьянин Рязанской губернии, Рязанского же уезда. Родился я в 1895 году по старому стилю 21 сентября, по-новому, значит, 4 октября. В нашем краю много сектантов и старообрядцев. Дед мой, замечательный человек, был старообрядским начетчиком.

Книга не была у нас совершенно исключительным и редким явлением, как во многих других избах. Насколько я себя помню, помню и толстые книги, в кожаных переплетах. Но ни книжника, ни библиофила это из меня не сделало.

Вот и сейчас я служу в книжном магазине, а состав книг у нас знаю хуже, чем другие. И нет у меня страсти к книжному собирательству. У меня даже нет всех мною написанных книг.

Устное слово всегда играло в моей жизни гораздо бóльшую роль. Так было и в детстве, так и потом, когда я встречался с разными пи-

сателями. Например, Андрей Белый оказывал на меня влияние не своими произведениями, а своими беседами со мной. То же и Иванов-Разумник.

А в детстве я рос, дыша атмосферой народной поэзии.

Бабка, которая меня очень баловала, была очень набожна, собирала нищих и калек, которые распевали духовные стихи. Очень рано узнал я стих о Миколе. Потом я и сам захотел по-своему изобразить «Миколу». Еще больше значения имел дед, который сам знал множество духовных стихов наизусть и хорошо разбирался в них.

Из-за меня у него были постоянные споры с бабкой. Она хотела, чтобы я рос на радость и утешение родителям, а я был озорным мальчишкой. Оба они видели, что я слаб и тщедушен, но бабка меня хотела всячески уберечь, а он, напротив, закалить. Он говорил: плох он будет, если не сумеет давать сдачи. Так его совсем затрут. И то, что я был забиякой, его радовало. Вообще крепкий человек был мой дед. Небесное — небесному, а земное — земному. Недаром он был зажиточным мужиком.

Рано посетили меня религиозные сомнения. В детстве у меня были очень резкие переходы: то полоса молитвенная, то необычайного озорства, вплоть до желания кощунствовать и богохульствовать.

И потом и в творчестве моем были такие же полосы: сравните настроение первой книги хотя бы с «Преображением».

Меня спрашивают, зачем я в стихах своих употребляю иногда неприличные в обществе слова — так скучно иногда бывает, так скучно, что вдруг и захочется что-нибудь такое выкинуть. А, впрочем, что такое «неприличные слова»? Их употребляет вся Россия, почему не дать им права гражданства и в литературе.

Учился я в закрытой церковной школе в одном заштатном городе, Рязанской же губернии. Оттуда я должен был поступить в Московский Учительский Институт. Хорошо, что этого не случилось: плохим бы я был учителем. Некоторое время я жил в Москве, посещал Университет Шанявского. Потом я переехал в Петербург. Там меня более всего своею неожиданностью поразило существование на свете другого поэта из народа, уже обратившего на себя внимание, — Николая Клюева.

С Клюевым мы очень сдружились. Он хороший поэт, но жаль, что второй том его «Песнослова» хуже первого. Резкое различие со многими петербургскими поэтами в ту эпоху сказалось в том, что они поддались воинствующему патриотизму, а я, при всей своей любви к рязанским полям и к своим соотечественникам, всегда резко относился к империалистической войне и к воинствующему патриотизму. Этот патриотизм мне органически совершенно чужд. У меня даже были неприятности из-за того, что я не пишу патриотических стихов на тему «гром победы, раздавайся», но поэт может писать только о том, с чем он органически связан. Я уже раньше рассказы-

вал вам о разных литературных знакомствах и влияниях. Да, влияния были. И я теперь во всех моих произведениях отлично сознаю, что в них мое и что не мое. Ценно, конечно, только первое. Вот почему я считаю неправильным, если кто-нибудь станет делить мое творчество по периодам. Нельзя же при делении брать признаком что-либо наносное. Периодов не было, если брать по существу мое основное. Тут все последовательно. Я всегда оставался самим собой. <...>

Вы спрашиваете, целен ли был, прям и ровен мой житейский путь? Нет, такие были ломки, передряги и вывихи, что я удивляюсь, как это я до сих пор остался жив и цел.

<26 февраля 1921>

У С. А. ЕСЕНИНА

(Беседа)

Моя беседа с Сергеем Александровичем Есениным была одним из самых оригинальных интервью, какие когда-либо приходились на долю журналиста. С. А. сердечно беседовал со своим ближайшим соратником и интимным другом А. Б. Кусиковым, великодушно позволяя мне записывать из этой беседы все то, что могло представить общественный интерес, и отрываясь от беседы всякий раз, когда я просил у него разъяснений.

С. А. о России вообще говорит кратко.

— Я люблю Россию. Она не признает никакой иной власти, кроме Советской. Только за границей я понял совершенно ясно, как велика заслуга русской революции, спасшей мир от безнадежного мещанства.

Зато охотно и много говорит талантливый поэт о русском искусстве, о его праздниках и буднях, о мельчайших и прозаических на первый взгляд подробностях его существования в России.

Есенин и Кусиков возглавляют, как известно, то литературное течение, которое обозначается не совсем отчетливым термином «имажинизм».

Имажинисты — выразители и дети своей эпохи. По словам Ленина, они «больные эпохой мальчики», по словам Луначарского — «аморальные типы».

В настоящее время имажинизм — преобладающее течение русской поэзии. В одной Москве группа имажинистов насчитывает около 100 человек; провинция тоже «работает под имажинистов». Появились имажинисты сарты, узбеки, татары и киргизы.

Из наиболее выдающихся последователей этой школы можно назвать Н. Эрдмана, Златого, Надежду Вольпин, Сусанну Мар и др.

В живописи и скульптуре имажинизм представлен худ<ожником> Г. Якуловым, скульптором С. Т. Коненковым, Б. Эрдманом.

Был момент, когда имажинизму угрожал раскол вследствие разногласий, возникших между группами Есенина — Кусикова и Вадима Шершеневича. Раскол удалось предотвратить — Шершеневич сдался, что и засвидетельствовал в публичном выступлении в Доме Печати и в «Жму руку кому».

Имажинисты отрицательно относятся к футуристам, в частности, к Маяковскому: «поэт с ограниченным дарованием», нашедший свое полное выражение в плакатном творчестве. Образцом последнего, по мнению Есенина, может послужить стихотворение «Моя речь в Генуе», помещенное в «Известиях»:

Спросили раз ханжу:
«Вы любите ли Нэп?»
«Люблю, — он отвечал, —
когда он не нелеп».

Много шуму наделала так называемая «чистка поэтов», предпринятая по инициативе Маяковского, который выступал в качестве прокурора искусства. Интересны характеристики отдельных поэтов, сделанные Маяковским. Анна Ахматова — дрянная, мыльная поэтесса, Брюсов — канцелярист, Бальмонт — «чирикало», Городецкий — «серпом траву косит», Мариенгоф — «годен для гужевого транспорта», Белый — хороший прозаик и только Кусиков — настоящий поэт, а Есенину принадлежит первое место в поэзии, хотя он «представитель другой стихии».

О судьбах и работах художников С. А. сообщил много интересных сведений. Крученых дает уроки, Хлебников — перебивается с хлеба на квас, Клюев голодает в Вытегре. В. Каменский пишет «Бульварный роман» в стихах (32 тысячи строк). С. Т. Коненков закончил несколько гениальных работ: «Стенька Разин», «Пастух», «Три бабы», «Нища братья», скульптурные портреты Есенина и Дункан.

В живописи господствуют супрематисты (Попова, Родченко) и конструктивный метод. В театре отмечают выдающуюся постановку «Великодушного рогоносца» Кроммелинка под руководством Мейерхольда.

Вышли новые книги: «Серапионовы братья» (сборник произведений Зощенко, Никитина, Всеволода Иванова, Лунца, Слонимского), сборник «Конский сад» (Есенин, Кусиков, Мариенгоф, Шершеневич, Грузинов, Эрдман и др.).

Шершеневич написал пьесу «Одна сплошная нелепость», которая готовится к постановке в Сафоновском театре (режис<сер> Фердинандов), Мариенгоф закончил трагедию «Заговор дураков» из эпохи Анны Иоанновны.

В Госиздате вышел 3 изданием «Пугачев» — Есенина, выходят его же «Избранные стихи».

Любопытны материальные условия издательства в России. Гонорар за печатный лист составляет 60 миллионов рублей, издание книги в 5 печатных листов обходится в $5\,{}^{1}/_{2}$ миллиардов. Книжка А. Кусикова «Искандар-Намэ», стоившая 6 месяцев тому назад 50 тысяч рублей, стоит теперь 1 миллион 500 тысяч. «Пугачев» — Есенина, стоивший 25 тысяч, стоит 600 тысяч. Гонорар за строчку стихов колеблется между 200 тыс. и 1 миллионом. За последнее время Госиздат платит по 25 к<оп>. золотом за строчку стихов, переводя на советскую валюту по курсу.

С. А. Есенин пробудет в Европе до октября, посетит Париж и Лондон, откуда на аэроплане полетит с Айседорой Дункан-Есениной — в Америку. Он подписал контракт с американским импресарио Гурок — на ряд публичных выступлений.

<Май 1922>

<ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ АМЕРИКАНСКОЙ ПЕЧАТИ>

Итак, мы на американской территории. Благодарность — такова наша первая мысль. Мы — представители молодой России. Мы не вмешиваемся в политические вопросы. Мы работаем только в сфере искусства. Мы верим, что душа России и душа Америки скоро поймут друг друга.

Мы прибыли в Америку с одной лишь мыслью — рассказать о сознании России и работать для сближения двух великих стран. Никакой политики, никакой пропаганды!

После восьми лет войны и революции Россия окружена китайской стеной. Европа, сама истерзанная войной, не обладает достаточной силой, чтобы снести эту китайскую стену. Россия во мгле, но нам помогло ее бедствие. Именно во время голода в России Америка сделала щедрый жест. Гувер разрушил китайскую стену. Работа Организации американской помощи незабываема.

Прежде всего хотим подчеркнуть тот факт, что сейчас в мире есть только две великих страны — Россия и Америка.

В России налицо сильная жажда изучать Америку и ее добрых людей. Разве не может быть так, что искусство станет средством для развития новой русско-американской дружбы? Пусть американская женщина с ее острым умом поможет нам в решении нашей задачи!

Во время путешествия сюда мы пересекли всю Европу. В Берлине, Риме, Париже и Лондоне мы не нашли ничего, кроме музеев, смерти и разочарования. Америка — наша последняя, но великая надежда!

Приветствуем и благодарим американский народ!

<Сентябрь — до 2 октября 1922>

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Есенин Сергей Александрович [21.9(3.10).1895, с. Константиново Рязанского уезда Рязанской губернии — 28.12.1925, Ленинград; похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище], поэт. Родился и вырос в крестьянской семье. Отец, Александр Никитич, с 12 лет служил в Москве в лавке, бывая в деревне, даже после женитьбы, только наездами. Ранние годы (1899—1904) Есенин провел у деда, Ф. А. Титова, и бабки по матери.

Есенин вспоминал в 1921 г.: «Дед мой, замечательный человек, был старообрядским начетчиком». Детство поэта протекало беззаботно, не отягощенное крестьянским трудом. «Часто собирались у нас дома слепцы, странствующие по селам, пели духовные стихи...» Склонность к поэзии проявилась рано: «Пробуждение творческих дум началось по сознательной памяти до 8 лет», «Стихи начал слагать рано. Толчки давала бабка. Она рассказывала сказки», в анкете 1924 г. Есенин указывал, что начал писать стихи в 13 лет.

В 1904 г. Есенин поступил в Константиновское земское четырехклассное училище; два года учился в третьем классе, но окончил училище в 1909 г. с отличием. Вслед за тем окончил со званием «учитель школы грамоты» второклассную учительскую школу в селе Спас-Клепики (1909—1912), т. к. «родные хотели, чтоб из меня вышел сельский учитель. Основными предметами были Закон Божий и церковно-славянский язык, преподавали также историю, географию и т.д. Ко времени учебы в школе относятся его первые из сохранившихся стихотворных опытов; учитель русского языка и литературы вспоминает, что стихи Есенина той поры «были короткими, сначала все на тему о любви». Известны 10 стихотворений Есенина в двух тетрадях, подаренных им Хитрову, и цикл «Больные думы». Приезжая летом в Константиново, Есенин посещал дом священника Ивана Попова, в котором собиралась на каникулы учащаяся молодежь; бывал в соседнем имении молодой образованной помещицы Л. И. Кашиной (прототип Анны Снегиной в одноименной поэме). Был сердечно привязан к своей семье, к младшим сестрам Екатерине и Александре, в последующие годы надолго не отрывался от материнского гнезда, по возможности помогая семье материально. А. А. Есенина отмечала сильно развитое у брата «чувство кровного родства»: «Он любил нас с сестрой, любил своих детей, всюду возил с собой их фотографии. Его всегда тянуло к своей семье, к домашнему очагу, к теплу родного дома».

В 1911—1912 гг. Есенин сближается с писателями из Суриковского литературно-музыкального кружка. Летом 1911 г. встречался в Москве с одним из его руководителей — И. А. Белоусовым. В середине 1913 г. Есенин сообщал своей знакомой М. П. Бальзамовой, что Белоусов находит у него «талант истинный». Весной 1912 г., приехав в Москву «без гроша денег», Есенин некоторое время живет у С. Н. Кошкарова-Заревого, председателя кружка. В конце 1912 г. вступает в «члены-соревнователи» кружка, систематически посещает его собрания. Влечение молодого поэта к «суриковцам» закономерно. Его ранние стихи («Больные думы» и др.) глубоко созвучны скорбной и унылой музе И. С. Никитина, И. З. Сурикова, С. Д. Дрожжина. Порой звучат надсоновские мотивы тоски, одиночества и смерти. В некоторых стихотворениях сказывается влияние А. В. Кольцова. Гражданское кредо Есенина той поры передает стихотворение «Поэт»: «Он поэт, поэт народный, / Он поэт родной земли». В целом же ранние его произведения подражательны и несовершенны, в них с трудом угадывается будущий поэтический талант.

К этому времени (1912) принято относить, основываясь на авторской датировке, и историческую поэму Есенина — «Песнь о Евпатии Коловрате». Однако по композиции, стилистике, языку эта вещь обнаруживает родство с «малыми» историческими поэмами, созданными в 1914 г. («Марфа Посадница», «Ус»). Датировки, произведенные позднее самим Есениным, неоднократно и обоснованно ставились под сомнение.

Поселившись в Москве с августа 1912 г., Есенин служит в мясной лавке, где работает приказчиком его отец. Отношения с отцом, которому были чужды духовные устремления сына, не сложились. Есенин меняет работу, через год между ними происходит разрыв.

До февраля 1913 г. Есенин служит в конторе книгоиздательства «Культура», затем — в типографии товарищества И. Д. Сытина (сначала в экспедиции, потом подчитчиком). Работа в типографии и близость с «суриковцами», многие из которых были настроены революционно, обострили внимание Есенина к общественным вопросам. В числе 50 рабочих он подписал в марте 1913 г. письмо к члену 4-й Государственной думы Р. В. Малиновскому «пяти групп сознательных рабочих Замоскворецкого района г. Москвы», в котором заявлялось о солидарности московских рабочих с фракцией большевиков в их борьбе против ликвидаторов. В результате этой акции Есенин оказался под негласным надзором полиции. В типографии Сытина Есенин познакомился и вступил в гражданский брак с А. Р. Изрядновой, работавшей там корректором. И хотя семья существовала недолго, Изряднова всегда оставалась исключительно преданным другом, была матерью его первенца — Юрия (1914—1938, репрессирован).

В письмах Есенина 1912—1913 гг. отразились его напряженные духовные искания тех лет. С одной стороны, он сохраняет верность

идеалу «народного поэта»: «Хочу писать «Пророка», в котором буду клеймить позором слепую, увязшую в пороках толпу... Отныне даю тебе клятву, буду следовать своему «Поэту». Пусть меня ждут унижения, презрения и ссылки» (письмо к другу-земляку Г. А. Панфилову, август 1912); «Не думай ты, что я изменил своему народу! Нет!» (письмо к Бальзамовой, середина 1913). С другой стороны, у Есенина усиливаются в эту пору религиозные настроения, вызванные размышлениями над евангельскими текстами. «В настоящее время я читаю Евангелие и нахожу очень много для меня нового... Христос для меня совершенство», — писал он в апреле 1913 г. Панфилову. В другом письме, советуя Панфилову «любить и жалеть» людей — «и преступников, и подлецов, и лжецов, и страдальцев, и праведников», Есенин в то же время заявляет: «Я человек, познавший Истину, я не хочу более носить клички христианина и крестьянина». Эти разноречивые устремления молодого поэта отражала, видимо, несохранившаяся драма «Пророк». Кроме того, как видно из письма к Бальзамовой от 1 июня 1913 г., ряд его произведений в 1913 г. был написан «под нависшею бурею гнева к деспотизму».

С 1913 г. Есенин посещает занятия на историко-философском отделении Народного университета А. Л. Шанявского (примерно до марта 1915). В течение 1913 г. предпринимает ряд попыток поместить свои стихотворения в московских журналах. Высказывалось предположение о принадлежности Есенину двух стихотворений, напечатанных 30 августа 1913 г. в московской газете «Наш путь». Первым опубликованным произведением Есенина принято считать стихотворение «Береза», напечатанное в московском детском журнале «Мирок». Там же, а также в журнале «Проталинка» и «Доброе утро» опубликовано в 1914 г. еще несколько стихотворений. Отдельные стихотворения 1914 г. («Молитва матери», «Богатырский посвист», «Узоры», «Бельгия») были живыми откликами поэта на Первую мировую войну; в некоторых из них поэт пытается передать народное отношение к «немцам негожим».

Ситуацией военного времени навеяны исторические поэмы «Марфа Посадница» и «Ус». В образах непокорной новгородской посадницы Марфы Борецкой и донского атамана Уса, одного из сподвижников Разина, воспевается бунтарский дух русского народа, его нравственная сила. На фоне войны как всенародного бедствия вырисовывается в стихах Есенина и образ России — «родины кроткой», охваченной великим горем. Народным заступником выступает «милостник» Микола: странствуя по русской земле, он молится за «скорбью вытерзанный люд», за его «здравье» и «победы». Для становления Есенина как поэта 1914-й — знаменательный год: впервые в его произведениях зазвучали мотивы и интонации будущего зрелого творчества.

В конце 1914 г. Есенин — один из организаторов журнала «суриковцев» — «Друг народа»; в 1-м номере напечатано его стихотворение «Узоры» (январь 1915). В феврале 1915 г. Есенин избран в редак-

ционную комиссию Суриковского кружка, принимал деятельное участие в его работе.

В марте Есенин приехал в Петроград, в день приезда встретился с А. А. Блоком, читал ему свои стихи. Блок записал тогда же: «...стихи свежие, чистые, голосистые, многословный язык...», дал Есенину рекомендательные письма к С. М. Городецкому и М. П. Мурашову. В Петрограде Есенин познакомился с издателем В. С. Миролюбовым и другими литераторами (среди них Р. Ивнев, А. М. Ремизов), читал свои стихи на поэтических вечерах и в литературных салонах (в т. ч. у Мережковских). «Стихи у меня в Питере прошли успешно, — пишет он Н. А. Клюеву 24 апреля. — Из 60 приняли 51. Взяли «Северные записки», «Русскую мысль», «Ежемесячный журнал» и др.». Особенно благожелательным было отношение к Есенину со стороны редакции еженедельника «Голос жизни» (редактор — Д. В. Философов). Наряду с его стихами здесь была напечатана статья З. Н. Гиппиус «Земля и камень» (псевдоним Роман Аренский) — первый печатный отклик на поэзию Есенина, где поэт сопоставлялся с Клюевым («хотя стихи их разны»), Кольцовым, Фетом.

Весной 1915 г. в Петрограде формируется по инициативе Городецкого и Ремизова литературная группа «Краса»; ее участники стремились к возрождению национальной старины, обращались к мифологии, поэзии, быту русской деревни. В эту группу, распавшуюся уже осенью 1915 г., вошел и Есенин: предполагалось издать в «Красе» книжку его стихов и собранные им «Рязанские побаски, канавушки и страдания» (оба замысла не осуществились).

Получив отсрочку от воинской службы, Есенин провел лето 1915 г. на родине, а в октябре вернулся в Петроград, где произошло его знакомство и сближение с Клюевым (до этого они состояли в переписке).

Влияние на Есенина старшего, уже известного поэта, сразу оценившего самобытность его поэтического таланта и взявшего на себя роль его литературного и духовного наставника, распространялось также на сферу житейскую (поведение, одежда и т. п.). В течение 1915—1916 гг. оба поэта выступают под единым «крестьянским» знаменем: печатаются в одних и тех же изданиях, принимают участие в вечерах «народной» поэзии в Петрограде и Москве, вместе посещают «салоны» и литературные собрания. Есенин и Клюев подчеркнуто культивируют «крестьянский» стиль, неизменно появляются перед публикой в «народном» платье и т. п.

Начинает складываться группа «новокрестьянских» поэтов (С. А. Клычков, П. И. Карпов, А. В. Ширяевец), противопоставляющая себя поэтам «из интеллигенции» и претендующая на особое место в русской литературе. При помощи Клюева и одновременно с его сб. «Мирские думы» Есенину удается напечатать у издателя М. В. Аверьянова свой первый сборник «Радуница», состоящий из разделов «Русь» и «Маковые побаски».

Имена Есенина и Клюева были связаны в то время настолько тесно, что большинство рецензентов «Радуницы» сопоставляли обоих поэтов и рассматривали их сборники как художественно родственные, хотя и отмечали подчас различия в их творческой манере. Критика подчеркивала задушевность и естественность есенинской лирики. «...На всем его сборнике лежит прежде всего печать подкупающей юной непосредственности... Он поет свои звонкие песни легко, просто, как поет жаворонок», — восхищалась З. Д. Бухарова, особо отмечая раздел «Маковые побаски», где «так ярко зарисована жизнь деревни в ее праздниках, труде, обрядности...». «Весенним, но грустным лиризмом веет от «Радуницы», — писал П. Н. Сакулин. — ...Мила, бесконечно мила поэту-крестьянину деревенская хата... Он превращает в золото поэзии все — и сажу над заслонками, и кота, который крадется к парному молоку, и кур, беспокойно квохчущих над оглоблями сохи...». Одаренность Есенина выразилась и в том, как писала С. Я. Парнок, что «природный вкус» поэта справился «с соблазнами культурности». Влияние кольцовского стиля увидел в «Маковых побасках» Н. Н. Вентцель.

Центральное место в «Радунице» занимает образ крестьянской России — то задумчивой, то удалой, то грустной, то радостной. Открываясь поэту своими реальными, бытовыми сторонами («хилые» хижины, «тощие» поля), родина представала ему и озаренная «радужным» светом — богомольная, странническая, монастырская. Есенинская деревня разнолика и разноголоса: задорные песни «под тальянку» звучат в «Радунице» наряду с духовным стихом «о сладчайшем Исусе», что поют калики перехожие. Несмотря на горькие сетования поэта, в книге господствует умильно-благостное настроение, «Спаса кроткого печаль». Сам поэт видит себя в этом мире «захожим богомольцем»; им владеет «голубиный дух от Бога». Стихи «Радуницы» насыщены религиозно-церковной символикой («поля как святцы», «хаты — в ризах образа»), подчас окрашенной в духе народно-языческих верований; само название сборника восходит к празднику Воскресения мертвых на второй неделе Пасхи. Первый стихотворный сборник Есенина пленяет не только свежестью и лиризмом, живым ощущением природы, но и образной яркостью, метафорической узорчатостью (эти искания в области формы приведут его позднее к имажинизму). Книга пропитана фольклорной поэтикой (песня, духовный стих), ее язык обнаруживает немало областных, «местных» слов и выражений, что также составляет одну из особенностей поэтического стиля Есенина в 1914—1916 гг., характерную и для его прозы.

К концу 1915 г. относится знакомство Есенина с М. Горьким, пытавшимся напечатать в «Летописи» поэму «Марфа Посадница» (запрещена цензурой). В начале 1916 г. Есенин готовит для Аверьянова сборник детских стихов «Зарянка».

В марте 1916 г. призван на военную службу, первоначально — в запасной батальон в Петрограде, затем причислен к Царскосельскому полевому военно-санитарному поезду № 143 имени императрицы Александры Фёдоровны. В апреле — июне 1916 г. дважды выезжал с поездом (в Крым и Киев); был на Юго-Западном фронте. В июле на концерте для раненых в царскосельском лазарете читал свои стихи в присутствии императрицы и членов царской семьи. В 1916 г. его стихи появляются в крупнейших периодических изданиях: газете «Биржевые ведомости», журнале «Весь мир», «Ежемесячном журнале» и других. Во 2-й половине 1916 г. готовит к печати новый стихотворный сборник «Голубень», одновременно работает над пьесой «Крестьянский пир» (рукопись утрачена).

В новых стихах Есенина 1915—1916 гг. уже немало подлинных лирических шедевров; таковы, например, его стихи о светлой, нежной любви, окрашенной в чувственные тона — «Не бродить, не мять в кустах багряных». В целом же в лирике Есенина этой поры преобладает тема молитвенной, страннической Руси («Тебе одной плету венок», «Запели тесаные дроги»), отмеченная в 1915—1916 гг. влиянием блоковских стихов о России и клюевского «избяного» мифа. Однако все отчетливей в его лирике проступают приметы другой — каторжной Руси, по которой бредут «люди в кандалах» («В том краю, где желтая крапива», «Синее небо, цветная дуга»). Лирический герой Есенина — то «нежный отрок», «смиренный инок», — то «грешник», «бродяга и вор», разбойник с кистенем и т. п. Та же противоречивая двойственность определяет собой и образ «нежного хулигана» в стихах Есенина периода «Москвы кабацкой» (1924).

В 1916 г. в Царском Селе Есенин сближается с Р. В. Ивановым-Разумником, идеям которого (о грядущей «духовной революции» и др.) тогда сочувствовали А. Блок и А. Белый. «Почвеннические» настроения побуждали Иванова-Разумника к сближению с новокрестьянскими писателями, объединившимися под его эгидой в 1917—1918 гг. на страницах сборника «Скифы» и некоторых левоэсеровских изданий. В феврале 1917 г. у Иванова-Разумника Есенин знакомится с А. Белым, оказавшим на него «громадное личное влияние». «Белый дал мне много в смысле формы», — вспоминал Есенин. В течение 1917 г. Есенин сближается с левыми эсерами: «Работал с эсерами не как партийный, а как поэт». Весной 1917 г. в редакции газеты «Дело народа» он познакомился с секретарем-машинисткой З. Н. Райх (1897—1939), и летом во время совместного путешествия к Белому морю они обвенчались в Вологде. В браке было двое детей: Татьяна (1918) и Константин (1920). В 1920 г. семья распалась, впоследствии Зинаида Николаевна стала известной актрисой, женой В. Э. Мейерхольда. События 1917 г. вызвали резкий перелом в творчестве Есенина; поэту казалось, что наступает эпоха великого духовного обновления, «преображения» жизни, переоценки всех ценностей. В это время он создает цикл из

10 небольших поэм; в них воспевает «буйственную Русь» и славит «красное лето», в котором ему слышится «волховский звон и Буслаев разгул» («Отчарь»). Однако в понятия «революция» и «свобода» Есенин, как и другие новокрестьянские поэты, вкладывал прежде всего религиозно-нравственный смысл.

С середины 1917 г. резко обостряются взаимоотношения Есенина с Клюевым, что было вызвано как идейными, так и личными причинами. По словам Городецкого, «история их отношений... — тема целой книги». Взаимные упреки и претензии не стирали глубинной связи их мировоззрения, его общих народных, крестьянских, корней и признания друг друга поэтическими величинами. Есенин называл Клюева учителем, а в заметке «О себе» писал: «...Блок и Клюев научили меня лиричности».

Весной 1918 г. Есенин вместе с женой переехал из Петрограда в Москву. В мае 1918 г. в петроградском издательстве «Революционный социализм» выходит в свет «Голубень» — второй сборник Есенина, вобравший в себя произведения 1916—1917 гг. В Москве он сотрудничает в газете «Голос трудового крестьянства»; издательство «Московская Трудовая Артель Художников Слова» один за другим выпускает его сборники: «Преображение» (1918), «Сельский часослов» (1918), «Радуница» (2-е изд.), «Голубень» (2-е изд., 1920), здесь же вышла книга «Ключи Марии» (1919), которую он, по свидетельству Городецкого, «любил и считал для себя важной». Эта работа была принята как манифест имажинистов, объединение которых произошло в конце 1918 — начале 1919 г. (вместе с С. Есениным в группу вошли А. Б. Мариенгоф, В. Г. Шершеневич, Р. Ивнев). В творчестве Есенина происходит ощутимый поворот.

Наиболее значительные произведения Есенина, принесшие ему славу одного из лучших русских поэтов, созданы в 1920-е гг. Поэт все более приближался к пониманию того, что близкая его сердцу деревня — это «Русь уходящая». Об этом свидетельствует и его поэма «Сорокоуст». Сборники «Трерядница», «Исповедь хулигана», «Стихи скандалиста», «Москва кабацкая», «Русь Советская», «Страна Советская», «Персидские мотивы» отражали наряду со стремлением осмыслить процессы, совершавшиеся на его глазах, состояние острого душевного разлада, растущее с годами чувство тоски и обреченности, приблизившее его к самоубийству.

К. М. Азадовский

СОДЕРЖАНИЕ

Стихотворения

Поэмы

Стихотворения, не вошедшие в «Собрание стихотворений», подготовленное автором

Прибаски

Страданья

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Издательство просит отзывы об этой книге
и Ваши предложения по серии
«Полное собрание в одном томе»
присылать по адресу:
125565, Москва, а/я 4,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА»
или по e-mail: mvn@armada.ru
Информацию об издательстве и книгах
можно получить на нашем сайте в Интернете:
http://www.armada.ru

Литературно-художественное издание

Полное собрание в одном томе

Сергей Александрович Есенин
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ОДНОМ ТОМЕ

Заведующий редакцией
В. Н. Маршавин

Ответственный редактор
Е. Г. Басова

Художественный редактор
Н. Г. Безбородов

Технический редактор
А. А. Ершова

Корректор
Н. А. Карелина

Компьютерная верстка
Т. А. Рогожиной

Подписано в печать 10.08.10. Формат 60x90/16.
Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная.
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 45,00. Доп. тираж 6000 экз.
Изд. № 5793. Заказ № 3270

ООО «Издательство АЛЬФА-КНИГА»
125565, Москва, а/я 4; ул. Расковой, д. 20

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685


ISBN 978-5-9922-0443-8
9 785992 204438